

АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВ

Привет,
Дружочек



ВОЗНИКШИ-СОВРЕМЕННОСТИ

Анатолий
Афанасьев

Привет,
Афиноген

Роман

«Современник»
Москва
1979

Афанасьев А. В.

A94 Привет, Афиноген: Роман — М.: Современник, 1979 — 464 с. (Новинки «Современника»).

«Привет, Афиноген» писателя Анатолия Афанасьева — остросовременный «городской» роман. Его герои — работники большого подмосковного предприятия, которые живут ожиданием реформы — реорганизации одного из отделов НИИ, увольнения по возрасту руководителя отстающего отдела. Главная идея повествования — и в наше бурное время эпохи научно-технической революции, в сложных переплетениях производства и науки, главной и нетленной ценностью остается советский человек, его нравственность, его устремленность и творческая энергия.

В романе автор создает полнокровные, живые образы наших современников.

A 70302—083 6—79 4702010200
M106(03)—79

P2

Собственно говоря, лишь очень немногие живут сегодняшним днем. Большинство готовится жить позднее.

Д. Свифт

Заманчивое предложение

I

Приходя в журнал с очередным опусом, я ловил на себе осуждающие взгляды редактора и его помощников и читал на их лицах тревожный вопрос: неужели опять?

Отвратительно улыбаясь, я доставал из пухленького портфельчика неаккуратно отпечатанные листки и подсовывал их под локоть редактору.

— А-а! — редактор с трудом изображал приветливость. — Что-нибудь новенькое? Отлично... Про что, если не секрет?

— Секретов тут нет, — угрюмо отвечал я. — Конфликт, знаете ли, грубо говоря, любовный треугольник. Кажется, получилось на сей раз недурно.

— Почитаем, почитаем, — печально радовался редактор. — Хотя, скажу честно, теперь читатель требует и ждет иного рода произведений. Его больше интересует социальный аспект, документальность нынче в ходу. Этакое исследование связей общественной деятельности и быта.

— Тут все есть! — храбро обрывал я и быстро откланивался, опасаясь, как бы курьер не догнал меня на лесенке и не вернул рукопись.

Дома я садился на диван и тупо глядел на стену, оклеенную обоями в желтеньких цветочках. Томительно застывало колесо времени. Я ни о чем не думал и не сожалел о прожитых днях. И был бы, возможно, вполне счастлив отдыхом и покоем, если бы не одна подленькая мысль, которая время от времени трусливо жалила мое сердце. Как произошло, что за столько лет

я ничему путному не научился? Я не умел сеять хлеб, не знал, как строят дома и изобретают диковинные механизмы. Мои руки ни разу не вытесали табуретки, чтобы на нее мог усесться добрый человек. Более того, я очень смутно представлял известные теперь каждому школьнику законы термодинамики.

Что же тогда такое и кому нужна на белом свете моя одинокая трепетная жизнь, вспыхнувшая однажды, на втором году войны в одном из кирпичных грязных подвалов Замоскворечья?

Пауза моего комнатного бессмысленного сидения затягивалась до бесконечности, но ответа я не находил. Потом колесо времени постепенно раскручивалось, подхватывало меня и энергично несло дальше — легко догадаться куда...

Лет пять назад по служебной надобности я жил в маленьком подмосковном городишке Федулинске, где познакомился с Афиногеном Даниловым. Он работал в НИИ, в каком-то загадочном отделе координации, а окончил экономический факультет Московского университета.

Город Федулинск расположен слева от Горьковского шоссе и с двух сторон оmyвается непригодной для судоходства мелководной речкой Верейкой. В реке проживает щуренок по кличке Василий и несколько пиявок и вьюнов. Детишки ловят в ней сачками тритонов, коих там тьма-тьмушая. Впрочем, опытные хозяйки утверждают, что суп из тритонов, заправленный овощами, ничем не отличается от черепахового. По берегам Верейки пышно цветут неизвестные отечественной науке кусты с колючками и черными ягодами, настой из которых радикально излечивает полиартрит и водянку. Федулинские медики, правда, обращались в горсовет с просьбой запретить торговлю адскими ягодами на базаре. Они считают, что произрастание неведомых кустов — результат загрязнения реки отходами химкомбината. Для разбирательства дела была создана специальная комиссия, но председатель комиссии, некто Петр Иннокентьевич Верховодов, подполковник в отставке, оказался сам ярким сторонником народной медицины, поэтому никакого решения до сих пор нет.

Ягоды старушки на базаре продают обычно по двугривенному за стакан, а в выходные дни цены подсакивают до полтинника.

Раз в десятилетие в половодье Верейка бурно разливается, и тогда перейти ее вброд возможно только в резиновых охотничьих сапогах.

С севера Федулинск защищает от лютых зимних метелей березовая роща. Летом это любимое место отдыха трудящихся: наяривает оркестр, торгуют всевозможные ларьки и открыт павильон для шахматистов, в котором с утра до ночи за удобными столиками отдыхают и закусывают одни и те же люди. Многие из них хорошо известны начальнику городского отдела милиции капитану Голобородько. Шахматный павильон зарос со всех сторон буйными зелеными побегами, и ближе к вечеру оттуда нередко доносятся душераздирающие крики заспоривших о чем-то игроков.

Что еще можно сказать о Федулинске любопытного? Пожалуй, ничего. Обычный периферийный промышленный городок, где люди рождаются, учатся, работают, страдают, любят, уходят на пенсию...

С Афиногеном Даниловым мы познакомились у кинотеатра — он продал мне лишний билетик, сказав при этом доверительно:

— Не пришла Машка, злодейка. Обманула...

Его имя я, разумеется, узнал позже, а тогда, осенним вечером под липким морозящим дождиком, передо мной предстал рослый детина с открытым нежным круглым лицом, с мокрыми волосами, облепившими его голову, как шлем. Первый день «крутили» итальянский фильм, и толпы зрителей брали хилый кинозал приступом, чуть не разнося его по кирпичику. Весь Федулинск, казалось, собрался, чтобы поглядеть и осудить развратную и циничную жизнь итальянских буржуа. Во время фильма Афиноген кашлял, хохотал, содрогался всем своим крупным телом, потом сказал:

— Чушь какая-то! — и мирно задремал, даже всхрапнул малость.

Выйдя из кинотеатра, мы увидели, что дождик кончился и мостовые отливают черно-синим лаком. Воздух, напоенный чудным звездным мерцанием, был свеж

и влажен. Мы побродили по сонному городу, слушая, как деревья роняют на асфальт толстые капли.

— Удивительно хорошо жить, — вздохнул Афиноген. — Иногда этакий простор в груди — земли мало... Но куда это все девается, черт возьми? Не сама, то есть жизнь, моя или твоя, на них — тьфу! — наплевать, а вот такое ощущение пространства, восторг ночи и дыхания. Плакать ведь хочется, приятель, выть от тоски по чуду...

Теперь, спустя большой срок, я очень переменялся, переступил в иное измерение, охладел сердцем к первоначальному очарованию мира и реже вспоминаю дорогого приятеля Афиногена. Как он там поживает, одинокий мечтатель? Что с ним стало?.. Тот вечер и начало ночи остались легким оттенком, ничем не закрашенным пятном в моей чувственной памяти.

2

Афиноген встал в очередь за газетами. Воскресное июльское утро слегка подпалило Федулинск, и газетная очередь лениво отворачивала от солнца вспотевшие лбы.

— «Неделя» кончилась! — гулко и торжественно объявил из будки продавец, бодрый, загорелый до черноты пенсионер, со странно разросшейся к старости макушкой: издали можно было предположить, что у него две головы — одна большая и круглая, а на ней вторая — морковкой. Торговал он газетами, как ювелир драгоценностями. Подолгу задумчиво шелестел страницами, казалось, каждый экземпляр перед тем, как вручить покупателю, он бегло просматривал от передовой до колонки объявлений. Финансовые расчеты пенсионер производил в уме, болезненно закатывая глаза и морща без того сухой желтоватый лист лба, так что каждая морщинка на его лбу шуршала в унисон с газетами. Потом счастливо вздрагивал и с лихим стуком перепроверял себя на костяных стареньких счетах, установленных на деревянную подставку наподобие мольберта. Нередко он все же ошибался на две-три копейки в свою пользу. В случае конфликта — утомительно, в скрипучих тонах, препирался с покупателем, высовываясь из будки почти по пояс, грозил обидчику

кулаком, но в конце концов возвращал сдачу, после чего обычно закрывал киоск на некоторое время, вывесив табличку с надписью «Ушел за тарой».

Очередь периодически выпадала в неистовство. Особенно недоброжелательно вели себя пожилые люди, хотя им-то, вроде, как раз следовало бы поддержать трудящегося ровесника.

Афиноген пришел на площадь, собственно, не за газетами, а на любовное свидание. Газеты он читал с утра, для чего и выписывал целых три штуки — «Правду», «Советский спорт» и «Литературку». В очередь он пристроился, чтобы скоротать время в обществе. Ему нравились люди, которые покупали газеты. Он чувствовал себя среди них уравновешенно. Разве можно сравнить очередь за газетами с очередью за пивом? Там людей сжигает низменная жажда, а здесь на лицах отражается возвышенное нетерпение — страсть к утолению информационного голода. Купив газету, можно уже со спокойной душой переходить в очередь за пивом, которое, кстати, в Федулинске продавалось редко, зато вкусом напоминало полезную женьшеневую настойку — мечту дистрофиков.

Впереди стоял в очереди Петр Иннокентьевич Верховодов, отставной подполковник, известный в городе общественный деятель, защитник природы и сирот. Сиротами Петр Иннокентьевич считал всех гуляющих без родительского присмотра детишек. Для них он держал в карманах галифе постоянный запас конфет и пряников. Одаривал сирот гостинцами Петр Иннокентьевич не бескорыстно, а лишь после того, как они выслушивали какую-нибудь из его поучительных житейских историй. Верховодов много лет жил один в двухкомнатной квартире и, конечно, немного растерялся и одичал. На вид ему можно было дать лет семьдесят пять.

Приметив Афиногена, Петр Иннокентьевич любезно пропустил перед собой двух мужчин.

— Здорово, Гена! — улыбнулся он Данилову. — Как оно ничего? Служба идет?

— Здравствуйте, товарищ Верховодов, — вежливо поздоровался Афиноген и крепко пожал сухонькую ручку подполковника. — Как ваше здоровье?

— Покальвает кое-где, — пожаловался Верховодов и по привычке угостил знакомого обшарпанным пряни-

ком, выпеченным из каменной муки, а может, не выпеченным, а высеченным из цельного куска мрамора. — Да и то сказать, сколь пришлось всего повидать в жизни, где тут сохранить здоровье... Ты, солдатик, того не увидишь, что нам пришлось. Хотя бы взять ту же военную эпопею. Начинал-то я с низов, с рядового, потом уж дослужился до чинов и наград... Поглотал тоже сырости в окопах. Вспомни и то, как немец против нас первое время воевал. У него и консервы, и белье шерстяное, а у нас — шинелька одна да патронов в обрез. Ты, Гена, про это в книжках читал, а я вот о чем помню, — Верховодов пощелкал себя ребром ладони по остренькому, как шило, кадыку. — Здоровье смолоду следует беречь, оно, как и честь, в единственном числе дается человеку. Не сберег — винить некого, терпи после невзгоды и страдания. Вот я и терплю... По годам, Гена, я еще не очень старый, а нутро, пожалуй, насквозь прогнило. Иной раз не знаешь, где и болит. Болит... и отбой. А где — не понять. Вызвал давеча я врача со «Скорой помощи», явился этакий ферт, вроде тебя, Гена, со смеющимся выражением лица. Сейчас, говорит, мы тебе, батя, укольчик но-шпы с папаверином произведем, оно и поможет. Я ему: ты, паренек, хотя бы давление измерил, пульс посчитал. А он хохочет. Забудь, говорит, отец, про эту ерунду, давление и прочее. Думай о цветах на лесной поляне. В твои годы, толкует, самочувствие зависит нет от давления, а от настроения.

Может, я думаю, он и прав. Только какос же у меня может быть хорошее настроение, ежели позади столько горя и ужасы войны, а впереди — пустота и вечность. Одиноко мне очень, Афиноген, в теперешних днях.

Афиноген сочувственно покивал, махнул рукой: кому, мол, нынче легко, за газетами и то вон приходится стоять под палящим светилом. Про себя Афиноген подумал: помуштровал, небось, за свою жизнь солдатиков, старый службист, а теперь, видишь ли, меланхолия приключилась. Была в характере Афиногена нехорошая стыдная черта: он не любил слушать жалобы и предполагал, что с охотой жалующийся человек или непростительно слаб или скрывает дурное прошлое, напуская туману. Сильный, добрый человек, думал он,

ждет не соболезнования, а понимания и жалуется только по необходимости совсем близким людям, когда некуда деться.

— Огромный город, — переменял тему Верховодов. — Сорок тысяч жителей, и всего три газетных киоска... Я уж ходил по этому поводу на почтамт. Отвечают, некому торговать в киосках за шестьдесят рублей в месяц. Как ты расцениваешь этот факт, Афиноген?

— Я думаю, тут попахивает безразличием к людям.

— Вот-вот, — оживился Петр Иннокентьевич. — Безразличием. Дошло до того, что рыбу в реке потравили. Электричка ходит не по расписанию...

— Ты, Верховодов, свалил все в одну кучу, — вмешался в разговор сосед по очереди, тоже пожилой мужчина с суровым обветренным лицом землепроходца. — Какой-то сумбур у тебя в голове. Ну при чем тут, скажи, электричка и рыба? Надо вместо той двухголовой тыквы посадить в киоск шустрю девицу, и никаких проблем.

— Девица не пойдет на шестьдесят рубликов, — отрезал Верховодов.

— Почему не пойдет? Какая разница, где стаж для вуза зарабатывать... Работа чистая, опрятная. Опять же на виду у кавалеров. Любая пойдет, если с умом пригласить.

Петр Иннокентьевич, не найдя достойного возражения, демонстративно повернулся к оппоненту спиной и обратился опять к Афиногену.

— Что, Гена, собираешься делать, когда купишь газеты? — спросил он.

— Пойду куда-нибудь... Свидание у меня назначено.

— Жаль... Очень жалко. Могли бы, Гена, заглянуть ко мне на часок. Для воскресеньца у меня бутылочка настоечки лимонной припасена. Посидим, поговорим друг с другом по-товарищески. Журналы тебе старые покажу, полистаешь.

Верховодов заискивал, голос его стал сладким и вкрадчивым, словно он вымаливал отсрочку у неминуемой судьбы. Афиноген его понял и не разочаровал.

— Если не возражаете, мы с Наташкой вас наве­стим. Она девушка смиренная и отзывчивая. Может быть, я даже на ней женюсь скоро. На той неделе, может быть, и женюсь.

Верховодов обрадовался, встрепенулся и коршуном оглядел окрестность.

Афиноген проследил за его взглядом и увидел, что Наташа сидит в скверике на скамейке и читает книжку. Она не косилась по сторонам, не нервничала, как будто и не на свидание пришла, а в библиотеку. Глядеть на нее даже из очереди было одно удовольствие.

— Пойду я, пожалуй, Петр Иннокентьевич, — сказал Афиноген. — Купите для меня «Крокодилчик», если очередь подойдет.

— Хороший журнал. Хороший, — закивал Верховодов, — хотя мне он представляется бесполезным. Зубоскальства много, а сути, если вдуматься, никакой. Иголки одни торчат, ствола-то за ними не видно. Так я вас ожидаю, как договорились. Помни, Гена, лимонная настоечка, сам делал. Пальчики об­лижешь.

Афиноген Данилов не полез через штакетник и га­зон, чтобы не травмировать нравственное чувство Верховодова, сделал крюк и приблизился к Наташе со стороны аптеки. Он сел рядом, достал пачку сигарет «Прима», с удовольствием закурил, облокотился на спинку лавочки, перекинул ногу на ногу, стряхнул пылинку с рукава и некоторое время созерцал очередь за газетами, которая своей таинственной неподвижностью напоминала кадры Антониони, отснятые в пустыне.

— Наташа, — сказал он, — давай поздороваемся по-людски.

— Давай, — ответила Наташа.

Афиноген схватил ее в охапку, как подушку, притянул, подтащил к себе, неистово впился в губы, в лоб, в щеки. Она задохнулась в цепких его руках, затрепетала и растаяла. Тело ее проникло в пальцы Афиногена.

— Не надо, Генка! — услышал он трезвый вырывающийся голос, и едкая обида внезапно увлажнила его глаза.

— Дурной ты какой-то, — испугалась Наташа. — Ну что ты в самом деле, как маленький. Зачем ты так делаешь?

— Я не хочу больше жить в этом городе, — сказал Афиноген. — Он мне опостылел. Все мне опостылело в нем. Кирпичные дома и люди с медными лбами. В этом городе женщины боятся любить. Не обращай внимания, Наташа. Это у меня от усталости. На работе нелады, то да се. Жизнь удивительная. Ты сама, Наташа, удивительная, как этот день. Что ты читаешь, дорогая?

Наташа протянула ему книжку.

— Путешествия? — удивился Афиноген. — Книга про путешествия. Странно. Молоденькие красотки предпочитают иного рода чтения.

— Не говори со мной так, — попросила Наташа, — не воображай о себе очень-то. Сначала объясни, почему ты опоздал. Это неприлично. Вдобавок ты, кажется, пьяный. Мне неприятно разговаривать с пьяным Даниловым. Ступай лучше домой.

Афиноген послушно встал и двинулся по аллее.

Предчувствие какой-то скорой боли томило его. Тело не подчинялось легко и неощутимо, как обычно, асфальт с упругой силой отталкивал подошвы. Он оглянулся. Наташа сидела и читала книжку про заморские страны. Ей было наплевать на землетрясение его души. А он чувствовал предвещающие толчки. Он, конечно, вернулся.

— Любопытно, — сказал он, — у тебя такое самообладание или ты совершенно равнодушна к моей особе? А ведь я симпатичный парень. Приглядишься без предубеждения. Меня любила одна женщина, не чета тебе — доктор наук, чаровница, постигшая тайны индусских брахманов. Все мне завидовали. Но она, правда, умерла. От насморка сгорела в одночасье. От обыкновенного насморка. Помни о смерти, Наташа. Помни о смерти.

— Почему ты опоздал? — спросила Наташа. — Хотя дело уже не в этом. Почему ты не ответил, когда я тебя спросила? Я тебя спросила, почему ты опоздал, а ты не ответил, не удосужился. Почему?

— Наташа — синий чулок! Ну и зануда. Вот будет кому-то подарочек — врагу не пожелаешь. Честное слово! Лютому врагу не пожелаешь такую утеху.

И тут он заметил, что книга у Наташи открыта на последней странице, там, где напечатаны выходные данные.

«Милая, — подумал он, — стойкий оловянный солдатик. Будущая мать моих детей. А почему бы и нет?»

Наташа побледнела от оскорбления, но проглотила обиду, как глотают случайно сливовую косточку: жилка на тонкой шее вздрогнула и глаза зажмурились.

— Дальше? — спокойно произнесла она. — Что дальше скажешь, симпатичный парень?

Родители Наташи Гаровой были педагогами, но представляли разные научные школы. Наташа выросла среди постоянных шумных споров о воспитании гармонической личности. Мать считала, что главный упор надо делать на нравственность, ибо именно нравственные устои делают человека человеком; отец же руководствовался постулатом древних, суть которого сводилась к тому, что единственный враг человека — невежество. Оба они были людьми недоучившимися, большую часть времени потратившими на проверку тетрадей, и поэтому не умели ни о чем договориться полюбовно, с упорством маньяков доказывали друг другу очевидные истины. Из всей неразберихи своего детства Наташа вынесла убеждение, что необходимейшая черта благородного характера — хладнокровность и ледяное упорство в выяснении факта.

Легкомысленный Афиноген назвал ее «занудой». Наташа сильно переполошилась, поверила ему и готова была тут же попросить прощения, умолять о снисхождении, уверять, что она еще слишком молода и успеет исправиться, надо только дать ей срок. Но вместо этого она сказала спокойно:

— Дальше? Что дальше? — и захлопнула любимую книгу.

Афиноген вторично закинул ногу на ногу и закурил новую сигарету. Солнце вытягивало из асфальта синеватый пар. Очередь у газетного киоска укоротилась на несколько человек. Мимо прошествовал Петр Иннокентьевич с пачкой газет под мышкой. Старик направлялся в свою одинокую берлогу, где он сядет в музейное кресло и будет не спеша узнавать, что случилось в мире за истекшие сутки. Кое-где на планете гремели выстрелы, горела земля, людей травили газом, как

крыс, но в России было тихо. Солдатское сердце Верховодова за тридцать с лишним лет все-таки не успело привыкнуть к тишине, поэтому время от времени он откладывал в сторону газету, подходил к окну и из-за шторы с недоумением и опаской вглядывался в зеленый пейзаж федулинской улицы.

— Бывал и я в путешествии, — заговорил Афиноген, — в городе Анапе. Лежал я, Наташа, на песочке и прижигал мускулистое тело ультрафиолетовыми лучами. А рядом — упонительные шорохи Черного моря, и вокруг — женщины, женщины, все в купальниках.

— Замолчи, — сказала Наташа.

— Пойдем ко мне, Натали, — попросту предложил Афиноген, — поваляемся на диванчике, отдохнем, поворкуем.

— Не смей со мной так говорить!

— Почему?

— Не смей, слышишь!

— А-а, понятно. Ты честная девушка и все такое. Прости... Если можешь, прости великодушно. Оговорился я. Конечно, разве можно. Грех-то какой... А то пойдем? Все равно этим кончим. Не сегодня, так завтра. Уверяю тебя. Мне рассказывали более опытные мужчины. И в книжках я тоже читал.

— Я не люблю тебя, Гена, — миролюбиво объяснила она, дыша глубоко и вольно. — Тебе кажется, что люблю, а я не люблю. Презираю людей, которые говорят сальности от скуки и пренебрежения. Не хочу быть с тобой!

— Отлично! Достойный ответ. Порядочная девушка дает отлуп мерзавцу. Добродетель, как всегда, торжествует. Ура! Земля не принимает злодея. За что же мне такое счастье? Диплом в кармане, квартира, и вот — встреча с необыкновенной удивительной женщиной. Наташа, родимая, запиши мне свои слова на бумажке. Это моя последняя просьба. Как это ты сказала — говорят сальности от скуки и воздержания?

Наташа все-таки вlepила ему пощечину, но как-то неумело и без желанья, а больше по необходимости.

На звук пощечины к лавочке приблизился тайный дружинник, мужчина средних лет с непримиримым выражением лица, в кожаной куртке, но без красной повязки на рукаве.

— Пристаете к девушке? — поинтересовался мужчина, глядя мимо неоконченной улыбки Афиногена. — Советую прекратить!

— Вот, — с горечью заметил Афиноген, — в Федуллинске полно рыцарей, но только среди бела дня. А когда по вечерам и глухой ночью шпана безобразит — ни один гад не заступится. Еще, небось, и наган вам доверили. Есть у вас наган или нет?

— Я с тобой, остряком, и без нагана разберусь. А ну подымись!

— Это моя невеста, — признался Афиноген. — Вы ошиблись. Ступайте с богом, справедливый герой.

Наташа ехидно заметила:

— Струсил, Геша... Никакой он мне не жених, гражданин. Но вы не беспокойтесь, я сама с ним справлюсь. Спасибо вам!

Мужчина покраснел, как обнесенный подарком именинник, насупился, кивнул, отошел шагов на десять и застыл в напряженной позе. Вид его выражал готовность прийти на помощь, возможно даже с риском для жизни, в любую секунду.

— Эй! — крикнул Афиноген. — Нехорошо подслушивать. Отойти еще маленько. Иначе — открываю стрельбу.

— Надоел твой цирк до чертиков, — бросила Наташа, гибко потянулась — гремучая змея! — легко вскочила на ноги и пошагала на высоких каблуках, не оглядываясь, — цок, цок, цок.

«Свидание окончено в полдень», — незлобиво отметил Афиноген. Он следил, как гибко покачивается еще совсем близко Наташино тело, и голова его кружилась. Рот пересох от горькой жажды. Никак не удавалось ему напиться, давно не удавалось.

— Иди покурим, — окликнул он незнакомого рыцаря. Мужчина охотно приблизился и присел рядышком как раз на Наташино местечко. Произошла обыкновенная смена собеседников, и разговор пошел в ином ключе.

— Что, браток, — улыбнулся мужчина. — Не обломилось, видать?

Афиноген протянул ему пачку «Примы», полюбовался ловким движением, каким мужчина зацепил сразу три сигареты.

— Дать бы тебе по сусалам, — лениво пожалел Данилов, — не совался бы ты не в свое дело, паренек.

Лицо мужчины по-прежнему было непримиримо, но уже с оттенком сочувствия добродушного прокурора к осужденному на полную катушку преступнику.

— Я сам кому хошь по сусалам отвешу. У меня второй разряд по дзю-до.

— Ишь ты! Тогда извини. Надо бы значок носить, не вводить людей в заблуждение.

— Девушка у тебя хорошая, парень. Редкая девушка. Мне такая не попадалась. Нет, не попадалась. Теперь поздно и мечтать. Двое пацанов у меня. Какие теперь девушки, верно?.. Рано я женился, сразу после армии.

— Промахнулся?

— Не то чтобы... Но и не попал в яблочко. Моя жена женщина обыкновенная, унылая, скрипящая. Как тебя звать-то?.. Афиноген?.. Чужое имя. Скучно мне с моей бабой. Особенно по выходным. Компании дома нету. А если дома нет компании, что остается? Бельмы налить, Афиноген, только бельмы налить винищем. Пить мне нельзя, как спортсмену. Детей воспитывать? Они сами кого хошь воспитают... Старший — десять лет ему, Тимка, — утром мне сегодня замечание сделал: не кури, папа, в квартире. У мамы легкие слабые, рак может быть... Я спрашиваю, а где же мне курить, в сортире, что ли? Он, мышонок, что мне ответил: «И в туалете нельзя, ступай во двор». И лицо при этом скобочил, слова вытягивает из себя, вроде как занозу. Тяжело, вроде, ему со мной толковать, с тупым и вредителем. Обидно. Мне кажется, Афиноген, никто меня не любит в семье. Мне кажется, я очень одинокий человек. Дай, как друг, еще сигаретку!

Он прикурил от сигареты Афиногена, затянулся с усилием, закашлялся.

— Надо бросать... Насчет дзю-до наврал я тебе, Афиноген. Нет у меня никакого разряда. В армии раза три ходил на самбо, руку вывихнули, я и бросил. Ты меня не бойся! Это я так — поугагать. Вообще я смиренный. Сегодня как-то по настроению вышло. Заступился. Думал, ты стилияга. Теперь сам вижу — ошибся... А это ты прав, в чужие дела соваться — поганое дело. Ты прав. И бояться тебе меня нечего.

Афиноген ласково ему улынулся.

— Я ничего не боюсь, дядя. Зла на тебя не держу, потому что вижу, какой ты справедливый и честный человек. На нашего завхоза в институте очень похож. Тот тоже затосковал перед самым судом. Но не рыпался и судьбе сказал: отвалите мне, гаду, сколько положено по закону за мою неудачу и дурость. На шесть лет его упекли, не за дурость, правда, за воровство. Да какая, в сущности, разница...

Вечером Афиноген напишет письмо родителям в город Челябинск.

«Здравствуйте, папа и мама, сестренка и ее муж Костя! Привет Вам из далекого города Федулинска! Как Вы все поживаете? Здоровы ли?»

Мама, не присылай мне пока шерстяные носки, я еще те две пары не износил. Ничего не присылай, не стоит тебе мотаться с этими посылками, когда у нас магазины ломаются от товаров и денег у меня куры не клюют. Вам перевозжу помалу, потому что коплю на машину.

Отец, как твои легкие? Не кури, брось курить, ей-богу! Вредно. Я подписал тебя на журнал «Здоровье», получаешь ли ты его?

У меня дела идут превосходно. Живу второй месяц в однокомнатной квартире, кухня — 10 метров, душ, туалет обит розовой плиткой. Приезжайте в гости, что Вам стоит, на месячишко хотя бы.

У меня есть одна важная новость. Познакомился я с девушкой, зовут Наташа, и она мне по душе. Скромная, работающая и очень уважительная к старшим. Каждую свободную минутку она читает книги, готовится поступать в институт. Но это не значит, что белоручка. Она читает, а сама вяжет то варежки, то шарфик. Обещала мне связать свитер к Октябрьским праздникам.

Родители у нее — учителя, люди грамотные, обеспеченные и вежливые. Я, правда, с ними мало знаком.

Мама, тебе бы понравилась Наташа, я уверен. Когда она идет по улице, все оглядываются и смотрят на меня с недоброй завистью. Конечно, она не совсем такая, о какой невестке вы мечтали. Не слишком проста и довольно избалована городским современным воспитанием. Боюсь, что настоящий мир, когда она с ним

столкнется, напугает ее до смерти. Тогда уж она обязательно переменится и какой станет — трудно предугадать. Сейчас она еще доверчивый ребенок, в котором приоткрылись одни лишь привлекательные черты.

Что еще?

В Федулинске жарко, и жара размягчила мои слабые мозги. В таком состоянии легко надеть глупостей, даже жениться. Так что лучше приезжайте. Скучаю по Вас отчаянно. Отец, походим с тобой по Москве, ты же ни разу не был в столице. Махнем на Волгу рыбачить. Тут недалеко — три часа езды на машине.

Мама, папа, сестра! Я люблю Вас, помню про Вас, думаю с нежностью о нашем стареньком домике, где меня никто не обижал всерьез и учили только добру.

Иногда в голове моей начинается путаница, стрелка компаса прыгает и скачет, как полоумная, и я забываю, где какие страны света. Тогда я восстанавливаю в памяти Ваши дорогие лица, вспоминаю, откуда я родом. Муть рассеивается, горизонт проясняется, и я набираюсь новых сил, чтобы честно продолжать жить и работать.

Простите, если написал коряво и коротко.

Преданный Вам сын и брат
Афиноген Данилов».

3

Никогда не перестану я любить Федулинск, случайный четырехэтажный город в моей жизни. Стоит представить его неухоженные мостовые, разноцветные, но одинаково посеревшие по весне краски домов, кривые вывески магазинов и их скучные витрины, тихие аллеи, корявые толстые бочки с квасом и около них пожилых, толстых женщин в белых халатах, моющих бесконечные кружки с отколоченными краями (кто, интересно, откусывает края у квасных кружек?), — стоит вспомнить все это, и терпкая, изнуряющая тоска охватывает душу. Что может быть трогательнее многочисленных российских городков, промежуточных пунктов между милой каждому русскому сердцу лопуховой и березовой деревней и мощными новыми индустриальными центрами? У этих городков нет мало-мальски логического и стройного архитектурного выражения, как нет психоло-

гической определенности в том возрасте человека, когда он на ощупь переступает из детства в юность. Все тут шатко, призрачно и полно предчувствия упоительных перемен. Зимой небо давит на Федуллинск с тяжелой и мрачной силой, зато весенние дожди омывают его до поразительной прозрачности и чистоты.

Известный городской поэт Марк Волобдевский, работающий агентом по снабжению, прославил Федуллинск лирической поэмой, отрывки из которой в нескольких номерах публиковала городская газета «Вперед».

...И когда стою на перекрестке,
Говорю с прохожими людьми,
Думаю, как славно мне

живется,
Хорошо живется, черт возьми.

Эти строки вызвали читательскую дискуссию, прошедшую под девизом: «Личность в эпоху цветных телевизоров». Много ядовитых стрел было выпущено в адрес мещан, для которых телевизор и ковры важнее истинно духовных наслаждений, к каковым были, в частности, отнесены чтение философских трудов Гегеля и любование васильками в поле. С программной статьей по этому поводу выступил начальник милиции капитан Голобородько Т. Г. В статье с тонким юмором, кое-где ненавязчиво переходящим в сарказм, замечалось, что «хорошо бы каждому мыслящему индивидууму прежде, чем встать на перекрестке, обогатить свой разум изучением правил уличного движения». Капитан также выдвинул сложный, но бесспорный антитезис: «Порядок на улицах и в подъездах — гарантия порядка в душе».

Сам Марк Волобдевский отнесся к газетной дискуссии скептически. «Воспитывать надо не статьями, а личным примером, — со свойственной ему рафинированной интеллектуальностью утверждал он. — Если на улицах грязь и разгильдяйство, а в магазинах — хамство и очереди, никакие газетные увещевания делу не помогут. Прогресс надвигается на человека с двух сторон и, не коснувшись его на публичной лекции, вполне может добить в подворотне».

В пору моего знакомства с поэтом это был высокий, розовощекий, кудрявый мужчина лет сорока, не более, в замшевой куртке и со значком румыно-советской дру-

жбы на груди. Личная жизнь его складывалась удачно. Он собирался вскоре жениться на внучке председателя исполкома, подал документы в вечернюю школу и подумывал о переходе на профессиональную литературную работу.

— В своем творчестве, — делился Марк, — я далеко оторвался от наших современников. Нынешние поэты страдают поверхностностью и самокопанием. Тема моей музыки — вся философски-социальная глубина мироощущения. Отсюда простота и изысканность формы моих стихов, которые иной раз эпатируют неподготовленную публику. У нас мало истинных ценителей поэтического слова.

Я с ним охотно соглашался, хотя знал, что он не совсем прав, а Афиноген спорил, раздражался.

— Вечно ты, Марк, путаешь божий дар с яичницей, — гроыхал он. — Сегодняшней литературе не хватает ума и азарта. И тебе их не хватает. Откуда им у тебя быть? Ты же стоишь на перекрестке. Из тебя здоровый смысл ветер выдул, если он у тебя имелся когда-нибудь... Все у вас есть: стили, темы, образы и прочее, и имена есть и время, — только не живое все, не дышит. Может быть, дело в том, что вы защищаете тезисы и постулаты, заученные еще в школе, а человека не знаете, живого человека с его умопомрачительными страстями. Не знаете и пытаетесь создать из стиля и тезисов. Получается иногда занимательно, но всегда мертво. Поэзия перепутала себя с философией и стала похожа на безумную женщину, которая ищет себе партнера среди манекенов в магазине готового платья...

— Бред, — кипятился поэт. — Сопли дилетанга. Милльон раз — бред!

Много раз слышал я такие и подобные им споры и всегда удивлялся: почему это люди посторонние, совсем других профессий и склонностей, психуют и выходят из себя, говоря о литературе?

Я теперь пишу, как вздумается, как рыбу спиннингом ловят, взмах за взмахом, то на мель, то в омут, авось попадет, — ни о чем не беспокоюсь: ни о редакторах, ни о наших деликатных, глубокообразованных, всезнающих, прекрасных, многодумных, художественно-литературных критиках. И так, ей-богу, хорошо и

свободно себя чувствую. Что-то со мной после будет, с горемычным? Что будет со мной за это «авось» в нашем досконально изученном и расставленном по полочкам мире литературы, где даже новизна и свежесть возможны и не осуждаются лишь «от» и «до».

Афиноген Данилов познакомил меня с федулинскими парапсихологами — скорбными, иступленно жестикулирующими людьми, глядящими на окружающее со снисходительностью мудрецов, познавших некий высший итоговый смысл в системе мироздания.

Их было семеро — молодые люди и пожилая женщина Клавдия Петровна, оседлая цыганка, которая могла дать фору телепатам с мировой славой. Именно под ее взглядом исчезали в воздухе предметы, начиная со спичечных коробков, и особенно юбилейные рубли; не прикасаясь желтыми какими-то усатыми пальцами, она двигала по столу консервные банки и зажигала электрическую лампочку. А уж потушить на расстоянии свечку для нее было так же привычно, как для нас с вами перелистнуть страницу. Я видел эти чудеса и охотно их готов засвидетельствовать перед самим Китайгородским, хотя, знаю, он в этом вопросе непримирим и ни на какие уступки все равно не пойдет.

Главным теоретиком у федулинских телепатов был Сергей Никоненко, непризнанный гений, молодой человек с удивительной даже для меня растрепанностью мыслей и редкостной вулканической сосредоточенностью на собственной персоне. Люди, сомневающиеся в телекинезе, для Никоненко попросту не существовали, он приравнивал их по меньшей мере к врагам отечества и презирал с сумрачной старообрядческой строгостью. Соратников по телепатическому кружку считал олухами и пустозвонами, но терпел, как возможных глашатаев парапсихологической истины. Почти каждое свое высказывание Сергей начинал с фразы: «Вы старайтесь понять, когда я вам говорю...» Причем звучали эти слова с трагической безнадежностью. Слушали его всегда со вниманием и оттенком экзальтации — таково обычное воздействие сильной веры, обоснованной или нет — неважно.

С Клавдией Петровной его соединяла трогательная, нежная дружба. Сергей называл ее ласково «милая Клаша» и, обращаясь к ней, улыбался доверчивой мла-

денческой улыбкой. Даже обычная реприза: «Вы старайтесь понять, когда я вам говорю...», адресованная ей, звучала как признание в уважении и доверии.

Как ни странно, выделял он из серой толпы и Афиногена, бывшего своего однокурсника, относя его не к обыкновенным дуракам, а к дуракам перспективным, до которых в принципе, при определенных обстоятельствах, может дойти свет истинного парапсихологического знания.

А мне, честно говоря, всегда хотелось верить в телепатию. Меня не смущает, что от телепатии легко протянуть ниточку к переселению душ, маразматическим домовым и прочим утешительным, забавным вещам. Что тут плохого? В основе телепатии таится причудливое переплетение мудрой надежды на существование непознанных могучих сил души и детской веры в нескончаемость человеческого «я». Вот ведь в чем штука.

Наверное, я говорю не совсем понятно, это оттого, что сам смутно понимаю вопрос. Понимал бы, не о чем было бы толковать. Дважды два четыре — тут ни прибавишь, ни убавишь. Философы всех времен как раз и рассуждали много о вещах, где не было полной ясности и можно было повернуть дело и так и этак. Тем, собственно, и пробавлялись. И были правы. Человек так уж устроен, что спорит, машет руками до тех пор, пока не наткнется случайно на точную истину. Тут он сразу замолкает, как пораженный громом. Знающий человек робок и застенчив.

Мне рассказывали, как умирал один мудрец, потративший жизнь на доказательства чего-то, так и оставшегося непонятым ему одному. Вокруг его постели, осененной злой болезнью, собрались удрученные родственники и ученики, ждали последних откровений и заветов.

Мудрец нашел в себе силы попрощаться. Он посоветовал любимому внуку надевать зимой шерстяные подштанники, чтобы не застудить почки, а также велел сыну не валять дурака и вложить накопленные деньги в кооператив. С тем, улыбаясь, и отбыл. Истинный мудрец. И так печально похожий на большинство из нас.

Наоборот, дурашливый человек остается самим собой до конца и у вечного предела продолжает пускаться

пузыри, рассчитывая что-то кому-то растолковать и урезонить противников. Суть прогресса в расширении круга незнания, а отнюдь не в том, чтобы поставить все точки над «и».

Заседания телепатического кружка в Федудинске проходили однообразно и не имели никакой особой цели. У кого-нибудь на квартире распивали вечером бутылочку-другую винца — обычно сухого и красного, — его предпочитал Никоненко, — вяло болтали о том, о сем, перемывали косточки рутинерам и консерваторам от науки, коих знали поименно. Ядовито обсуждали какой-нибудь очередной журнальный или газетный выпад против парапсихологии. Поговаривали о необходимости надежных связей, доказывали собственный несуществующий приоритет. В общем, мало чем отличались от любого другого кружка молодых ученых.

При мне обязательно заходила речь о литературе: Добрым словом поминали Эдгара По, Гоголя, Достоевского и многих других. Из современных высоко котиrowались фантасты: Бредбери, Азимов, Ефремов, Стругацкие. Милые ребятки с невинной алчностью неопитов на свой лад перетолковывали самые исследованные сюжеты, а уж там, где имелась возможность передернуть, передегивали не задумываясь.

— Если ты писатель, — с горечью замечал Сергей Никоненко, — постарайся понять, когда я тебе говорю... Возьми Гоголя, его «Вий». Помнишь, там Хома очерчивает вокруг себя магический круг, через который ведьмы проскочить не могут. Сказка, вымысел? Нет, дорогой, все сложнее. Николай Васильевич передал аллегорически народное мудрое восприятие телепатических идей, заложенных еще в библии, в религии, в любой, кстати, религии. У тех же буддистов многие постулаты основаны на вере в материализацию духовных сил человека... Хома взглядом, воображением создает вокруг себя стену, прочнее чем из металла... В народных сказках сплошь и рядом человек внутренним усилием оживляет мертвую природу, заставляет расцвести цветы, умиряет диких зверей. Создает особого свойства силовые поля, которые, естественно, в сказках имеют иные названия... Если угодно, я скажу прямо. Коллективная интуиция человеческого биологического вида дала ряд блистательных научных идей в

этом направлении, но идей чувственных, зашифрованных, воплощенных в языческие образы... Постарайся понять, когда я тебе говорю. Народ не ошибается, потому что не торопится. Народ вынашивает яйцо идеи веками, доводя ее в своем сознании до стадии аксиомы, а потом зачехляет эту идею в игровую сказочную форму.

Эх вы, золотушные догматики-формалисты. Вам бы все тешиться системами доказательств, а давно настала пора прислушаться к своему подсознанию. Боязнь ошибок, страх быть смешным и даром потерять драгоценное время ослепляет вашего брата, ученого сухаря. Ему удобнее и легче выкопать норку в огромной горе научных знаний, возведенной веками до него, и представляется чуть ли не уголовно наказуемой мысль отойти в сторону и начать наслаивать новый свежий бугорок. Любая система конечна, волшебный мир души — безграничен... Параспсихология открывает лазейку в безграничность перспективы. А? Что? Нет, ты постарайся понять, когда я тебе говорю.

Клавдия Петровна в споры не встревала, сидела смиренно в уголке и зыркала темными цыганскими глазами, кокетничала. Стакан ее всегда оказывался пуст. Несколько раз за вечер, я замечал, она с жеманной гримасой подставляла посудину под алую струю, но момента исчезновения напитка не уловил ни разу. Клавдия Петровна не пьянела, не краснела, никак не менялась, но стакан за стаканом исчезал в ней с неукоснительностью смены дня и ночи. Хотя нет, вру. В зависимости от количества выпитого вина она все более сосредоточивалась взглядом на одном Сергее Никоненко.

— Ну-ка, Клаша, милая!.. — кивал он ей наконец. Зажигали обычную толстую свечку и погружались в благоговейное молчание. Клавдия Петровна, рассеянно улыбаясь, встряхивала рукавами широкой блузки и начинала постепенно суживать глаза, что-то прищепывая. В какое-то мгновение из ее глаз на пламя, казалось, высверкивало узкое лезвие, подобное сфокусированному лучу фонарика. Огонь свечи испуганно отрывался от фитиля, зависал в воздухе и... гас, Сергей вскакивал и с почтительным поклоном целовал руку уникальной цыганке.

— Налей глоточек, Сереженька! — утомленно и ослабленно выстанывала Клавдия Петровна, рукавом картинно омахивая запотевшее лицо.

— Как вы это делаете? — спросил я у кудесницы.

— Не знаю, — ответила она, придерживая большим пальцем таинственно опорожненный стакан. — Не знаю, дорогой. Сама не знаю.

— Она не знает, — подтвердил Сергей. — Так же, как голубь не знает, почему он летает, а рыба не думает об устройстве своих жабр... Но мы скоро взломаем эту дверь! Ты постарайся понять, когда я тебе говорю...

4

В столовой Афиноген взял себе окрошку, шницель, салат, компот — все это поставил на мокрый, липкий поднос и понес по залу. Свободных мест не было. Столовая № 3 примыкала к городскому рынку и была пристанищем торговых людей. Около пустой вешалки старушка продавала соленые огурчики поштучно. Огурчики ей передавала в десятилитровой стеклянной таре буфетчица, бывшая скорее всего с ней в доле. Торговля огурчиками, помятыми, похожими одинаково на блины и кильку, шла бойко, потому что мужчины заходили в столовую не только за тем, чтобы поесть, чаще вообще не за этим, а за тем, чтобы в культурной обстановке пропустить стаканчик-другой. Стаканы тоже отпускала буфетчица из рук в руки, оговаривая право на бесплатный прием бутылок. Она была настолько увлечена огурцами и стаканами, что желающие просто купить бутылку воды или пачку сигарет успели образовать очередь до дверей.

«День сегодня никогда не кончится, — думал Афиноген. — Слишком жарко, все растает».

В тарелки на подносе он старался не заглядывать, хотя уже заметил, что в окрошке плавает пожухлая веточка сирени, а у шницелевой вермишели края засохли и пожелтели, как заусеницы на ногтях.

Наконец он высмотрел свободный стул и подсел к трем юношам с покрасневшимися лицами. Тут пир шел горой, и давно. Ребятки были в той стадии мироощущения, когда бутылки уже не прячут под стол.

Витийствовал худой детина в батнике.

— Нинка — тьфу! Мне с ней детей не крестить. Мне ее подружку желательно занавесить. Это, старики, мечта кабальеро. Походка, манеры, ноги — все при ней. Но с норовом! Я ей — и так, и по-другому. Никак. Купил, старики, брошку. Не постоял за ценой, — на, гадина, получи подарок... Старики! Не взяла. Я толк в женщинах знаю, эта — особенная. Круглая, как мяч, бедра, старики, ужас. Стоит, а бедра вибрируют. Взгляд — сдохнуть. Но — ни в какую. Брошку не взяла, морду воротит. Ах, думаю, давай напрямки. Говорю ей: мне на Нинку — тьфу! — хочу переиграть этот пасьянс. Согласна? Молчит, старики. Никак не притиснешься. Что делать, пацаны?

Приятели с упоением внимали трогательной истории и поэтому не сразу заметили Афиногена. Главным у акселератов был не тот, который рассказывал, а тот, который грудью налег на стол, на раздавленные огурцы. Он был постарше, посolidнее остальных, с татуировкой на кисти (вечный якорек с недоколотыми буквами) и с достоинством бегемота руководил разливом дешевого вермута.

— Выпьешь? — обернулся он вдруг к Афиногену.

— Жарко, — сказал Афиноген, — очень жарко.

— Бери стакан, не гоношись! — велел вожак и поухаживал за Афиногеном. Выплеснул, морщась, его компот в вазочку для салфеток и наполнил стакан на две трети рубиновой дрянью.

— В отпуск Федьку провожаем, — пояснил причину. — Гуляем нынче. Он ставит.

Федька, самый по виду смирный и непьющий, с кукольным изящным личиком, приветливо кивнул Афиногену.

— Пей! — с нарастающим раздражением подал команду татуированный.

Афиноген поднял стакан и, добро улыбаясь, аккуратно перелил содержимое в тарелку с огурчиками. В тарелке вино не уместилось и черной струйкой потекло по клеенке к краю стола.

Акселераты сразу впали в летаргию. Их было трое, а сосед — один. Это смутило юные умы. Это шло вразрез с привычным понятием явного количественного преимущества и мешало принять соответствующие меры

незамедлительно. Получилась тягостная для обоих сторон заминка.

— Ты чего, шизик? — спросил с искренним удивлением тот, который был увлечен Нинкиной подругой, — тебя Лева лично угостил, а ты — вино в общественную тарелку. Ты чего — не отвечаешь за свои поступки?

— погоди, — поправил друга Лева. — Он за все отвечает и сейчас ответит.

Афиноген рад был развлечению и знал, что, когда Лева начнет вставать, надо будет бить его головой в живот. Жаль, что в свалке, в тесноте пострадают невинные люди. Он жевал шницель, не скрывая удовольствия от разговора. Улыбка его совсем уж расплзлась до ушей.

Федька, отпусник, укорил:

— Нехорошо так, гражданин. Мы от души тебя угостили, а ты загубил напиток. Мы не миллионеры. Нам еще скоро бутылочку покупать придется, а грошиков почти не осталось. У меня был червонец, так мы его уже гукнули. Остальные мама вытащила ночью из кармана и спрятала. Правда, Левчик, ничего не осталось?

Лева, не дождавшись ответа от Афиногена, сказал:

— За такие дела можем всю биографию тебе исковеркать.

Третий подумал и добавил:

— Чтобы не возникал, гад.

Все-таки парни были в растерянности и никак не могли толком распетушиться. Что-то им мешало, что-то было не так. Афиноген понял, что драка не состоится, противник жидковат и морально не готов к хирургическому решению конфликта.

— О женщинах, дорогой друг, надо говорить умеючи, — попенял он худощавому Нинкиному дружку. — О них поэты слагали стихи, а ты? «Гадина, детей не крестить» — разве так можно? Разве согласится после этого культурный человек пить с тобой благородный вермут.

— Ты — культурный?! Лева, слышал? Ха-ха! А, Лева!

Афиноген печалился.

— Ну, что ты заладил — Лева, Лева. В твои годы, сынок, достойно обращаться за помощью только к господу богу. Попроси его, чтобы он вбил в твой медный

калган хоть одну честную человеческую мысль. Помогись, это не стыдно.

Худощавый задергался, заперхал и изобразил звериное лицо, но Лева осадил его, царственно положив ему руку на плечо.

— Пусть выскажется.

Афиноген спокойно под стальными взорами корешей дожевывал шницель, переведя замутненный печалью взгляд на Леву.

— Я понимаю, что ты у этих огольцов вместо бугра, по-нашему — офицера. Вот вершина, которой ты достиг к двадцати примерно годам. Действительно, высоко забрался, снизу и не достанешь. Запугал двух сопляков. Отчего же ты меня боишься, браток? У тебя вон за спиной двое торчат, а ведь я один. А я тебе объясню, почему ты боишься, — Афиноген почувствовал себя как бы на собрании в родном коллективе. — Во-первых, ты привык действовать наверняка и понимаешь, что тебе необходимо выставить против меня еще человек пять центровых, троих-то вас я отлуплю за милую душу, не сомневайся. Во-вторых, ты, видимо, из тех тараканов, которые привыкли науськивать и загребать жар чужими руками. Посмотрите, с какой грязью вы меня смешали, милашки. Вы хотели заставить меня лакать насильно вашу отраву. А я ведь не животное, нет. У меня есть право выбора. Как же так, вы ни с того ни с сего хотели лишить живого, незнакомого человека права выбора. Это же фашизм, дорогие мои подонки.

— Теперь точка! — выдавил багровый и трезвый Лева. — Теперь вставай и айда на улицу.

— Допейте винцо-то.

— Допьем, не щерься!

Лева разлил поровну в три стакана, и мальчики выдули вермут в торжественном молчании. Федя поперхнулся, и Афиноген любезно похлопал его по спине. Потом потопали на улицу.

Жаркий денек распалился еще пуще. Близкое, само себя прикоптившее солнце пекло немилосердно, плавало асфальт и слизывало краску с домов. Пахло резиновым клеем. Дождя не было третью неделю. Федулинск задыхался. Безупречно голубая косынка неба не пропускала на город ни малейшего ветерка. Одинокая

дворняга с сизыми пятнами проплешин дремала на газоне, высунув из пасти алый, с беловатым налетом язык. Очумевшая зеленая муха ползла по сухому собачьему носу и не решалась взлететь. Деревья поникли и по-осеннему отливали золотом. Все, что двигалось, — двигалось как при замедленной съемке: люди, машины, звуки.

Парней на воздухе сразу разморило, и они замешкались, не зная, что предпринять. Афиноген угостил их сигаретами. Закурил один Федя.

— Для кровавого дела, — заметил Афиноген, — надо куда-нибудь скрыться с глаз людских. А вдруг вы меня покалечите или нечаянно убьете. Нет, свидетели тут ни к чему.

— Не гоношись, — посоветовал Лева. — Ты свое получишь, заработал. Потерпи еще чуток, парчушка.

Афиноген сам бывал грубым, но по отношению к себе грубостей не терпел, тем более угроз.

— За клубом есть тихое местечко. Знаете?

— Годится.

Клубом в Федулинске называли городской Дом культуры, трехэтажное здание с шикарными колоннами у входа. Фасад оригинального строения напоминал самые смелые проекты времен архитектурных излишеств — массивные под бронзу двери, карнизы с барельефами, цветные стекла, радужная облицовка межоконных пролетов, какие-то немислимые панно, утратившие свое лицо после первого дождя, — все это должно было вызывать у федулинского жителя светлое чувство приобщения к прекрасному и навевать ему грезы, по меньшей мере о межпланетных контактах и внеземных цивилизациях. К сожалению, все деньги, отпущенные на строительство очага культуры, были ухлопаны на эти украшения, поэтому торец здания представлял совсем иную картину — глухая серая стена без окон и две водосточных трубы по краям. Поодаль — поросшее тиной и кустиками болотце, место размножения оголтелых, огромных комаров. Отсюда они вылетали по вечерам сосать кровь трудящегося люда. На месте болота прежде планировался бассейн с подземным переходом в раздевалки клуба, — и тут не потянули в смысле ассигнований. Тогда некая смелая голова предложила развести в пруду экзотических рыб, которые были заве-

зены в специальной цистерне и выпущены в праздничной обстановке в природный аквариум. Одновременно из соседней бани провели в пруд бетонированный слив. Это не понравилось капризным тварям, и в последующие дни многие из них демонстративно покончили с собой, выбросившись на берег.

В Федулинске даже бытовала поговорка, которой матери пугали расшалившихся детей: «Будешь баловаться, отведу тебя в бассейн».

Туда, к болоту, и повели Афиногена трое отчаянных парней. По пути им встретился приятель Афиногена, коллега Семен Фролкин. Молодой отец Фролкин катил перед собой нарядную коляску, в которой восседало его чадо.

Фролкин засиял, увидев приятеля, радостно пожал руки всем четверым.

— Странное явление, Ген, — зашпешил он с разговором. — Ты чувствуешь, какая жара, а у ребенка обильное слюноотделение. Как думаешь, он не болен?

Афиноген поиграл с мальчиком: «гули-гули-гули!» Ребенок от счастья закудахтал, как куренок.

— Он у тебя бензина не глотнул?

— Ты что? — обиделся Фролкин. — Совсем озверел ты, Гешка. Какой бензин? Ты как ляпнешь, хоть стой, хоть падай. Я к нему мухи не подпущу, а ты — бензин. Ну, даешь!

— Ладно. Я вот спешу с ребятками одно дельце обстряпать, а к вечерку загляну. Здоров твой малец, как бык. Здоровей нас обоих. Я лично сроду такой пузырь не выдую, какой он сейчас выдул.

— Правда?

Фролкин прощальным взглядом окинул парней, задержался на свирепом Левином профиле, что-то смутно заподозрил, но не поверил и покатил коляску дальше, помахивая пустой авоськой.

Вскоре произошла другая встреча. Две юные блондиночки в коротеньких платьицах, зеленом и пестро-неопределенном, выпорхнули из-за поворота и, по-галочьи щелбеча, упали в объятия Афиногенова эскорта.

— Левушка! — взвизгнула зелененькая. — Май дарлинг! Прелестно, прелестно! Где вы топчетесь? У Клавки родичи убралась в Москву до самого вечера. Полный холодильник яств. Стерео, простор.

— Нам некогда, девочки, — сказал Лева. — Мы вот с этим фраером должны потолковать. А потом придем к Клавке. Винца купите.

Девушки с любопытством уставились на Афиногена. Стройные, нетерпеливые, с озорными мордочками, на которых выражения менялись с быстротой картинок в калейдоскопе, — они напоминали Афиногену что-то студенческое. Какие-то деревья и звуки оркестра всплыли из его памяти, из недалекого.

— Хотят меня зарезать, — поделился он бедой с девочками. — А труп утопят в болоте. Где пиявки.

— Заткнись! — велел Лева, крутнув желваками тугих и влажных от пота скул.

— Видите? — горюя, продолжал Афиноген. — Спасенья мне нет... Хотя как же. Я слышал, в Федулинске сохранился древний обычай: если невинная девушка объявит приговоренного к казни преступника своим мужем — его помилуют. Ты же не станешь, Лева, этого отрицать? С твоим рыцарским сердцем...

Пока они шли до магазина, пока в суровом молчании поджидали девушек, пока гуськом возвращались к Клавиному дому, Афиноген скучал. Приключение ему надоело, жара измучила. Теперь он и сам не понимал, зачем дал втянуть себя в очередной балаган. Какого дьявола плетется рядом с распущенными детьми, которые не ведают, что творят.

Квартира, куда они пришли, была стандартной квартирой стандартного блочного дома, спроектированного в период острого жилищного кризиса и набравшего полную строительную мощностъ как раз к тому времени, когда кризис в общем-то миновал, и пресса стала осторожно поговаривать о том, не пора ли, мол, позаботиться о впечатлении, которое произведут наши застройщики на умы детей и внуков. Поймут ли они, мол, наши обстоятельства?

Плотные шторы не давали солнцу пробиться внутрь. Половину гостиной занимала полированная югославская стенка, на полу цветастый оранжево-серый ковер. Цветной телевизор в углу, а над ним — какой-то блеклый натюрморт. За стеклами стенки — нарядные переплеты книг и мерцание хрусталя.

— Давайте так, — предложил Афиноген. — Сперва выпьем, посидим, покурим, а потом уж и за дело, не

откладывая в долгий ящик. Насколько я понимаю, Клава, вся эта роскошь вскоре будет забрызгана кровью. Моей, что особенно прискорбно.

— Скажете тоже?! — Клава изобразила душевный переполох. — Любочка, они рехнутые, что ли?.. Мальчишки, прекратите! Я всех пригласила в гости, это мой дом... Я не потерплю, не хочу!.. Вас зовут Гена?.. Не обращайтесь на них внимания. Вы — мой гость. Люба!.. Левка, прошу тебя! Не будь скотиной, прошу!

— Хорошо, Клавка. Не шуми. Пусть попросит прощения, можем поглядеть. Но не раньше. Как, Колюнчик?

— Ребята, — сказал Федя. — Может, того? Он ничего вроде... свой... вроде. Может, это... не надо?

Лева был лидером, и он бы им не был, если бы не умел чутко улавливать атмосферу. Он был уверен: втроем они поколотят Афиногена. Какие могут быть сомнения, не впервой. Но он умел предугадывать и будущее. Лева остерегался мести. Отволтузить гада нетрудно — удастся ли сломить его дух? По всему видно — вряд ли. Значит, он будет искать следующей встречи. Лева уже пригляделся к этому типу. Да, в следующую встречу тот не промахнется — заметно по его улыбающейся будке. Каменное, влажное Левино лицо, естественно, не отразило этих глубоких внутренних колебаний.

— Будешь извиняться?! — спросил он.

Колюнчик сбоку заворошился и взвесил взятую со стола тяжелую бронзовую пепельницу. Он ждал знака, приняв боевую стойку.

— Гена, ради меня! — попросила Клава, причем глаза ее сверкали от возбуждения, мало похожего на страх. — Ты их не знаешь...

Афиноген опустил в кресло.

— Клава, — сказал он, — я устал. Мне очень хочется выпить и поболтать кое о чем именно с тобой, потому что ты одна защищаешь меня от оголтелой банды. У тебя доброе сердце, милая девушка. Спасибо!

Он взглянул на Леву с обычной своей улыбкой. Тот стоял в такой позе, в таком выгодном для первого удара положении, что даже сам растерялся.

— Извиняться перед подонками я, к сожалению, не буду. Мне от стыда...

Он не успел договорить. Лева прыгнул, рыча, как тигр. Афиноген перевернулся вместе с креслом на спину и мгновенно очутился на ногах. Этому фокусу он научился еще в акробатической школе в Челябинске. Лева наткнулся животом на ножки кресла, упал, и Афиноген страшно саданул ему коленом по зубам. Вождь акселератов жалко ворочался на ковре рядом с опрокинутым креслом, закрывая ладонями лицо.

Колюнчик метнул-таки пепельницу, но промахнулся. За спиной Афиногена тенькнуло оконное стекло; отпружинив от перегородки, пепельница шмякнулась на ковер. Девушки завизжали.

— Лето, — отметил Афиноген, — а вот зимой без стекла прямо хоть пропадай.

Он шагнул к Колюнчику, кривя губы и покачиваясь из стороны в сторону. Колюнчик попятился и шмыгнул по коридору.

— Я не буду драться, — предупредил бледный херувим Федька. — С самого начала я не хотел. Вы же видели, видели...

— Провокатор! — шумнул Афиноген и вlepил ему пощечину, от которой непротивленец, как мяч, врезался головой в стену. Азарт победы налил руки Афиногена лютой силой. Колюнчика он встретил на кухне. Боец одиноко стоял у раковины с тупым столовым ножом в руке.

— Зарежу, гад, не подходи! Убью! — пролепетал он, шамкая и слезясь в истерике. Афиноген отобрал у него нож, взял за пушистый загривок и ткнул носом в эмалированную раковину. Колюнчик, скуля, вырвался.

Клава отняла у Афиногена жертву. Она вопила в притворном ужасе:

— Колюнчик, милый, чуть не утонул!

Афиноген, отдуваясь, сел за кухонный стол, откупорил портвейн и залпом ахнул целый стакан. Сердце скакало, и какая-то боль тихонько возникала, как пульс, справа под ребрами. Он уже несколько часов ощущал там что-то неладное, теперь это «что-то» прояснилось и заняло в боку.

— Садись, — пригласил он мокрого Колюнчика, похожего на заблудившегося в лесу грибника, — выпьем. И ты, Клава, присаживайся. Спектакль окончен.

Вбежала Люба, намочила под краном полотенце, выжала его, напрягая худенькие ручки, стрельнула в Афиногена беспронзрышным взглядом и умчалась, сверкнув коленками.

— Оказывает помощь раненому герою, — пояснил деликатно Афиноген, налил в чашку вина и передал Колюнчику, — отнеси Леве для поправки.

Колюнчик двумя руками принял чашку, молча удалился. Клава рванулась было за ним, но Данилов поймал ее за подол, усадил на табуретку. Она не сопротивлялась. Пальчики ее вздрагивали на стакане.

— Вот ведь вы какая, молодежь, — погоревал Афиноген, — озорные все, с удалством. А чуть маленький инцидент — дрожите как осиновыя листья. Успокойся, Клава. Что такое....

— Стекло разбили, — сказала Клава. — Ужас! Мне теперь — хана...

— У меня есть знакомый стекольщик, — порадовал ее Афиноген. — Полчаса тут ему занятий. Червонец в зубы, и не шукай вечерами. Это его любимая песня.

Клава благодарно кивнула.

— Вы не подумайте, — сказала она с внезапным воодушевлением. — Эта компания случайная. Просто от скуки. Мне из них никто не нравится... Это Любка сохла по Левику. У меня другие идеалы, — она подумала и... как в прорубь сиганула: — Со всякой шпаной мне не по пути.

Из комнат не доносилось ни звука. Может быть, там выносили приговор Афиногену, а может быть, Лева, умирая, отдавал побратимам последние распоряжения. «Схороните меня на высоком берегу реки, — завещал Лева. — Под вековыми осинами. Совет над моим изголовьем гнездо кукушка, и буду я вечно слушать обманные звуки».

Афиноген хотел встать и уйти, но пока не мог. Придавила его к стулу чудовищная слабость. Не стоило бы, и непривычно было так останавливаться посреди идущего обыкновенного дня и видеть вещи то далекими, то вдруг близкими, будто туда-сюда переворачивали перед глазами полевой бинокль. В душе царил покой, как перед взрывом. В лазерево-беленькой лаковой кухне вся-то жизнь представилась давно и задаром прожитой. Ничего впереди, только Клавино двусмысленное щебе-

танье. Когда она замолчит — стены рухнут. Это уж точно.

На кухню пришел Феденька.

— Лева очень страдает, — доложил он с серьезным выражением лица, как человек, заглянувший по ту сторону добра и зла. — Он не обижается. Просил еще вина, если можно.

— Налей, — велел Афиноген. Клава нацедила стакан и брезгливо подала Левиному гонцу. Она окончательно приняла сторону Афиногена, и теперь ее раздражали эти клеветные мальчишки, мешавшие их с Геной безоблачному счастью, пока, правда, туманному.

Афиноген с усилием поднялся и побрел следом за Феденькой. В коридоре он споткнулся и чуть не упал, ухватился за вешалку.

Лева восседал в кресле, раскинув руки, как Роланд после битвы. Колюнчик прикладывал полотенце к его разбитому, багровому лицу. Люба стояла у окна, спиной к ним.

— Сегодня у вас получилась осечка, хипари, — сказал Афиноген. — Сегодня тоскливый трудный день, я понимаю. Но в другой раз вам, возможно, повезет и удастся покуражиться втроем над одним. Удастся, я знаю. Однако мне вас жалко, вы жидкие ребята с сопливым нутром... И придет день, когда кто-нибудь ломает вам хребет окончательно. Запомни, Лева! Придет день, и твой хребет хрустнет, как яблоко.

Колюнчик не выдержал и затрясся в привычных конвульсиях искусственного освирепения, но, наткнувшись взглядом на посеревшее, тусклое лицо Афиногена, разом пришел в себя.

— Кто ты такой, — вдруг завизжала Люба. — Зачем ты пришел? Кто тебя сюда звал? Уходи! Уходи! Бандит проклятый!

— Успокойся, девушка, я ухожу! И тебе не советовал бы с ними оставаться! Разве что с Феденькой. И не ори — это неприлично. Тебе бы не кричать надо, а задуматься. Всем вам стоит подумать о себе, ребятки.

Он выпил, аккуратно поставил стакан на поднос и пошел к выходу. У дверей Клава его догнала, уцепилась за рукав, приникла жалобным телом.

— Можно, я пойду с тобой? — шепнула она. — Мне с ними скучно, Гена. Можно я тебя немного провожу.

— Нет, — сказал Данилов, — в другой раз.
Нагнулся и поцеловал ее сладкие от вина губы.

5

Афиноген опять брел по горячей федулинской улице. Солнце уже подкатилось к горизонту, и нежные, прохладные тени пересекли асфальт.

Незаметно для себя — без мыслей, без желаний — Афиноген добрался до Наташиного дома, поднялся на второй этаж и, не мешкая, надавил кнопку звонка. Отворила Наташина мама — Анна Петровна.

— Гена, — удивилась она, окидывая его настороженным взглядом матери и педагога. — Заходи, пожалуйста. Наташа дома, очень расстроенная... Очень расстроенная, Гена!

Хотя Анна Петровна приглашала его войти, но от двери не отступала и с нетерпением ждала объяснений. Дочь у нее была одна, а женихов — пруд пруди. Афиноген напрягся и расцвел самой своей беспечной улыбкой.

— Как ваше здоровье, Анна Петровна? Или, помните, приветствие скифов — велика ли ваша сила?

Педагог Гарова нахмурилась, а мама Наташи шаловливо погрозила мизинчиком. Раздвоение произошло незаметно для обоих.

— Гена, что с девочкой? Прибежала, заперлась в комнате и не желает со мной разговаривать.

— Не знаю, — сказал Данилов. — Может, обидел кто? Она такая деликатная.

— Вы проходите пожалуйста...

— Я тут постою. Попросите Наташу на минутку.

Педагог Гарова изобразила на лице сценку: «Как будет угодно, сударь!» — и, не притворяя дверь, направилась в глубь квартиры.

Наташа вышла на лестничную клетку спокойная, со строгим, изумительно прекрасным лицом, с распущенными волосами, в простеньком ситцевом халатике.

— Уже назюзюкался? — спросила она, взглянув мимолетно.

— Наташа!

— Когда это ты успел? Надо же, до положения риз. И жара нипочем. Принести компоту?

— Миленькая девочка из сказки! Красная шапочка.

— Вот как. Не ври!

— Самая бесценная на свете. Я маме про тебя напишу. Я люблю тебя...

Наташа напряглась, чтобы уйти, но Афиноген ловко загородил ей дорогу.

— Пусти!

— Выходи за меня замуж, — сказал Афиноген, устываясь в пол. — Будем жить по закону, если тебя не устраивает гражданский брак. По документу будем жить.

Наташа бельчонком металась в опутывающих ее сетях. Безумная гордость и робкая надежда гоняли ее сердечко по кругу, как маленький резиновый мячик.

— Какой ты муж, — ответила она, — ни одному твоему слову нельзя верить. Кругом подвох. Ты замучил меня, Гена. Лучше уходи! Уходи и не приходи. Я не умею, как ты, всегда смеяться. Может быть, я и глупая, но мне хочется знать точно, что и как... Я же не кукла.

— В четверг пойдем в загс, — сказал он. — Но не раньше.

— Если бы я могла, то убила бы тебя!

— В четверг, — повторил Афиноген. — Во вторник у нас профсоюзное собрание, а понедельник — сама понимаешь — черное число. И в среду никак нельзя, у меня банный день.

В Наташиных глазах встали светлые слезы. Он готов был за каждую слезинку умереть по разу. Он глядел, мягко улыбаясь, на ее чистое лицо, и постепенно Наташа успокоилась, щеки ее порозовели.

— Не надо, милый, — попросила Наташа. — Не смотри так на меня. Не надо.

— В четверг я зайду за тобой в десять утра, — сказал Афиноген. — Давай сверим часы.

По ступенькам он спускался осторожно, невольно почему-то припадая на левую ногу. Уже выходя из подъезда, услышал, сверху хлопнула дверь. Он подумал: «Наташа! Красная шапочка. Помяни меня в своих молитвах, нимфа».

В это время Петр Иннокентьевич Верховодов вспоминал вот что. В один из дней мокрой осени сорок вто-

рого года ему приказали протянуть телефонный провод к расположению соседнего полка. Напарником он сам выбрал сосунка Пруткова, который вечером только при-был к ним, как успел выяснить старшина Верховодов, прямо из объятий папочки-архитектора, из богатой сто-личной квартиры, где он прожил, ни о чем не тужа, ровно семнадцать лет. Пруткова знобило, то ли от стра-ха, то ли от холода, он подрагивал нервно, как стебе-лек на ветру, и взглядывал на старшину дерзкими не-мигающими очами. Невыясненным оставалось, как он попал в действующую армию, почему его прислали сразу на передовую. Любопытный старшина и собирал-ся порасспросить мальчишку по дороге.

Было туманное скользкое утро с мерзлым поганым колючим дождиком. Путь их лежал через небольшую березовую рощицу, странным образом совсем не за-тронутой недавним артиллерийским адом.

— Неужели, — приступил Верховодов, — у вас име-лось шесть комнат и рояль? Прямо в гостиной?

— Да, — ответил Прутков с гордостью и вызовом, горбясь под тяжестью непривычной амуниции. — Что тут такого? У меня папа известный ученый и мама пре-подает в консерватории. Им положено.

— Понятное дело, таким родителям... А где сейчас отец-то?

— На фронте, где же быть еще.

Верховодов усомнился. Известные ученые вряд ли воюют на фронтах.

На опушке они приладились отдохнуть. Верховодов привалился спиной к большому корявому пню и стал перематывать портянку. Сосунок Прутков стоял рядом в обвисшей шинельке и взглядывался в дальний край леса. Дождик почти прекратился, роился в воздухе, не доставая до земли.

— Там фрицы? — спросил мальчик.

— Сядь! — резко приказал старшина. — Не тор-чи! Тут не папашина квартира тебе.

Прутков послушно шмякнулся прямо в липкую грязь.

Он уныло поглядывал на Верховодова, и лицо его поземлело.

— Сейчас я умру, — плаксиво протянул он, — сей-час мне крышка. Сейчас вот, я слышу, чувствую!

Верховодов хотел выругаться, а то и врезать разок мальчишке за панику, но язык его чудно заклинился во рту и руки опустились. Он увидел перед собой не юное, а перекошенное сизым ужасом лицо. В мокрой тишине возник сиплый звук, щелкнула хлопушка мины, и Верховодов повалился набок, в пустоту. Взрывом вырвало, срезало, как лезвием, пень за его спиной. Когда он очухался и сел, Пруткова рядом не было. Его вообще больше не было нигде. А на том месте, где мальчик чутко издали услышал свою смерть, из бурого месива земли и крови торчала грязная без пальцев и кожи худенькая рука с прилипшим к кисти проводом.

Верховодов покачал головой, потом дообернул запачканную глиной портянку и потянул катушку дальше. В роте не сразу разобрались, что он контужен, и ротный долго с пеной у рта требовал у него каких-то сведений. Петр Иннокентьевич в ответ лишь улыбался, пританцовывал, ему не терпелось вдарить чечетку, и воинственно мычал. Он онемел на два месяца.

Впоследствии Верховодов рассказывал этот случай по-другому. Будто бы они были хорошими друзьями с солдатом Прутковым, чуть ли не братьями. Будто бы отчаянный хлопец Прутков неоднократно поднимал взвод в штыковую атаку и только благодаря его, Верховодова, постоянной опеке долго оставался цел.

Будто бы он схоронил младшего брата на светлой поляне и в изголовье укрепил жестяную звезду. Верховодов тщетно обманывал свою память. Он не хоронил брата, а уходил, танцуя, по стерне, тянул катушку, бежал от страшной, сине-желтой, в травинках и грязи тонкой торчащей руки.

От бреда памяти его избавил звонок. Прибыл верный обещанию Афиноген Данилов.

Петр Иннокентьевич сильно обрадовался, усадил гостя в красном углу под портретом академика Ивана Павлова.

— Отчего же один, Геша? — поинтересовался Петр Иннокентьевич, расставляя на столе закуску, наливочку, рюмки из серванта.

— Один? А с кем я должен быть?

— Ты же хотел, хм, позвольте, — с девушкой.

— Какие там девушки, Петр Иннокентьевич. Уберег господь... Суматошные, пугливые создания. Не надо,

Лучше в омут... Вот хотя бывают, правда, красивые женщины. Посмотрит — рублем подарит. Но обычно — наоборот. Разоренье, плутовство, падение нравов и ветвистые олени рога до небес.

Верховодов сладостно почмокал губами, припоминая.

— Да, Геша, ты, вероятно, близок к истине. Я тоже в молодости... имею кой-какой опыт, разумеется. Не мне, старику, говорить, но, конечно, бывало. Эхма!.. Однако не смотрю так мрачно. Женщины, конечно, некоторым образом украшение и блеск жизни. Ты пей, Гена...

Афиноген пригубил, восхищенно закатил глаза.

— Послушай одну старую историю, — заспешил Верховодов. — Про женщин. Я расскажу! Но давно, конечно, было. Влюбился мужик в свою госпожу — богатую светскую даму из высшего общества. Истрадался, Гена, весь насквозь, измучился. Охудел, зелье даже в горло не шло. Но как ему к ней подступиться! Она в шелках, в нарядах, арии поет гостям, а он, как есть, в лаптях и тулупе. При конях службу несет. Дама эта, разумеется, видит мужицкие терзания и вроде посочувствовала ему. Однажды вызывает его к себе в гостиную и подводит к буфету... Слушай, что дальше. Наливает мужику в деревянную рюмку водки и говорит: пей. Он, конечно, губы утер и выпил. Не в радость выпил, а так, из уважения. Теперь дама наливает водку в серебряную рюмку и опять говорит: пей... Выпил. Что дальше, думает, будет происходить. Дама разлюбезная тем временем поводит обнаженным плечиком, подмигивает мужику и наливает водку в золотую рюмку с царским вензелем: пей! Выпил мужик, дело знакомое. А сам уж, конечно, растерялся стоит. Днем дело-то. «Ну как эта водка?» — спрашивает госпожа с лукавством. «Обыкновенная, — отвечает мужик, — что та, что эта из одного, поди, графина налита». «Ну вот, — объясняет ему дамочка, — так и женщины все одинаковые. Оправа только разная».

Поклонился мужик за науку, все понял и ушел. И после того урока вскоре излечился от пагубной страсти. Как тебе этот случай, Геша?

— Все точно, — кивнул Афиноген. — Как в действительности.

Верховодов порозовел и возбудился от хорошего разговора.

— Мужчины, нет, другое совсем дело, Гена. У мужчин есть воля, ум и цель. Поэтому их жизненный путь складывается в зависимости от идеи. А женщины, Гена, как растения. Солнышко светит — они счастливы, дождик закапает — цветут пышным цветом. Холод настанет, буря — никнут, Геша, и засыхают до самого корня. Что ты, дорогой. Ты мужчину не равняй. Настоящий если мужчина, то живет со смыслом и защищает идею. Даже я, старик, а борюсь со злом и мракобесием и защищаю зеленую природу от посягательств распоясавшихся хулиганов.

— Великое вам за это спасибо от всех федулинских жителей, — сказал Афиноген. — Они вас любят и уважают.

Верховодов чуть не всплакнул от добрых, чудесных слов и забыл окончательно солдата Пруткова. Они еще с Афиногеном долго просидели за столом и беседовали про разные дела, которые ежечасно происходят вокруг нас и незаметно влияют на течение жизни...

6

В старину писали романы, где второстепенным лицам отводилось столько места, что, казалось, автор слишком увлекся и намерен прихватить еще одну жизнь, чтобы дописать роман до конца. Часто писатель от второстепенных героев незаметно переходил к еще более второстепенным родственникам второстепенных героев и не ленился описывать не только подвиги и деяния людей, но и то, как они были одеты, какими болезнями болели и в котором часу садились завтракать. Все это с пугающей подробностью и редкостной достоверностью. Именно поэтому литература стала житейской историей недавних эпох. Не знаю как кто, а я читаю старые толстые великие романы с уважением и трепетом, испытывая такое же чувство, какое испытывает пахарь, шагая по краю кропотливо, глубоко и ровно вспаханного поля.

На некоторых читателей старинные романы действуют подобно снотворным пилюлям. Что ж, и это хорошо и полезно,

Хотя, потеряв вкус к подробным описаниям, мы утратили очень важное свойство души — любопытство к кажущемуся несущественным. Поглядите, как ребенок часами замороженно следит за течением грязного весеннего ручейка, и вы поймете, что он счастлив более нас с вами. Он счастлив своим умением созерцать обыкновенное, и ему не бывает скучно.

Читайте толстые романы, хочу я сказать. Учитесь вдыхать упоительный аромат их подробностей, чувствовать волнуемую прелесть замысловатых длиннот, и к вам вернется сладкое ощущение полноты и очарования мира.

7

Афиноген Данилов скверно спал ночь и утром встал с ощущением тяжести в правом боку и головной болью. Не было обычной бодрости и желания немедленно что-то предпринять. После нескольких упражнений он начал задыхаться и прилег на пол отдохнуть. Он лежал на полу, видел трещинки на потолке, отлупившуюся побелку, мерцание желтого провода в лампочке и морщился от слабости и вялого беспокойства.

Душ и крепкий горячий чай не освежили его, а чуть не усыпили. Афиноген закурил и лег, не раздеваясь, на кровать, с силой уперся пятками в деревянную спинку. Дом наполнялся хлопаньем дверей, шорохами, шумом шагов, голосами, обрывками радиопередач. Город Федулинск просыпался и потягивался, как многоногий и многоголовый зверь.

«Мне некуда торопиться, — думал Афиноген. — Все пустое. Совсем недавно, вчера что-то сломалось во мне. Но я не знаю — что. Жилы мои напряжены, нервы вибрируют, и боль скоро доберется до сердца. Что же это такое? Наверное, я перегулял вчера».

Он ясно вдруг представил свою смерть и понял, что она не будет окончательна. Он всегда помнил, что не умрет надолго. Миг смерти, как укол иглы, а потом все заново: смех и слезы.

«В другой жизни, — подумал Афиноген, — я выучусь на искусствоведа. Буду писать статьи в толстые журналы и полюблю знаменитую актрису, которая в истерике станет хлестать меня по щекам сценарием и падать в обморок на кушетку».

Из той, другой жизни ему неинтересно было наблюдать сегодняшнего Афиногена Данилова, расторопного и деловитого человека с засученными рукавами нестираной рубашки, с аккуратной лукаво-добродушной улыбкой, который бродит по прекрасному Федулинску, шутит, с апломбом изрекает глупости и постоянно готов потискать любую мало-мальски хорошенькую девочку.

На работу он опоздал почти на час, и вахтер, пожилой дядька Варфоломей, любовно проставил ему на пропуске голубой штампик.

— Ну вот, — доброжелательно сказал Варфоломей, — теперя закукарекаешь на ковре у начальства.

После этого они закурили.

— Никто не обижает? — поинтересовался Афиноген. — Служба ведь у тебя опасная, необычная.

— Жаловаться грех, — охотно вступил в беседу Варфоломей. — Гроши есть, а при них ты завсегда кум королю. Ты же знаешь, Геша, устроился я на полставки охранять аптеку. Вот там, правда, совсем другой коленкор. Там держи нос по ветру.

— Это почему же? Золота в аптеке нет.

— Пьяницы тревожат. Пытаются по липовым рецептам закупить заманиху. Народишко вострый, а попадись под руку ему — он за себя не ответчик, потому как болезнь им управляет.

— И много их, пьяниц?

— Двое. Федька Шепелявый, ты его должен знать, он билетики в кино отрывает, и, конечно, Эдик... Но у меня с обоими разговор одинаковый — пинка под зад, и... до встречи, граждане.

Варфоломей приосанился, картинно вытянул деревянный протез. Афиноген не уходил, не торопился, потому что идти ему было трудно.

— Ну вот, значит, — продолжал Варфоломей, — в аптеке — полставки, здесь, конечно, оклад, плюс пенсия и инвалидность. Считай, на круг выходит без вычетов две косые. А у тебя сколь выпадает?

— Меньше, гораздо меньше.

Афиноген потушил в пальцах сигарету и поковылял к основному зданию.

— Эй, — крикнул вдогонку Варфоломей, — может, водички попьешь?

Афиноген пожал плечами, не оглянувшись. Подумал: «До обеда покантуюсь — и пойду к врачу. Что за зараза пристала? Старик даже заметил».

Он долго шел знакомым двором, утомился и присел на скамеечку возле самого входа в родной отдел. Тупо, без удовольствия созерцал светлое небо, крашенный бетонный забор, груды железного хлама, разбросанные по двору неизвестным могучим сеятелем, — созерцал все это, и сердце его захлестывали плавные волны тоски.

Последний год он очень торопился, гнал по пням и колдобинам, как на вороних, чувствуя необходимость совершить нечто значительное, необыденное, преодолеть рутину текучки, доказать себе и другим неслучайность своего пребывания здесь. Смакуя тайком возможные блестящие перспективы, он испытывал ни с чем не сравнимое возбуждение. Мощные токи творчества, не находя исхода, опьяняли его. Однако, пережив новизну первых впечатлений и надежд, Афиноген в растерянности заметил, что ничего на их участке не изменилось с его приходом. Те же самые повторялись ошибки и недоразумения, так же загадочно опаздывала документация, продолжались те же самые невеселые авралы в конце декад, и сотрудники с милой иронией повторяли однообразные шутки по поводу премий, которых им не видать как своих ушей.

Месяц назад в длинной очереди в столовой Афиноген разоткровенничался с неким Федоровским, пожилым научным сотрудником с огнем во взгляде, вызванным, возможно, предвкушением горячей пищи. Прежде они только здоровались, а тут, под настроение, Афиноген поделился с ним дельными (как ему казалось) и тревожными соображениями о неразберихе в системе координации между ведомственными НИИ. Федоровский загорелся: нервически постанывал, мигал глазами, как семафор, и, наконец, оглянувшись по сторонам и злым шепотом провозгласил:

— Всех пора на смену. Пора! Засиделись наши стариканы в теплых креслах. О чем может идти речь, если из директора песок сыплется. Если само слово «перемены» его бросает в дрожь... Вы все правильно говорите, юноша, у вас ясная голова, но никто вас не услышит. Они глухи.

— Кто? — испугался Афиноген.

— А вот... — И Федоровский повел рукой по стенам и затем, округлив глаза до беспамятства, ткнул перстом в потолок.

— Так уж все сразу? — усомнился Афиноген Данилов. Пылкий экстремист добродушно кивнул, взор его излучал колоссальную энергию; но он не выдержал роли до конца и расхохотался с раскатами и переливами, словно прогрохотал в столовой ранний весенний гром. «Разыграл, гад, — понял Данилов. — Пошутил надо мной, над балбесом».

Афиноген тогда не обиделся. Что-то постепенно потухало в нем; и вот сейчас он покорно съезжился на скамеечке.

Афиноген рассказывал мне, что пошел учиться на экономиста, уверовав в реальную связь между жизненным уровнем людей и их духовным совершенством. Он предполагал, что чем лучше люди живут, тем лучше они становятся, во всяком случае должны становиться.

— Это не скучно, — уверял Афиноген. — Потому что необходимо. Экономика, если угодно, как история, соизмеряет поэзию и реальный факт... Количество буханок хлеба на душу человека она соотносит с его любовью к изящной словесности и искусству. Если экономикой будут заниматься люди с душами торгашей, произойдет непоправимый перекося в сторону буханок хлеба и джинсовых костюмов. Расчет превратится в плетку из цифр и инструкций, которой будут сбивать пыль с ушей у таких, как мы с тобой.

Выскочил из дверей здания озабоченный Семен Фролкин, за ним степенно вышел Сергей Никоненко. «Чудно, — отметил Афиноген, — один бежит, другой шагает, а идут рядышком и даже спорят».

Коллеги заметили Афиногена, приблизились. Сергей посмотрел в сторону, брезгливо, как человек, вынужденный решать мировые проблемы из-за нехватки времени на бегу.

— Как поживает телекинез? — спросил у него Афиноген. — Почему нынче летающие тарелки?

Сергей оторвался от своих мыслей.

— Эх, Гена, — заметил он сочувственно, — ты хотел пошутить, а сморозил чушь. А ведь я тебя уважаю. В твоей пустой башке изредка бывают просветления.

Поэтому даю совет: никогда не трепи языком ради красного словца. Экономь время. Постарайся понять, когда я тебе говорю.

— Страшная все же дыра — Федулинск, — пожаловался Фролкин. — Негде для ребенка купить свежего творога. Нету нигде, представляете. Утром еще на рынке бывает, а потом — все. Нигде нету.

Никоненко скривился, будто хлебнул купороса.

— Потолкуй с такими людьми, — с искренней злостью произнес он, — творогу ему не хватило. Ая-яй! Господи, какой ужас!.. Судьба поколения находится в руках невежд и нытиков. Обожрись ты своим творогом, купи корову, только молчи. Даю тебе совет, Семка: большей частью старайся молчать. Иначе с тобой не возможно рядом быть. Молчащий человек всегда умен. Заметь это.

— Заведешь семью, тогда узнаешь, — слабо огрызнулся Фролкин, — да еще если жена работает. Это вам, братцы, не о телепатии на досуге разглагольствовать. Это — жизнь... Обыкновенная жизнь, без которой, кстати, и тебя бы не было, Сергей, со всеми твоими идеями фикс. Чтобы они родились, тебя тоже в детстве мамочка подкармливала, извини, творогом.

— Он был бы независимо, — сказал Афиноген, — его транспортировали из ниоткуда с помощью парапсихологии.

Никоненко покачал головой:

— Вам бы обоим, братцы, в мезозойский период, в руки по деревянной дубине и... в набег на соседнее племя. В первобытной общине вас просто нечем было бы заменить. Кстати, Афиноген, ты тут прохлаждаешься напрасно. Тебя товарищ Кремнев изволили спрашивать в крайне недоброжелательном тоне.

— Зачем?

Кремнев Юрий Андреевич был начальником отделения и редко «выходил» на сотрудников рангом ниже заместителей отделов. Лишь в торжественных случаях он с трибуны обращался к людям с прочувствованной речью. Правда, иной раз Юрий Андреевич обходил по утрам лаборатории и здоровался с подчиненными за руку.

— Зачем? — повторил Афиноген.

— Думаю, — сурово ответил Никоненко, — старик

раскопал твои грязные делишки. Наконец-то, Данилов, тебя выведут на чистую воду. Давно пора.

Афиноген в мечтах не единожды представлял некую расплывчатую ситуацию, которая сразу выдвинет его из рядовых сотрудников в сияющие дали. Он не удивился бы и вызову к министру.

— Пойду, — сказал он и слишком резко поднялся.

— Ты что, Гена? — обеспокоился Фролкин, внимательно вглядываясь в его серое, опухшее лицо. — Не заболел?

— Ничего, — ответил Афиноген, усмехаясь, — похмелье, черт бы его побрал. Надрался вчера некстати.

Юрий Андреевич принял его в шикарном кабинете с коричневой строгой мебелью и голубыми шторками на окнах. Афиноген, улыбнувшись начальству, без приглашения, вальяжно сел в кресло. Кремнев, приветливо взглядывая, прошелся перед ним по ковру, пощелкал пальцами, как костяшками. Это был нестарый мужчина в безукоризненном костюме и редком для Федулинска английском галстуке с жемчужной булавкой. Взгляд серых глаз Кремнева рассекал предметы, подобно лучу Гарина. Его любезная улыбка ровным счетом ничего не обозначала, была такой же его постоянной принадлежностью, как хорошо отглаженные брюки. Недавно Юрий Андреевич с такой же приветливой улыбкой объявил на собрании, что все отделение лишается квартальной премии. Были и другие случаи похожего содержания. Юрий Андреевич представлял собой тип руководителя-супермена: многие женщины бледнели, когда он случайно проходил мимо по коридору. Рассказывали, что Кремнев запросто вхож в круги, о которых простому смертному и подумать страшно.

— Так, — произнес Юрий Андреевич мечтательно, любуясь сидящим Афиногеном, его непринужденностью и самообладанием. Немного полюбовавшись, он задал совершенно неожиданный вопрос. — Не скажете ли вы, молодой человек, какое, по вашему мнению, главное качество современного руководителя производства?

Афиноген опешил, и сумеречное состояние его прояснилось. Он различил непонятное, чуть насмешливое любопытство в тоне Кремнева. Вопрос, вероятно, таил в себе какой-то второй смысл.

— Интуиция, — ответил Афиноген Данилов.

— Как это?

— Просто. Умение делать правильные прогнозы и принимать точные решения на основе минимальной информации... Гарантия интуиции — прочные знания и, конечно, способности... Но могут быть и другие трактовки. Собственно, почему вы меня об этом спрашиваете, Юрий Андреевич? Я, увы, не руководитель и даже не эксперт.

— А вы сами обладаете... интуицией?

— В разумных пределах, разумеется. Она есть и у животных. Правда, у многих наших начальников отсутствует. Интуицию им заменяет собачье чутье на настроение вышестоящих товарищей.

— Не надо, — попросил Юрий Андреевич.

В кабинете пахло канцелярскими принадлежностями. «Плохо проветривают комнату», — подумал Афиноген.

Кремнев невежливо отвернулся к шторам. Что-то он переживал личное, недоступное Афиногену, но блеклой рассеянной гримасой проступавшее на его суровом лице аскета.

Афиноген торопливо прикидывал, кто мог на него капнуть начальству и что вообще означает сия сцена. У себя в отделе он часто поругивал и руководство, и порядки на предприятии, и многое другое, но не со зла. Привычку к ниспровержению он принес со студенческой скамьи. Не сотвори себе кумира, говаривал его лучший друг Вячеслав Петелин, человек, боготворивший абстракции любого рода. Ныне Петелин процветал в Москве, готовился к защите диссертации и в коротеньких письмах до небес превозносил профессора Вишневецкого, своего научного руководителя. Если верить Славе Петелину, то профессор Вишневецкий был вовсе не человеком, а материализовавшейся идеей бескомпромиссной морали с уклоном в пророчество. Афиноген бывал на лекциях по теории логических структур, которые читал желтушный человечек с неотработанной дикцией и испуганно-вызывающими движениями циркового клоуна. Старичок чмокал губами, вздрагивал, поминутно произносил фразу: «Знаете ли сами, как видите», и с нескрываемым страхом оглядывался на проекционный экран за спиной. Это и был пророк и гений

профессор Вишнеvский. Из его лекций Афиноген вынес впечатление, что нет ничего на свете нелогичней логических систем, а также отвращение к осторожной недосказанности и намекам научно-бытового свойства.

— Мне уже можно идти? — не без юмора спросил Афиноген.

— Афиноген... э-э...

— Иванович.

— Гена, ваш отдел, в котором вы работаете, систематически лихорадит. Вы, конечно, в курсе. Я хотел бы выяснить причины. Поэтому вызываю для таких вот частных бесед почти всех сотрудников. Ваш заведующий Николай Егорович собрался на пенсию...

— Пора, — вставил Афиноген, — отдохнуть старику.

— Объясните? — встрепенулся Юрий Андреевич.

Афиноген нехотя стал объяснять, тщательно подбирая слова.

— Николай Егорович — человек прекрасных душевных качеств. Ему очень хочется, чтобы людям вокруг него было уютно и спокойно, а работа тем временем шла своим чередом, как бы по волшебству. Это странно, если учесть, что Карнаухов прошел совсем иную школу, и натаскали его по-другому. Видимо, в один прекрасный день в нем произошла здоровая отрицательная реакция на окрик, авралы и все прочее и наступило старческое умиротворение. Он ведет дело по принципу доверчивых разъяснений, по формуле: «И душа с душою говорит». И это бы ничего, можно, кабы не темп и его собственная внутренняя расхлябанность. Николай Егорович похож на генерала, который получил звание по стечению случайных обстоятельств, а начал службу ефрейтором. Эта ефрейторская нашивка до сих пор торчит у него из-под генеральской звезды, как он ни старается прикрыться эполетами. Он как раз из тех, кто за деревьями леса не видит.

— Вы очень плохо к нему относитесь?

Афиноген удивился.

— Почему? Я его глубоко уважаю. Милый, доверчивый старикан... Не в этом дело. Николай Егорович получил когда-то законченное начальное образование, а затем приобрел огромный практический опыт... На него он и опирается. Уровень его общего мышления тра-

гически не соответствует времени. Новейшие системы и методы обработки информации, современная технология для него в некотором роде — любопытные шарады. Новых людей он не понимает. Перед всем тем, что называется технической революцией, он стоит, как изумленный мальчик, и сосет палец от удовольствия, что его допустили поглядеть и кое-что даже потрогать... Помните, в каком-то фильме человек по случаю вынужден вести самолет. Он нажимает все ручки подряд, держит штурвал туда-сюда — авось повезет. В кино, заметьте, часто везет хорошим парням. В жизни — реже...

Николаю Егоровичу и в жизни повезло...

Юрий Андреевич давно перестал ходить по ковру и взгромоздился за свой стол. Оттуда, с высокого вертящегося модного кресла он глядел на Афиногена и сочувственно, с одобрением кивал.

— Да-с, — заметил он, когда Афиноген окончил свое выступление на энергичной оптимистической реплике. — Вот тут у меня лежит ваше личное дело, Данилов. В нем только отличные характеристики и благодарности. Ни слова не сказано о жестокосердии. Послушал бы вашу эпитафию Николай Егорович. То-то была бы награда старику за многолетний честный труд. А-а? Как вы считаете?

Афиноген вспыхнул, крутнулся, и боль под ребром кольнула предостерегающе.

— Похоже на провокацию, гражданин начальник, — вежливо улыбнулся он. — Я не подсудимый, а вы не народный заседатель. Избавьте меня от ваших оценок. Я добросовестно ответил на вопрос, зачем же ставить все с ног на голову. Неэтично, Юрий Андреевич.

— Ого! — изумился и вздрогнул Кремнев. — Очень приятно. Характером бог не обидел...

Афиноген тоже вскочил и глядел в упор, бесстрашно. Ноги его едва держали. Но он улыбался деревянной улыбкой.

— Ну-ну, — успокоительно заметил Юрий Андреевич. — Не надо... Разговор у нас серьезный. Тут, видите ли, такое дело, что некоторые товарищи рекомендуют именно вашу кандидатуру на место Николая Егоровича. Как вариант, естественно...

— Меня?!

— Чему вы удивляетесь? Теперь модно выдвигать молодежь. Журналы читаете?.. Теперь любимый сюжет у писателей. Приходит разудалый юный новатор и всех стариков, — как вы точно подметили, — пинает под зад... Производство, естественно, тут же набирает новые мощности и качество. — Юрий Андреевич, смеясь, потер виски, устало откинулся на спинку кресла. — Садитесь, дорогой! Садитесь.

— Это глупости, — возразил не Кремневу, а еще кому-то Афиноген. — Один человек не в состоянии изменить общую атмосферу. Слишком много компонентов, не подвластных личным усилиям, будь ты хоть семи пядей во лбу. Хотя бы тот же технологический процесс.

— Ну, а все-таки? Если бы вам предложили?

— Это официальное предложение?

— Считайте так.

— Я согласен, — сказал Афиноген, — могу я приступить к обязанностям, не дожидаясь ухода Николая Егоровича? Душа горит.

Юрий Андреевич, не таясь, продолжал его изучать. Афиноген не садился, потому что боялся уже не встать. Бок онемел, отделился от тела, начал функционировать суверенно. Афиноген улыбался начальнику отделения из последних сил. Изучающее лицо Кремнева он видел в легкой дымке.

— Дело серьезное, — повторил Юрий Андреевич. — Мне нужно составить собственное мнение. Попробуйте обойтись без фанаберии и выкрутасов. Решается не только ваш личный вопрос. Поймите.

— Тогда мне надо подумать, — сказал Афиноген, — посоветоваться с мамой. Говоря, что Карнаухов плох, я не утверждаю тем самым, что я хорош. Это было бы непростительной самонадеянностью. Еще одна деталь. Я не собираюсь занимать чье-то место, я хочу занять свое.

— В общем-то, — сказал Кремнев, — манера вести разговор несущественна. Мне хочется понять, что скрывается за вашей показной амбицией. Кто вы, Афиноген Данилов? Честолюбивец? Дельный работник? У вас есть организаторские способности? Какие качества вашего характера являются доминантой и впоследствии станут решающими для дела? К сожалению, в беседе всего не

угадаешь. Как не угадаешь и главного — порядочный ли вы человек. Не кривитесь, Данилов, я с вами откровенен, только и всего. По необходимости. Сколько времени вам понадобится на... э-э... обдумывание?

— Часа полтора. От силы — два.

— Хорошо, Данилов. Какой-то вы сегодня... Я вас представлял несколько иначе. Что с вами?

— Обрадовался шибко. Захмелел.

Афиноген вышел из кабинета, стараясь держаться прямо и шагать твердо. Секретарша Люба улыбнулась ему.

— Все хорошеете, — пошутил с ней Афиноген. — Вот бы нам с вами уехать на юг на месячишко.

— Зачем? — отшутилась Люба, опуская пальцы с клавиш пишущей машинки. Подведенные ее глазки изображали невинность без конца и края.

— На юге есть прекрасные археологические музеи и памятники старины. Не то, что у нас, в Федулинске.

— Вы бледный сегодня, Гена, — посочувствовала Люба. — И печальный. Это оттого, что думаете о разных глупостях.

В коридоре Афиноген прислонился к стене и несколько минут отдыхал. В административном корпусе было на редкость пустынно. Из-за тяжелых дверей начальников отделений, главного технолога, главного конструктора и прочих тузов не долетало ни звука. «Или спят все, — подумал Афиноген, — или отправились работать на овощную базу».

И дальше подумал: «Может быть, старуха с косой поджидает меня за тем поворотом, а я все играю в бирюльки».

Он сделал еще один осторожный шаг и начал падать, сползать по стене, ощущая приятную легкость в закружившейся голове.

8

Мало кто знает, что в городе Федулинске на каждые двести человек приходится по одной собаке. И уж совсем не исследовано соотношение домашних благополучных собак к бродячим лучшим друзьям человека, подлежащим безоговорочному отлову и усыплению. Судя по тому, какой оголтелый голодный вой разносится

зимними ночами над спящим Федулинском, бродячие собаки все же имеют значительный перевес. Летом они живут припеваючи. Одна зона отдыха снабжает их достаточным количеством пропитания: хлебом, кусками недоеденной рыбы, сытными мясными косточками, консервами. Зимняя участь федулинских собак незавидна. Дело в том, что большинство городских обитателей относится к присутствию бродячих псов на улицах отрицательно. Лучшему другу человека в Федулинске постоянно грозит скорая и неминуемая расправа. Люди пинают собак по впалым бокам, с отборной бранью выгоняют из теплых подъездов, а особенно фанатичные горожане раскидывают около домов куски отравленного мяса, не жалея на это своих трудовых сбережений. Конечно, отравленное мясо собаки не едят, но зато десятки гибнут от холода, голода и систематических побоев.

К слову, узнав собачью душу, трудно к ней не привязаться. Эти свирепые на вид существа обладают, как правило, добрым и обидчивым сердцем, очень похожим на человечесьё. У меня восемь лет прожила собака породы эрдельтерьер по кличке Элька, а потом умерла от рака печени. За всю свою жизнь она не сумела возненавидеть ни одного человека, хотя иногда издали тывкала на прохожих, особенно на пьяных, давая мне понять, что, если потребуется, она готова на крайность. Удивительно другое, Элька особенно никого и не любила, то есть не полюбила до самозабвения, как обычно любят собаки. К нам, хозяевам, она относилась с симпатией и при каждом удобном случае подчеркивала свое расположение. Но, по совести, никто ей не был нужен. Восемнадцать часов в сутки она мирно дремала на своем коврикe, лениво завтракала и обедала, предпочитая, кстати, питаться, когда никого не было рядом, без особенного удовольствия выходила на прогулки. Во сне она стонала, всхлипывала, гулко лаяла, издавала звуки, похожие на идиотский смех. Какие сны ей снились? О чем мечтала она, часами лежа в пустой квартире и не отзываясь даже на стук в дверь... Однажды, когда Эльке было три года, она влюбилась в маленького кобелька-болонку. Это было трагическое чувство, взаимное, но безнадежное, как любовь карлика к великанше. Печальными бывали их совместные прогулки

по парку, с систематическими неуклюжими попытками завести любовную игру, оканчивающимися всегда стыдно и нелепо для обоих. После несчастной своей любви Элька окончательно впала в созерцательное состояние и отрешилась от суеты мира и его обыкновенных чудачеств. Впоследствии она без промедления кидалась в драку на любого кобеля, рискнувшего за ней поухаживать.

Умирая, Элька сознавала свой уход и без робости глядела на незнакомого человека со шприцем. Моя жена плакала, поглаживая в последний раз исхудавшую лохматую голову. Собака лизнула ее руку и взглянула с какой-то ужасной, вполне разумной гримасой сочувствия и прощения. В ее полуслепых глазах не было укора и ужаса, а было мужество и прощальный привет нам, остающимся на некоторое время.

Немногочисленные владельцы собак в Федулинске находились в положении людей, подозреваемых в чело-веконенавистничестве, владении подпольными капиталами и махровом перерожденчестве. Для прогулок с собаками им выделили два мизерных пятачка в пригородном лесу и городскую свалку. Прогулочные пятачки были огорожены колючей проволокой, в которую сторонники поголовного уничтожения собак неоднократно требовали подключить электрический ток. При таком положении дел некоторые владельцы собак выглядели еще затравленнее, чем их четвероногие друзья. Но, разумеется, не все. Находились сильные духом, которых не могли сломить ни постоянные насмешки, ни обвинения, ни даже прямые угрозы. С детства начитавшись Джека Лондона и походив в школьные зоологические кружки, они прониклись мыслью, что общение с собаками облагораживает человека, и готовы были отстаивать свои убеждения до самого рокового часа.

К таким личностям принадлежал хирург городской больницы Иван Петрович Горемыкин, сорокалетний брютет могучего телосложения, владелец шустрого сеттера по имени Дан. Талантливый врач, известный среди больных как чудотворец, Иван Петрович обладал характером прямым, честным и на удивление неуживчивым. Его жена, врач-терапевт, из-за любви к кото-

рой в свое время Горемыкин застрял в Федулинске, стерпела прожить с ним всего один год, а потом, мало того что сбежала из дома, так вдобавок переменяла профессию, возможно в конспиративных целях, и работала ныне парикмахером в дамском салоне «Алая гвоздика». Детей у Ивана Петровича не было ни от первого, ни от второго брака. Горемыкин с горькой иронией говорил, что лишь взаимоотношения с собакой представляются ему идеалом дружбы двух разумных индивидуумов: один разговаривает, другой молчаливо слушает и соглашается. Жене он развода не дал и иной раз, прогуливая пса, заходил к ней в салон, якобы за спичками. Стригся он тоже у бывшей жены. Процесс стрижки походил на фарс. Иван Петрович был лыс, как колесо, лишь по бокам и на затылке его сияющего латунию черепа сохранились жгучие черные пряди. Бывшая неразведенная жена с великим тщанием накручивала эти пряди на бигуди и сажала его под сушилку, где он проживал в ряду с женщинами, нахохленный и недоступный общению, по часу и более. В это время сеттер Дан поджидал его у входа в салон, изредка зловеще подвывая и заглядывая в окно. Когда Иван Петрович замечал за стеклом рыжую голову друга, то грозил ему кулаком и ревел громовым голосом «Отрыщ! Фу!»; чем лишал нервных женщин последнего самообладания.

В понедельник, вернувшись из больницы, Иван Петрович, как обычно, прицепил Дану ошейник и вывел его на прогулку.

Мельком глянув по сторонам и не заметив знакомых, Дан помочился прямо возле парадного. Это была большая оплошность. Тут же из окна третьего этажа высунулась старушечья голова и прошамкала слышимостью на весь квартал:

— Как же не срамно тебе, Иван Петрович? А еще дохтур, людей пользуешь!

— Так не я же это сделал, — спокойно возразил хирург и отвесил псу несильный подзатыльник. Дан понимающе поджал хвост. Следующие сто метров он покорно и заискивающе заглядывал снизу хозяину в глаза. Наконец Иван Петрович величественно ему кивнул, и пес с визжанием опроретью бросился к ближайшему дереву.

Вскоре они повстречали Николая Егоровича Карнаухова, прогуливающего своего фокстерьера по кличке Балкан.

Дан и Балкан дружили с раннего детства, несмотря на существенную разницу в характерах и повадках. Сеттер Дан отличался нравом доверчивым и веселым, любил прыгать, валяться на траве, гоняться за бабочками, а иногда без причины тосковал и скулил. Это был характер поэтический. Конечно, Дан мог позволить себе и легкомысленный поступок, и озорство, но все это так, от легкого сердца, без злого умысла. Совсем не то — его ближайший друг фокстерьер Балкан, который и щенком поражал окружающих заносчивостью и дерзостью манер.

Балкан жил под впечатлением одной идеи: разоблачить всех своих врагов и поставить их на место. А врагов у него было великое множество, он находил их повсюду и, раз отыскав, запоминал на всю жизнь. Шерсть у Балкана всегда стояла дыбом, маленькие глазки холодно и злобно поблескивали из-под нависших бровей. Вечно в кровоподтеках и свежих царапинах, он потряхивал бородкой, как козлик, готовый вступить в сражение с целым светом. Отчаянная неукротимость подтачивала его мозг. Если Балкан встречал подозрительного лягушонка (все они были ему подозрительны), то старался обязательно насмерть раздавить его лапой, если же — не дай бог! — мимо громыхал десятитонный МАЗ, не сомневаясь ни секунды, с диким нутряным хрипом пес бросался ему под колеса, падал на обочину, оглушенный, вскакивал и снова гнался за самосвалом, до тех пор пока пыль и песок из-под колес не забивали ему легкие. Тогда он вставал на дороге, растопырив лапы, и долго презрительно кашлял и чихал вслед удравшему железному великану. Натерпелся из-за него страху и намучился с ним Николай Егорович. Теперь он спускал его с поводка только в глухом, безлюдном месте, где-нибудь в лесу.

Дан был единственной собакой, которую свирепый фокстерьер терпел около себя, но фамильярности и ему не позволял и малейшую попытку на пару порезвиться пресекал коротким предостерегающим рычанием, похожим на старческое кряхтенье. «Продай ты этого злодея, — советовал хирург Николаю Егоровичу, в кото-

рый раз пытаюсь погладить Балкана и в которой раз натыкаясь на опасно безучастный ледяной взгляд и чуть оскаленные клыки.— Не доведет он тебя до добра».

Николай Егорович только горестно поднимал брови и вздыхал. Действительно, легче было убить Балкана, чем сбегать с рук. Он и в семье-то признавал одного хозяина, а жену его и обоих сыновей, даже старшего, тридцатилетнего холостяка и рохлю Викешу, выносил лишь из уважения к Николаю Егоровичу. Более того, был случай, когда ночью жена Карнаухова в темноте сунула ноги в тапочки супруга. Случившийся рядом Балкан, узрев в этом поступке покушение на авторитет любимого хозяина, тут же молчком тяпнул ее повыше щиколотки, не слишком, правда, больно, но напугал ужасно. У жены Карнаухова пропало желание не только идти, куда она собиралась, но и жить в одном доме с «извергом мужем», который завел возле себя «наемного убийцу».

Николай Егорович в тот раз крепко-таки отлупил ремнем своего питомца. Балкан принял побои стоически, не уклонялся, после экзекуции не визжал, степенно удалился на кухню, залез там за газовую плиту и целые сутки не ел и не выходил на прогулку. На голос хозяина отвечал тяжелыми вздохами, а на веселые призывы сыновей — рычанием и лаем. С женой хозяина Катериной он с тех пор держался с изысканной вежливостью, уступал ей дорогу, но как бы и не замечал ее присутствия...

Пока собаки обнюхивались, мужчины обменялись рукопожатиями и любезными улыбками, затем не спеша направились к лесу. Почти все встречные здоровались с Иваном Петровичем, известным и уважаемым человеком в Федулинске. Хирург Горемыкин кивал в ответ, кланялся женщинам, и черные жесткие пряди по бокам его черепа покачивались, как маленькие приставные рожки.

Вскоре друзья пришли на свое любимое место — светлую полянку, окруженную березками и орешником, уселись на деревянную, иссеченную непогодами и ножами отдыхающих скамеечку и одновременно задымили сигаретами. Спущенные с поводков собаки ошалело оглядывались и начинали прикидывать, как лучше употребить короткие вольные мгновения. Дан ринулся в

орешник, а фокстерьер взялся копать яму, потому что из-под земли пахло кротом.

— Вот, Ваня, — скорбно глядя на своего непутевого фокса, произнес Николай Егорович. — Вчера опять эта проклятая тварь задрала во дворе кошку. Пони-маешь, прямо у меня на поводке... Как я не углядел, ума не приложу. Да не просто кошку, а Мирошкиных кошку, управдома нашего. Хозяйка хочет в суд подавать. Сам-то попроще мужик, он меня утром и предупредил: «Никаких судов не будет, не надейся, а кобелю твоему осталось жить не более трех дней». Говорит: «Я старый солдат, фашистов стрелял, а уж в мирное время убью злодея не задумываясь». И тут же, веришь ли, хотел исполнить свое намерение, для чего вынес из дому топор, знаешь, каким мясо рубят, маленький, но тяжелый... Еле мы с Балканом ноги унесли.

— Люди бывают хуже собак, — задумчиво ответил хирург. — Подумаешь, кошка. У ней и понятия нету никакого... А твой пес — герой, всин, умница. Верный и храбрый товарищ.

— Товарищ-то конечно, да уж очень лют, Ваня. Бывает, я сам его опасаясь, этого товарища. Я тебе рассказывал, как он Викешу напугал?

— Нет.

— Как-нибудь расскажу, ужаснешься.

Солнышко косо освещало край поляны, а там, где сидели приятели, была тень и легкий ветерок. Балкан, продолжая великую погоню, самозабвенно рыл передними лапами яму, фыркал и сопел. Видимо, он не собирался давать спуску и тем, кто прятался в земле. Дан умчался в лес в неизвестном направлении и на свист больше не отзывался.

— Что ты, Николай Егорович, квелый такой сегодня? Неужто из-за кошки?

Карнаухов сразу не ответил, глубоко затянулся дымом. Дым поплыл у него из ноздрей и окутал марлевой пленкой морщинистую подсохшую кожу.

— Не только, — сказал он. — На пенсию меня гонят, Ваня... На пенсию, видишь ли.

Хирург блеснул черными клинками зрачков и поехал как от холода.

— А сколько же тебе лет?

— Это неважно, Иван Петрович. Важно другое —

выхожу на последний перегон. Впереди нет уже перспектив... Я не задаю себе глупых, детских вопросов, зачем тогда жили, боролись, голодали. Нет. Я думаю, правильно ли жили, если под конец нас так легко заметить. А, Иван?

— Незаменимых нет, — нечестно ответил Горемыкин и тут же подумал, что лично без него не в состоянии придется федулинским больным. Мелкое тщеславие приятно, привычно покачало его на невысоких качелях.

— Есть, — твердо возразил Николай Егорович. — Балкана никто мне не заменит. Будет другая собака, да не эта. Не заменит! Опять же не в этом дело. Старость есть старость. Но почему один стар для своего дела в шестьдесят, а другой достаточно молод и в семьдесят? Я знаю свои возможности и не надеюсь на бронзовый памятник при жизни. Но зачем же пихать в спину и кричать: посторонись, старик, ты уже мешаешь.... Нет, Ваня, ради бога, я не виню тех, кто пихает, им видней, они правы. Поезд, который идет по рельсам, всегда прав. Но как получилось так, что я стал лишним грузом на этом поезде, который мы сами поставили под пары. Да разве один я...

Горемыкин не готов был к такому разговору и скучающе оглянулся. Он умом понимал старческую ностальгию и горечь прижизненного расставания, но неукротимый его дух борца оторгал подобную ситуацию для себя. Сейчас Николай Егорович упал в его глазах, он не сочувствовал ему и немного презирал. Карнаухов не заметил настроения приятеля.

— Был период, — продолжал он, — когда я старался философски понять мир целиком. И пришел к выводу, что это невозможно. То есть именно в те минуты, когда мир становился понятен, я постигал ужас и убожество этой видимости понимания... То было давно и не пропало даром. Человек должен ставить перед собой посильные задачи, тогда его существование приобретает хоть какой-то смысл. И я поставил для себя цель в совершенстве овладеть своим делом. Думаю, это мне удалось. Меня награждали, повышали, я успокоился и последние годы работал ровно, без срывов, с ощущением удовлетворения... Все мне чудилось, будто голубое небо и зеленую траву я вижу такими же молодыми глазами, как тридцать лет назад... Вдруг — тол-

чок в спину и молодецкий окрик: «Слазь, старик, твоя станция. Выходи!» А куда выходи? Остановка окончательная... Понял? Как это... Стою один среди равнины голой. Почему? За что? Я же не мертвый, дышу.

— Пойдем, что ли, Николай Егорович, — снисходительно сказал хирург. — Иди домой, выпей четвертинку, закуси селедочкой... и снова увидишь небо в алмазах. Какая ерунда! А не хочешь уходить — не уходи. В крайнем случае переседай в другой вагон... Ныть не надо, прости за грубость. Если бы все, кого пихали, ныть взялись, — посуди сам, Николай Егорович, — какой бы общий стон раздался. Собачьего бы лая не услышали.

Он озорно подтолкнул локтем Карнаухова и в лад тряхнул черными рожками кудрей.

Николай Егорович расплылся в ответной улыбке, почесал подбородок, внезапно спросил, в свою очередь подталкивая Горемыкина:

— А это правда, Ваня, что ты жену хлестал поводком, а потом голую выгнал на улицу без вещей и денег? Давно хотел спросить.

— Да ты что? — сжался хирург. — Ты что говоришь-то? Очнись, Николай!

— А еще говорят, ты своих медсестер принуждаешь гостинцы у больных отнимать. Правда ли? Я вот не верю, например.

Горемыкин дернул плечами, свистнул Дана и заспешил через поляну. «Рехнулся старик», — подумал он без обиды, но с огорчением.

Николай Егорович остался один сидеть на скамейке, жмурился от лучей уходящего солнца, которые совсем и не касались его глаз, курил сигареты и в подробностях блаженно вспоминал прошлое, давнее...

ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧА КАРНАУХОВА
(Литературная запись воспоминания)

«Читальный зал библиотеки института. Двадцатитрехлетний студент Карнаухов штудировал политэкономиию. Ему нужно выучить целую страницу наизусть. Но где там? В рассеянном сознании маячит накрытый матушкой стол, на нем пироги, сало, домашняя колба-

ска, смородиновая настойка. Николай сглатывает слюну. Взгляд его натывается на бледное личико девушки, сидящей напротив. Перед ней нет ни книжек, ни тетрадки. Худенькие ручки сложены на полированной крышке стола. Ногти покрашены ярко.

— Чего ты? — спрашивает Николай. — Чего не занимаешься?

Он удивлен. В библиотеке все занимаются. Тепло, светло, скоро сессия.

— Неохота, — отвечает девушка.

— Зачем же ты пришла?

— Интересно. На все поглядеть.

Николай нервничает и опускает глаза в книгу. Строчки не несут смысла, голова каменная, тупая. Он всю ночь работал на пристани. Теперь есть деньги дня на четыре. Он чувствует, что девушка разглядывает его. Ее глаза таинственно неподвижны, взгляд сонный, безразличный, темный.

— Ну что? — говорит Николай. — Хочешь, пойдём на улицу?

— Пойдем, — соглашается, вздыхая, девушка.

Вечер. Ресторанчик на Трубной. Карнаухов лихорадочно прикидывает, хватит ли денег еще на одну бутылку дешевого вина. Хватит. Он заказывает. Верочка ему улыбается. Мужчины за соседним столом смотрят на нее неотрывно.

— Где ты живешь? — настаивает опьяневший Николай.

— Нигде.

За весь день она ни разу не разоткровенничалась, на вопросы отвечает «да», «нет» или отмалчивается. Постреливает темными глазами по сторонам. Много, неумело курит. Николай ощущает наплыв странных, тягучих, дурманных волн.

— Хватит роковую женщину изображать, — требует он. — Кто ты такая? Объясни, чем занимаешься? — У него проскальзывает подозрение о роде ее занятий.

— Мальчик, — смеется Вера, оглядываясь на соседний столик. — Ты учишься и учишь. Из книжек все поймешь. Книжки у-умные.

Парк. Скамейка. Он целует ее, трясет, раскачивает, оглаживает ладонями худенькие теплые плечи. Она си-

дит как истукан, не отстраняется, не поощряет. Глаза ее открыты и застыли.

— Я скоро исчезну, — вдруг шепчет она. — Я скоро исчезну, я знаю. Насовсем исчезну.

— Ты что? — задыхается Карнаухов. — Не смей! Это глупость. Я тебе не позволю.

Тут он с ужасом видит, как прозрачная ручка соскальзывает к нему в карман.

— У меня нет денег! — Он идиотски ухмыляется.

— Дурак, — резко вскрикивает она. — Дурак! Мне холодно. Очень холодно.

Николай приводит ее в общежитие. В их комнате четыре кровати. Он укладывает ее на свою, сам ложится с Федькой Пименовым. Притихшие ребята стараются не храпеть, поэтому не спят. Молчание, тишина, лунный свет в незашторенном окне. Успокоение и кружащая голову печаль. Легкий прерывистый сон, наполненный грезами.

Утром он остается с Верочкой наедине. К черту занятия, все к чертям собачьим.

— Я убежала из деревни, — рассказывает Вера. — Отец очень дерется, пьет. Никак не простит Советскую власть, что у него коров отобрали. Братика чуть до смерти не заколотил. Я убежала. Мне мама велела: «Беги, доча, в Москву. Там много людей, не пропадешь». Я убежала, а они там остались, — она всхлипывает и утирает глаза кулачками. — Я хочу стать гулящей женщиной, накопить много денег и вернуться домой... Если ты достанешь много денег, я буду служить тебе как раба, Коля. Но ты ведь не можешь?..

— Зачем тебе деньги?

— Каждый раз, когда отец дерется, он шумит: «Ни копейки с вас пользы, дармоеды». А я буду давать ему денег, он от денег успокаивается, и мы как-нибудь проживем. Мне маму и братика надо спасти. Найди мне богатого любовника, Коля. Я очень молодая и хороша собой. — Вера задирает юбку и показывает ему крепкое бедро, в царапинах, с огромной ссадиной около колена.

— Ты полоумная, — изумляется Карнаухов, а в груди его волны качаются и бушуют, словно там разлилось окаянное море уныния и надежд».

«Было, все это было со мной, было когда-то», — подумал Николай Егорович, погружаясь почти в сон, еле различая энергичного землекопа Балкана, траву и деревья. Ему кажется, что он слышит звуки и запахи тех далеких лет, они пробиваются, может быть, из ямы, вырытой Балканом, и терзают его, мучают сырыми хрупкими прикосновениями.

«— Комсомолочка ты моя, — изливает радость Николай. — Пушиночка моя неразумная!

Девушка в алой косынке, в ситцевой блузке рассеянно целует его в висок. Это Верочка.

— погоди, — отвечает она, — у тебя только одно на уме. Ты несерьезный. погоди, не приставай.

— Поженимся, — воркует Николай, — скоро я кончу институт. Всего год остался.

Он не видит никаких преград для своего счастья. Верочка надувает щеки и прикусывает белыми зубами краешек косынки.

— А чего, — недоумевает молодой Карнаухов. — отец твой преуспевает в отдаленных местах, туда ему и дорога. Мать жива-здорова. Надо жениться. Пора, Верочка. Самый момент.

— Наша бригада взяла обязательство, — объясняет Верочка, — увеличить выпуск ткани в два раза. Соображаешь?

— Какое обязательство? — злится жених. — О чем ты говоришь, миленькая. Я люблю тебя, вот и все обязательства. Я хочу на тебе жениться немедленно. Какая там бригада! Ты что? Бригада — это мы с тобой вдвоем. Никого больше.

Верочка смеется и щелкает его по носу.

— Нет, ты несерьезный. Ты очень несерьезный. У нас на фабрике такие не в почете.

Николай теперь хорошо знает, какие чудеса вытворяет с человеком любовь, как она крутит его и ломает, делает слабым, заставляет произносить несуразные жалкие слова. Ноздри его трепещут, как крылышки, от ее щелчка.

— Может быть, ты не любишь меня? — с затаенной дрожью спрашивает он. — Тогда честно скажи. Мы взрослые люди, я пойму и сумею взять себя в руки.

Ее светлое личико никнет, и на нем проступает тре-

вога и боль. Она еле дышит, откидывается на спинку лавочки, и ее плечи заостряются, беспомощно вжимаются в крашеное дерево. Она прислушивается к чему-то в себе. К тому, что вряд ли касается Николая.

— Кого же мне и любить, как не тебя, Коля? — решительно отвечает она. — Я бы погибла без тебя. Ты столько сделал... Милый мой!

Руки ее, почти не прикасаясь, обвивают его шею.

— Да? Да? — скулит он, тычась носом в тонкую ткань блузки, в шею, упиваясь ее податливой прокладой».

— Эй, — Николай Егорович окликнул своего пса. — Ты что же, змей паршивый. Всю грязь потом в квартиру притащишь? А ну, иди сюда!

Балкан подбежал, счастливо виляя обрубок хвоста. Морда у него до самых глаз в глине, на глине — сухие листья и трава.

— Ну и урод!

Балкан самозабвенно твякнул и лизнул его руку.

— Давай, давай, — поощрил его хозяин. — Сейчас скоро домой потопаем. Ужинать пойдем, понял?

«Гуляет Колькина свадьба, на которую собрался почти весь курс. На столах, накрытых в коридоре общежития, всего вдоволь — водка, вино, колбасы разные, холодец... и верх роскоши — заливной язык на огромных глиняных блюдах. Недаром подряд две недели не разгибали спины пятеро друзей Николая, грузили вагоны, таскали мешки с цементом, спали по три-четыре часа в сутки. Не бывало еще в институте такой свадьбы. Своих родителей Николай ожидает на следующий день, а Верочка матери даже не написала. Как ни уговаривал ее Николай, отказалась наотрез, закапризничала, заупрямилась, заартачилась.

Гуляет свадьба, песни поет. Русские гулевые, горькие песни, и новые — бодрые, комсомольские. Жених с невестой сидят за первым столом, а рядом дверь, там их комната на одну только ночь. Как будет дальше — неизвестно да и не важно. Как взглянет Николай на эту серую дверь, так и затенькает в нем колокольчик сча-

стливого, ледящего предвкушения. Эта ночь впереди — его ночь, его удача, его сумасшедшее везенье. Разве стоит гадать о завтрашнем дне. Что будет — то будет. Диплом в чемодане, чемодан под кроватью, на кровати — белоснежные простыни, — ах! как сладка жизнь, как упоительна молодая любовь, какое невиданное, сказочное создание девушка с темными глазами, которая скоро затрепещет и забьется в его безрассудных руках.

Верочка мечтательно улыбается и пьет рюмку за рюмкой, но ничего не ест. На ее тарелке нарезанный женихом язык, помидоры — все не тронут.

— Я сейчас приду, — лукавит Верочка, смеясь, из глаз ее, полных тайны, течет электричество.

— Я с тобой, — спохватывается жених.

— Нет, туда я одна... — останавливает его Верочка. Она скользит по длинному коридору, мимо столов, ее окликают, трогают за руки, протягивают цветы. Гибкая спина и длинные ноги из-под серого коротенького платья покачиваются перед очарованными глазами Николая Карнаухова, удаляются, удаляются, заслоняются чужими спинами, руками, стульями.

— Эй! — кричит ему в ухо сосед и друг. — Счастливчик Карнаухий. Гляди, не убежала бы. Не отпускай одну.

— Нет, — хохочет Николай. — Она вернется. Не сомневайся.

Тянутся десять минут, пятнадцать, и он встает и шагает по тем же половицам, где проскользнули ее туфельки, купленные в новом универмаге за целых триста рублей. Ему навстречу протягивают руки, рюмки, вилки с нанизанной закуской. Он видит жаркие, улыбки, знакомые и незнакомые лица.

На втором этаже на дальнем подоконнике сидят в обнимку Верочка и Федя Пименов, однокурсник. Освещение тусклое, и Николаю издали не видно, что они делают, вроде бы целуются. Он снова пересекает длинный коридор, только в обратную сторону по второму этажу. Оказывается, они не целуются, а Верочка рыдает у Пименова на плече. Федька уперся в друга ненавидящим пьяным взглядом.

— Вы чего? — застенчиво спрашивает Николай. — Ребятки? С ума сошли?

Верочка отстраняется от Пименова и ложится спиной на стекло — дзынь!

— Я сейчас к тебе вернусь, — говорит она сурово, — ступай, Коля.

Лицо ее в полутьме напоминает раскрашенную серую маску. Николай хочет отойти, убраться подобру-поздорову, но ноги не двигаются и тело остыло.

— Зачем же, почему? — спрашивает он у Федора. — Она же моя невеста.

— Твоя, твоя! — рубит Пименов. — Подавись!

Такой ненависти, и злобы, и отчаянья Николай прежде не встречал. Разве только в кино.

— Идем, Верочка, — упрощает он, — давай вместе пойдем. Там гости ждут, волнуются.

— Он блажной, — объясняет Верочка Пименову. — Я же тебе говорила — он как ребенок.

Пименов пьян и не верит ни в бога, ни в блажных детей.

— Стерва ты, Карнаухов, — выворачивает он дикие слова. — Последняя сука, раз на такое решился.

— На какое?

— Какое? Все одно Верка со мной будет. Тебе женой, мне — любовью. Ты себе ее жалость на уши не повесишь.

— Почему?

Верочка раскалывается на куски истерическим хохотом, и лицо Пименова становится обычным добродушным человеческим лицом. Николай Карнаухов смешон. Он стоит, растопырив руки, и задает нелепые вопросы. Голос его подрагивает, как забуксовавший автомобиль. Он тоже улыбается в ответ на дружеский смех и улыбки.

— Теперь понял, — говорит он. — А раньше не понимал.

Он находит в себе силы спуститься вниз и объявить гостям, что свадьба отменяется, потому что обнаружился второй жених. За столами шум, гогот, приветственные возгласы. «Ура! — орут гости, друзья и знакомые. — Даешь нового жениха! Ура Кольке Карнаухову!»

— Гуляйте! — вопит Николай. — Пейте! Но это не свадьба. Так просто пейте. За здоровье трудящихся всего мира! Ура!

Конец любви, конец надеждам и упоительным планам. Крест на прошлом! Ура!»

«Всю жизнь почти я прожил околпаченным, — подумал с горестной усмешкой пожилой человек, — а теперь вдобавок меня гонят взащей с работы. А какая все-таки прекрасная была жизнь, сколько в ней всего уместилось».

Николай Егорович медленно встал, потоптался по полянке, разминая затекшие ноги. Солнышко закатилось, и ветерок сразу подул зябкой прохладой. Он свистнул Балкана и, не ожидая, пока тот прибежит, зашагал по направлению к городу Федулинску.

«Поглядим, — думал Карнаухов. — Ничего страшного. Еще поглядим, как и что обернется. Рано мне горевать и слезы лить. Да и не к лицу. Горемыкин-то правду сказал. Кабы все обижаемые враз заныли — мир оглох бы от стога».

9

Я знаком с Карнауховым и несколько раз разговаривал с ним о делах производства и на другие официальные темы. И про Николая Егоровича я думал: «Какой, право, скучный, утомительный старик».

Скучно он говорил, скучно жмурил глаза, подтягивая вверх уголки узкого рта, скучно оглядывался на прохожих и откашливался в ладошку. Не было в нем азарта и огня, а раздражение и растерянность его я не уловил тогда. Да и не мог уловить. Не так жил.

В теперешнем своем состоянии я мало читаю, долго брожу по улицам, охотно встречаюсь с друзьями, легкомысленно шучу и смеюсь от чужих шуток, люблю глядеть, задирая голову, на окна домов. Это оттого, вероятно, что сердце мое побаливает, ноет по ночам. Стучит сердце, как зайчик лапками — тук, тук! Сколько еще простучит?

Много бы я дал теперь, чтобы сидеть беззаботно за столом и внимать незамысловатым афоризмам и размышлениям Николая Карнаухова, человека, потухшего от любви к женщине еще до войны и прогуливающего свирепого фокстерьера в эпоху НТР. Не надо мне никакой правды, кроме честного, откровенного, вежливого, занимательного человеческого разговора.

Кстати говоря, и сам Карнаухов менялся в течение жизни не единожды. Во времена минувшие, когда институт только-только приобретал реальные очертания и Николай Егоровича через министерство востребовал лично Мерзликин; когда в спорах утверждалась структура нового огромного предприятия, он был энергичным, предельно собранным человеком. Тогда казалось, запас сил его неисчерпаем и рассчитан на десятилетия. Какую работу на него ни навали — все будет по плечу и мало. То было веселое и бурное время. С треском ломались старые, традиционные представления, с каким-то чересчур буйным накалом пробивали себе дорогу свежие идеи, и всех, причастных моменту, обуревали планы, планы, планы. Наука, как многоголовое существо, дотоле полудремавшее и копившее силы как бы внутри себя, наконец очнулась, вскинулась и почти разом проникла повсюду, куда только могла достать. Научно-техническая революция шагнула в массы.

Карнаухов, захмелевший, подобно многим, от внезапно открывшихся перспектив, от грандиозности замыслов, охотно согласился возглавить экспериментальный отдел, у которого пока не было ни четко определенных заданий, ни собственного штатного расписания. Предполагалось лишь, что со временем, когда институт окрепнет, новый отдел станет необходимым координационно-экономическим направляющим центром, неким внутренним штабом, который будет контролировать деятельность всего института, соотнося ее с внешним миром. Что-то вроде живой электронно-счетной машины с широким спектром деятельности, накапливающей всевозможную научную информацию, анализирующей ее и выдающей обоснованные рекомендации и поправки всем остальным службам.

— Конечно, иметь такой отдел, — говорил Мерзликин, — пока непозволительная роскошь. Но впоследствии он себя окупит. Даже с лихвой. Помяни мое слово, Николай Егорович, это будет со временем самое рентабельное наше подразделение...

В ту пору директор тоже не чурался возможности помечтать.

Николай Егорович пришел в институт вполне зрелым, много чего повидавшим человеком, но остро чув-

ствовал, что самое важное в его жизни, самый замечательный ее отрезок начинается именно с этого момента, а все, чем он занимался раньше, было всего лишь подготовкой к настоящему делу.

Он начал отбирать людей. Приезжали много новых специалистов, и некоторых, по особой заявке, кадровики направляли к нему. Первый штат отдела состоял из двух экономистов, двух физиков, одного социолога (редкая тогда специальность и непонятная), трех инженеров-универсалов и одного математика. Всем им Карнаухов сулил интересную, необычную работу и массу возможностей, по выбору. Новички, в основном люди молодые, загорелись его энтузиазмом, ничуть не смущаясь неопределенностью обстановки. Вокруг все было неопределенно, зыбко, шло строительство, укомплектовывались штаты — откуда было взяться ясному разговору!

Недоумение и некоторая растерянность пришли позже, когда отдел состоял уже из двадцати человек и упорно бездействовал. Сотрудники приходили на работу, отсиживали положенные часы и расходились под домам и общежитиям. А институт тем временем уже работал, выдавал «продукцию».

Карнаухов сходил на прием к Мерзликину и попытался объяснить ситуацию. Директор от него отмахнулся:

— Не до этого сейчас. Сам видишь.

Карнаухов видел, что директор по уши занят, завален бумагами и из глаз у него сыплются искры. Но в нем самом начало рождаться предчувствие непоправимой ошибки. Он чувствовал себя как неопытный рыбак, который закинул сеть и не то чтобы не знал, с какого конца тащить, но даже забыл куда ее и закинул. Ему было стыдно, неловко, плохо.

Выход из положения подсказал коллега Мефодьев. Отдел временно стал брать работу с других участков, помогать в расчетах, благо у Карнаухова имелись на все руки мастера. Вскоре в институте поняли, если где горит, если необходима помощь или подсказка или просто хочется перевалить черную работу на кого-нибудь, надо идти к Николаю Егоровичу. Там и чертежи подправят, и аннотацию грамотно состряпают, и вдобавок встретят со всей душой.

Вот это положение отдела-выручалочки, отдела — Конька-горбунка, затянулось надолго, на целые годы и было некоторым образом узаконено. На планерках (поначалу проводились общеинститутские планерки) директор нередко сам, пряча смущенную улыбку, обращался к Карнаухову с каким-нибудь срочным делом, и дела эти бывали самого различного свойства. В отделе появились и свои опытные «толкачи», и токари, и стеклодувы.

Карнаухов терпеливо ждал, понимая, что по крайней мере его участок приносит реальную пользу предприятию. Надо заметить, что самые толковые и ухватистые его сотрудники быстро смекнули, к чему идет дело, и разными правдами и неправдами смылись в другие отделы. Их места заняли сладкоречивые бездельники и обремененные семьями женщины.

Карнаухов ждал, а должен был действовать. Только сейчас, оглядываясь, Николай Егорович с тяжелым сердцем понимал, какой промах совершил, сколько времени упустил. Но ведь, с другой стороны, ничего особенного он предложить не мог. План того отдела, о котором они мечтали с директором, по-прежнему оставался планом: нечетким, беспредметным. Теперь, когда предприятие набрало стабильность, стучать по столу кулаком и требовать возвращения к исходной точке было нелепо. Тем более нелепо, что, казалось, отдел в его теперешнем качестве просто необходим институту.

Еще и еще проходили не месяцы — годы. Стиль работы на подхвате, заведенный в самом начале, уже сам по себе диктовал порядок и вполне устраивал тех, кто прижился. Кто прижился — тому нравилось, кому не нравилось — тех Карнаухов отпускал без разговоров.

Но не такой он был человек, чтобы забыть и смириться. Исполдволь, потихоньку Николай Егорович стал сколачивать внутри отдела «инициативную группу», которой предстояло заниматься тем, чем уже не мог заниматься весь отдел. Он создал новое ядро, вокруг которого надеялся постепенно склотить все же первоначально задуманный координационный центр. И добился своего. Ко всем прежним «подсобным» функциям отдела прибавилась еще одна, для него наиважнейшая: анализировать с точки зрения экономики и социологии идущие в институте разработки и процессы и состав-

лять сводки прогнозов и уточнений. Кремнев встретил начинание скептически, а директор вообще не обратил внимание на поднявшийся в отделе бум.

«Кому это надо?» — так ставил вопрос Юрий Андреевич. У Мерзликина выходило иначе, благодущнее: «Вряд ли с этим стоит спешить».

Карнаухов был упорен и продолжал поставлять наверх свои отчеты, не особенно интересуясь, какое они находят применение. Победа, казалось ему, близка. Только бы удалось создать в отделе определенную атмосферу, только бы преодолеть прежнюю неразбериху. Но это было сложнее всего. Люди, привыкшие работать по старым рецептам, не хотели брать на себя лишнюю нагрузку. Увещевания, просьбы, разъяснения Николая Егоровича уходили, как вода в песок. Добрые друзья не понимали его, а молодежь, на которую он делал ставку, требовала немедленных реформ и назначений и, не видя оных, быстро впадала в прострацию. Так этот ком и катился, пока не докатился до нынешних событий. Будто разбуженный от долгого сна, Карнаухов увидел, что его просят посторониться, а еще ничего толком не сделано и даже не начато. Ощущение страшного провала схватило его сердце в железные клещи. Наступил час подведения итогов, а подводить было нечего. Гора незаконченных дел поднялась до небес. Он не выполнил свой долг перед обществом, а для него неисполненный долг был подобен приговору трибунала. Он хотел, но не смог, быть полезным. Что же это? Просидел столько лет на шее у предприятия, прикрываясь должностью, как трутень, как подлый обманщик, и теперь благополучно уйдет отдыхать. От чего отдыхать? От чего?

Нет, это невозможно. Ему требуется всего-то год-два. И он все поправит, наладит, а тогда уйдет. Только тогда. Разве непонятно Кремневу, Мерзликину, всем, что он не имеет права уйти?..

Карнаухов оглядывался назад, и собственная жизнь казалась ему прожитой неряшливо и тупо..

Сразу после работы Юрий Андреевич Кремнев отправился в гараж за машиной. Весь день он мучился

головной болью, хандрил, а теперь с нетерпением предвкушал, как вместе с Дашей и сыном через час окажется на даче, вдохнет досыта целебного свежего воздуха, покопается на грядках с клубникой, напьется крепкого чая с ягодами, потом постелет себе на веранде и уснет в серебристой прохладе и тишине. Больше он ни о чем не хотел думать.

Садовый участок с финским домиком Юрий Андреевич приобрел всего пять лет назад, по случаю, уступив решительному напору Даши, надоевшей ему постоянными разговорами о собственных яблоках, овощах и почему-то яичках и жирном неснятом молоке. Разумеется, одни эти аргументы не сбили бы с толку Кремнева, воспитанного в настороженности и подозрительности к подобного рода затеям. Мишеньке, хитро увещевала Даша, мальчику болезненному и рыхлому, крайне полезен свежий воздух и здоровая физическая работа на участке (кстати уж, за пять лет болезненный Мишенька ни разу не взял в руки лопаты и, бывая в саду, покоился в гамаке, загорал, почитывал книжки да время от времени развлекал копающихся на грядках родителей мыслями о бренности бытия и многочисленных загадках природы). Имела значение и экономическая сторона дела. Довод супруги о «разумном вложении капитала», несмотря на свою смехотворность и несовременность, был тайно близок крестьянскому сердцу Юрия Андреевича, из памяти которого сорок с лишним городских годов не изгнали неясного воспоминания о родных прикубанских степях и деревянном доме, где в низкие окна стекали ветви вишневых деревьев.

В то время обзаводиться садовыми участками и дачами стало модой. Это отталкивало суровую душу интеллигента в первом поколении доктора наук Ю. А. Кремнева. Его бесили вечные дилетантски-бессмысленные пересуды знакомых о раскаде, пользе минеральных удобрений, необходимости крепких заборов и непобедимой живучести смородинового жучка. Впрочем, такого же свойства сомнения человека, выросшего под сильным впечатлением антисобственнических идей, привыкшего отождествлять духовную независимость с непременным освобождением от гнета вещей и денег, стоящего выше любопытства к колебаниям преysкуранта цен на товары широкого потребления, гордого своей

привычкой довольствоваться самым необходимым, те же сомнения и даже некая брезгливость мучили его и перед покупкой автомашины. Однако он все-таки купил и «Волгу» и дачу, надеясь, что видимость материального благополучия не развратит и сына. Теперь он понимал, что поступил более чем разумно.

Как вздорны и по-детски наивны оказались его колебания перед открывшейся ему прелестью не замутненных дымом закатов, звенящих птичьим щебетом и пропитанных запахами увядших цветов и пряной травы, перед очарованием светлого, счастливого одиночества и простого осмысленного труда, и еще перед многим, о чем словами и не скажешь точно. Он преображался, молодец, начинал, как встарь, подшучивать над женой и сыном; просыпаясь среди ночи, не покрывался потом от страха перед надвигающейся бессонницей, а переворачивался на другой бок и опять спокойно засыпал. Нет, игра определенно стоила свеч...

Подъезжая к дому, Кремнев припомнил утренний разговор с Афиногеном Даниловым и усмехнулся. «Странный какой-то тип. По характеристикам и рекомендациям — дельный молодой человек, можно бы и рискнуть. А по виду — капризный мальчишка, из тех, что умеют красно говорить, а за сим хоть трава не расти. Надо будет побеседовать с Карнауховым... Эх, Николай, Николай, отвоевавшийся гренадер. Наступит и мой черед... Но не скоро, не скоро».

Дома Даша выясняла отношения с сыном. Раскрасневшаяся, с головой, неряшливо перевязанной кухонным полотенцем, что указывало на экстренный приступ мигрени, она расхаживала перед возлежащим на диване с книгой Михаилом и прокурорским тоном изрекала сентенции о долге, элементарной порядочности, махровом нигилизме и т. д. Михаил перечитывал роман Дюма «Три мушкетера».

Юрий Андреевич попытался с порога разрядить атмосферу, задорно объявил:

— Экипаж подан, господа! Извольте поторопиться. Едем!

Попытка сорвалась. Узрев мужа, Даша опустилась на кушетку и горько заплакала, не прикрывая лица, не таясь, охотно предлагая близкому человеку полюбоваться на ее горе. Кремнев отлично знал ее склонность

к внезапным обильным слезам, с вызовом, с намеком на возможное несчастье. Так Даша вела себя и в действительно роковые минуты их жизни, и обыденкой, по пустякам, из-за разбитой хрустальной рюмки. В первые годы их супружества Юрий Андреевич пугался тихих, текущих быстрыми темными ручейками слез и ее хриплого дыхания, потом стал приходиться в неистовое раздражение, наконец успокоился и встречал женины припадочки доброй равнодушной улыбкой.

Миша при виде отца напыжился и перевернул страницу с отсутствующим выражением, подчеркивая, что происходящее его не касается.

— А ну встань, сопляк! — сказал Юрий Андреевич то, что не следовало бы говорить, к чему мало-мальски подкованный педагог-воспитатель сразу бы придрался и был бы прав. — Мать вон убивается, а ты!

Сын небрежно отложил книгу и сел. Ярко заалели его юношеские прыщики.

— Ну, докладывай, в чем дело? — уже спокойно спросил Юрий Андреевич, понимая, что коллективный выезд на природу становится проблематичным.

— Честное слово, папа, я не знаю! У мамочки нервы, ей что-то привиделось.

С таким достоинством и умело замаскированной иронией отвечал кардиналу Ришелье блистательный д'Артаньян. Какой он смешной, их поздний ребенок, их с Дашей единственное дитя, нелепое, родное и бесценное, появившееся на свет, когда Юрий Андреевич готовился справлять сорокалетие. Каждая клеточка, каждое движение сына зывали о пощаде и в то же время выражали яростную готовность доказывать и защищаться. Почудилось Юрию Андреевичу, что его юный сын, первокурсник МИФИ, философ и задира, сгорает, как одинокая свечка на сквозняке. Сгорает от внутреннего невидимого им огня, отбрасывающего алую тень на его щеки. А он слеп, и мать слепа. Как же так?

— Знаешь, сынок, — произнес Юрий Андреевич, заранее ловя себя на пошлости и не умея остановиться посреди фразы. — Иногда я жалею, что ты сразу поступил в институт. Возможно, тебе следовало годик-два самостоятельно позарабатывать на существование. Тогда бы ты не был таким жестоким эгоистом.

— При чем тут это, ну при чем? — нервно возразил Миша, и прыщики его вздулись от прилива крови к лицу. — А впрочем, я готов. Если хотите, мне наплевать. Хотите, уйду из института?

— Куда ты уйдешь?! — криком вступила Даша и сорвала полотенце с головы. — Куда ты уйдешь, проклятый эгоист? Юрий Андреевич, зачем он так говорит? Ой... Сейчас мне будет плохо!

Михаил метнулся к графину с водой, подал матери стакан.

— Нет, подумай, — прихлебывая воду, продолжала Даша, — я всего-навсего попросила его рассказать, откуда он явился в два часа ночи и почему от него пахло вином. А что ты мне ответил? Что ты ответил родной матери?!

— Я ответил, что был у Филинова на именинах. Больше ничего.

— Но я звонила Филинову, — закричала Дарья Семеновна. — Слышишь, лжец и трус, я ему звонила. Саша был дома в одиннадцать вечера. Он тебя не видел вчера. Ты нагло лжешь родной матери. Нагло! Ты потерял всякий стыд!

Кремнев вспомнил, что утром Миша не вышел, по обыкновению, завтракать и Дашенька не хотела его будить и отворачивалась. Юрий Андреевич спешил, опаздывал и не обратил на это внимания. Вот, значит, в чем вопрос.

Он пошел на кухню и принял таблетку аналгина. Еще несколько лет назад Юрий Андреевич не употреблял никаких лекарств, в разговорах о здоровье неукоснительно отстаивал позиции народной медицины и гордился этим. Лечился от редких недугов тоже по старинной системе: растирался спиртом, принимал стакан водки внутрь, запивал тремя стаканами чая с малиновым вареньем, выгонял из себя семь потов и выздоравливал. Однажды он заболел воспалением легких, с высокой температурой. Пришлось вызывать врача, тот прописал ему уколы пенициллина и еще какую-то новинку фармакологии. С тех пор пошло-поехало. Конечно, всего-навсего совпадение, просто наступил такой срок, но с тех уколов как будто что-то заклинило в сухом и мощном организме Кремнева. Он узнал и неожиданные утренние приступы головной боли, и печеночные коли-

ки, и сокрушительные спазмы в груди, серым мгновенным страхом ошарашивающие сознание. Юрий Андреевич скоренько отступил от своих молодецких привычек, распрощался с хатхой-йогой, стал остерегаться сквозняков, выписал любимый народом журнал «Здоровье» и завел обычай носить во всех карманах белые трубочки валидола.

Разминая ложкой очередную таблетку, он испытывал неведомое доселе горькое наслаждение, — взгляд его в эти минуты приобретал укоризненное выражение, а пальцы подрагивали. Здоровье разворачивалось под уклон, и Юрий Андреевич, как все мы, беспомощные, тшился урезонить гибельную скорость с помощью микстур.

Запив таблетку кипяченой водой из глиняного графина, Кремнев присел на кухонный стол, слегка помассировал пальцами виски. Ему было тошно и одиноко. Он глядел в окно, где торчали, как гвозди, одинаковые коробки блочных домов, усилиями живущих в них людей приукрашенные кое-где витражами, балконной зеленью и сушившимся разноцветным бельем, отчего стены приобрели сходство с мозаичными панно заграничных авангардистов, — он глядел на этот убогий пейзаж и думал вот что.

«Мишенька вырос, — думал он, — и его обман — это не обман вовсе, а самозащита от нас, двух олухов, не дающих себе труда заметить, что он давно стал взрослым. Даша устраивает сцены, потому что ей обидно слышать его вранье и чувствовать, как он отдаляется от нее. Только отдаление она чувствует, а понять ничего не хочет и не умеет. Она не понимала никогда своего мужа, теперь не понимает взрослого сына... Даша тоже живет одиноко в своем заколдованном мирке, куда ему нет ходу, да и нечего там ему делать, скучно. Они все трое давно живут врозь, каждый в своей скорлупе — и Миша, и он, и Дашенька.

Что ж, — думал дальше Юрий Андреевич, — таков мир, беды тут нету. Так живут люди вокруг, и так можно жить, если уважать и понимать одиночество своего ближнего, не тащить его силой, волоком в бессмысленные пустые объятия. Прижаться можно к телу, к дереву, к стене — душу не ухватишь руками, она ускользнет, и никакими оковами ее не удержишь».

Он поставил на плиту чайник, намазал тонко маслом ломоть хлеба, а сверху положил кусочек засохшего голландского сыра. Сидел, осторожно жевал, стараясь, чтобы сыр не попал в дупло, прислушивался к звукам из комнаты.

В комнате давно было тихо. С бутербродом в руке, крадучись, он приблизился к двери. Сын и жена сидели на диване в странной позе. Миша утешающе гладил жиденькие материны волосы, кривился в улыбке, а Даша неуклюже привалилась к его плечу своим тучным телом. «Бедные дети», — с ядовитым сочувствием отметил Юрий Андреевич, а вслух громко отчеканил:

— Ну, молодцы! Так-то намного умнее, правда? Чем сырость разводить.

Через двадцать минут они выезжали из Федулинска на Горьковское шоссе. Миша, снисходительно и горячась, рассуждал о новом фильме Тарковского. Даша скромно, как девушка, хихикала, поддакивала и робко переспрашивала.

«Дети, какие дети, — Юрий Андреевич косился на них в зеркальце. — Эх, годков десять бы еще побыть с ними, поработать, посуетиться, посвирепствовать, пожить. Бог мой!»

Шоссе серым вязаным полотнищем стелилось под колеса. Головная боль, усмиренная анальгином, стихла, только затылок чесался, будто туда, внутрь, засунули кусочек картона.

— Я на часок, — вдруг сказал Миша. — А потом мне нужно опять быть в городе...

Наташе Гаровой позвонила подруга Света Дорошевич, которая весь последний школьный год уговаривала Наташу ехать вместе в Москву в театральный институт, где у них будет шанс встретить живого артиста Василия Ланового. Теперь Светка восьмой месяц работала в лучшем и единственном федулинском ателье «Ариадна» и была довольна судьбой. Больше ни о каком институте она не помышляла. Закройщик Эрнст Львович, с первых дней не обходивший вниманием смешливую Светку, проводил с ней долгие беседы о

вдохновенном и благородном призвании портнихи, о редкостном таланте чувствовать линию и прочих умопомрачительных вещах. Эти беседы действовали на Светку, как наркотические уколы. Приходила в себя она только тогда, когда чувствовала на своей юной коленке хитрую руку пожилого закройщика.

— Что вы, Эрнст Львович! — вспыхивала она. — Я такая еще невинная.

Эрнст Львович искренне обижался, сопел и отходил, потирая ладонью влажную лысину. Ему было сорок пять лет, он был толст, подобно Санчо Пансе, и понимал действительность сложно, как карнавальное шествие распаленных греховными желаниями женщин. Эрнст Львович неоднократно бросал свою жену и пятерых детей, будущих закройщиков, но каждый раз возвращался с повинной и бывал помилован. Жена его, татарка, обожала смотреть на его многодумное лицо, более подходящее какому-нибудь древнему философу или библейскому пророку, и жадно таяла от прикосновения его пухлых сильных искусных рук. По ателье Эрнст Львович частенько, распарившись, расхаживал в шелковой майке, давая возможность заказчикам любоваться своими круглыми плечами, поросшими сплошь рыжим пухом.

— Наталка, — сказала Света в телефонную трубку, — Эрнст Львович сделал мне предложение.

— Какое?

— Глупая ты, Талка, господи, он же мужчина, красивый и толстый, а я женщина. Он хочет осчастливить меня законным браком.

— У него же есть жена.

— Ничего не значит.

Наташе невесело было продолжать треп, но она не позволяла себе расслабиться.

— Если не значит, то соглашайся.

— Он жирный и потный.

— Ничего не значит.

Светка немного посмеялась, потом строжайше повелела:

— Натали, собирайся и иди ко мне.

— Зачем?

— Зачем, зачем. Посидим, поохаем. Зачем еще.

— Говори правду.

— Ну, мальчишки придут кое-какие. Ты их знаешь. Егорка Карнаухов. Может, еще великий физик Мишка Кремнев. Помнишь, он в параллельном классе учился? Ушастый такой и малость придурочный. Ну, возможно, Эрнст Львович заглянет для представительства.

— Эрнст Львович? Ты что, Светка, серьезно, что ли?

— Милая Натали, тебе хорошо жить с твоими данными, а мне пора подумать о своем устройстве. Девушке уже восемнадцать стукнуло.

— Я сейчас приду.

Наташа повесила трубку и посмотрела на мать. Анна Петровна со вниманием выслушала весь разговор.

— Какой еще Эрнст Львович? — спросила она. — Дочка, ты в своем уме?

— Я в своем, а Светка не в своем. Я приму меры. Она у меня запляшет.

— А с Геной вы сегодня разве не встречаетесь?

Наташа напряжилась, уперев руки в колени. Очень редко мать произносила это имя, очень редко и непонятным выражением, выводившим Наташу из себя. Сейчас Анна Петровна спросила спокойно, как о человеке давно и хорошо знакомом. Это было что-то новое.

— Ты хочешь вызвать меня на откровенность, — тон у Наташи был подозрительным, — почему? Тебе же не нравится Афиноген. Он кажется тебе чудовищем, мамочка. Он и мне иногда кажется чудовищем, но без него я не могу, не могу! — Слезы подступили к Наташиным глазам, и голос осел. — Он околдовал меня, мамочка, опоил какой-то сладкой отравой. И я не хочу выздоравливать.

Анна Петровна уже заботливо обнимала, утешала дочку.

— Доченька, доченька, — шептала Анна Петровна. — Все это пройдет, вот увидишь. Это не любовь, ты же сама понимаешь. Любовь делает человека счастливым, а ты исхудала и часто плачешь. Это пройдет, увидишь.

— Я не хочу, чтобы проходило!

Наташины глаза вспыхнули неожиданным гневом.

— До чего он тебя довел, дочка, — обомлела Анна Петровна. — Да пусть он лучше околет, такой злодей!

— Нет! — крикнула Наташа. — Не говори так.

У Светки в комнате на кушетке листал журналы мод Егорка Карнаухов. Наташа встрепала его волосы.

— Отстань! — сказал Егор. — Кто я тебе, котенок, да?

В классе Егор носил кличку «пришелец». Так его прозвали за склонность к фантастической литературе и постоянную мрачность, точно он маялся хронической зубной болью. Зубы у Егора не болели, и смеяться он умел не хуже других, но считал смех признаком легкомыслия и малой осведомленности. В младших классах девочки обожали щекотать Егора. Он долго с достоинством терпел щекотку и шипки, беззлобно отмахиваясь, но в конце концов не выдерживал и начинал хохотать. Тут уж было на что поглядеть, потому что хохотал Егор так же долго, как перед этим терпел. Никто не мог его остановить, и частенько учитель так и выпроваживал его — хохочущего, в слезах и красных пятнах — из класса. «Пришельца» повели на луну отправлять!» — всегда острил кто-нибудь вдогонку. Но то было в младших классах, давно, хотя Наташа помнила.

— Давай его пощекочем? — предложила она Светке.

— Кому-то сейчас пощекочу, — хмуро предостерег Егор, — три года будет чесаться.

Но Светка уже в нетерпении заходила со спины, а Наташа с лукавым лицом приплясывала перед ним, выдывая руками затейливые пассы.

— Да вы что? — испугался Егор, вжался в кушетку. — Кричать буду. Мама!

От позора и унижения спас Егора приход Эрнста Львовича, который явился с букетом гвоздик в одной руке и с бутылкой шампанского в другой. Закройщик был одет в строгий серый костюм, шея повязана пестрым галстуком, лысина серебрилась капельками пота. Увидев, что Света не одна, Эрнст Львович замешкался на пороге. Наташа прыснула, Егор крякнул с облегчением, потянулся и включил магнитофон. В комнате зарокотал хрип битлов.

— Проходите, гражданин, — пригласил Егор гостя, выступая в роли хозяина, — не стесняйтесь. Тут все запросто. Сейчас вас будут щекотать и тискать. Вы, наверное, к Павлу Всеволодовичу?

— Нет, — обескураженный Эрнст Львович пугливо озирался. — Я, собственно, к Светлане Павловне.

— И шампанское для нее?

— Разумеется... для всех.

— Давай стаканы, мать, — распорядился Егор, чувствуя себя теперь в полной безопасности, — тяпнем шипучки.

Света не спешила на помощь жениху, наслаждалась смущением своего прямого начальства, но наконец как бы спохватилась, цыкнула на распоясавшегося Карнаухова и усадила почетного пожилого гостя в удобное мягкое кресло.

— Знакомьтесь, Эрнст Львович. Это — Наташа, Егор — мои бывшие одноклассники.

Эрнст Львович извлек из недр пиджака огромный розовый платок и аккуратно, как полотенцем, протер лицо.

Наташа еле сдерживалась от смеха, уже клокочущего в груди. «Вот бы сюда Афиногена!» — подумала она, и смех сам собой истаял, сгорел.

Битый час они распивали шампанское. Девочки, две голубки, обнявшись, ворковали на Светкиной кровати, а мужчины беседовали о политике.

— Не говорите мне этого, — смягчая некоторые твердые согласные, вещал Эрнст Львович, — Картер — хитрая пестия и к тому же масон. Не так все просто, юноша. Они опомнятся, но путет позтно. Помяните мое слово... Шутки с ятерным оружием не прохотят. Можно, к примеру, перешить пальто, а ятерную поеголовку в сопло не вернешь, нет. Только один раз кто-то нажмет кнопку. И я не уверен, что это путет Картер.

Егор упивался разговором.

— Кто бы ни был, какая, в сущности, разница. Заряженное ружье должно выстрелить, и оно выстрелит. Кнопку нажмет не отдельный человек в отдельном кабинете, а политическая ситуация, которая рано или поздно станет благоприятной для ядерного удара.

— Вы пораженец, Егор Николаевич. По-вашему, nato ситеть сложа ручки и жтать неизпежного? Нет, Егор. Прогрессивная мысль не топустит войны.

Эрнст Львович победно взглянул на ученицу по портновскому ремеслу и вторично промокнул череп.

— Егорка нарочно заводит, — вступилась Светка, —

он же спорщик. Вы ему не верьте, Эрнст Львович. Все путет по-вашему.

— Не вякай ты, цветок душистых прерий, — по-свойски урезонил ее Егор Карнаухов. — Помолчи, когда два джигита беседуют.

Шокированный Эрнст Львович зарделся и отхлебнул шампанского. В этой компании он не чувствовал себя уверенно и ежесекундно ожидал подвоха. Чего ему действительно хотелось, так это остаться наедине со Светкой и, возможно, предаться блаженству невинных объятий. На большее он не рассчитывал. Последняя безнадежная любовь печально кружила его суровую душу. Хохотушка Светка, ее бездонные украинские очи, добродушный и озорной нрав, изящные движенья легких рук сводили его с ума.

— Скоро родители пожалуют, — ни к кому не обращаясь, сообщила Света.

Эрнст Львович, однако, принял намек в свой адрес, рванулся куда-то, но тут же, застыдившись собственной несолидности, опустил ся опять в кресло.

— Искупаться бы, — скучающе помечтал Егор, недовольный, что прервали их политический диспут, в котором он скоро одолел бы несмышленного пузана.

Многие жители Федулинска, а особенно молодежь, в выходные дни выезжали отдыхать на чистое и глубокое лесное озеро, расположенное в пятнадцати километрах от города. Туда по субботам и воскресеньям ходили рейсовые заводские автобусы.

— Искупаться! — обрадовалась Света. — Поедем на Утиное? Ах, как здорово! Там сейчас народу нет никого. Вода теплая.

— На чем ты поедешь? — охладила подругу Наташа. — Опомнись!

— Эрнст Львович отвезет нас на такси. Правда, Эрнст Львович? Вам ведь хочется со мной искупаться? Мы будем играть в нырялки-догонялки. Я дам вам свою шапочку.

Юная кокетка с азартом подергивала впервые натянутую ею струну власти над мужчиной. Эрнст Львович закашлялся, беспомощно завертел головой, забасил, как испорченная пластинка:

— Конечно, почему же не искупаться. Летом только и купаться. Хорошо летом купаться...

Света, ликуя, утащила подругу в другую комнату примерять купальники. Мужчины остались одни.

— Допьем? — кивнул на шампанское Егор. Опытный закройщик понял: ждать помощи он может лишь от этого белобрысого и дерзкого мальчишки.

— Видите ли, Егор Николаевич, — заговорил он, наступая на горло самолюбию, — меня в этом мероприятии смущает одно обстоятельство. Я довольно хорошо известен в городе... Увитев меня в обществе твоих прелестных твиц, знакомые могут неверно истолковать... Хотя...

— Ханжество, — с презрением перебил Карнаухов, — позорно слушать.

— Вы так считаете?

«Все равно, — подумал Эрнст Львович с неожиданной отвагой. — Если Светлана согласится, уйду от жены. Давно пора решиться на этот шаг. Сколько можно терпеть! Да, все зависит от Светланы. Я ей нынче же объясню еще раз. И буду настаивать».

Их проезд на такси по федулинским улицам получился триумфальным. Народ густо двигался со службы, домохозяйки делали последние покупки к ужину, дети резвились повсюду, как стайки птиц. Был час пик. Латунный череп и медальное лицо Эрнста Львовича в глубине салона и сияющие по бокам две девичьи мордочки многих заставили остановиться. Мужчины понимающе ухмылялись, тень зависти сгоняла усталость с их лиц; домохозяйки с полными сумками суровели, а самые морально устойчивые выкрикивали вдогонку обидные слова. Детишки подхватывали эти слова хором и долго бежали следом за медленно ползущей машиной. Как ни склонял почти до сиденья свои могучие плечи Эрнст Львович, его, конечно, узнавали. Главная неприятность случилась на выезде из города. Эрнст Львович уже собирался облегченно вздохнуть, как — о, ужас! — дорогу им преградила пожилая дама в ярком цветастом платье. Дама, слегка покачиваясь, брела как раз по середине проезжей части. Таксист резко тормознул.

— Это она! — молвил Эрнст Львович, сползая с сиденья.

Да, это была теща Эрнста Львовича, старуха Карина, женщина дикой воли, необузданных страстей и

первозданного мировоззрения, дочь степей, ничего не забывшая из прошлого скитальческого устава. Старуха Карина давно порвала всякие отношения и с дочерью и тем более с развратным зятем, жила одиноко в старом бревенчатом доме за городской чертой. Карина разводила на своем маленьком участке невиданной сладости и раннего созревания клубнику и сдирала на рынке с федулинских жителей баснословные деньги. Причем установленные законом пределы рыночных цен ее как бы не касались. Попытки уговорить старуху, ввести ее в общее торговое русло всегда кончались плачевно, она попросту делала вид, что не понимает русской речи. А когда однажды молодой и ретивый милиционер Никаноров вежливо пригласил ее проследовать за ним в отделение, старуха взялась так истошно вопить и метко плевать, что на рынок сбежалась половина Федулинска. Оплеванный в прямом и переносном смысле, добросовестный Никаноров сочинил один за другим три рапорта по инстанции и был удостоен личной беседы с капитаном Голобородько.

— Оставь ты это дело, дружок, — отечески посоветовал Голобородько, — старуха, конечно, ядовитая и ненормальная, но особого беспокойства от нее не исходит. Скажи, дружок, ты купишь клубнику по десять рублей кило? И я не куплю, — капитан ухмыльнулся. — Купят только те, у кого крайняя необходимость либо нечестно нажитый капитал. Кстати, ты бы, милочка, не к старухе, а к этим последним приглядывался.

— Закон есть закон! Он для всех общий. Или я ошибаюсь? — с вызовом спросил сержант.

— Не ошибаешься, — капитан обрадовался встрече с грамотным подчиненным и вышел из-за стола, — но иногда закон добродушен по отношению к ненормальным пожилым старухам нерусского происхождения. Учти еще и то, милочка, что клубнику она выхаживает сама, своими дрожащими старческими руками. А это нелегкий труд.

— Она оскорбила в моем лице представителя охраны порядка.

Голобородько нагнулся к самому уху сержанта и сказал совсем иным свистящим шепотом, словно по секрету.

— А вот за то, что ты допустил такую ситуацию,

я должен наказать тебя самым суровым образом, сержант — И прогремел: — Как ты смел опозорить славные милицейские погоны?!

Сержант Никаноров попятился, отдал честь и покинул кабинет.

На такси с веселыми купальщиками старуха Карина наткнулась, разумеется, случайно. Она любила, когда водители проклятых смердящих автомобилей с руганью сворачивают и уступают ей дорогу. Ни один мускул на ее лице не вздрагивал, даже если она оказывалась на волосок от гибели.

Сейчас она мгновенно зоркими татарскими очами различила в глубине машины и девочек, и своего низкого душой зятя. Ни слова не говоря, она, семеня, обогнула машину сбоку и, крикнув, врезала по железному колпаку сухим старушечьим кулаком. Звонкий гул потряс кузов.

— Едем! — простонал Эрнст Львович.

Водитель среагировал правильно, не стал распинаться и качать права, а сразу дал полный газ, вырвав машину за пределы досягаемости озверелой бабули.

Вскоре шоссе сделало поворот, и Федулинск исчез за деревьями где-то позади. Еще поворот, и машина заскользила по земляной проселочной дороге, утрамбованной до крепости асфальта. Света первая прервала неловкое молчание:

— Ах, Эрнст Львович, что же вы нас не предупредили! Ведь бабушка могла бы расколотить казенную машину вдребезги.

— Ведьма она, а не бабушка, — откликнулся повеселевший водитель. В открытые окна потянуло свежими лесными запахами. Сразу стало прохладней, будто из одной погоды переехали в другую.

Эрнст Львович вдруг обиделся не на шутку.

— Прошу не отзываться так о Карине Ипрагимовне, тостойной и скромной женщине, — сухо обратился он к водителю.

— Она, конечно, видать, что скромная женщина, — согласился тот, — сразу видать. У меня у самого теща такая же. Скромничала, скромничала, а потом подлила мне в четвертинку — я ее на опохмелку с вечера приготовил — подлила, стерва, купоросу. С ними, со скром-

ницами, всегда ухо приходится наготове держать... — водитель увлекся своими рассуждениями, бросил баранку и начал прикуривать. Машина запетляла между деревьями, как пьяная. Девушки завизжали, а Миша на переднем сиденье успел крикнуть:

— Прощайте, девушки-подружки!

— Не бойсь, — успокоил водитель, выравнивая автомобиль. — Бог не выдаст, свинья, значит, не съест.

Озеро открылось неожиданно, выкатилось перед дорогой чудесным зеркалом, с трех сторон четко обрубленным застывшим в вечерней неподвижности сосновым бором. Казалось, сказочный гигант обронил невзначай в зелень и прохладу огромный осколок мутноватого стекла.

...На пляже и в воде резвились солдаты, в сторонке, в тени деревьев, спрятался их зеленый грузовичок. Крики и хохот дробили воздух, гулко отражались от воды. Увидев такое скопление молодых людей, Эрнст Львович растерялся. Ему представился неминуемый скандал, он сам в роли рыцаря, защитника поруганных девиц, и, возможно, побои. Как-то тревожно складывался у него вечер. Непривычно.

— Вы постоите минут тесять, — обратился он к водителю. — Мы побыстренько искупаемся, и домой.

— Не хочу побыстренько, — закапризничала Света. — Ой, сколько солдатиков. Наташка, гляди, и офицерик с ними.

Действительно, пожилой майор-артиллерист сидел поодаль на бугорке и наблюдал за купающимися. Это несколько успокоило Эрнста Львовича. Сам он в армии не служил по причине таинственной болезни суставов, но понаслышке знал, что дисциплина — основа воинской жизни.

Майор, заметив их, приблизился.

— Вам бы лучше немного отъехать вон туда, — показал он с улыбкой. — Но вы не волнуйтесь — мы скоро отбываем.

Среди крика и гомона чуткое ухо Эрнста Львовича стало различать отдельные, хорошо знакомые ему крепкие юмористические фразы.

Пришлось, вопреки энергичным возражениям Светки, взять метров на сто влево. Здесь пляж был похуже, дно быстро переходило в вязкую торфяную жижу, зато

крики солдат слились в нестройный ликующий гомон, напоминающий фыркanye незаводящегося трактора.

Наташа наотрез отказалась купаться. Она жалела, что увязалась за Светкой. Может быть, думала она, ее сейчас разыскивает Афиноген. Она уселась под кустик и подставила лицо заходящему солнцу. Егор опустил ся рядом, лег на живот.

— Как чудно, Наташка, — сказал он. — Природа, эх!

Светка Дорошевич в купальнике предстала юной богиней, бронзовой, с худыми руками, узкими бедрами и смеющимся нахальным ртом. Эрнст Львович разоблачался медленно, с такой гримасой, точно собирался не купаться, а принять на пляже мученический венец. Постепенно обнажались его покрытые пухом жирные плечи, волосатая спина и грудь, и, наконец, открылись взорам ровные, массивные колонны ног, прикрытые до колен зелеными синтетическими трусиками. Увидев жениха в первоизданном виде, Светка упала на траву и некоторое время перекатывалась с боку на бок.

Потом она вскочила на ноги, протянула ладонь Эрнсту Львовичу — он обеими руками поддерживал резинку трусов — и властно сказала:

— Пойдем, милый, в воду. Не тушуйся и ничего не бойся. Я с тобой!

Эрнст Львович пустился за ней к воде, как теленок, которого прекрасная амазонка ведет к жертвенному камню. Но это со стороны, а душа его пела и торжествовала. Лишь одна мысль мешала ему полностью погрузиться в нирвану: хватит ли у него денег расплатиться с таксистом. На счетчике пока было набито ровно четыре рубля.

Наташа и Егор Карнаухов с одинаковым изумлением уставились в удаляющуюся широкую спину, колышущиеся пухлые плечи и бедра, пухлый, могучий зад богатыря из федулинского ателье.

— Светка, видно, дурака валяет? — спросил Егор, и в голосе его скользнула взрослая озабоченность. — Зачем ей это? Я не осуждаю, она человек вольный. Но зачем, Натка?

Наташа сжала плечи, пальчиками теребила травинки.

— Не знаю, — с грустью отвечала она, — во всей этой истории есть что-то противоестественное. Какой-то

Эрнст Львович. Нет, он мне, кстати, понравился. Возможно, он даже добрый и умный человек, но как можно его полюбить.—Ее прозрачные глаза округлились.— Егорушка, помнишь, как хорошо было в школе? Легко и всегда светло. Уроки, наши всякие шутки над учителями, обиды, слезы, недоразумения. Ведь это было всего год назад и уже не вернется никогда.

— Не впадай в маразм, старуха. — Егор скривил губы, понюхал мох и перевернулся на спину. — Еще детский садик вспомни.

Над недалекой гладью воды возвышался мощный торс Эрнста Львовича, слышались его мерные побряхтывания, словно он там, в озере, рубил дрова. Светки на синяя шапочка то скрывалась под водой, то смешно выныривала, как поплавок, когда клюет крупная рыба. Эрнст Львович тщетно пытался ухватить руками ускользающую, верткую наяду. Душа его окончательно воспалила, и он забыл про счетчик в такси. Водитель, свесив ноги с сиденья на траву, читал газету «Правда». Солдаты усаживались в грузовики и вдруг грянули: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». Деревья сиротски поскрипывали, склоняясь к своему отражению. Воздух налился тягостной, томящей густотой комариного звона.

Наташа оглянулась на кусты и тихонько сообщила:

— Я влюбилась, Егорушка.

Карнаухов улыбнулся, но, столкнувшись с пронзительной ясностью Наташкиного взгляда, благородно удержался от комментариев.

— Да, да, можешь смеяться сколько угодно. Я говорю с тобой, как с добрым старым другом. Я полюбила властного, дерзкого человека и оказалась совсем не готова к любви. Я плачу и тоскую, как тургеневская барышня.

— Фу! — не выдержал Егор. — Прости, Натали, но ты несешь чушь. К любви никто никогда не готов, как к чуме. Зато от нее быстро излечиваются. Честное слово, есть вещи похуже, о которых мы понятия не имели в школе. Знаешь, что это? Будни, рутина ежедневной скучной работы, обязательное общество серых неинтересных людей, пьянство. Наташа, жизнь не праздник, а мертвое топтанье на болотных кочках. Вот что это такое. Да, я зол. Да, я обозлился. Почему нас столько лет готовили к празднику? Почему обманывали? Зачем

говорили, что достаточно быть честными и трудолюбивыми и все остальное приложится? Кому теперь мне предъявить счет? Ты знаешь моего отца — честнее и трудолюбивее его нет человека? Так вот — его выгоняют с работы. Это справедливо? Нет? Он мне про это не говорил, я ведь работаю на том же предприятии. Там у нас каждую такую новость смакуют и обсасывают со всех сторон, как собаки кость. Смакуют, но найди хоть одного кто бы пошел и заступился. Всем безразлично.

— За что выгоняют Николая Егоровича?

— Ни за что. На пенсию.

Наташа промолчала. Егорушкина новость не задела ее сознания. Она подозревала, что Егорушка Карнаухов скорее всего безответно влюбился и корчит из себя Печорина именно поэтому. Ей нравился их неожиданный суматошный и доверительный разговор, и она пожалела, что в школе по-настоящему не подружилась с Карнауховым. Наверное, он хороший друг. Ей так сейчас необходим надежный друг. Она подумала, что хорошо, если бы из кустов вдруг нагрянул Афиноген и увидел их с Егором лежащих друг подле друга и вообразил бы бог весть что. Пусть бы помучился, злодей! Молчание затянулась, и на всякий случай она сказала:

— Все уходят на пенсию. И мы с тобой когда-нибудь уйдем.

Лучше бы не говорила. Егор вздыбился, сгорбился, сумасшедшая неприязнь плеснула из его глаз. «Не надо!» — хотела попросить Наташа, но не успела.

— Проклятые коровы, — вырвал из себя Карнаухов, — не на пенсию вы уйдете, а на лужайку щипать траву. И ты, и Светка, и все, — он повел рукой на потухающий лес. — Ваши сердца бьются ровно. И любовь ваша — это тоска по потомству. В этом мире на одного человека приходится тысяча голов рогатого скота, запомни это!

Он возвысился над ней грозным призраком, а после быстренько поскакал к воде, на ходу срывая рубашку и брюки. Как раз из озера возникли счастливые жених и невеста, Егор чуть не сшиб их с ног.

Он долго плыл широкими саженками, потом лег на спину и закрыл глаза. Вода покачивала, успокаивала и нежила его, маня опуститься поглубже. Егор Карнаухов

не сожалел о минутной вспышке и множестве вырвавшихся на волю злобных слов. Хотя сознавал, что проявил слабость и ни за что обидел не бестолковую, серьезную и добрую Наташку Гарову.

Это было слишком мелкое событие в сравнении с тем, что он переживал теперешним летом. Мир в самом деле изменился в его представлении, он различал в прежде привычно ясном и праздничном мелькании дней и событий некие уродливые и пугающие черты. Словно он пировал с друзьями, шутил и веселился, и вдруг из-за кустов выглянуло чужое, мерзкое рыло. Выглянуло, подло мигнуло и спряталось.

Карнаухов сказал Наташе правду, все началось с того момента, когда он стороной узнал, что его отца собираются проводить на пенсию. Нежно привязанный к отцу, он видел незаметное другим, видел, как сильный, умный человек в короткий срок постарел, обрюзг, ссутулился и начал разговаривать осевшим, мнимо бодрым пустым голосом, будто извиняясь и прощаясь.

Что-то перекошилось в сознании Егора, и теперь многие вещи, не имеющие никакого отношения к отцу, он видел ожесточенными, затуманенными глазами. Взять, к примеру, вот этого жирного Эрнста Львовича. Как возможно, что он ходит петушиными кругами около Светки Дорошевич, девочки с хохочущим ртом, которую Егор отлично помнил в форменном платье, тискающую руки от чудовищного смятения по поводу посаженной в тетрадке кляксы. Разве она уже женщина? Нет, она прежний наивный и смешной, лукавый подросток. Но ведь она сама поглядывает на Эрнста Львовича взглядом, в котором мелькает далеко не детское выражение вызова и обещания. Что это? Как понять? Подло, дико, но существует, — вот оно перед ним. Истинная чистота, не стыдясь, исполняет таинственный любовный танец перед пожилым, волосатым существом. Зачем? Для какого неведомого смысла?

Егор утомился и поплыл к берегу. Эрнст Львович и девочки сидели в такси.

— Карнаухов! — крикнула Света, подруга школьных дней. — Давай побыстрей, а то на счетчике шесть рублей наступало.

«Деньги не твои пока, — хотел сказать Егор. — Ра-но тебе их считать».

Но не сказал, не спеша оделся, забрался на заднее сиденье, рядом с Наташей. Гарова, бледная, глядела в сторону.

— Извини, — шепнул ей Карнаухов. — Я тебе не хотел хамить. Так вышло.

— Я понимаю, — сказала Наташа. — Мне не надо было рассуждать про твоего отца. Я сделала тебе больно.

— Да, не надо было.

— Нет.

— Мне кажется, Гена работает с твоим папой.

Егора раздражало, что их разговор слушает Эрнст Львович.

— Ну и что?

Наташа произнесла на тихом дыхании, готовая оборвать себя на полуслове.

— Это такой человек, который может помочь. Хочешь, я его попрошу? Он мне не откажет.

— Ты девочка, Натали. Попросить можно достать джинсы. О таких делах никто никого не просит. Оставим это. Ерунда. Забудь.

— Какие-то секреты, — вмешалась Светка. — Секретчики объявились. Ух!

Эрнст Львович обернулся с переднего сиденья и хмыкнул.

— Чего? — обрезал его Егор Карнаухов. — Вы-то чего мычите?

— Егорий!

— Молотой человек, я никому не хочу турного, — предельно вежливо объяснил Эрнст Львович. — Я сказал «хм!», потому, что потумал, как странно устроена наша жизнь.

Дальше они ехали в молчании. У первых домов, освещенных тусклыми в сумерках фонарями, Егор покинул компанию.

Эрнст Львович подвез подруг к Наташкиному подъезду, а сам еще заехал в магазин и купил себе кухню четвертинку водки.

Вечером на город неожиданно упал стремительный буйный ливень. Вода мгновенно сбила пыль с домов и

асфальта, разворошила траву, веселыми, тонкими струями зашуршала по жестяным крышам, застучала в стекла. Федулинск засиял, как выщербленный старый медный таз для варенья.

Застигнутые врасплох жители прятались в подъездах, под карнизами и арками, томились у дверей магазинов и клубов.

Редко какой смельчак, гикнув «Эхма!» и закутав голову рубашкой, выныривал под искристый водопад и сломя голову скакал по лужам, надеясь куда-то поспеть в срок. Водители машин выключили бесполезные «дворники» и остановились там, где их застал удивительный дождь. Влюбленные кавалеры с наслаждением тискали промокших подруг под прохудившимися липами парка. Осторожные хозяйки на всякий случай погасили электричество и наглухо закупорили окна. В темноте Эрнст Львович без помех выдул залпом стакан водки, захмелел и в одних трусах отчаянно вымахнул на балкон. Одинокий Петр Иннокентьевич прокрался на кухню и накапал в мензурку сорок капель корвалола. Капитан Голобородько отдал приказ дежурным по городу — смотреть в оба.

Николай Егорович подумал о том, что такие дожди приносят счастье, и сказал сыну, чтобы тот резал мясо помельче. Они вместе стряпали мясной салат.

Девушки Наташа и Света, увлеченные разговором о сложностях и коварстве любви, почти не обратили внимания на внезапный ливень.

Братья-хулиганы Лева и Колюнчик в будке около клуба подстерегали заезжего пижона, осмелившегося два раза пригласить на танец местную девушку. С завистью прислушивались они к звукам музыки из зала, откуда их вытолкали дружинники.

Наконец свирепый раскат грома потряс до основания каменно-деревянный Федулинск, и тут же, вырвавшись из адской тьмы, совсем низко над домами хрустнула ослепительным светом чудовищная молния. На мгновение мокрый город осветился и возник из темноты и ливня, как игрушечная панорама в киносказках покойного Роу. Бедные федулинские старушки неистово закрестились, живо припомнив предсказания бывалых людей о скором конце света. Завыли перепуганные собаки.

В течение десяти минут непрерывно гремели раскаты и причудливые зигзаги миллионами коротких замыканий исполосовывали тьму над Федулинском.

Внезапно гроза прекратилась, очистилось небо, всплыли омытые влагой яркие звезды, и только далеко на западе словно погромыхивал на стыках и сигналил прожекторами уходящий поезд.

Тишина и благодать опустились на чистый, уцелевший город. Воздух густо запахом ароматов листвы и расщепленным кислородом. Маленькие дети в домах успокоились и перестали плакать. Со стуком распахивались окна и двери балконов.

Чудо природы — летняя гроза — свершилось.

Афиноген в больнице

1

Пора, пора вернуться к Афиногену, который лежит на узком операционном столе со вспоротым животом. Операцию делает недовольный, насупленный Иван Петрович Горемыкин. Телефонный звонок раздался в восьмом часу, когда он доставал из холодильника запотевшую бутылку светлого жигулевского пива. Дежурный хирург, недавняя выпускница мединститута им. Сеченова, растерялась и не смогла поставить диагноз.

Рассерженный Горемыкин в сердцах спросил по телефону:

— А что же, Галочка, этот ваш больной не может потерпеть до утра? Куда он так спешит?

Галочка по-старушечьи затарахтела в трубку.

— Я боюсь, Иван Петрович. Он очень корчится.

— Говорите разумно, если можете. Он что, от смеха корчится?

— Кишечник не прощупывается, живот твердый, как камень. Видимо, спазм... Или перитонит.

— У вас, Галочка, в голове спазм, — доверительно сообщил Иван Петрович и бросил трубку.

Дан ткнул его носом в ладонь.

— Вот так, пес, — наставительно заметил Иван Петрович. — Примечай как измываются над твоим хозяином. Между прочим зарплата у нас с бесценной Галочкой почти одинаковая.

Он сходил на кухню и налил собаке в миску кислых щей. Дан залакал с шумом, сопеньем и присвистыванием, чем пробудил в хозяине встречный аппетит.

— А вот мне и поесть толком некогда, — Горемыкин заворачивал бутерброды в этиленовый пакет, —

Не могу же я, как ты, жрать на ходу. Еда — дело серьезное. Да перестань, наконец, чавкать, как свинья!

Дан повилял хвостом и залакал еще поспешнее, кося на хозяина красноватые белки.

В больнице его встретила Галина Михайловна и провела в ординаторскую, где на кушетке, скорчившись, мучился Афиноген Данилов.

Горемыкин, не здороваясь, знаком показал ему, что надо лечь на спину.

— Лежать не могу, — улыбаясь, сказал Афиноген, — потому что больно.

С этими словами он послушно вытянулся на спине.

— А почему вы без халата, доктор? — спросил Афиноген. — В стирке, что ли, халат?

Иван Петрович нехотя взглянул в лицо больного. Он привык к страху, растерянности, панике на лицах страдающих и ждущих помощи людей. Самые мужественные из его пациентов в горькие минуты непонятной, внезапно подступившей боли часто теряли себя, роптали и начинали произносить несуразные, умоляющие слова. Человек со стороны — не врач — не всегда мог заметить эту паническую перемену. Многие больные сохраняли внешнее достоинство и приличие. Горемыкин умел безошибочно различать под маской равнодушия и напускной бравады обессиливающее смятение перед надвигающейся бедой. Боль и страх смерти рано или поздно выворачивали человека наизнанку, срывали покровы годами приобретенных манер и привычек, выдавливали из глаз животное выражение: ничего не существует, доктор, кроме моей боли! Это всегда раздражало Горемыкина, хотя он и научился находить необходимые слова утешения. В юности он зачитывался романами Конрада, Джека Лондона, Грина, преклонялся перед сильными и гордыми характерами эллинского склада, а в жизни слишком часто довелось ему наблюдать слабость и унижительную покорность судьбе. Горемыкин не осуждал своих больных, потому что сам остерегался болезней и не мог предугадать, как поведет себя в роковых обстоятельствах. Он лучше других понимал, что болезнь и смерть неизбежны, и в конце концов всеми силами своей неробкой души возненавидел именно эту чудовищную неизбежность ухода. Он сражался с ней в открытом бою ежедневно, умело от-

дыхая в редких перерывах между сражениями. Он закалил свои нервы и приучил искусные пальцы отыскивать болезнь в самых укромных норах. Не раз и не два побеждал Горемыкин худосочную и коварную старуху-смерть, и оттого на весь облик его лег отпечаток легкого, благодушного презрения к суете.

В Афиногене хирург не обнаружил ни страха, ни просьбы; только любопытство и вопросительную усмешку увидел он и тут же предположил, что больной находится в состоянии болевого шока.

— Почему без халата? — переспросил Иван Петрович в недоумении. — А вам-то, собственно, какое дело?

— Порядок должен быть, — солидно кашлянул Афиноген, — если нет халата, может не оказаться и скальпеля под рукой. Я не согласен, чтобы меня резали кухонным ножом.

— Кухонным ножом? — еще более удивился Горемыкин.

— Хорошо, согласен, — сказал Афиноген, — только наточите его как следует.

В ушах его свистнула свирелька, искры метнулись перед глазами, сердце сдавила мохнатая лапа, и он катанул по ту сторону сознания. Но не надолго, тут же вернулся. По-прежнему перед ним маячили сосредоточенные врачи и поодаль на стене белел портрет Чехова. Женщина-врач договаривала фразу, начало которой Афиноген пропустил по причине короткого отсутствия.

— ...новокаиновая блокада или каким-то иным способом, — сказала женщина сдержанно-дрожащим голосом.

— Будем оперировать, — отрезал Горемыкин. — Классический аппендицит. Давно начались боли, юноша?

— Со вчерашнего дня.

— Почему утром не явился?

— Думал, отпустит.

— Прекрасно, что вы имеете способность думать. Прекрасно. А вот теперь я должен по вашей милости оставаться без ужина.

— Ужинайте, — сказал Афиноген, — я подожду... Я бы и сам чего-нибудь перекусил.

Впорхнула в комнату медсестра со шприцем. Афиноген догадался и безропотно оголился. Потом его раздевали, переодевали, ставили клистирчик, — все эти больничные маневры он перенес с достоинством, только один раз попросил воды. «Пить нельзя, — мягко отклонила просьбу медсестра. — Это у вас жажда от укола».

Наконец его оставили одного, в чистой белой рубашке на жесткой кушетке.

Закоченевшая боль повисла в правом боку двухпудовой гирей. Оглушенный лекарством мозг перестал в нее вслушиваться. Безразличие охватило Афиногена. Пересохшим отвратительно непослушным языком он то и дело облизывал десны, пытаясь ощутить хоть каплю влаги. Казалось, во рту перекачивается плотный пучок грязной, засохшей осенней травы, одно неосторожное движение — и трава наглухо заклеймит горло. Тогда, конечно, не спасешься от удушья.

Мысли не выстраивались в ровную цепочку, и это создавало странную иллюзию невесомости, путешествия в пространстве.

Афиноген не сопротивлялся изнуряющему полету, наученный неизвестно чьим опытом, он терпеливо берег энергию.

Две женщины в белых халатах вкатили в комнату коляску и помогли Афиногену переместиться на нее.

Одна женщина попросила:

— Сними рубаху, сынок.

— Нет, — ответил Афиноген, — не сниму, тут сквозняки кругом...

На операционном столе его внезапно забила мелкая костяная дрожь, которую он никак не мог унять, и поэтому сказал осуждающе Горемыкину:

— Вы не подумайте чего-нибудь, доктор. Это у меня от радости дергунчик.

— От лекарств, — дружелюбно пояснил Иван Петрович, — не беспокойся, Гена Данилов.

— Вы вернете меня в строй?

— Вернем, вернем непременно.

Далее в течение всей операции время разорвалось на отдельные куски. Большая его часть была похожа на тяжелое опьянение, зябкий полумрак. Но некоторые минуты получались синими, как солнечный день. Тогда

Афиноген отчетливо различал хмурое, склоненное лицо Горемыкина с вьющимися из-под шапочки по бокам черными прядями, стройные фигуры двух женщин-ассистенток и, закатив глаза, чуть сбоку еще одного человека — улыбающегося мужчину с какими-то шлангами в руках. Мужчина, замечая взгляд Афиногена, всегда ему кивал и радовался, будто получал очередное счастливое известие. В минуты просветления Афиноген становился болтлив и вступал в беседу с хирургом, который отвечал ему охотно, но однозначно и с утешительными интонациями.

— Как дела? — спрашивал Афиноген. — Долго еще лежать?

— Потерпи!

— Удивительно, доктор, но терпеть нечего. Совсем не больно. Так бы и лежал здесь: светло, чисто. Лишь бы вы не устали... Мне рассказывали некоторые случаи. Усталый доктор — опасное дело. Может все сделать наоборот.

— Чушь какая! — обронил Горемыкин. — Вы кем работаете?

— Я экономист, заведующий отделом. Вчера только назначили, еще приказа не было. Почему я сразу и не явился на операцию, доктор. Уйду, думаю, на операцию — конечно, дело хорошее, — без меня другого на это место пихнут. Очень тепленькое место, над всеми начальник. Сам ничего не делаешь, только покрикиваешь! Чуть что не так, подзываешь подневольного человека и прямо ему рубишь: «Ах ты, такой-сякой, пошел вон!» Приятно? Очень приятно... А я вас знаю, доктор. Вы по телевизору выступали в «Голубом сгоньке». Я помню. Вы читали стихотворение Сергея Есенина: «Молодая, с чувственным оскалом...»

Горемыкин что-то резко потянул, и горло Афиногена сузилось, и звук в нем замер. Он стерпел, не вскрикнул, но сознание, булькнув, померкло.

Очнувшись, Афиноген увидел ту же яркую лампу, те же усталые вечерние лица. За окном вспыхивали зигзаги молний, и отражение лампы подрагивало. По лбу и вискам хирурга стекали блестки пота.

— Галина Михайловна, — сердито обернулся Горемыкин, — вы видите, как бывает? Успели в последний момент. Видите!

— Вижу, Иван Петрович.

Милое, нежное лицо женщины искривила заискивающая гримаса.

— Держите себя в руках! — рявкнул Горемыкин и вдруг усмехнулся Афиногену. В его усмешке не было тепла и радости, но было искреннее уважение.

— Ничего, — сказал Данилов. — Ничего страшного. Вы, девушка, не беспокойтесь. Такие, как я, не помирают на операции.

— Может быть, общий наркоз? — спросил мужчина сзади. Афиноген откинул голову и наткнулся на знакомый радостный кивок и поклон.

— Как ты, Гена? — поинтересовался Горемыкин. — Потерпишь еще?

— Потерплю. Работайте, не отвлекайтесь, — он представил скользкий мрак небытия, куда его собирался загнать радостный анестезиолог, и, торопясь, добавил: — Не надо наркоза. Не надо! Ни в коем случае!

— Вот видите, не надо, — спокойно подтвердил Горемыкин.

Теперь Афиногену казалось, что где-то у него внутри умещается очень много живых, прыгающих, сверлящих, покалывающих существ. Не было ни одной самой дальней жилки в его теле, которая сейчас не повизгивала бы о снисхождении и пощаде. Он стиснул зубы и попытался расслабиться. Нет, тело больше, к сожалению, не принадлежало ему. Все оно — каждый нерв, каждая мышца, каждый сосудик — в адском напряжении стремилось к тому месту, где копошились чужие и ловкие руки хирурга. Афиноген морщился, хотел вздохнуть, но и воздух не проходил в легкие. Он растерялся.

— Еще долго, доктор? — шевельнул он отвердевшими, тоже чужими губами.

— Ну-ну, — Горемыкин распрямил спину и остро заглянул в глаза больного, — не раскисай, Гена! Говори что-нибудь. Посмеши Галочку.

— Смешить я большой мастер, — неверным голосом заквакал Афиноген. Борющееся, измотанное его самолюбие уследило за презрительным пониманием, украдкой скользнувшим во взгляде хирурга. Он переборол свою немощь, и гнев окрасил розовой дымкой его мертво-бледные скулы. Афиноген рванулся, и ему поч-

ти удалось сесть. На плечи сзади обрушился анестезиолог и придавил к жесткой узкой поверхности стола. Тысячи шипов пронзили живот, грудь и легкие Афиногена. «Ах!» — взвизгнула Галина Михайловна, а Горемыкин резко отпрянул...

Афиноген Данилов погрузился в мгновенную холодную полночь. На волосы ему из угла комнаты прыгнул черный паук величиной со спичечную коробку. Афиноген с отвращением сбросил его и кончиками пальцев живо ощутил корябающее прикосновение паучьих лапок. Пока паук готовился ко второму прыжку, Афиноген затряс головой и вернулся в операционную. За два часа он уже много раз перешагивал порог туда, где жили одни пауки, и с усилием возвращался. Все труднее давались ему эти потусторонние вылазки, но он не жаловался, хотя допускал, что один раз силы его иссякнут и он не найдет обратную тропинку. Черный паук, тамошний житель, передавит ему колючими лапками главную сердечную вену.

— Нельзя же этак, — облегченно внушал ему Горемыкин. — Вон Галочку перепугали. А она молодой специалист, ей противопоказано зрелище встающих на операционном столе больных. Как же вы так, голубчик?

— Что-то тошно, — прошептал Афиноген, — нельзя ли поспешить? Что-то затянулась наша встреча.

— Работа тонкая, — теперь Горемыкин сам говорил торопливо, невнятно, как шаман. — Спешки не любит. Скоро кончим, полчаса еще. Вы сами виноваты, голубчик. Ишь сколько времени потеряли зря. Сами же знаете: поспешишь — людей насмешишь. Ну, ничего. Таких терпеливых, тебе прямо скажу, я мало встречал, а оперирую уже двадцать лет. Считай каждый день стою за этим столиком. Представляешь? Ты молодец, Гена! Сопли не распускаешь. А иные, поверишь ли, плачут. Некоторые могучие мужчины превращаются прямо-таки в невинных младенцев. Даже Галочкина неопикуемая красота их не взбадривает. Больно, конечно, и тяжело, я понимаю. Но потерпи чуток. Потерпи!

Афиноген ухитрился глотнуть побольше воздуха и сказал равнодушно:

— Обидно, доктор, перед женщиной лежать без порток. А так пожалуйста. Режьте, сколько хотите. Разве

мы не люди. Если для науки, для опыта, режьте хоть до утра. А мои штаны не упрут в гардеробе? Ворья-то везде полно. Подумают, что я окочурился и...

Пожилая медсестра, которая до этого не открывала рта и была самым незаметным человеком в операционной, вдруг приняла его слова всерьез. Полный негодования и укоризны голос прозвучал из-под марлевой повязки:

— Как вам не стыдно, молодой человек! У нас не воруют в больнице.

— Он шутит, — остановил ее хирург. — Ты разве не видишь?

— Не воруют? — усомнился Афиноген. — Интересно. Да я не в осуждение, поверьте. Все ведь из озорства, не более того. У нас на предприятии краску со стен сколупывают и в карманах выносят. Краске этой — ноль цена. А люди тащут. Избаловался народец без присмотру. Озорует.

Афиноген бормотал, ерничал и не понимал, что его почти не слышно. Для врача и ассистентов только губы его пошевеливались и собирался в складки постельно-серый лоб, но этого было им достаточно, чтобы знать: больной в сознании и не слишком обескуражен.

— Давайте теперь вы! — Горемыкин с опустошенным мокрым лицом кивнул Галине Михайловне и отошел к окну. Афиноген видел его сутулую спину и черное пятно затылка. «Все, — понял он, — главное позади».

Он опустил веки и без опаски налегке отправился в кишаший комками ваты знакомый мрак, на свидание к пауку. Паука там не оказалось, зато около ноги копошилась противная толстая белая крыса с окровавленной мордой. Афиноген погнался за ней, пытаясь раздавить ее каблуком. Крыса гадко пищала, увертывалась и разевала зубастую, как у волка, ядовитую пасть. С ее зубов стекали лужицы желтоватой смолы. Пятки Афиногена промокли и стали прилипать к полу. Он знал, что если дать крысе передышку, она сама бросится ему на грудь. Как ужасно она пищала и грызлась, мерзкая тварь!

— Все кончено, Гена! — слышал он с неба голос Горемыкина.— Операция кончилась. Проснись! Пошеве-

ли пальцами, покажи, что ты меня слышишь! Эй, Гена! Афиноген разлепил набрякшие веки и обнаружил, что лежит на высокой кровати в обыкновенной маленькой комнате, с обыкновенным окном и обыкновенными, окрашенными в голубой цвет стенами. На тумбочке горела неяркая лампа.

— Как?

— Отлично, — уверил Горемыкин, — лучше не бывает. А сейчас попробуй откашляться.

Афиноген попробовал и издал шорох, похожий на скрип половиц в деревенском доме.

— Здорово, — восхитился Иван Петрович. В палате они были одни, — но надо, чтобы воздух очистил легкие. Ну-ка попробуем сесть. Ну-ка! Так будет удобнее.

Он поддержал Афиногена за плечи, и тот сел без особого труда. Голова кружилась, но нигде ничего не болело. Он погладил пальцами пухлую наклейку на животе.

— Спасибо, доктор, — сказал он. — Я забыл вас поблагодарить.

Горемыкин кивнул.

— Ты куришь, Гена?

— Да.

— Погоди, сейчас я тебе принесу сигарету. Покурим с тобой. Надо обязательно продышаться. Обязательно!

С неуклюжей быстротой Горемыкин заспешил к двери. Афиноген подумал и опустил ноги с кровати. Голые ступни ощутили свежую прохладу паркета. Ничего.

Он оперся руками и рывком встал на ноги. Ничего. Все в порядке. Вертанулись и исчезли сине-белые круги.

Афиноген сделал пробный шаг, второй. Слабые, вялые ноги неохотно повиновались. Ничего страшного. Он достиг окна и схватился за фрамугу. Любимый Федулинск светился розовыми огнями, покачивался, как огромный корабль у ночного причала. «Еще погуляем», — подумал Афиноген. Открыл форточку. Сыроватый воздух медленно пополз с волос на плечи, под рубашку, качнул занавеску. Афиноген поднял лицо и затянулся животворной прохладой, как дымом, — поперх-

нулся, захрипел, неловко перегнулся на подоконник. Обеими руками он схватил и прижал тесно к телу теплый бинт на животе. Вбежавший Горемыкин, охнув, успел подхватить обмякшего Афиногена и помог ему доковылять, почти донес до кровати.

— Ну, ты финтишь, Гена, — сказал он. — Прямо десантник какой-то.

Афиноген Данилов с огорчением ожидал, как сейчас в груди у него что-то должно непременно взорваться и затопить сознание. Нет, ничего. Только обильная испарина ливнем окатила с ног до головы.

— Где же сигарета? — потянулся Афиноген. — Покурить бы хорошо после операции.

— Вот, — Горемыкин протянул ему длинную трубочку «Явы-100» и чиркнул спичкой...

2

Отдел, который пока еще возглавлял Карнаухов, занимал четыре комнаты на третьем этаже административного здания. На втором этаже помещались дирекция, управленческие службы и бухгалтерия, что создавало некоторые неудобства для молодых сотрудников отдела. Неприятно было стоять и курить в коридоре, по которому в любую минуту мог прошагать кто-нибудь из начальства. Курить в служебных комнатах с недавних пор запретили приказом по институту, изданным по инициативе пожилых женщин, которых в свою очередь сагитировала «Литературная газета», ведущая прогрессивную кампанию по борьбе с никотином. Как все новое, борьба с курением внедрялась с огромными трудностями и напряжением. Возглавляла антиникотиновую группировку Клавдия Серафимовна Стукалина, одиоветная вдова, сорокапятилетний младший научный сотрудник. Узнав из статей, какими бедами грозит ей лично зачумленный сигаретным дымом воздух, Клавдия Серафимовна на время как бы повредила в уме. Прежде спокойная, выдержанная женщина, любительница некрепкого кофе с карамельками и задушевных интимных бесед, она внезапно превратилась в неистовую фурию, хитрую, беспощадную и коварно-хладнокровную. Спрятав в ящик стола неоконченное вязание (свитер для соседской девочки), Клавдия Серафимов-

на несколько дней бродила из комнаты в комнату и о чем-то подолгу шепталась с потенциальными единомышленниками. После этих бесед лица ее собеседников вытягивались и делались похожими на физиономии египетских жрецов. В результате появилась докладная записка на имя директора института, под которой стояло двадцать восемь подписей (впоследствии восемнадцать из них оказались фиктивными). В записке обоснованно, с научными выкладками доказывался урон, наносимый институту курильщиками. Слова «производительность труда», «творческая обстановка» перемежались колонками цифр и графиками, над составлением которых на совесть потрудились экономически образованные отшельские дамы. Все это выглядело настолько убедительно и так точно соответствовало духу времени, что директор института Виктор Афанасьевич Мерзликин, со времен Отечественной не выпускавший изо рта папиросу «Беломорканал», тут же продиктовал секретарше суровый приказ, где говорилось, что по ходатайству сотрудников в целях нормализации и оздоровления обстановки курить в рабочих помещениях категорически запрещается. Наказания сулились неопределенные и от того еще более грозные.

Подмахнув приказ, Виктор Афанасьевич с сиротливым выражением лица распорядился убрать из своего кабинета все пепельницы, минуты две сидел в кресле, погруженный в сомнамбулический экстаз, потом быстро задымил очередную папиросу и стал стряхивать пепел в корзинку для бумаг.

Копию приказа единомышленники Клавдии Серафимовны (среди них были теперь и мужчины) переписали крупными печатными буквами на лист ватмана, облепили по краям соответствующими картинками из заграничных журналов (особенно впечатлял худенький человек — скелет, у которого вместо головы торчала желчно дымящая печная труба) и приконопатили плакат на доску объявлений у входа на этаж.

Утром самые заядлые курильщики отдела Сергей Никоненко и Семен Фролкин провели около плаката несколько веселых минут и, как обычно, с горящими сигаретами вторглись в комнату.

Клавдия Серафимовна, по-кавалерийски гикнув, подбежала к ним и, как-то ловко выхватив сигареты

сразу у обоих, метнула их на пол, растоптала, а Фролкину, как он впоследствии клялся, вдобавок заехала коленкой под зад. Одобрительные возгласы находившихся в комнате еще трех женщин сопровождали экзекуцию. Клавдия Серафимовна спокойно вернулась за свой стол и с доброй улыбкой извлекла из ящика вязанье.

— Осатанели наши старухи, — сказал Фролкин, — рехнулись от безделья. Но я буду жаловаться...

— Слыхали! — радостно крикнула Инна Борисовна, самая молодая женщина в комнате, имеющая в своем активе три парика, один — немецкий черный, с кудряшками, и два отечественных, из верблюжьей шерсти цвета телевизионных помех, — слыхали! Он оскорбляет женщин и коллег по работе. Негодяй!

Клавдия Серафимовна отложила вязанье и достала из стола чистый лист бумаги. Через двадцать минут на стол заведующего отделом Карнаухова легла жалоба на хулиганские, беспрецедентные действия потерявшего нравственные ориентиры Семена Фролкина. Жалоба была составлена творчески. В ней упоминалось, что Семен Фролкин в приступе безобразия смешал с грязью деятельность отдела, ругал нехорошими словами местный комитет и пытался набросить тень на личность директора, товарища Мерзликина. Все это он проделывал при полной поддержке своего собутыльника Сергея Никоненко, известного всему институту циника.

Карнаухов тут же вызвал обоих к себе в кабинет. Молодые специалисты вошли гордые и независимые. Николай Егорович глядел на них с грустью и запоздалым раскаянием. Эти люди были ему укором, они заставляли его остро ощущать груз лет. Они были как новые импортные станки, блестящие и совершенные, к которым он не умел толком подступиться. То же чувство он испытывал и по отношению к старшему сыну Викентию, избравшему путаную и небывалую профессию настройщика музыкальных инструментов. Викентий миновал тридцатилетний порог, но, кажется, не имел дамы сердца, ни с кем не водил дружбы, жил, отгороженный от всех прочным забором молчания, постоянного раздражения и нелепой, мелочной подозрительности. Николай Егорович давно оставил попытки найти с ним общий язык, бывали периоды, когда они

не разговаривали по месяцу, не ссорясь, просто не имея, что сказать друг другу, кроме обычных «здравствуй», «добрый вечер», «когда вернешься?», «ты не брал вчерашнюю «Правду»?»

Катя обвиняла мужа в черствости и бездушии. Карнаухов соглашался, но решительно не понимал, в чем дело. Как-то утром Николай Егорович дольше обычного задержался в ванной, принимал душ, плескался, побряхтывая под горячими струями, а Викентий терпеливо ждал в коридоре своей очереди. Конечно, он не постучал, не поторопил отца, но, выйдя из ванной, улыбающийся Карнаухов поймал на себе полный неистовой ненависти взгляд сына. Он невольно отшатнулся:

— Я не знал, — пробормотал он, — прости!

Викентий что-то буркнул и рванулся в ванную, чуть не толкнув отца плечом.

Карнаухов думал, что так случается у собак, если щенки долго живут вместе с матерью. Наступает момент, когда мать перестает заботиться о своих детях, они отвыкают от нее и, бывает, возмужав, вступают с ней в свирепую драку из-за куска мяса. Подобная мысль была унизительна и тяготила Карнаухова, как тайный грех.

Зато младший, Егорка, бесконечно радовал истомленное сердце Карнаухова. Нежный, внимательный, вспыливающий от любого намека на несправедливость, Егор проводил с отцом почти все субботы и воскресенья. Они играли в шахматы, ходили вдвоем в кино, выезжали иной раз на рыбалку. Хорошо им было созавать, как они нужны и милы друг дружке. Пожалуй, младший сын был сейчас самым близким человеком для Карнаухова. С женой Катей они просуществовали долгие годы, словно два дерева разной породы, посаженные рядом по воле незадачливого садовода любителя. Ругались, не испытывая слишком сильной обиды, и целовались, не бесясь от жесткого безумия любви.

Собственно, Карнаухову было вполне достаточно привязанности сына, чтобы не чувствовать себя одиноким и неудачливым, можно предположить большее: не будь у него Егора, он сумел бы привязаться к Балкану, к кошке, к кому угодно и не ощущал бы особой личной неустроенности и желанья как-то переменить жизнь. Инерция многолетних привычек научила Карна-

ухова довольствоваться малым, не гоняться за жар-птицей и, уж во всяком случае, не мозолить глаза посторонним своими личными неурядицами.

— Что же вы, ребятки? — обратился он к Никоненко и Фролкину, протягивая им листок, исписанный ажурным почерком Клавдии Серафимовны. — Если тут хотя бы половина правды, то нам есть о чем потолковать.

Никоненко прочитал листок и не комментируя передал его Фролкину. Пока у Семена отваливалась от удивления челюсть, он успел спросить у заведующего:

— Скажите, Николай Егорович, почему у нас в отделе так много пожилых экзальтированных женщин? Чтобы выполнить ту работу, которой они заняты, хватит и одной той же Стукалиной. Она увлечется производственным процессом, и у нее не хватит времени на подобные писульки.

Семен Фролкин, дочитав, подобрал челюсть и хрипло отбарабанил:

— Пусть представит свидетелей! Это клевета!

Карнаухов наугад пригласил Инну Борисовну.

— Инна Борисовна, мальчишки утверждают, что ничего подобного не было. Прочтите, пожалуйста.

Инна Борисовна эффектно поправила парик, быстро пробежала заявление.

— Нет, этого не было, — смутилась она. — Но было еще хуже.

— Что?! — взлетел Фролкин. — Что такое? Стукалина нанесла мне производственную травму. У меня синяк во всю ногу. Хотите покажу? Пусть ответит за побои.

— Покажи! — улыбнулся Карнаухов.

Фролкин сгоряча схватился за ремень, но опомнился, бросил затравленный взгляд на Сергея, забормотал что-то совсем невразумительное о неприкосновенности личности, воинствующем невежестве и необходимости довести дело до суда. Он очень остро переживал инцидент. Николай Егорович его остановил:

— Инна Борисовна, так что же все-таки произошло? Что они такого сказали?

— Не могу повторить.

— Матом, что ли, ругались?

— Нет.

— Господи, детский сад какой-то. Никоненко объясни ты, пожалуйста.

Сергей зевнул, демонстрируя, как ему безразлично происходящее, вяло произнес:

— Вот так мы и работаем. Ничего не было. Сенька справедливо отметил, что некоторые наши женщины осатанели. Вы знаете, Николай Егорович, там повесили какой-то юмористический приказ. Вроде, мол, курить запрещается. Пошутил, видно, кто-то...

— Никто не пошутил, — возразил Карнаухов. — Приказ подписан директором.

— Прошу прощения, — сказал Никоненко, — тогда, разумеется, все правильно. Мы подпись не разобрали. Думали, какой-то идиот пошутил. А если директор... конечно, мы понимаем. Простите великодушно, Инна Борисовна.

— Не обращайтесь ко мне! — вспыхнула женщина. — Вы не имеете права со мной разговаривать.

Карнаухов слушал перепалку, все более раздражаясь. Он сам в душе не одобрял новый странный приказ, но не мог допустить, чтобы в его присутствии подрывали авторитет директора.

— Вы свободны, — сказал он Никоненко и Инне Борисовне. — А ты, Сеня, задержись чуток. Вдвоем мы, пожалуй, скорее разберемся.

Семену Фролкину наедине он сказал:

— Ребятки, производство — это не семейный очаг, где можно высказывать все, что взбредет в башку. Нравится тебе человек или нет — тут не главное. Главное — работа. Нужно, Сеня, уметь быть терпимым.

— Какая работа? — вскипел Фролкин. — С кем работа?! — и вдруг потух, успокоился, как-то жалеючи и сочувственно взглянул сбоку, не в глаза, а в ухо Николая Егоровича, договорил совсем устало: — Пересадите нас с Никоненко в другую комнату, товарищ заведующий.

— Там свой участок, у вас свой. Разве ты не понимаешь? Вот что, Фролкин, тебе надо отдохнуть. Ты устал, я знаю, у тебя ребенок. Может быть, пойдешь в отпуск? Какую-нибудь путевку тебе выхлопочет профсоюз. А?

Карнаухов заискивал, стыдясь этого своего лживо-легкого тона, слащавой патоки в голосе. Фролкин с

прежним сочувствием покивал и покинул кабинет, не ответив на вопрос. Николай Егорович еще раз перечитал заявление Стукалиной, скривился и порвал бумагу на мелкие клочки, которые почему-то спрятал в ящик.

Антиникотиновая эпопея на этом не кончилась. То затухая, то вспыхивая гулким заревом истерик и открытых стычек, она продолжала взбаламучивать коллектив. Вскоре в самых запущенных и неудобных закоулках этажа появились жестяные таблички с надписями «Место для курения». Под табличками чьи-то заботливые руки установили массивные жутковатого вида урны, подобные надгробьям. Около урн, разумеется, никто не курил (разве только законченные бездельники, которым импонировала официальность пребывания вне рабочего места), курили в основном в коридорах института, и курили много. В летние дни коридоры и узкие переходы сизым туманом застилала табачная пелена; стоило открыть дверь в любую комнату, как дым вползал в щель, словно серое змеинное тело, и, извиваясь, устремлялся к распахнутым форточкам.

Иногда в коридор выскакивала разъяренная Клавдия Серафимовна и устраивала перепалку с отрешенными любителями никотиновых заболеваний.

— Бесстыдники! — раскатывалось по этажу. — А еще образованные люди, называется. За этим вас учило государство! Жалко ваших бедных детей и измученных жен!

Курильщики при появлении Стукалиной быстренько тушили сигареты и, потупя взоры, рассасывались по комнатам. В открытую дискуссию с ней никто не вступал.

На почве ненависти к табачному дыму у Клавдии Серафимовны завязалась трогательная дружба с заместителем Карнаухова Георгием Даниловичем Сухомятинным, сорокалетним кандидатом наук, противоречивым человеком с несколькими линиями поведения в коллективе.

Георгий Данилович приехал в Федулинск, как многие, ненадолго, но как-то тут окопался, привык, женился, — федулинский климат пришелся ему по душе. Защитив диссертацию, обычную, но и не хуже, чем у иных, Георгий Данилович окончательно оставил мечты о переезде в столицу и стал задумываться о служеб-

ном повышении. Думал он о нем вот уж восьмой годок. Сначала он планировал занять кресло заместителя директора, потом нацелился на заведующего отделом. Но время шло, а повышение пока не вытанцовывалось.

На всех совещаниях и планерках не было активнее человека, чем Георгий Данилович. Причем он ораторствовал складно: отсекал узкую тему, хорошо ее анализировал, не растекался мыслью по древу, делал всегда смелые правильные выводы. Накаляясь в критических пунктах выступления, иногда позволял себе и иронию. Он не задевал конкретных виновников, не называл фамилий, и получалось так, что и критика прозвучала, и все довольны, причины же недостатков после детального разбора их Сухомятиным, предполагалось, должны были исчезнуть сами собой, как болотные тени.

В институте любили слушать публичные выступления Георгия Даниловича и обычно встречали его появление на трибуне аплодисментами и довольными смешками. Так встречают зрители, заранее улыбаясь, популярного конферансье. Похлопывал в ладоши, чему-то радуясь, и сам директор Мерзликин. А вот в президиум за долгие годы Сухомятина ни разу не сажали. Он не мог понять, в чем тут дело. Иногда, беседуя с Кремневым (начальником отделения) о сугубо производственных делах, он ловил себя на мысли, что хочет оборвать разговор и откровенно спросить:

— Ну, что я вам сделал, дорогой Юрий Андреевич? Чем не потрафил?

По утрам Сухомятин совершал пробежки трусцой через весь Федулинск в один и тот же час, так, что горожане могли проверять по нему время, как это делали жители Кенигсберга, встречая на прогулке Иммануила Канта.

Но федулинцы забывали сверять часы, потому что редко кто мог удержаться от смеха, видя подпрыгивающего козликом в цветастом трико высокого нескладного человека с развевающейся, как у Махно, шевелюрой. Молодые сотрудники прозвали его Георгием-победоносцем.

Сухомятин каждое утро, как юноша, пробуждался с предвкушением обязательной скорой и счастливой пе-

ремены в жизни, а вечером, усталый, ворча на жену, укладывался в постель, старчески переваливаясь с боку на бок, разочарованный и обиженный на весь свет. Трое дочек его подрастали, делая невозможно тесной сорокапятиметровую жилплощадь. Старшая, Надя, училась в десятом классе и краснела, натываясь на отца, одетого в майку и трусы. Она же, Наденька, однажды спрятала его любимое сиреневое трико под старыми газетами в чулане, чем нанесла Сухомятину очередную незаживающую душевную травму.

Георгий Данилович уже не следил с такой тщательностью, как прежде, за свежими публикациями в научных журналах и не ревновал, встречая на страницах солидных изданий фамилии бывших однокурсников и столичных знакомых. Все более увлекался он разгадыванием кроссвордов и в этой области добился небывалых успехов. Его цепкая память удерживала тысячи разнообразных сведений, названий и цитат. В момент, когда самый затейливый кроссворд раскалывался, как орех, под его четким пером, Сухомятин испытывал истинное и никому не вредное наслаждение. Страстью к кроссвордам он надолго заразил многих своих подчиненных, отчего чувствовал неловкость и даже некоторые угрызения совести.

— После работы, товарищи, — сурово взывал он к игриво подходившим к нему со свежим номером журнала сотрудникам, — только после шести часов. А теперь попрошу не отвлекаться!

Однако журнал машинально прихватывал и тянул к себе, а через минуту уже сладостно посапывал над загадочной страницей, воровато зыряя глазами на соседние столы. Больше всего он стеснялся Афиногена Данилова, который не поддавался увлечению и честно заявлял, что считает разгадывание кроссвордов пустым занятием, похожим по интеллектуальному содержанию на игру в крестики и нолики. По отношению к Сухомятину, кандидату наук и его прямому начальству, это заявление звучало по меньшей мере бестактно. Георгий Данилович делал вид, что не обижается, и, слегка провоцируя, выдерживая светский тон, возражал:

— Вы так считаете, Гена, потому что сами не пробовали. А вы попробуйте-ка свои силы... Может быть, не так все и просто. Я расцениваю кроссворды, как

полезную умственную гимнастику. Конечно, не в рабочее время.

— Я любой кроссворд разгадаю быстрее вас, — дерзко отвечал Афиноген.

— Хм, попробуйте, что ж так голословно. Докажите!

— Я занят.

Сухомятин проглатывал и это. Когда Афиноген, застенчивый и сияющий, впервые появился в отделе, Георгий Данилович обрадовался, предположив в новичке возможного благодарного ученика.

На первых порах Афиноген и правда выслушивал, открыв рот, все советы и поучения Сухомятина, в его внимании истосковавшийся Георгий Данилович с упоением прочитывал восхищенное признание своего ума и деловых качеств, признание, так необходимое ему. Сухомятин приблизил молодого сотрудника, поставил его стол рядом со своим, причем не поленился пробежаться по инстанциям и добыл не простой канцелярский стол, а суперудобную мебельную диковину золотисто-мраморного цвета, один из столов небольшой партии, закупленной в Голландии. Стол имел множество ящиков и запирался тремя изящными медными ключиками, вырезанными наподобие бегущих лисичек. Такие столы стояли только в кабинетах самого крупного институтского руководства.

Афиноген корректно поблагодарил за заботу и именно с этой минуты как-то охладел к своему наставнику, стал рассеян, на вопросы отвечал невпопад, без удовольствия улыбался парадоксам Георгия Даниловича. Сиянье его глаз потухло, они вспыхивали прежним голубым блеском, только когда в комнату впархивала известная всем этажам красавица машинистка Леночка Семина. Но и Леночка недолго интересовала нового сотрудника. Сухомятин приглядывался к Афиногену с пристрастием, стараясь понять причину внезапного охлаждения и уныния молодого человека, поначалу производившего на всех впечатление готовой взорваться шаровой молнии. Как-то вечером Афиноген задержался дописывать отчет, и они остались в комнате вдвоем. Сухомятин решил потолковать с парнем подушам.

— Что, Гена, — задорно начал он, — вижу, скучно

тебе у нас. По Москве загрустил? Конечно, там многое привлекает. Я тоже первое время места себе не находил, так и стояла перед глазами белокаменная. Я в Москве прожил ни много ни мало—десять лет... Потом, знаете, привык. Главное — работа, перспективы. Правильно? А у нас тут, в Федулинске, страшно сказать, какой размах. И еще будем расширяться. Есть куда приложить силы и ум, есть! Это пока мы — филиал, скоро, я в курсе, будем головным предприятием отрасли. Нашего благословенного Мерзликина очень ценят наверху, заметь. Недавно предложили ему пост заместителя министра. Отказался. Старик нутром чувствует, где живое дело, а где сонное царство.

Сухомятин деликатно ждал взаимно-доброжелательного ответа, а нарвался на грубость.

— Вы мне мешаете, — поднял голову Афиноген, блеснул тающим льдом глаз. — Я как раз занят живым делом, пишу нелепый, безобразный, свинский отчет, который вы велели мне сдать к завтрашнему дню.

Сухомятин от неожиданности блудливо хихикнул, боднул головой воздух и, не подав руки, отбыл во свояси.

На другой день Афиноген Данилов представил безукоризненный отчет, ни к одной букровке которого невозможно было придраться. Прошло немного времени, и Сухомятин понял, что отдел приобрел специалиста, к которому вообще вряд ли возможны претензии. Мозг Афиногена работал как средней мощности электронно-вычислительный центр.

Другое дело, что опасно было давать этому центру передышку. В минуты безделья, какие часто случались на их участке, Афиноген начинал философствовать, и тут, как говаривали верующие люди в старину, в пору было святых выносить. Всегда являлся послушать Афиногена поклонник телепатии Сергей Никоненко и получал от гневных тирад приятеля огромное духовное наслаждение. Никоненко сам воодушевлялся, прикуривал одну сигарету от другой (это происходило до запретительного приказа), поддакивал, хмурился, подливая масла в огонь бессмысленными репликами, потом мечтательно произносил:

— Ну и болван же ты, Генка, — церемонно жал руку замзаву Сухомятину, призывая его в свидетели

того, что он отверг злопыхательство коллеги, и, солидно покашливая, возвращался к себе в комнату...

Впоследствии Сухомятин очень мучился одной совершенной, как бы точнее сказать, поспешностью. Разок он все-таки не удержался и накапал на Данилова своему шефу Кремневу. При случае. Не специально. Кремнев по какому-то поводу поинтересовался: «Как там новый набор себя чувствует?»

Сухомятин ответил:

— Ничего, хорошие ребята. Не зря мы на них запросы писали. Пожалуй, вот Данилов...

— Что?

— Нет, нет, по работе к нему претензий никаких. Сосредоточен, исполнительен, но вот... язык, Юрий Андреевич, как говорится, его враг. Иногда такое сболтнет,

— Что? Говорите конкретней, — насторожился Кремнев.

Сухомятин добродушно улыбался.

— Ругатель. Молодость, наверное, этакое небрежное, неосторожное отношение ко всему, некий легкий налет отрицания. Ради красного словца истинно уж не пожалеет мать и отца.

— Если вы намекаете на что-то серьезное, скажите прямо.

— Ничего серьезного, Юрий Андреевич. Потом, если понадобится, у нас достаточно сильная комсомольская организация.

— Вот что, — сказал Кремнев, глядя в сторону. — Давайте оставим этот разговор. Он мне не нравится.

Сухомятин заулыбался и пожал плечами, мол, ему и самому не нравится, и он рад бы рот себе зашить, лишь бы не говорить о подобных вещах, но почел все-таки своим долгом уведомить, а если его не так поняли и... далее в том же духе. Такая богатая гамма выражений позабавила сдержанного Юрия Андреевича, он позволил себе маленькую вольность.

— Вы же знаете, — заметил он, — как опасны бывают всякие намеки, как легко их бывает извратить.

— Я знаю, конечно, — заверил Сухомятин, откладывая на полочку памяти, что и Кремнев в этом случае выразился не слишком прямо и откровенно. Геор-

гий Данилович много теперь запоминал такого — в интонациях, жестах, шутках, — на что лет пяток назад не обратил бы ровно никакого внимания. Незаметно пока для окружающих в нем рождался рядом с прежним другой человек — мелочный, подозрительный, склонный к интриге, этот новый человек отвоевал в мозгу Сухомятина маленький независимый плацдарм, на котором распоряжался самостоятельно и куда прежний Сухомятин иной раз допускался на собеседования, кончавшиеся обычно головной болью, бессонницей и муками совести.

Антиникотиновая драма застала Георгия Даниловича врасплох. Как человек, бесконечно дорожащий своим здоровьем, он всей душой разделял убеждения противников куренья, но как демократически воспитанный руководитель, в перспективе — замдиректора, он не мог решиться на открытое выступление против курильщиков, среди которых — парадокс! — оказались многие из самых трудолюбивых и одаренных сотрудников мужского пола. Противопоставить себя им — значило потерять в будущем их поддержку, во всяком случае посеять среди них скептицизм по отношению к своей особе. Сухомятин пошел сложным окружным путем, достойным уважения и сочувствия. С одной стороны, он, злостно некурящий, милостиво разрешал курить в комнате, если в ней не было дам, даже прятал в своем столе пачку распечатанной «Явы» и тайком, заговорщицки подмигивая, угощал сигаретами Афиногена и двух других мужчин — прижимистого Витю Давидюка, упрямого черноглазого запорожца, который продолжал бы курить и под угрозой смертной казни, и Иоганна Сабанеева, руководителя группы. С другой стороны, Сухомятин повел научно обоснованную антиникотиновую пропаганду: приносил в отдел вырезки из соответствующих статей, не жалея красок, расписывал ужасы преждевременной старости и смерти от рака легких, дышал через платок, демонстрируя коллегам желто-зеленое никотинное пятно (естественно, после табачной затяжки), нарисовал тушью и повесил за спиной уродливо изъеденный по краям череп с сигаретой в зубах (произведение, достойное болезненной фантазии Эдгара По), — и еще выдумывал множество подобных штук.

С Клавдией Серафимовной они сблизились не по инициативе Сухомятина. Попросту, зайдя как-то в отсутствие заведующего подписать у зама больничный лист, Стукалина узрела нарисованный череп с сигаретой. Простояв истуканом минуты три, Стукалина отшвырнула бюллетень, потянувшись через стол к жилистой шее Сухомятина и звонко, от сердца, троекратно его расцеловала, повалив при этом на пол телефон и стопку бумаг.

Георгий Данилович, который таял от любого по любому поводу намек на личный триумф, в этом случае все-таки растерялся.

— Ну зачем же так, — сказал он, в смущении оглядываясь на остолбеневшего Афиногена. — Обыкновенный рисунок юмористического свойства... Не я, собственно, придумал, сюжетец выловил в прессе.

Но Клавдия Серафимовна его уже не слышала, ползала на полу и собирала рассыпанные листки. Сухомятин, проклиная в душе полоумную бабу, бросился ей помогать, они громко стукнулись лбами, и это, видимо, положило начало их загадочной дружбе, тянувшейся до того вторника, на котором остановился наш рассказ.

В этот день отдел будоражило сообщение о внезапной болезни Афиногена Данилова. Наблюдательные дамы выявили связь между вызовом Афиногена к начальнику отделения и приездом «скорой помощи».

— Тут двух мнений быть не может, — скорбно объяснил Сергей Никоненко другу Фролкину. — Вызвал Генку, изувечил и, чтобы скрыть следы преступления, стакнулся с врачами.

Семен Фролкин охотно поддержал версию друга:

— Отбил, видно, все внутри у Генки. Ногой бил. Видел у него английские штиблеты, на платформе? А в каблуке, конечно, свинец. За что только он его так?

— Какая разница, человека не вернешь. Скоро и наш черед, Сеня. Юрий Андреевич нам не простит, что мы баллотировали Данилова в местный комитет. Он теперь не остановится.

Друзья смеялись, работать было лень. День после вчерашней грозы установился опять душный, жаркий, с какими-то речными запахами.

— Курил он много, — ехидно толковала Клавдия Серафимовна сотрудницам, — одну за другой. По пачке выкуривал. Вспомните, какой он последнее время стал — черный, худой. Сам себя в гроб вогнал. Родителей нету, без присмотра жил. Будь он моим сыном, уж я бы ему дала прикурить.

Слова эти звучали несколько нереально, потому, что все знали, что сын Клавдии Серафимовны, известный в Федулинске киномеханик, не только курил, но и много пил, пьяный устроил пожар в кинобудке и был привлечен к суду. На суд Федор Стукалин тоже явился в подпитии и чуть не упал со скамьи подсудимых. Пришлось посадить рядом с ним милиционера, который поддерживал Федора за плечи, как любимую девушку. Время от времени, перебивая свидетелей, Федор громовым голосом выкрикивал: «Я не поджигал! Это навет!» — и рыдал на плече у милиционера. Суд присудил ему выплатить убытки в сумме 250 рублей, а также вынес частное определение в адрес руководства кинопроката.

Хотя все знали про этот случай, заявлению Стукалиной о том, что, будь Афиноген ее сыном, она бы дала ему прикурить, товарищи поверили. Тут, кстати, нет ничего удивительного. Киномеханик Федор Стукалин существовал где-то отдельно, вне поля зрения сотрудников, зато неукротимая деятельность Клавдии Серафимовны по борьбе с курением проходила у всех на виду.

Чтобы связать и проанализировать однородные явления, происходящие в разных местах, нужен особый дар, и тот, кто им обладает, обычно не сидит до пожилых лет в общей комнате на зарплате 140 рублей в месяц.

Николай Егорович позвонил в больницу, где ему сообщили, что Данилову сделана операция (какая — не сказали), и в данный момент состояние его удовлетворительное.

Бывший в кабинете Сухомятин покачал головой, покритиковал:

— Ох уж эта наша медицина. Сплошь тайны. Диагноз толком поставить никто не умеет, зато надувать щеки и делать таинственное лицо — каждый горазд. Неужели у него рак?

— Вы что, Георгий Данилович, — возмутился Карнаухов. — Побойтесь бога. Долго ли беду накликасть.

Во второй половине дня Карнаухова неожиданно по селектору вызвал директор института Мерзликин.

— Не знаешь зачем? — спросил Николай Егорович в приемной у директорской секретарши, женщины без возраста, отзывающейся единственно на имя Муся. Вряд ли кто-нибудь помнил настоящее имя и фамилию секретарши. Муся и Муся. Уже более двадцати лет как Муся. Про директорскую секретаршу слагали много историй, большей частью забавных, но с неременной долей уважения и мистики. Вот одна из них.

Как-то в институт прибыли иностранные гости, прибыли, по странному стечению обстоятельств, без предупреждения и даже без переводчика. (Тут, конечно, сразу нарушена достоверность события. Где это видано, чтобы у нас не предупреждали о приезде иностранцев, да вдобавок присылали их без переводчика. Но из песни слова не выкинешь.) Директора не оказалось на месте. Муся не потеряла головы, усадила гостей — трех мужчин и одну женщину в джинсах — в кабинете, подала им кофе и попыталась объяснить знаками. Мусиных знаков гости не поняли и стали выражать неудовольствие. Не по-нашему, разумеется, с руганью и требованиями, — культурно, с ехидными улыбочками и изысканно-вежливыми: «Карашо! Спасипо!» Особенно выпендривалась разбитная девица в джинсах. Она перекидывала ногу на ногу, дула на кофе, изображая русских мужиков, и, кривляясь, показывала пальцем на пустующее кресло Мерзликина.

Муся очень расстроилась, внимательно прислушивалась к отрывистым замечаниям мужчин, вся как-то остекленела и... заговорила без запинки на чужом языке. Гости сначала опешили, девица даже поперхнулась кофе и обрызгала себе нейлоновую кофточку — потом все дружно восхитились, и началась пятнадцатиминутная беседа, прерываемая возгласами «о!», «шикарно!», «карашо!».

Гости оказались представителями двух фирм из Германской федеративной республики. Девица в джинсах сопровождала их в качестве секретарши, и по условиям поездки предусматривалось, что она знает русский язык.

Впоследствии, когда Мусю спрашивали, о чем она болтала с немцами до прихода Мерзликина и переводчика, та не могла ответить вразумительно.

Прощаясь, гости подарили Мусе альбом репродукций с видами Берлина и с надписью: «Дорогой соотечественнице от благодарных Фридриха, Ганса, Эрнста и Гертруды Хельман». Муся счастливо и благодарно им улыбалась, но произнести на немецком языке не могла больше ни слова.

— Зачем вызывали, не в курсе, Муся? — переспросил Николай Егорович, видя, что секретарша занята маникюром.

— Вы, товарищ Карнаухов, не хуже меня знаете порядки. Я не имею права ответить на ваш вопрос.

— Почему?

— Мне дорого мое место.

— Что же вас, Муся, сразу уволят, если вы мне скажете?

— Николай Егорович, мы знакомы с вами сто лет, но вы так и не научились тактичности.

В неизвестного оттенка Мусиных глазах неожиданно засветилась угроза, и Карнаухов, торопясь, шагнул в кабинет.

Мерзликин был не один. В низеньком кресле расположился с сигаретой Юрий Андреевич Кремнев. На столе — не на большом длинном столе для заседаний, а на уютном журнальном столике перед телевизором — зеленели бутылки нарзана, дымились миниатюрные чашки с кофе.

— Пожалуйста! — вместо приветствия махнул рукой Мерзликин. — Минеральной, кофе? Чего изволите?

Карнаухов неловко опустился в кресло, плеснул пузырящейся воды в высокий хрустальный бокал.

Юрий Андреевич рассеянно выпускал дым тоненькой струйкой, наблюдая, как сизая ниточка вышивает в воздухе причудливые фигуры. Весь вид его выражал, что он не представляет себе более любопытного и необходимого занятия. Директор Мерзликин массажировал пальцами подбородок с таким темпераментом, точно собирался придать ему новую конфигурацию. Наступила приятная пауза, во время которой Николай Егорович с удовольствием отпил нарзана. Он догадывался, зачем его пригласили, а директор догадывался,

что он догадывается. Как на дипломатическом рауте. Юрий Андреевич тем более догадывался, что все обо всем догадываются. Инициатива о проводах Карнаухова на пенсию была его. В приватном порядке он уже получил поддержку у директорского треугольника. Сам директор занял обычную для него позицию активного нейтралитета. Умение занять такую оригинальную позицию не раз выручало Мерзликина в трудных обстоятельствах, и, может быть, именно оно, это умение, позволило ему, десятилетиями находясь на руководящей работе, на самых горячих участках, иметь совершенно чистую биографию. В случае с Карнауховым он выступил так:

— Пора, давно пора выдвигать молодые кадры! — декларировал он с горячностью бойца, бросающегося на штурм хорошо укрепленной высоты. — Вопрос в том, подготовили ли мы такие кадры? Я отвечу — да, подготовили. У нас есть прекрасные талантливые, высокообразованные специалисты с ярко выраженными организаторскими данными. Они готовы возглавить что угодно. Только прикажи! — и заканчивал с лирической грустью. — С другой стороны, товарищи, Карнаухов Николай Егорович прекрасный инженер, проверенный руководитель отдела, тот, кого принято называть высоким словом «наставник». Я знаю Карнаухова много лет и, думаю, он еще не сказал своего последнего слова. Это такой человек, который всегда держит порох сухим.

Что думал, что скрывал за этим обтекаемо-демагогическим пустословием многоопытный Виктор Афанасьевич, судить было трудно. Кремнев, к примеру, не догадывался. Поднимая щекотливый вопрос, он, естественно, привел серьезные мотивы, главным из которых было то, что отдел лихорадит в течение последних шести кварталов — полтора года. Отдел Карнаухова не поспевал с текущими заданиями, чем выбивал из колеи соседние участки. Когда в спорте хоккейная сильная команда начинает систематически проигрывать, меняют в первую очередь тренера, а потом уж начинают приглядываться к игрокам. Кремнев считал этот метод вполне подходящим и для производства. Он слышал о том, что Карнаухова и Мерзликина связывает чуть ли не десятилетняя дружба домами, но не прида-

вал этому большого значения. Виктор Афанасьевич отвечал за бесперебойную работу всего огромного организма предприятия, а отдел Карнаухова был в этом организме лишь винтиком. У директора не было возможности ориентироваться на свои личные симпатии. К слову, Юрий Андреевич и сам относился к Карнаухову с искренним уважением и подчеркивал это при каждом удобном случае. Решив для себя, что Карнаухову пора на покой, Юрий Андреевич стал испытывать к нему что-то похожее на снисходительное раздражение. Карнаухов, важно восседавший в своем кабинете, занятый и опутанный сотнями малозначительных проблем, выковыривающий с яростью мелкие занозы и не умеющий увидеть растекающееся под кожей кровоизлияние, представлялся ему уже не совсем живым человеком.

Нарушил паузу Карнаухов.

— Хорошо хоть к вам, Виктор Афанасьевич, можно забежать покурить, — вымученно пошутил он. — А то прямо беда. Не станешь же с мальчишками раскуривать в коридоре. А у себя в кабинете — вроде дурной пример.

Директор охотно подхватил тему:

— Бросать надо совсем, старый ты черт, Карнаухов. Легкие, поди, как изъеденный молью половик. Впрочем, забегай, кури — я не возражаю.

Такой тон, такую фамильярность Мерзлякин допускал не со всеми, далеко не со всеми. Николай Егорович это ценил, но вовсе не собирался при Кремневе подыгрывать старому приятелю. Пусть сам выпутывается. Интересно, в каких выражениях предложит он ему почетную старость.

Кремнев докурил, аккуратно затушил сигарету в спичечном коробке (пепельницы директор так и не вернул в кабинет), морщась, поглядел на одного, на другого — увидел печально-веселые бравые лица, как у суворовских гренадеров при переходе через Альпы, и, будто выталкивая изо рта твердые камушки, произнес:

— Что мы все крутимся вокруг да около, как школьники на переменке. Вопрос сугубо производственный и несложный. Есть предложение, Николай Егорович, передать ваш отдел другому товарищу.

Директор закашлялся и промочил горло глотком остывшего кофе.

— Чье предложение? — поинтересовался Карнаухов.

Кремнев прищурился с понимающей усмешкой.

— Мое. Но оно поддержано директорским советом.

— Значит, дело решенное?

— Практически, да.

— Наверное, теоретически, а не практически. Я ведь еще здесь, Юрий Андреевич. Еще не на печке.

Юрий Андреевич промолчал, демонстративно взглянул на часы. «Чем быстрее кончится этот разговор, тем лучше», — подумал он. Кремнев надеялся, что у Карнаухова хватит ума и воли, чтобы не ломать комедию. Он ошибся.

— А меня куда же? — наивно спросил Николай Егорович. — К тебе в заместители, что ли, директор? Я готов. Так, кажется, вакансий нету. Неужто меня в Москву перебрасывают, в министерство?

Он не получил ответа. Мерзликин увлекся кофе, причмокивая и показывая глазами, попробуйте и вы, ребята, кофейку, отличный напиток, очень бодрит. Хотя бы и холодный.

— Я, конечно, слышал эти разговоры, — уже серьезно заметил Карнаухов, — будто мой отдел лихорадит и прочее. Возможно, это и так.

— Это не разговоры, — вставил Кремнев, — это факты.

— Факты? А кто проанализировал эти факты? Институт перестраивается на новые рельсы. Переход на большую мощность требует, согласен, новых форм работы и от нашего участка. Мы ведем поиск. Если бы у меня спросили, я смог бы подготовить необходимую отчетность. Происходит не только качественная перестройка — психологическая. Преодоление психологического барьера, ломка устоявшихся стереотипов требуют времени, если угодно, доверия. Почему директор получил неограниченные (почти) возможности выбора направления, почему он может решать самостоятельно финансовые проблемы в перспективе, а наш отдел зажат железной и, прямо скажу, не всегда доброжелательной опекой. Метод работы главного звена не может в принципе резко отличаться от метода работы

подзвеньев... Наш отдел по сути превращен в обыкновенный диспетчерский узел... Назначьте вы на мое место хоть десять человек, и будь у них у каждого по семи пядей во лбу, пока это принципиальное положение не будет изменено, отдел не справится с поставленными задачами. Он не имеет объективных условий.

Дерзкий выпад поверг Юрия Андреевича в крайнее изумление. Что угодно ожидал он от Карнаухова: тот мог начать оправдываться, мог попросить какой-то срок на устройство личных дел, мог, в конце концов, попытаться использовать добрые отношения с директором, но чтобы он рискнул в подобной ситуации нанести замаскированный удар по руководству института — этого Кремнев никак не предполагал. Он недооценил бойцовские качества Карнаухова и сейчас, может быть впервые, осознал, что перед ним готовый к сопротивлению противник, а не угасающий старик, впавший, как ему казалось, в организационную прострацию. Все, сказанное Карнауховым, было демагогией, но настолько искренней демагогией, что потребовались бы серьезные затраты для доказательного разоблачения намеков, скрытых в словах Карнаухова. Была тут еще одна тонкость.

Слова Николая Егоровича, произнесенные здесь, в узком кругу, ровно ничего не значили: но выскажись Карнаухов подобным образом где-то в другом месте, допустим в райкоме партии, да с таким же принципиально-прочувствованным апломбом и аффектацией, да еще присовокупи он сюда соответствующие отчеты (а в том, что соответствующие отчеты составить не сложно, Кремнев не сомневался), и дело могло принять совсем иной оборот. Скажем, как выживание дельного специалиста за критику.

Карнаухов ничего не сказал и одновременно сказал слишком много. Он не собирался уходить, готов был к борьбе и показал, какими средствами воспользуется. Теперь он сидел довольный и жмурился как именинник.

Кремнев почувствовал нехорошее колотье под сердцем и залпом осушил стакан воды.

— Здорово ты выступил, — одобрил директор, восхищенно подмигивая Карнаухову, — видна старая за-калка. Верно, товарищ Кремнев?

Мерзликин тоже, подобно начальнику отделения, повертел в голове некоторые варианты, прикидывая их на себя. Да, он уловил затаенную угрозу Карнаухова, и эта угроза вывела его из состояния созерцательности и доброжелательного спокойствия. Виктор Мерзликин не привык пропускать угрозы мимо ушей.

— Здорово, здорово, — повторил он, по-прежнему сверкая зубными протезами в безмятежной улыбке. — Только непонятно, чего ты вскипятился, Николай. Тебе предлагают не в тюрьму садиться, а заслуженный покой, отдых. Ты ведь заслужил отдых, Коля? Я-то знаю лучше других... Проводим тебя как надо, с музыкой, с оркестром, с цветами, — пусть молодежь полюбуется, пусть увидит, как мы относимся к заслуженным работникам. Может, и орден удастся пробить. Как ты считаешь, товарищ Кремнев, заслужил Коля орден?

— Заслужил. Давно заслужил! — буркнул Юрий Андреевич и согнул спину, словно на плечи ему неожиданно обрушился мешок с камнями. Карнаухов набычился, уставился в стакан. Не поднимал налившихся краснотой глаз.

— Тебе перевалило за шестьдесят, — уговаривал директор, — обычная житейская история. Скоро и я за тобой, Николай Егорович... Встретимся где-нибудь на рыбалке, раздавим маленькую белоголовую, еще и посмеемся сами над собой, вспоминая этот эпизод. Верно я говорю?

— Вам, Виктор Афанасьевич, шестьдесят пять, кажется? — сказал Карнаухов. — Ступайте вперед, пропускаю без очереди. Пока рыбу прикормите, я подожду.

Мерзликин вздрогнул, приосанился и мгновенно стал таким, каким его видели на трибуне.

— Так разговор у нас не получится! — сухо обронил он.

После некоторой заминки Кремнев зашел с другого бока.

— А вам неинтересно, кого мы хотим предложить на ваше место, Николай Егорович?

— Кого?

— Данилова Афиногена Ивановича. Что?

— Гену?

— Да, Гену. Вы против?

— Данилов в больнице. Вчера ему сделали операцию.

— Надеюсь, ничего серьезного?

Карнаухов расслабился, утих, сердце его успокоилось, и он ясно увидел ситуацию со стороны. Она представилась ему юмористической. Двое пожилых дядек убеждают третьего пожилого дядьку убраться с производства подобра-поздорову. По какому праву? За чем? Как много они берут на себя, пытаюсь решить его судьбу с помощью каких-то бумажных инструкций. Неужели сами они собираются жить и работать вечно? Нет, у него и у них по одной жизни, не по две. Почему же они с таким тупым упорством стремятся укоротить его жизнь.

Карнаухов отогнал жалобные мысли и сказал:

— Спасибо вам обоим за уважение, товарищи. За почет... Из института я никуда не уйду. В крайнем случае перейду на другую должность. Пожалуйста. Хотите компромисс? Меня самолюбие не мучает. Буду работать простым инженером... Данилов — парень с головой. Это вы верно угадали. А со мной вышла осечка. Я без работы оставаться не намерен. Думаю, могу быть еще полезен.

Может быть, сложись беседа с самого начала по-другому, на том бы они и разошлись, не помня зла. Кремнев готов был согласиться. Инженером — это хорошо, это можно, жаль ему самому не пришел в голову такой простой вариант.

Но Мерзликин не забыл недавнюю угрозу. Самолюбие его, раздутое годами начальничества, было уязвлено.

— Мы поступим иначе, — задумчиво, с выражением искреннего соболезнования произнес он. — Мы поступим в соответствии с требованиями времени. Соберем общее собрание отдела, пригласим параллельные службы, и пусть товарищи решат, не пора ли уважаемому Николаю Егоровичу на пенсию.

— Как это? — удивился Кремнев.

— Вроде персонального дела? — небрежно поинтересовался Карнаухов, внутренне замерев.

— Вроде переаттестации, — пояснил директор. — Что нам держаться за устаревшие догмы? Специальные комиссии и так далее — все это изжило себя. Вы

же утверждаете, Николай Егорович, что жизнь требует психологической перестройки. Давайте экспериментировать. Организационные моменты обговорим отдельно, подготовим. Время у нас есть. Неделя погоды не делает... Назовем это мероприятие творческим отчетом вверенного вам отдела. Творческим! Без формалистики, демократично. Я думаю, Юрий Андреевич выступит как основной докладчик. Впрочем, детали потом.

Мерзликин поднялся, не совсем поднялся, а как-то боком медленно, цепляясь руками за стол, начал вставать, давая Карнаухову возможность остановить мгновение, вставить словцо, извиниться, да мало ли...

— Я согласен, — сказал Николай Егорович и вскочил, опережая директора, сияя, словно ему только что предложили круиз в загнивающие страны Западной Европы. — Это вы отлично придумали. Дельно, свежо, смело!

Они глядели друг на друга, как старые друзья, встретившиеся после долгой разлуки. Директор счастливо улыбался, и Карнаухов улыбался еще счастливее. «Наконец-то, — кричали их взгляды, — наконец-то все плохое позади!» — «Ты рад?» — вопрошал взгляд директора. «А ты? А ты?!» — ликовал взгляд Карнаухова. Они оба понимали, что где-то рядом топчется посторонний наблюдатель их встречи, но знать ничего не хотели о его присутствии. Они были молоды, полны сил и покачивались в высоких седлах. Ничто их не смущало: ни возраст, ни положение. Или-или. Вот так стоял вопрос. Как прежде. Как всегда.

— Да! — крикнул Юрий Андреевич, отшатываясь от двух сумасшедших стариков.

Карнаухов подал руку директору и ощутил ответное сильное, уверенное, честное пожатие.

3

Ночь, и комната, как укутанная в белые простыни пещера. Афиногена чуть познабливает, он с трудом шевелит веками: очертание окна, стены, полоска ночника в дальнем углу — все сливается в один круглый полутемный шар, дымится. Он не знает, который час, сколько еще будет длиться ночь, и ночь ли это. Однажды он открывает глаза и замечает рядом женское лицо,

он видит его отчетливо. Лицо усталое, бледные пряди волос приклеены к щекам, ниже — высокая худая шея, которую устилают растрепавшиеся волосы, еще ниже — белый халат и тонкие ладошки, пальчиками, как травинками, вверх.

— Сестра, — говорит Афиноген, — сестра, который теперь час?

Женщина вздрагивает, просыпается, взлетает к огромно распахнувшимся в полутьме глазам голубоватая кисть с браслетом часов.

— Ой, уснула совсем. Уж половина третьего... Чего не спишь? Больно? Сейчас, миленький, сейчас сделаю укол.

— Не надо укол, — отмахивается Афиноген. — Как вас зовут?

— Ксаной меня зовут... Ксана Анатольевна. Ты спи, спи. Во сне боли иссякнут.

— Какие там боли... Ничего у меня не болит. Давайте разговаривать.

— Тебе нельзя разговаривать. Не нужно. Тебе лучше спать. А я уж около тебя подежурю. Операция у тебя прошла хорошо. До утра здесь побудешь, а потом переведут в другую палату. К другим больным. Что ж одному-то маяться. В обществе намного веселей и лучше. Ты молодой — скоро поправишься.

От ее тихонько и бережно журчащего голоса Афиногену делается покойно и уютно. Какая-то тяжесть, так черно давившая мозг, отступает прочь. Нет, еще не просчитаны его дни, еще идет вовсю игра, в которой он не последний участник.

— Ксана Анатольевна, — говорит он томно, — надо ведь мне водички попить. Пить очень хочется!

— Нельзя попить. Потерпи! Утречком немного попьешь. Утром я тебе морсу дам.

— Правильно, — понимает Афиноген, — кишки разрезаны, пить нельзя. — Но на всякий случай клянчит:— Пить хочу. Дайте пить!

— Нельзя, миленький... — само терпение в голосе, такое, что дай ему волю и не останется в мире жажды, а то, глядишь, и голода, и холода, и иных человеческих страданий.

— Что сделается от глотка, Ксана Анатольевна? Ничего не будет. Сердца у вас нет!

Афиноген Данилов знает, что поддайся ему кроткая медсестра и он, конечно, не станет пить. Черта с два будет он рисковать из-за глотка воды. Хоть бы источник ледяного блаженства хлынул сейчас на него с потолка, он будет отплевываться до последнего мгновения. Зато так хорошо сознавать, что операция позади, он жив, и главная проблема теперь — вода. Такой пустяк остался!

— Ответственность беру на себя, — умоляет он, — хотите, напишу расписку? Да, пивка бы жигулевского, из кружечки, полцарства за кружку пива. Недорого. Ксана Анатольевна. Да ладно, царства у меня нет, ничего нет. На службе, правда, новые горизонты открывались. Была и невеста, хорошая девушка, так разве она согласится с убогим жить. Конец теперь всем мечтам и иллюзиям.

— Ты что? — пугается Ксана Анатольевна. — Зачем так говоришь? Да ты, Гена, через неделю танцевать сможешь. Как не совестно так думать.

— Через неделю... хм. Неделю она не вытерпит. Шустрая очень, кавалеров много. Есть среди них и военные. Неделю — нет, не дождетя.

— Спи, — она сердится, но голос журчит, — спи, тебе надо спать... Сейчас сделаю укол. Какие глупости ты говоришь? Даже если шутишь — гадко, нельзя так думать о женщинах.

На несколько минут Афиноген, ослабев, задремывает. Ему снятся серебристые тени и огненная саламандра, обжигаяще щекочущая правый бок. Ноздри его впитывают душный запах пригоревшей гречневой крупы. Сон этот неглубок и похож на легкий обморок, после которого он заново привыкает к палате и не сразу вспоминает, почему рядом с ним медсестра и как ее зовут.

— Попить бы, — бормочет он. — Вот бы славно.

— Нельзя, миленький. — Слова эти сразу восстанавливают всю цепочку бдения. Зажурчал милый ручеек безотказного женского сочувствия. Далекая мама покивала Афиногену и склонилась над ним через тысячи километров.

— Расскажите мне, какая у вас была любовь, Ксана Анатольевна, — просит Данилов. — Если вы не очень устали.

— Что ж рассказывать. Да и зачем тебе...

— Я люблю слушать, как у других бывает. У самого не сложилось, так хоть за людей порадоваться.

— Ты не слушай, а спи. Во сне болезнь излечивается, исходит.

— Я буду спать, а вы рассказывайте.

— Ну спи, спи... Нечего и рассказывать. Да и как это словами-то!

В чуткой больничной ночи что-то нисходит на женщину, и она затягивает певучую долгую историю, покорно и охотно, словно давным-давно ожидала такого случая. Афиноген то прислушивается, то засыпает, и просыпается, и снова впадает в протяжные печальные звуки. Он не все схватывает, некоторые фразы проваливаются и не доходят до его тусклого сознания, но общий смысл речи ему понятен. Шепот звенит, ночь бледнеет, из темно-коричневой становясь прозрачной. Слова раскатываются по комнате, как бильярдные шары по зеленому сукну.

— Что ж, слушай, если желаешь, Гена. Глаза закрой, не высвечивай ими на меня. Рассказчица какая из меня, никакая, но послушай, если есть охота...

В сорок восьмом году повстречала я Мишу. Я тогда в Ленинграде работала в госпитале, девчонка была совсем, только-только шестнадцать исполнилось. И в госпиталь меня приняли по знакомству, родственник у меня был, врач, Демьян Касимов. Как у меня все поумирали в семье от истощения, мама и братик Леша, я к нему и заявила — здрасте вам, дядя Демьян. Так у него и жила, долго прожила, до самого замужества. Демьян Захарович третьего года помер, до девяноста годов дотянул, я к нему на похороны ездила в Ленинград.

Гена, это такой был хороший человек, когда его хоронили, над кладбищем птицы летали, сесть не могли, столько людей собралось. Я думала, так одних героев провожают, а это моему троюродному дяде собрался Ленинград последний поклон отдать...

Сначала я работала нянечкой, но скоро перешла в медицинские сестры. Какая я тогда была? Красивая, право слово. Я тебе потом фото покажу, если не веришь. Коса у меня была длинная, и фигура, и глаза. Ну, честно скажу, оглядывались некоторые мужчины

на улицах. Больные часто в любви объяснялись, подарки тоже дарили.

У юных горе быстро забывается, вскоре я такой хохотушкой сделалась, теперь и сама иной раз вспомню, так не верится. Мне Демьян Захарович говорил: «Смейся, смейся, стрекоза. Больным это на пользу».

А время, Гена, — ты спишь, что ли? — не смешное было, совсем не смешное, а почти трагичное. Разруха, восстановление хозяйства, лекарств мало, еды мало, во всем экономия. По вечерам страшно: грабят, шалют, на улицах темень, даже кошки не орут. Какие-то появились бедовые шайки — ужасы кругом рассказывают. Мы с подружками соберемся вечерком у кого-нибудь в гостях и давай друг дружку страшить и разные ужасы перетолковывать. Громко тоже говорить нельзя, каждый звук по сердцу стреляет. До того, бывало, досидимся, что на собственных подруг глядеть боязно: крикни кто над ухом погромче, либо мяукни — посыпемся с коек на пол, как живые яблоки.

Афиноген Данилов проснулся и резонно напомнил:

— Вы, Ксана Анатольевна, хотели про любовь рассказать, а толкуете про какие-то яблоки. Вообще чего-то не то совсем.

— Спи, спи, миленький... Тут уж как баба начнет из слов вязанье плести, ни складу ни ладу не жди. Какие от женщины рассказы. Это уж я бормочу, чтобы тебе легче заснуть. Ты не сердись. Время у нас с тобой разное, что мне памятно, то тебе, может, и не понравится.

Ксана Анатольевна подвела себя вроде бы к обиде, но не добралась до нее, голос ее выровнялся, потек опять прозрачный вмятый ручеек.

— С Мишей мы познакомились попросту, он к матери к своей прибегал в больницу, навещал ее. Я сказала, прибегал, — это уж точно. Стройный, тонкий, в лейтенантских погонах, — ах! — как он меня взглядом ожег и ранил, наповал. Ворвался: «В какой палате, хохочет, мать мою мучаете?» Я за дежурной стойкой спряталась. И стыдно: видит же он, что от него спряталась. А сил нет. Я уж сразу смекнула, беда! Но такая беда, что танцевать впору. Нет, конечно, это я не в ту минуту все так обдумала, тогда было сомнение,

как будто шастанул на тебя из кустов медведь. Недолго это длилось, собралась я, вытянулась, вспомнила, какая и я не самая ведь последняя развалюха. Аккуратно ему объяснила, что в таком виде в палату нельзя, что он, хотя и геройский лейтенант, а все же не в казарме находится, ну и взглянула со всей строгостью. И тут, Гена, заметила я, как он покраснел, не остался равнодушным. Ушки его растопыренные заалели, губки приоткрылись и лучистые ясные очи потемнели. Стоит, руки свесил, в одной руке авоська с гостинцами, в другой — один цветок, коричневый гладиолус. Это он от моей мнимой строгости засомневался и замер. Можно бы подойти и закрутить его волчком. Цветок мне протянул, гладиолус, и сказал:

— Прости, милая девушка! Чего-то я слишком обрадовался, когда тебя увидел. Подумал, вот оно как. А выходит, не так, а вот как...

С этих слов, с этого цветка я влюбилась и полюбила Мишу Морозова без страха и на всю неподвиженную жизнь. Вскоре он перевелся на гражданку, но иногда по-прежнему носил форму: она ему очень нравилась, и мне нравилось, если он надевал китель. У него был орден Красной Звезды, его он почти не снимал, и на пиджак цеплял и на куртку. Ему, Мише, в тот год двадцать с небольшим только и было, мальчишка по нынешним понятиям. Такие теперь за папой, мамой кормятся и одеваются, а Миша нет, он и мать кормил и тетку, — отец у него, как и мой, погиб на войне с Гитлером. Орден у Миши в том же году хулиганы отняли в парке, и часы отняли, и голову ему пробили железкой. Он очень переживал и стыдился. Прежде любил рассказывать, как он в разведку ходил, как языка брал, но после того случая в парке и вспомнить перестал. Один раз только сказал мне:

— Кончилась война, Ксюта. Нечего теперь...

Два года мы дружили. Они для меня как один светлый денек. Как еще скажешь про это? Слов мало у людей, чтобы любовь описывать. Счастье, конечно, сплошь музыка. Поглупела я в ту пору — ое-ей! Дура была, ничего не соображала, и ведь целых два года так-то. Миша учился, институт выбрал трудный, технический, всегда занят был, всегда с учебниками, да еще и зарабатывал на разных физических работах, а

я — никого не вижу, не понимаю, व्यюсь за ним: куда он, туда и я. Миша хмурится, я плачу, он улыбнется — у меня колика от хохота, он ссутулится, устанет — я в три погибели скособоюсь и плетусь за ним, как старуха. Эх, зачем все это тебе говорю...

Он любил меня, Гена, но иной раз прогонял от себя на день, на два, а то и на неделю. Я его у общезития стерегла — дождь ли, мороз ли, — стою и скулю по-собачьи: «Мишенька! Ми-и-и-ша! Сокол мой!» Подруги меня усовещали, Демьян Захарович жалел — вот как ошибались они. Без тех лет моя жизнь как бутылка без вина, как туча без дождя, видимость, и ничего больше.

На третье лето Миша уехал на практику, на Север. Тосковала я, думала ссохнусь. Но вот послушай, — слышь, ладно, — все говорят и в книжках пишут: где любовь, там ревность. Никакой ревности я не ведала и не понимала. Писем ждала, да, ждала, как больной утречка ждет, как цветок солнышка. Волновалась я за Мишу. Не так и сказала. Ночи не спала: то припомню, как ему хулиганы грязной железкой голову пробили, то представляю, что тиф у него, а он один. А уж что в снах видела, того не всякому в горячке привидится. И промеж двух елок его злодеи разрывали, и голову ему пилой отпиливали, и в прорубь запихивали. Ужас! Ревности не было, и не думала даже ни о чем подобном. Какая там ревность, когда в подушку уткнешься, а она его волосиками шелковыми пахнет. Я и теперь так понимаю, ревность у человека от сытости появляется, от шальной судьбы и еще от того, что не любит, а почти любит, не окончательно любит, не по совести. Любит — вроде дорогой и редкой вещью тешится, которую всякий норовит у него хитростью перехватить. В истинной любви ревность, кажется мне, похожа лишь на смерть. Приревнуешь... и тут же легко и сладко умрешь, потому что сердце остановится.

У меня, правда, не остановилось сердце. Вернулся Миша с Севера совсем перемененный. Злой, раздражительный. То он все обещал: осенью поженимся, а то стал говорить: почему это у тебя, Ксанка, пуговица на блузке все время расстегивается... Что ж не расстегиваться, если я кофточки старые носила, а уж бабой стала, грудь разнесло. Не только кофточка, а у меня и

платья на бедрах потрескивали. Но обновки покупать мне редко приходилось, деньги в кои веки объявятся — я уж что-нибудь ему старалась купить или его матушке угождала, заискивала перед ней. Ах уж строгая была старуха, вечный ей покой. Не приведи тебе бог, Гена, такую тещу. У каждой женщины есть тайна. У меня не было от Миши тайн, не могло быть. Я слышала, без тайны женщина становится пресной, вроде супа без соли. Может быть, и так. Для других у меня были тайны, а для Миши — ну откуда их взять. Я ему все сразу выбалтывала, если чего имела. Даже про маленькие свои болезни всегда сообщала... Зато у него состряпалась для меня большая тайна, он, понятно, долго не сумел ее скрывать. Он мне вскоре ее открыл, большую невероятную тайну. У Миши была женщина, другая женщина, которую он полюбил лучше и сильнее, чем меня. «Хочешь, я останусь с тобой?» — спросил меня Миша, наверное потому, что у меня вид был свихнутый и он перепугался. «Нет, зачем же, не надо», — ответила я.

Потом около года я еще прожила в Ленинграде. Очень подурнела, и сердце стало прихватывать. В нем сделались какие-то шумы. Демьян Захарович сказал, нужно срочно переменить климат, и рассказал про город Федулинск, где открылась новая больница. Он переписывался с Ваней Горемыкиным, своим учеником. Посоветовал мне ехать в Федулинск. Я и поехала. В Ленинграде все-таки сыро, и туманы, и белые ночи. Ты видел, Гена, белые ночи?

Переехала я в Федулинск в пятьдесят втором году. Тут тогда почти одни фундаменты повсюду возвышались и домики деревянные стояли. А ваш институт немцы достраивали. Я их застала. Утром они все вместе ходили на работу, а вечером с работы. Многие так и не вернулись в Германию, переженились, некоторые остались в Федулинске, а которые разъехались по другим городам... Ко мне сватался один немец, звали его почему-то Зиновий. Такой солидный мужчина, здоровенный, с седыми волосами. И ухаживал он основательно, делал подарки: не конфетки там или цветы, кофточки покупал, посуду. Придет в гости, подарок выложит на стол, сам сядет в углу на табуретку и ждет, когда я начну подарок разворачивать. Он любую вещь упаковыв-

вал в белую бумагу и перевязывал ленточкой очень красиво.

«Ну чего ты ждешь от меня, Зиновий?» — я обычно спрашивала. «Пусть фрейлейн принимает мой сердечный презент». — «Какой такой презент? Опять тарелки, что ли, притащил? Не нужны они мне. И ты не нужен. Катись себе с богом в свой Франкфурт. Отпустили же ваших гансов по домам, простили. Чего тебе еще здесь зря околачиваться?» У него глаза коровьи делались и строгие. «Не хочу Франкфурт. Хочу быть Федулинск с фрейлейн Оксаной». — «Тебя, небось, дома заждались». — «Зиновий одинокий мужчина, который имеет нет дома. Зиновий война перековеркала всю судьбу». — «Ах ты бедненький, война его обидела, осиротила. Кто же тебе велел в нее ввязываться?» — «Зиновий выполнял приказ Адольф Гитлер, иначе башка прочь». — «Сохранил, значит, башку, исхитрился. Ну тогда сиди тут, сиди. Посиди немного и ступай в свой барак. Мне постирать надо».

Так мы с ним беседовали, слово за слово коротали вечера. Я его жалела и не считалась с тем, что он немец. Он был смиренный, не нагличал, не домогался, хотел на мне жениться. С полгода он ко мне тропинку протапывал. Разговоры пошли про нас разные. Когда я эти разговоры услышала, то уж прогнала его насовсем. Хотела и тарелки ему вернуть, но он не взял.

— А Мишу вы больше не встречали? — спросил Афиноген.

— Как так не встречала. Это мой муж.

— Муж?!

Афиноген, хотя и слушал вполуха, удивился и подумал, что, видимо, его теперешнее сознание воспринимает все как-то наыворот, по какой-то своей логике. Он находился в убеждении, что Миша как раз тот человек, который остался в Ленинграде, увлекшись другой чаровницей, от него и сбежала в Федулинск медсестра Ксана Анатольевна. Иначе как бы она с Афиногеном оказалась в одной ночной комнате. Если бы Миша был ее мужем, то, конечно, она осталась бы в Ленинграде, а около него дежурил бы кто-то другой.

Афиноген приподнялся на локтях.

— Как же так? Миша остался в Ленинграде? Как

же он ваш муж? Был же немец. Его звали Зиновий. Зигфрид, вероятно.

— Миша мой муж, — с удовольствием проговорила Ксана Анатольевна, — Михаил Алексеевич Морозов.

— Какой Морозов? Начальник первого участка?

— Да.

— Так я же его хорошо знаю. С усами, похожий на запорожца... С портфелем всегда ходит, с дипломатом.

— С усами. А что такого? Ему идут усы.

— Рыжие усы-то.

— Рыжие, а идут.

— Рассказывайте, Ксана Анатольевна, рассказывайте, как это вышло. Чудеса какие-то.

— Не буду рассказывать. Хватит с тебя.

— Пожалуйста, прошу! Надо же, Морозов. Сколько раз я его видел и не знал. Кто бы мог подумать.

— Чего не знал? Чего?

— Не знал, Ксана Анатольевна. Ничего не знал. Ну, дальше, дальше!

Медсестра положила руку ему на грудь. Он затих. Ее рука прохладнее компресса.

— Через два года я получила письмо от Миши. Оно на больницу пришло. Он мне написал, окончил институт, сожалею о нашей разлуке. Миша написал, что может распределиться в Федулинск, если я пожелаю и захочу его простить. Он написал, что ошибся и лучше меня женщины нету. Слышишь, Гена, так и написал: лучше нету...

Афиноген спал, запрокинув голову, тихонько посапывая.

— Спи, миленький, спи! Во сне поправишься... Я не могла сказать не приезжай. Я хотела, но не могла. Села письмо сочинять, чтобы приехал, тоже никаких слов нету. Три дня письмо писала, и получилось так: «Миша, приезжай. Я тебя жду».

Он приехал. Мы не стали ждать квартиры, которую ему обещали, прямо со станции повел он меня подавать заявление в загс. Ничего не объяснил, ни обнял, ни поцеловал, — взял под руку и повел. Потом и руку убрал. Шел впереди с одним чемоданчиком, тощий, надутый — не оглядывался. Я позади, корова коровой,

еле поспеваю за своим хозяином. Иногда только укажу: налево, Миша. Прямо, Миша. Он кивнет, зубами посветит, не в улыбке, а вроде: гляди, я тебе улыбнулся, я тебе рад.

Так и жить начали. Дальнейшее я могу назвать долгой-долгой серой дорогой, на которой запомнились отдельные остановки, больше ничего. Спутник мой Миша оказался не злой, не веселый, не разговорчивый, не молчун — никакой. И я затихла возле него, затаилась, захоронилась. Лишь бы, думаю, не останавливаться: идти и идти — чего еще — обуты, одеты, сыты, спим в одной постели — чего еще?

Первая остановка подоспела, когда нам квартиру дали, ну, не мне, а Мише. Через год-два. Пригласили мы гостей: Миша своих, я своих; большой праздник устроили. Миша выпил, разгулялся, я за ним выпила, еще пуще разгулялась. Повеяло, будто мы на часок опять в Ленинграде и нам помалу лет, и заботы у нас малые, не заботы вовсе, а детские предчувствия. Мишенька распрямился, приосанился, на друзей соколом поглядывает. Мои подруги шепчут: «Какой красивый у тебя, Ксана, мужик». Меня аж в жар бросило. Тут какой-то из гостей возьми и выскочи с тостом: «Пусть, говорит, в этом доме, где живут два таких счастливых человека, вскоре зазвучат и другие голоса». Гости тост дружно подхватили: «Горько! Горько!» Миша оглядел меня внимательно, прижал к себе и при всех — чмок! — в губы.

Вечером, когда гости разошлись восвояси, я ему открыла, что своего ребеночка у нас не может быть... Гена, спишь? Спи, ладно. В Ленинграде еще когда у Миши женщина появилась новая, я на втором месяце носила... Мы с Машей, с подружкой, посоветовались, и я решилась на подпольный аборт. У нее в комнате на 11-й линии все и совершили. Вдвоем. Осложнений не осталось, на второй день я уж на работу вышла. Однако ребеночка больше у меня никогда не будет, нет. Ни за что не будет. Я с тремя врачами консультировалась, в Ленинграде с одним и здесь, в Федулинске.

Миша выслушал мою новость, головой крутнул: «Не будет и не надо!» Все, точку поставил. С этого дня я стала его малость опасаться и против воли называть по имени и отчеству: «Михаил Алексеевич». Он меня в

ответ величал «товарищ Морозова». Начала я его побаиваться, потому что совсем никак не понимала. Годы, какие мы вместе прожили, не сблизили нас, а разделили. Чужой любимый человек со мной рядом каждый день сидел за столом, пил, ел, читал газету, тарасился в телевизор... и помалкивал. Редко обратится ко мне по необходимости, вроде: «Товарищ Морозова, не видели ли где то-то и то-то?» — «Сейчас принесу». — «Ну, давай пошустрей, не в больнице!» Порывалась я, конечно, в иную минуту и заплакать, и по-хорошему объясниться. Куда там? Скривится, оскалит зубы в этом своем: «Гляди, я тебе улыбаюсь». А если я сразу не угомонюсь, то и цыкнет. Без злости, без гнева цыкнет, а как вот на бессловесное животное: «Цыц! Не мешай!» Чему мешать-то? Сидит — глазами в стенку. В лучшем случае — читает. По утрам столкнемся нос к носу в коридоре либо на кухне — приласкает, плечо мое погладит, притиснет иной раз невзначай. Это еще хуже. Тоже не как с женщиной, а словно бы хозяин догадался, что приспел случай выдать скотине сахарку кусочек. Такой ведь, думаю, в лихую минуту и прибьет, не замешкается. Рядом со страхом появилось во мне раздражение к нему. Другой раз от жалости чуть не плачу: ну ладно, я, баба, полюбила его, такая судьба (и надежда теплится — вдруг еще все образуется), но он-то почему так проживает свою единственную мужскую жизнь, окаменелый внутри, замкнутый на замок. Хоть бы напился, побуянил. Что уж там, гульнул бы, как прочие кобели. Так бывало. А иногда, чувствую, сейчас бы размахнуться и бахнуть ему тарелкой по охладелой башке. Может, опамятуется. Дорога-то наша катится и катится — да все под уклон. Стареть начали. У него лысина, у меня — поясницу ломит вечерами, ходить стала тяжелее. Молодые больные уже на других сестричек заглядываются. «Михаил Алексеевич, в клубе новый фильм. Пойдем?» — «Пойдем, товарищ Морозова». Возьму его под руку, погуляем по городу. Все думают: хорошая пара, жалко, детей у них нет. А мы и не пара вовсе — соседи обыкновенные.

На работе, я знаю, его ценят, повышали всегда по справедливости. Жизнь кругом пошла богатая и спокойная. У нас сберкнижка давно завелась, обстановка, мебель. В шкафу на случай всегда коньяк, вино, в хо-

лодильнике закуска разная. Он библиотеку хорошую составил. Кому пить? Кому книжки читать? Я устала, Гена... Не буду тебе долго обсказывать про другие остановки, но верь, они случались... Жаркая одна ночь была, — ах, ночь! — весенняя, хмельная. Когда он из санатория вернулся. Если бы я только знала, если бы я догадывалась. Одна на столько много пустых ночей, а я...

— Который час? — спросил Афиноген.

— Скоро рассвет.

— Вы почему плачете, Ксана Анатольевна?

— Нет, это так, нет! Спи. Скоро утро.

— Я усну, а вы рассказывайте. Или дайте мне, пожалуйста, морсу. Вы обещали. Или спиртику.

— Немного потерпи. Врач придет и разрешит. Морс — ох готовый, смородинный.

Афиноген зажмурился.

— Я слушаю, Ксана Анатольевна.

— Слушай, голубчик, слушай. Я рассказываю.

Она не могла теперь, пожалуй, остановиться. Долгие ночные слова впервые так чудесно освобождали ее грудь, вместе с ними истекал из сердца накопившийся там яд. Она будет еще и еще говорить, только бы Афиноген спал и ничего не запомнил.

— Сколь ни вейся веревочка, а конец будет. Это уж верно. Весной прошлого года получил Миша вместе с газетами какое-то письмо и враз переменялся, будто проснулся. Прочитал, лицо задергалось, взялся по квартире летать из комнаты в кухню, из комнаты в кухню, а потом угомонился и в ванной заперся на задвижку. Часа три из ванной не показывался, вода там ровно текла, и больше ни звука. Я стучала, окликала — ни звука оттуда, кроме шума воды. Хотела было людей позвать, дверь выламывать, но тут он вышел. Черный, глаза кровью налились, но спокойный. Спокойно мне говорит:

— Собери, Ксана, чемоданчик, я в командировку еду.

— В какую командировку?

— В Ленинград. Надо по службе.

Взялся по телефону начальство обзванивать, договариваться. Пока он звонил, я письмо, понятно, прочитала. Он его в ванной на полочке развернутое оста-

вил. Я прочитала и там же положила. Миша его скоро подобрал и спрятал. Больше я того письма не видала. В нем было несколько строчек, сообщалось, что некая Ольга Ульяновна попала в аварию и разбилась под машиной насмерть. Грузовик ее переехал. Подписи никакой в письме не стояло.

Вечером он уехал, и не было его несколько дней. Уж не знаю, как я их прожила. Я здоровая женщина, но в те дни очень ослабела, и сердце не переставая колото и как бы оседало. Мне показалось, Гена, что, может быть, я ему мешаю, мое присутствие ему мешает, терзает его совесть, — тогда, может быть, мне лучше потихоньку уехать куда-нибудь или умереть. На своем веку я много раз видела, как люди умирают, и поняла, что это не страшно, хотя почти всегда грустно и как-то стыдно. Я лежала на постели и не могла даже чай себе вскипятить. Но на работу вставала, передвигалась там как сонная муха.

И вот Михаил Алексеевич воротился ночным поездом. Я была на кровати одетая и разглядывала выкройку в журнале «Работница». Он прямо, как есть в плаще, вошел в комнату и сел ко мне на кровать. «Читаешь?» — «Читаю». Вижу, он усталый, понятно, но какой-то вместе просветленный и решившийся. «У меня для тебя радость, Ксана!» Конечно, испугалась я от его слов, жду продолжения. Лицо у него, говорю, светлос и молодое. «Решил я, Ксюша, пора нам ребеночка заиметь!» Я ворохнулась — слева стена, не поползешь, а справа он сам с грозным и светлым лицом, но уже, видать, за себя ответить не может. «Да не пугайся, — смеется, и вздохнул: — Чужого возьмем. Так многие люди делают в нашем положении. Берут в детдоме ребенка, у которого нет родителей, усыновляют, дают ему свою фамилию». — «Я сама про это думала, Миша. Не решалась тебе сказать». — «Ну и отлично. Давай поужинаем».

Я на кухню. Собрала на стол, вижу, он из чемодана вино достает. Показывает: «Рижский бальзам». Весь Ленинград его лопают. Лечебный». Выпили мы бальзаму: черный, густой, дегтем воняет. Зато крепкий и настоян на целебных травах. Захмелели оба, у меня по коже мурашки бегают, хочется поверить, но чувствую, конечно, что-то тут не так, что-то еще предстоит узнать

особенное. Ласково интересуюсь: «Мишенька, а ты знаешь, какого именно ребенка усыновить. У тебя есть уже на примете?» Сразу взвинтился штопором. «Да уж у тебя не придется спрашивать!» — «Не надо, не спрашивай. Тебе видней. Только ответ, мы разве не любого ребеночка возьмем из детского дома? Какого-то возьмем определенного, которого ты знаешь?» — «Отвяжись, Ксанка! Ну да, знаю. Не сослепу же брать». — «И он маленький, ребеночек?» — «Не очень маленький. Четырнадцать лет». Вот оно — чувствовала. «Миша, а может, тогда прямо взрослого приютить, после армии?» Это я так сказала от неясного, от обиды, не надо было так шутить. Вылетело слово — не вернешь. Как раненый сделался мой сердечный. Заревел, чашку опрокинул, разбил. Бальзам на скатерть пролил черным пятном. «Ты, ревет, шутки надо мной шутить вздумала! Ты — дрянь. Жизнь мне перекорежила. Да, была у меня любовь, не составила. Дети могли быть — нет! Кто я теперь? Пожилой чурбан. А ты шутки шутишь. С немцами шутки шути, меня не замай. Поняла?! (Донесли, значит, не поленились про Зиновия.) Ответь сразу: согласна или нет?! Ну!»

Откуда и слова у него взялись такие: «дрянь», «не замай» — сроду от него не слыхала. И бешенство, и резкость, и горячая тоска — все в один миг прорвалось, меня чуть с ног не сшибло этим обвалом. Я ему ответила: «Я согласна, Миша. Куда мне деться. Делай, как тебе кажется лучше, а я во всем тебе помогу». Больше мы в этот вечер ни о чем не рассуждали, легли спать вместе в одну постель. Я задремала, а проснулась — Миша не спит, лежит с открытыми глазами и смотрит на меня. Луна в окно, а навстречу его глаза жгут, вроде тоже две маленькие луны. Опять страшно! «Ты чего?» — «Ничего, Ксана, ничего. Я тебе за все благодарен, спи!» Я видела, что хотел он мне рассказать про многое, но не смог, не одолел себя. Как это, молчал так долго и вдруг заговорил. Нет, он не смог.

Прошло немного дней — звонок мне на работу. Миша. Он редко звонил. «Сегодня девочка приезжает». — «Какая девочка?» — «Дочка наша». Дочка. Я почему-то представляла, что будет мальчик, а оказалось это дочка.

Вечером по пути из клиники забежала я в магазин, стою у прилавка, а что купить — не знаю. Дома все есть: мясо, конфеты, сыр — всякая еда, но надо же, наверное, что-нибудь особенное. Постояла, так ничего не придумала, пошла с пустыми руками. У самого дома в овощном ларьке выстояла очередь и купила два кило бананов.

Прихожу — дома напряжение и воздух пахнет незнакомыми духами. Миша мне открыл в белой рубашке, в ярком галстуке. Обычно он сразу переодевался в пижамную куртку. В комнате на тахте расположилась чужая взрослая девочка. Она мне показалась с первого взгляда совсем взрослая. Востренькая, красивая, с прической, в джинсах и черной блузке. К тому разу я уж знала, что это ее мать погибла, а отец — неизвестно где, бросил их еще раньше. Подробности не знала, а общую картину представляла. «Таня», «Ксана Анатольевна».

Никогда опять я таким Мишу не видела за столько прошедших лет. Суетится, глаза шалые, настороже, и такое в них выражение, будто молит согласиться: как все отлично, ну, понимаете, как все отлично сошлось. Помолодел, господи, как он помолодел и ожил! Я любила его всегда и сегодня еще больше люблю, но в те первые минуты я его презирала. Как же он мог жить со мной? «Таня, вы пили чай?» — «Нет». — «А вот бананы. Пожалуйста, кушайте, я чай приготовлю». Схватила она бананы и умяла — не вру! — подряд штук восемь. «Таня будет учиться в девятом классе. Она отличница!» Таня на него так взглянула: быстро, зорко, с каким-то непонятным предостережением. Миша от ее взгляда поджался, как кот, которого хозяин щелкнул по носу. Значит, между ними какая-то связь была, недоступная мне. Чего ж удивляться. Чем-то ведь он сманил взрослую девицу из Ленинграда в чужую семью, в Федулинск. Неужели там у нее нет родственников? Обязательно есть... Впоследствии, правда, оказалось, что у Тани по материнской линии близких никого нет...

Мы отвели ей вторую комнату, которая поменьше. После ужина она ушла к себе, сказала, что устала и ляжет спать. Разговаривала она не со мной, а с Мишей. На меня не глядела. Совсем поздно Миша мне велел: «Иди, иди к ней, взгляни, может, чего надо». Я

пошла... Постучала. Она и не раздевалась, сидит на кровати боком и смотрит в окно, в темноте. «Ты чего не ложишься, Танечка?» — «Сейчас лягу». — «Ничего тебе не надо?» — «Нет, спасибо». Я помялась маленько, не знаю, что еще сказать. «У нас хорошо, говорю, лес рядом. Озеро. Можно купаться, и вообще город хороший, хотя, конечно, не Ленинград». — «Тамань — самый скверный городишко из всех городов, — она вдруг отвечает тоненьким голосом. — Я там чуть-чуть не померла с голоду, и вдобавок меня хотели утопить». Ну, тут уж мое сердце не выдержало, сколько я терпела. И вот на тебе — вторая сумасшедшая в доме объявилась.

«Таня, — шепчу ей изо всех сил, — кто тебя хотел утопить? Кто? Никто не хотел. Напрасно ты так, напрасно». И заплакала я сильно, так давно не плакала. Даже всхлипы я стала издавать, хотя и крепилась. Таня прислушалась, хмыкнула и сказала: «Не плачьте, тетя Ксана. Я вас не стесню. Поживу немного и скорее всего уеду. А пока буду вам помогать». — «Куда уедешь?» — «Куданибудь уеду. Мало ли». — «Если ты уедешь, меня Михаил Алексеевич приберет». Она засмеялась, как-то холодно, не по-девчоночьи. «Не заметила, что он такой свирепый. По-моему, он как раз добрый дядька. Ну ладно, посмотрим».

Посмотрели — стали жить втроем. Самое главное, Михаил Алексеевич бесповоротно переменялся в какую-то диковинную сторону. Он сделался как будто поменьше ростом и слегка умишком пошатнулся. Очень много хохотал, да громко. Но все невпопад. Но это попервой, потом все успокоились, попривыкли и зажили, представь себе, складно, как в теремке. Сначала меня было Миша задвинул, будто я и не жена ему, а служанка для Тани, которую он специально ей приглядел и выбрал. Можно было и так понять, что если Тане служанка не понравится, то он быстренько найдет ей другую, порасторопней, а меня запросто турнет из дома. «Пусть тешится, пусть, — думала я, — мы ко всему привыкли. Это не самое горькое. Побуду и служанкой, раз женой и матерью не сумела». Однако Таня вскорости разобрала его манеру и извлекла меня из низкого положения. Для этого ей понадобилось всего-навсего один раз сказать мужу: «Михаил Алексеевич, мне не

нравится тон, которым вы разговариваете с тетей Ксаной!» Вполне оказалось достаточно. Миша, правда, вечером в постели посмотрел на меня индюком: «Что ты ей жалуешься? Ты ее настраиваешь против меня! Ты ничего не понимаешь...» Все. С тех пор каждое мое слово в доме воспринимается с уважением, а просьбы сразу выполняются. Господи, да я никогда так не жила. Прямо как королева.

Главная в семье у нас Таня, теперь фамилия ее Морозова. Нам с Мишей другой раз представляется, что это не мы ее, а она нас перевела к себе в семью на воспитание.

Она никогда не сделает никакой глупости, какие мы, бабы, себе позволяем. И жалко ее бывает, чуть не плачу. Она и комсомольский секретарь в школе, она и музыкальную группу ведет, и то, и се. ...Ухажеры ей звонят, кавалеры на дом прибегают — куда там. «Ксана Анатольевна, мне мальчик звонит?» — «Да, Танюша». — «Передайте ему, что меня нет дома». — «Хорошо, Танечка». И весь сказ. «Тетя Ксана, у вас нет Платона?» — «Кого?» — «Философа Платона. Беседы». — «Кажется нет, Танечка». — «По какому же принципу вы подбирали библиотеку, — с раздражением, — лишь бы книг побольше?» — «Это Миша, не я». — «Михаил Алексеевич в отношении книг для своего возраста поразительно неразборчив».

Мы с Мишей дождемся, покуда она ляжет, и начинаем шушукаться. Так-то по-доброму обсуждаем, обсуждаем. Чудо наше — Таня Морозова! Редко случается, чтобы она чего не знала. Любит нас с Мишей поучить уму-разуму, объяснить, что к чему в нашей жизни. Для этого нужно только в хорошем настроении ее угадать и чтобы уроки она сделала. Пока уроки не выполнит, говорить все одно ни с кем не станет. А вот вечерком, за чаем, я, допустим, ей пожалуюсь: «Танечка, посмотри, купила Михаилу Алексеевичу галстук, а ему не глянулся. Не хочет носить». Стрельнет она заранее глазами на супруга: «Где галстук?» Тут и начнется. Повяжет ему и так и этак, заставит пять рубашек переменить, и все с объяснениями: «Вы, Михаил Алексеевич, начальник участка, мужчина еще не пожилой и видный. Вы, простите, тетя Ксения, должны нравиться женщинам. Это первый признак того, что у вас все

благополучно и успех вам сопутствует. Если вы будете нравиться женщинам, мужчины тоже начнут вас уважать непременно. Кислое лицо и неумело повязанный галстук — приметы неудачника. Подберите живот! С завтрашнего дня будете делать гимнастику вместе со мной. Гимнастика укрепит ваши, простите, тетя Ксения, дряблые мышцы. Живот и дряблые мышцы свидетельствуют о неумении видеть перспективу и ставить перед собой четкую цель. Вы видите перспективу?» — «Вижу, доченька!» — «Без нежностей. Какая она?» — «Прожить до ста лет всем нам втроем». — «Долго живут черепахи. Перспектива — категория социальная...» — и крутит Мишу и вертит, а он млеет, хихикает, сам почти как ребенок. А я думаю: значит, мало ему выпало ласки, мало заботы, раз так он по ним истосковался. Приоденет его Таня, одернет, волосики на висках ему причешет, оглядит с пристрастием, как манекен в витрине, и мне: «Ну вот, тетя Ксения, теперь мы можем им гордиться и в воскресенье отведем в кинотеатр, покажем людям. Я куплю билеты!»

Она купит. Если уж чего пообещала — никогда не забывает. Купит и билеты и ужин приготовит: «Отдохните, тетя Ксения. Ужин я подам ровно в восемь. Михаил Алексеевич, отправляйтесь в магазин и извольте купить минеральной воды. Мы будем запивать плов минеральной водой «Ессентуки-3».

Миша мой вылетает пулей, чуть не в домашних шлепанцах. Прежде-то он, кажется, понятия не имел, где этот магазин находится. Наверное, мать, которая родила такую девочку, была необыкновенной женщиной. Наверное, Миша действительно не мог не любить ее больше меня... стыдно мне, бабе, прожить пустой и бесполезный век. стыдно не выкормить ребенка, не понять, зачем я на свет народилась. По совести, все времечко, мне отпущенное, жила я за-ради себя. И работала за-ради себя, потому что работа всегда была мне в радость. И муж мой, Михаил Алексеевич, прожил рядом со мной, мрачный и похудевший, за-ради меня... А я чего, для кого?! Какую злую участь разделила и уменьшила? Ничью, нет.

Афиноген Данилов бодрствовал уже минуты две. Рассвет затемнил комнату, и он заметил, как на сером с ночи лице Ксаны Анатольевны обозначились выдаю-

щие возраст впадинки и морщинки. Взгляд ее был погружен неведомо куда, губы шевелились как бы от нервного тика, словно кто-то посторонний их разжимал. Ксана Анатольевна ссутулилась, руки обвисли по бокам, она сидела на стуле, как сидят на пне в лесу, возле пустой корзины после целого дня бесполезных поисков. Устала женщина от долгого ночного говорения, от воспоминаний, от сизой давящей рассветной мглы. Что до Афиногена, то он чувствовал утренний прилив сил.

— Ксана Анатольевна, вы прекрасная, редкая женщина, — сказал он, касаясь пальцами ее руки. — Вы спасли меня этой ночью, а скольких людей еще вы спасли от боли, от мерзкого одиночества. Если бы не было таких, как вы, жизнь потеряла бы смысл.

Ксана Анатольевна взглянула на ручные часики и сказала: «Ой!»

— Что это значит?

— Скоро сменяться. Быстро ночь миновала.

— Меня сегодня не выпишут?

— Что ты, Гена. Недельки две полежишь обязательно. Зачем тебе спешить?

Афиноген фыркнул. Никто не знал, какие богатырские силы дремали в нем.

— Две недельки — нет, не годится. Мне на работу пора. Там, Ксана Анатольевна, вакансия образовалась. Теплое местечко открылось, карьера, знаете ли, прежде всего. К тому же в четверг я иду расписываться. Лежать мне здесь некогда, хотя и хочется.

Ксана Анатольевна стала ходить по комнате быстрыми шагами.

— Ноги затекли. Что, Гена, укол сделаем?

— А почему бы и нет.

Пока она ушла кипятить шприцы, Афиноген сел, перебарывая темноту и бульканье в животе, свесил ноги с кровати. Он давно заметил стеклянную колбу в углу и сообразил, для чего она предназначена... Ксана Анатольевна застала его делающим попытки вскарабкаться обратно на высокую кровать. Она хотела ему помочь, но Афиноген, хмурясь, оттолкнул ее руку.

— Утренняя гимнастика, — пояснил он. Сердце заходило ходуном. Он чуть согнул колени, подпрыгнул и сел.

— Ты и впрямь долго не пролежишь у нас, — определила медсестра. После укола Афиноген опять задремал и не слышал, как уходила Ксана Анатольевна. Разбудил его хирург Горемыкин.

— Говорят, уже ходишь? — весело спросил.

— Пора выписываться. Залежался я у вас. Совестно.

— А ты действительно сможешь уйти?

— Пусть одежду вернут.

Вместо одежды прикатили коляску и две юные хохотушки в белых халатах перевезли его в другую палату с тремя койками. Одну хохотушку Афиноген успел по пути ущипнуть за бок.

— Во, больные! — крикнула на весь коридор хохотушка. — Во, симулянты!

В новой палате его приветствовал сероглазый мужчина в синей пижаме с прической «бокс» по новейшей моде 60-х годов.

— Наконец-то, — обрадовался мужчина, — в шахматы играешь, братишка?

— Предпочитаю покер. По маленькой.

Мужчина посерьезнел и показал из-под подушки колоду карт.

— К вечеру сообразим. Заметано.

— К вечеру меня выпишут.

— Не выпишут, не бойсь.

Вернулся с полотенцем через плечо третий обитатель палаты — солидный дядька с костлявым узким телом. Судя по секретному выражению лица — работник торговли.

Афиногену хохотушка Люда принесла стакан морсу и подала с милой ужимкой. Он не спеша с удовольствием отпил полстакана, собрался еще разок ущипнуть девушку, но она была начеку.

— Поздравляю вас с соседом! — играя выщипанными бровками, обернулась она к старожилам. — Он вам даст жару. Не соскучитесь.

Пройдут годы, а Афиноген Данилов не позабудет ночь в больнице, страстный и журчащий шепот Ксаны Анатольевны, черного паука, крадущегося к горлу...

Федулинский поэт Марк Волобдевский несколько раз присылал мне свои новые стихи с просьбой опубликовать их в любом толстом журнале, а гонорар переслать на федулинский почтамт до востребования.

Еще при нашем знакомстве на квартире у Никоненко я объяснил ему, что никакой силы в журналах не имею и что хлопотать за него я могу с таким же успехом, как и он за меня. Марк Волобдевский принял мои слова за особого рода столичную остроту и вежливо посмеялся.

— Нам, литераторам, — сказал он, — необходимо поддерживать друг друга, чтобы не пропасть поодиночке. Работа наша тяжелая, физическая и мало кому понятная. Есть издевательский парадокс в том, что за кровь сердца, которой я пишу стихи, мне платят полтинниками. Но такая, как говорится, селяви. В Федулинске мало кто понимает поэзию, не тот контингент... Знаешь, я всерьез подумываю перебраться в Москву. У тебя нет там знакомых девушек?

— Есть, а зачем?

— Единственный путь для меня — это заключить фиктивный брак. Хотелось бы все-таки, чтобы невеста была не совсем урод и дура. Ну, ты меня понимаешь?

Я его понимал, но помочь не обещал. Стихи, которые он присылал, носили отпечаток глубоких внутренних переживаний, отличались некоторой гражданственной инфантильностью и простейшими рифмами, типа: «вода», «сюда», «слеза», «гроза» и т. д. На Марке Волобдевском лежала тень любезного мне города Федулинска, поэтому я честно мотался с его стихами по редакциям и, пряча глаза, пытался доказывать их достоинства и самобытность, чем составил себе репутацию человека с дурным вкусом и наглым характером. Один прямодушный литконсультант, разгорячившись, спросил меня без обиняков: «Зачем тебе это надо?» После чего мы оба слегка покраснели и молча разошлись. Я не раз давал себе слово написать Марку Волобдевскому все, что я думаю о его поэзии, но вместо этого блудливой рукой выводил гладкие фразы о рутине и консерватизме наших журналов и сочинял сказку о том, с какими колоссальными трудностями пробивается . к

читателям все новое и свежее, создаваемое в литературном цехе. Признаюсь, что, увлекшись близкой мне темой, я ошельмовывал многих ни в чем не повинных людей, получая от этого злодейское удовольствие.

К сегодняшнему дню у меня в кладовке скопилось целое собрание сочинений Марка Волобдевского. Тут и любовная лирика, ярким образчиком которой я считаю следующие строки:

Бегу к тебе в объятья, спотыкаясь.
Ведь вижу, что не стоит, а бегу,
Прожил я тигром, а в любви, как заяц
Застреленный на мраморном снегу.

...и масштабные произведения:

В моих руках расколется, юля,
Такая твердая и круглая земля.

...и раздумья о судьбах литературы:

Написал стихи, отнес их критику.
Не жалеете времени, прочтите-ка.
Он прочел и, задирая нос,
На полях поставил во весь лист вопрос.

Меня тоже постоянно мучает вопрос, на какие шиши живет поэт Марк Волобдевский, как добывает себе пропитание этот богатырского сложения человек? При встрече я обязательно спрошу его об этом. Дело в том, что по принципиальным соображениям он взял расчет в своей торговой конторе и вот уже почти год бьет баклуши. Но ведь не помирает с голоду — одет, обут! Где он берет деньги? Не ворует же в конце-то концов?

Многообещающее для обеих сторон знакомство состоялось между Марком Волобдевским и пенсионером Петром Иннокентьевичем Верховодовым. Поэт прибыл к Верховодову поутру во вторник. Он представился, пожал Петру Иннокентьевичу руку, объяснил:

— Редакция радиостанции «Голос Федулинска» просила меня написать поэму об охране природы. Я дал согласие, ибо тема мне близка... А вы, товарищ Верховодов, насколько мне известно, являетесь председателем комиссии по охране природы при исполкоме. Правильно?

— Заходите.

Петр Иннокентьевич провел гостя в комнату и усадил в кресло, сохраняя серьезное, соответствующее моменту выражение лица, хотя внутренне насторожился и обеспокоился. К прессе Верховодов относился двояко и имел на то основания. Печатное слово, а также слово, переданное посредством радиовещания, он привык воспринимать как истину в последней инстанции, почти как военную команду, исключая, естественно, статьи и передачи под рубриками «Дискуссионный клуб», «Давайте рассуждать!» и тому подобное, каковые, впрочем, он избегал читать и слушать, ибо они сбивали его с толку и вводили в неподобающее старому человеку состояние растерянности и недоумения. С другой стороны, самих работников прессы, всяких этих корреспондентов и поэтов, он считал людьми, не заслуживающими доверия, и про себя называл их по старинке — шелкоперами и гусиными перьями. Такое отношение сложилось у него под впечатлением двух публикаций о нем лично в местной газете «Вперед». Первая коротенькая заметка пятнадцатилетней давности рассказывала о пожаре на свиноферме, при котором сгорела рекордистка хрюшка Евдокия. В те времена западный край Федулинска, застроенный двухэтажными домами, органично переходил в деревню Бычково, где располагался колхоз имени Парижской коммуны. Постепенно город вытеснил, задавил деревню, и колхоз канул в лету, точнее переместился и обосновался где-то за лесным массивом. Пятнадцать лет тому назад деревенская улица еще сопротивлялась, засылая лопухо-крапивные трассы на новый сверкающий асфальт Федулинска. Это были хорошие времена для городских детишек и стариков, потому что по утрам и вечерам они имели возможность покупать парное молоко и творог прямо на колхозной ферме. Иногда коровы забредали на центральную площадь Федулинска и озорные мальчишки, шалея от восторга и ужаса, прутиками старались подогнать унылых буренок к старому зданию милиции, откуда, привлеченный мычанием и криками, на порог выходил тогда еще старший лейтенант Голобородько. Он любовался юными гражданами города, а также худыми телками, грустно напоминавшими ему отчую станицу под Харьковом, и в благодарность да-

вал некоторым пацанам пощупать свою кобуру... В заметке говорилось о том, что при тушении пожара на свиноферме отличились отдельные местные жители, среди которых упоминался и Петр Иннокентьевич — «известный общественник, полковник в отставке, весь жар души отдающий благоустройству родного города».

Верховодов действительно был на пожаре, но никакого участия в спасении свиней принять не мог, так как проходил мимо с бидоном молока в тот момент, когда опоздавшие пожарники засовывали в бочку с водой последнее недогоревшее бревно. Он постоял среди толпы любопытных и даже окликнул знакомого пожарника, старшину Васькова. Он ему крикнул: «Эх ты, пен-тюх! Где ты раньше был, когда горело?» На что Васьков мигом ответил: «Там же, где и ты, Петр Иннокентьевич». Вот, собственно, и все. Обидела его заметка не потому, что люди могли подумать о нем, как о трепаче и бессовестном человеке, а потому, главным образом, что фамилия и имя его были перевернаны самым безжалостным образом. В заметке его окрестили почему-то Петром Ипполитычем Верховлядовым. Он, конечно, отправился в редакцию добиваться опровержения, но там ему деликатно объяснили, что если фамилия не его, то, значит, и речь не о нем, а о другом человеке. Какого рожна, мол, тебе, дядька, надо?

Второй случай, недавний, был похлеще и не такой невинный. Верховодова пригласили на торжественный вечер в школу, где он выступил перед старшеклассниками, поделился боевыми воспоминаниями, ответил на вопросы. Разволновался, отчасти и потому, что бедовый молодой учитель, исполнявший обязанности ведущего, все время норовил подсказать ему общепринятые формулировки. Разозлясь, Верховодов громко спросил учителя: «А вы на каком фронте изволили воевать, юноша?», чем вызвал неописуемый восторг среди учеников-старшеклассников. Внизу в раздевалке к нему подошел корреспондент газеты, поздравил с удачным выступлением и как-то наспех, на бегу задал два-три несущественных вопроса. Верховодов, привыкший к спокойствию в разговоре, смущаясь, ответил, как мог, коротко и точно. Каков же был его ужас, когда он через несколько дней прочитал в газете большое интервью под названием «Ветераны не спят». Корреспондент

состряпал невообразимую мешанину из выступления Петра Иннокентьевича на сцене и короткой беседы в раздевалке. Залихватски от имени Верховодова рассказывалось о каких-то несусветных маршбросках, молниеносных ударах, пленении чуть ли не корпусов противника силами одного — его собственного — батальона. Все абсолютно было перепутано, поставлено с ног на голову. Назывались несуществующие рода войск, поминалось оружие, которое впервые появилось в армии в конце этой пятилетки. Сама интонация статьи была в представлении Верховодова редкостно бесстыдной и подлой. Особенно поразила его одна фраза, далеко не центральный эпизод, вообразенный разнузданной фантазией журналиста. Якобы на вопрос корреспондента: «Бывало ли вам страшно на войне?», Верховодов поведал случай, как его батальон подвергся «двойной артподготовке — из близлежащей рощицы и с воздуха». Якобы смешанный с землей, «заваленной обломками землянок», Верховодов вдруг «услышал чарующие звуки». Он поднял голову и «со слезами радости на суровых глазах увидел в небе красноезвездные крылья наших любимых реактивных «ястребков». Это авиация спешила на помощь матушке-пехоте... А я ведь пехотинец, сынок!» — якобы пояснил Верховодов злощастному интервьюеру.

Три дня Петр Иннокентьевич не показывался на улице и не отвечал на телефонные звонки. Если бы в эти дни корреспондент забежал к нему по какой-нибудь надобности, он, вероятно, придушил бы его прямо в прихожей. Затем Верховодов написал пространное, гневное письмо в редакцию. Через месяц пришел ответ. Редакция газеты приносила ему свои извинения и сообщала, что автор интервью строго наказан — ему объявлен выговор с занесением в личное дело. «Выговор, — изумился Петр Иннокентьевич. — Под трибунал бы его, сукиного сына!»

Он понимал, что вряд ли сумеет объяснить свою боль, тоску и гнев и «сынку»-корреспонденту, да, пожалуй, и всей редакции; вряд ли сумеет доказать словами, что преступно задевать неумелыми и поспешными руками то, что свято. В письме он вообще не касался этой стороны дела, а напирал на искажение конкретных фактов и прямые ошибки.

Марк Волобдецкий, разумеется, ничего этого не знал и пришел к Верховову с открытой душой, на дне которой таилось предчувствие необходимости подкрепить будущую поэму сопроводительной запиской именно такого видного общественного деятеля, как отставной подполковник Верховов.

— О чем же вы хотите писать? — осторожно поинтересовался Петр Иннокентьевич.

Поэт поудобнее притерся к креслу, бросил туманный, но красноречивый взгляд на хрустальный графинчик на полке серванта и произнес вступительное слово.

— Природа, уважаемый Петр Иннокентьевич, тут вы, конечно, согласитесь со мной, требует защиты. Вы еще более согласитесь со мной, если я замечу, что она требует защиты не от животных, не от какой-нибудь там тли или стрекозы, а, к сожалению, от хомо сапиенс, то есть человека. Да, мы дожили до горестного момента, когда природе страшны не только стихийные бедствия, сколько наш брат, безжалостный двуногий истязатель и хищник. Вас не обижают мои слова?

— Нет, не обижают.

— Понимаете, я поэт и привык говорить правду в лицо. В этом я вижу свой гражданский долг... Известный каждому школьнику афоризм Мичурина: «Мы не можем ждать милости от природы, взять их — наша задача» — сегодня звучит по меньшей мере легкомысленно. Теперь не мы, а природа ждет от нас милости. Я бы не побоялся перефразировать великого садовода таким образом: не брать от природы, а отдавать ей награбленное — вот наша задача! Кстати, это и будет главным лирическим запевом моей поэмы.

— Любопытно, — Петр Иннокентьевич, проследив за замороженным взглядом Марка Волобдецкого, поднялся и поставил хрустальный графинчик на стол.

— Домашняя наливка. Угощайтесь!

— Надеюсь, изготовлена без злоупотреблений.

Верховов шутки не оценил, промолчал.

— Теперь посмотрим, как обстоят дела в нашем благословенном Федулинске. Для этого далеко ходить не придется. Прогуляемся по нашему парку, где вместо травы на газонах торчат окурки. Завернем на окраину леса, предварительно обув ботинки с толстыми подошвами, ибо иначе мы рискуем поранить ноги консервны-

ми банками и осколками бутылок, кои устилают поляны подобно сказочному ковру. Спустимся наконец к нашей прекрасной речке Верейке, где вместо воды давно струится грязная жижа со стойким запахом машинного масла. Петр Иннокентьевич, какое честное сердце не содрогнется при виде этих ужасных картин! — Патетический выпад Марк Волобдевский запил изрядным глотком обжигающе-крепкой наливки, поперхнулся и привычно понюхал тыльную сторону ладони.

— Минутку, — сказал Верховодов, сходил на кухню и вернулся с блюдом спелой влажной клубники. — Пожалуйста!

Пока он отсутствовал, Марк Волобдевский успел махнуть еще стаканчик, глаза его возбужденно заблестели, и он почувствовал необычайный прилив красноречия.

— Тот, кто в такой ответственный период стоит в стороне от благородного дела защиты природы, кто равнодушно взирает на происходящие бесчинства, а возможно, и вносит в них свою бесстыдную лепту, тот — говорю вам я! — не имеет права называться гражданином. Для равнодушного обывателя пустым звуком прозвучит мощный глас Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан!» Обязан, уважаемый Петр Иннокентьевич. И наше с вами святое дело разбудить этих сытно спящих обывателей, протереть им глаза и вывести на широкую ниву общественной деятельности по охране природы. Вы понимаете меня?

— Да, — сказал Верховодов.

— Мне кажется, что-то вас смущает?

— Я не совсем уяснил, что требуется именно от меня. То есть, конкретно.

Марк Волобдевский обмер, вспыхнул, на лице его выразилось горькое недоумение, красивые глаза округлились и наполнились влагой, весь он как-то поплыл перед Верховодовым, подернулся рябью и захворал.

— Нет, нет, — обеспокоился Петр Иннокентьевич, — все, что вы говорите, справедливо и умно. Я разделяю ваше мнение (видя, что гость ничего не записывает, Верховодов осмелел), но поймите и вы меня. Обстановка действительно крайне напряженная. В нашей ко-

миссии мы, честно говоря, занимаемся словоблудием, практически исполком бездействует. У него, видители, других забот полон рот... Чем тут может помочь ваша поэма? И потом, какое отношение к ней имею я, человек, который в жизни двух слов в рифму не сказал... Пейте, пейте, не стесняйтесь!

Марк Волобдевский откушал третью стопку, горестные морщинки на его лице разгладились, он задымил сигаретой и опять возник из кресла в полной ясности. «Наваждение какое-то?» — подумал Верховодов.

— Да вы меня не поняли. Буду говорить без обиняков, как привык. Мне требуется ваша поддержка. Вы должны написать, что в таком благородном и святом деле, как охрана окружающей среды, не может быть мелочей, а поэма Марка Волобдевского — моя то есть — представляется вам крепким камнем в фундаменте... — Марк не нашел подходящего продолжения метафоры. — Одним словом, чтобы поэму опубликовать, надо протолкнуть ее мимо меднолобых рутинеров от журналистики.

— А где она?

— Кто?

— Поэма эта, крепкий камень.

— Петр Иннокентьевич, была бы поддержка, как говорится. Буду с вами откровенен. Поэму написать не трудно. Гораздо труднее пробить брешь в чугунном заборе, огораживающем... — Марк вторично не сумел окончить фразу, смутился и махнул четвертый стаканчик.

— Вы-то почему не пьете, уважаемый Петр Иннокентьевич?

— Утро. Хотя, если желаете, за компанию разве...

Они чокнулись, Верховодов уже составил мнение о госте, не сказать, чтобы очень благоприятное. Юношу сжигала какая-то непонятная Верховодову страсть, проступившая алыми пятнами на его чистой коже. Правильные и дельные, хотя и напыщенные рассуждения его, Верховодов чувствовал, вступали в вопиющее противоречие с этой внутренней страстью. И пил он слишком торопливо и жадно. «Нет, — решил про себя Верховодов, — от этого мальчика надо держаться подале. Этот поэт, пожалуй, так охранит природу, что одни колья останутся. А впрочем...»

Большой глоток наливки привел его в доброе расположение духа.

— Давайте так договоримся, — пошел он на компромисс. — Вы пришлете мне поэму, я прочитаю, — тогда продолжим разговор.

Марк Волобдецкий востепенел, мысли его слегка мешались и сталкивались одна с другой подобно деревянным брусочкам в детской игре «Построй домик».

— Моя поэма — это набат, который пробудит от спячки Федулинск, — сказал он без ложной скромности. — Обещаю, что вы будете первый ее читатель... Вы мне нравитесь, Петр Иннокентьевич! У вас, я вижу, есть истинное чутье и вкус к поэтическому слову. Как надоели эти чинуши, эти подлые редакционные крысы, которые познают жизнь, глядя на нее из окон своих прокуренных кабинетов.

— Вы не любите газетчиков?

— Я их презираю и ненавижу!

Последнее откровение приятно задело чувствительную струнку в душе Верховодова. Он разлил остатки наливки.

— Выпьем за то, — чирикнул Марк Волобдецкий, — что мы с вами вдвоем пройдем крестовым походом... Очистим от скверны наши леса и поля, очистительным вихрем наши слова пронесутся над головами... — в третий раз не подобрав соответствующего образа, поэт сник и с сожалением поглядел на пустой графинчик. В прихожей, прощаясь, Марк Волобдецкий в приливе чувств попытался расцеловать упирающегося старика.

— Спасибо, спасибо! — бормотал гость. — Ждите меня через два дня.

К сожалению, Марк Волобдецкий не написал поэмы об охране природы, он забыл о ней. На другой же день он увлекся командированной из Риги миловидной бухгалтершей и уехал на все лето отдыхать в Прибалтику.

5

В жизни человека бывают периоды, когда он испытывает приступы вроде бы беспричинной ностальгии, хандры — тут трудно подобрать точное слово. Ученые люди объясняют это переменой биологических ритмов и даже берутся любому желающему заранее расписать

график его настроений. Наверное, они правы, как обычно. Астрологи обнаруживают прямую связь психического состояния человека с расположением звезд.

Обидно сознавать, что все наши состояния, чувства и, в конечном свете, движения разума зависят, оказывается, попросту от того, какую стадию в организме проходит процесс обновления клеток и насколько он удачен. Однако, если продолжать эту мысль далее, можно прийти и к некоторым оптимистическим прогнозам. Наверняка в ближайшем будущем человек научится управлять собой и настраивать себя, как радиоприемник, с помощью кнопок, вмонтированных, скажем, в портативный переносный саквояж. Нажал одну кнопку — состояние светлой необременительной грусти, нажал другую — изнываешь от счастья, ткнул пальцем в третью — погружаешься в философские размышления о смысле жизни. Хотя какой там может быть смысл, если ответы на все вопросы изготавливаются на электронном конвейере предприятия номер такой-то...

Так меланхолически размышлял молодой Михаил Кремнев, поджидая у кинотеатра любезную его сердцу Светку Дорошевич, обещавшую пойти с ним на трехчасовой сеанс, если ей удастся удрать из ателье. Нет-нет и взглядывал Миша искоса в маленькое зеркальце, спрятанное в ладони, — как там прыщ на подбородке, не сгинул ли, не стерся ли? Нет, по-прежнему на месте и распространяет вокруг себя розово-бледный ореол. Случись рядом волшебник и пообещай Мише Кремневу выполнить одно его желание — недолго думал бы студент. Чистую кожу, ясные глаза и пяток сантиметров роста — все, что попросил бы он у волшебника или у дьявола, а взамен половины жизни не пожалел бы. Потому что второй месяц любил Миша озорную Светку Дорошевич, любил первой ненасытной и сумасшедшей любовью, не знал покоя, не знал, как быть, падал ежеминутно в пропасть, наполненную ядовитым туманом ревности, полудогадок, полупредчувствий, полупризнаний, полуответов. Состояние его было устрашающе половинчатым. Слова, которые он выслушивал, доносили ему лишь половину своего смысла, мысли не додумывались до конца и изнурили мозг неопределенностью и расплывчатостью формулировок. Вторая половина всего, что было в нем, путешествовала

там, где предположительно находилась Светка Дорошевич. Эта губительная раздвоенность делала его полубеспомощным и заставляла совершать необдуманные полунелепые поступки, в которых позже он давал себе полуотчет. «Где же Светка? — думал он, с удивлением различия полусвет на фасаде кинотеатра и скользящие полутени в той стороне, откуда должна была появиться девушка, — неужели она меня надула?»

В воскресенье он опоздал на свидание и знакомый мальчишка из Светкиного дома охотно доложил ему, что его «невеста — тили-тили тесто» села в такси с двумя дядьками. Миша не поверил, сгоряча отвесил мальчишке добрую плюху, потом в порядке реабилитации одарил его гривенником на мороженое и дотемна проторчал возле дома, прячась в скверике, — ждал. Не зря ждал. Наградой за терпение было ему чудесное зрелище выпорхнувшей из такси смеющейся Светки. А в глубине машины он с полуотвращением заметил медальный профиль незнакомого мужчины и яркое лицо Светкиной подруги Натки Гаровой. Миша не окликнул Светку, тем более что та передумала идти домой, нырнула обратно в машину, и они покатали дальше — ему даже не хотелось знать куда. Около двенадцати он позвонил Дорошевич из своей квартиры.

— Смешной, — прощebetала Света сонным голосом, — смешной ненормальный Отелло. Зачем ты звонишь девушке по ночам? Это неприлично, граф! Спокойной ночи, мой милый! — и повесила трубку.

Других объяснений Миша и не требовал, не рассчитывал на подробности. Год жизни в общежитии, в Москве, год свободы, многому его научил. Он возвратился на лето в Федулинск, чувствуя себя взрослым, самостоятельным человеком. У него были шикарные планы. За лето он собирался в совершенстве овладеть английским языком, чтобы не отвлекаться на него в институте. Собирался подкачать мускулатуру по системе «Атлас». Готовился освоить фотодело, чтобы потом подрабатывать в московских газетах и журналах и не нуждаться в родительских переводах. Планы его рухнули, сгорели синим пламенем. Он встретил Светку в магазине канцтоваров, проводил до дома. С того дня

«он знал одной лишь думы власть». На собственном опыте он убедился, что в области чувств мало что изменилось с прошлого века. Подробный анализ своего состояния Миша Кремнев находил в романах отечественных и зарубежных классиков. У них давно все было разложено по полочкам. По Стендалю, например, выходило, что его любовь застряла на стадии первой кристаллизации. Но это вряд ли соответствовало действительности. Когда он зачарованно следил за движениями Светкиного лица, когда слышал гортанный резкий смех, когда, покрываясь испариной, в темноте кинозала ощущал тепло и мягкую упругость ее руки, плеча, когда с тяжелым дыханием впивался глазами в кутерму ее круглых коленок, тогда он сомневался в справедливости теории великого французского писателя: ему казалось, что его чувство началось прямо с конца, с того места, где влюбленный оказывается перед выбором: либо соединится с дорогим предметом, либо — в омут головой.

Самое ужасное — он не понимал, как относится к его любви Света Дорошевич. В конечном счете все зависело от этого. Если, позволяя ласкать и целовать себя, бегая к нему на свидания, она лишь забавляется с ним, упражняется в любовной науке, как с очередным временным ухажером — думать так у Миши были основания, — то он надеялся переломить себя, уйти, вырвать ее из сердца, излечиться способами, которые тоже во множестве предлагались в романах. Если же — великий боже! — она испытывает к нему то же, что и он к ней, тогда следовало предпринимать какие-то быстрые и решительные шаги.

Никогда бы Миша Кремнев не поверил, что любовная горячка, эта сладкая болезнь, приносит мучения несравнимые ни с какой ранее им изведанной болью. Любовь к Светке Дорошевич повергла его в одиночество, какое испытывает человек, может быть, только перед лицом небытия. Родители, друзья стали ему чужими, скучными, порой ненавистными людьми. Обычные житейские соблазны — музыка, одежда, вкусная еда, чудесные книги, — стоили ровно столько, сколько стоит желтый песок в пустыне.

Сосушая сердце пивка не отпускала свои мелкие острые зубки ни на секунду, мешала сосредоточиться

на чем-то одном, хотя бы и на Светке, а иной раз кусала с такой силой, что он вскрикивал, стонал и просыпался посреди ночи.

Перед Светкой он бодрился, шутил с ней, наигрывая роль современного хиппового мальчика, для которого нет тайн в отношениях между мужчиной и женщиной. Интуиция подсказывала ему, что так и надо держаться, что это единственный путь к успеху. Подай ему Светка какой-нибудь добрый знак, он изменился бы в мгновение ока: затих, воспарил, успокоился и упал бы на колени — в грязь ли, в лужу, на твердый асфальт — там, где настиг бы его этот знак. Хороша ли она, умна ли, добра ли, порядочна ли — эти вопросы совсем не занимали его ум. Зато про себя он отлично понял то, что раньше жило в нем, как невероятное смутное предположение. Сам он был туп, неостроумен, некрасив — особенно с этими прыщами, — не умел правильно двигаться, ходил как-то боком. Была у него, конечно, надежда, что если бы Света подождала год-другой, потерпела, он сумел бы исправить все свои недостатки, поумнел бы, похорошел и, возможно, добился славы. И еще рост — вот что почему-то особенно его бесило. Эти проклятые метр семьдесят, по нынешним временам курам же на смех, рост приличный единственно для занятий наукой. На танцах с такими сантиметрами делать особенно нечего, потому что вряд ли выглядишь себе партнершу из-за спин настоящих высоких парней с каучуковыми бицепсами.

Чудное виденье — Светка Дорошевич возникла внезапно из зелени улицы, и запестрили ее бегущие ножки, замелькали белые крылья рук, поплыло на Мишу смеющееся, сияющее солнечными бликами чернобровое, круглое, удивленное лицо.

— Противный Эрнст Львович хотел силой удержать, — стала оправдываться Светка. — Все они у нас в ателье ненормальные — на минутку не отлучись. То ли дело в институте, где Егорка работает. Там свободно, хоть на неделю отпрашивайся — никто слова не скажет.

— Кто это Егорка?

— Егор Карнаухов. Ты что, не помнишь? Лопоухий такой. В нашем классе учился.

Фамилия прозвучала знакомо, но Егора вспомнить

он не смог — еще один повод для ночных фантазий.

Они вбежали в полупустой зал и плюхнулись на первые попавшиеся места. На экране мелькали кадры кинохроники.

— Скучища, — сказал Миша. — Нет бы «Фитиль» показать.

— Жарко, — ответила запыхавшаяся Светка, — жарко и душно. Ух! Не хватай меня, у тебя руки сырые и противные. Ух!

Влюбленный Кремнев, узнав, что у него сырые руки, надолго замкнулся, с мнимым вниманием изучал мелькавшие на экране однообразные картинки. Он тайком пощупал свои ладони, конечно, они были сухими. Все ясно. Никогда девушка, если она любит, не скажет своему парню: «Отстань, у тебя сырые руки!», во всяком случае не скажет таким тоном, убийственно безразличным и даже злорадным, как обращаются в очереди: «Не стойте, вам не хватит».

За спиной у них разместились стайка школьников, девочки и мальчики, человек семь. Шум, который они производили, запросто перекрывал кинозвук. Начался фильм-сказка о золотом путешествии «Синдбада-морехода».

«Бессмысленная жизнь, — ерзая, тосковал Михаил, — до чего же она бессмысленная. Ну с какой стати эта девушка вдруг захватила такую власть надо мной? Кто дал ей эту власть? Кто меня поработил? Мокрые руки, подумаешь! Встать и уйти. Немедленно встать и уйти насовсем. Мне не повезло, она меня не любит. А если бы любила, какая разница? Что бы изменилось? Она бы сама искала со мной встреч. Вот упоительное счастье, она, а не я. Как заставить ее полюбить? Вот белеет ее рука, ее профиль, вот она дышит рядом, живая, теплая. В ее головке бродят какие-то мысли, представления. Какие? Неужели она всерьез увлечена этой чепухой на экране? Не оглянется, как будто я не существую».

Появление на экране полуголой туземки вызвало среди школьников взрыв восторга. Раздались оценивающие реплики, смешки и придушенное странное взвизгивание.

— Тише, — оглянулась Света, — тише, пожалуйста, детки!

Сзади притихли, затем в полной тишине прозвучал смелый мальчишеский голос:

— Приходи вечером в парк, рыжая, увидишь, какие мы детки.

Детки оказались повзрослевшими до поры. Миша обернулся, взгляделся. Навстречу ему сверкнуло много нахальных, любопытных глаз, белыми наклейками сияли полоски зубов.

Света дернула его за рукав, погладила руку, легонько ущипнула.

— Не обращай внимания, милый.

Он сжал ее пальцы, стиснул их, мял, ощущал сладостное ответное пожатие. Ее щека была рядом. А позади расселся этот зоопарк. Не повезло, опять не повезло. И тут не повезло.

— Светочка, — шепнул или хрюкнул он, — ты меня любишь?

Светка Дорошевич отстранилась от него.

— Чего?

— Нет, я так. Шутка.

Она поцеловала его бегло в ухо, отняла руку.

— Смотри, смотри. Какая страшила!

Огромная деревянная баба ожила на экране и повела себя хулигански. Отчаянно задвигала бревнами рук, придушила одного морехода, собиралась и Синдбаду показать, почем фунт лиха, но, оступившись, свалилась в океан.

Бравые школьники на заднем ряду задыхались от смеха. Тот же голос, который пригласил Свету в парк, объявил:

— Очумела деревяшка. Пускай прохладится. А все — водка проклятая.

Голос выговаривал очень смешно, с мудрым сочувствием и заботой, скорее всего подражая кому-то из учителей. Ряда за три впереди забился в плаче малыш. Поднялся рослый мужчина и под мышкой вынес бьющегося ребенка из зала. Голос прокомментировал это событие.

Миша обернулся и спросил:

— Ты заткнешься или нет?

Голос взвился:

— Слышу речь не мальчика, а мужа. Рыжая, тебе повезло, с психом связалась.

Такого нахальства Михаил не имел права спускать в присутствии дамы. Уличный закон требовал, чтобы он начал действовать. Миша встал и влепил пощечину ближайшему из мальчишек. Хлестким щелчком прозвучала пощечина.

— Кто еще желает? — Уже в это мгновение он покраснел от жгучего стыда.

Тишина. Светка сильным рывком усадила его на место. Багровый, страдающий от убожества ситуации, он прислушивался к тишине за спиной. Мертвая тишина. А на экране безумствовал злой маг, по селектору управляя демонами тьмы. «Сейчас трахнут мне по черепушке какой-нибудь железкой», — подумал Миша, стараясь усесться боком, чтобы по возможности успеть уклониться от удара. Однако невидимый в темноте противник решил продолжить дуэль на интеллектуальном уровне. После долгого перерыва прежний дерзкий голос громко заметил:

— Наш отечественный идиот, ребята, ни в чем не уступит американскому.

Хохот школьников заглушил вопли обезумевшей туземки на экране. Мишка катастрофически проигрывал эту партию на глазах у возлюбленной. Он сел в лужу. Света Дорошевич не оставила его в ней, вызволила:

— Мальчик, — весело сказала она, полуобернувшись, — я тебя узнала, ты живешь в нашем доме. Если ты не угомонишься, я вечером забегу к твоим родителям, и они опять тебя выпорют. Только ты не визжи так громко, как в прошлый раз. Помнишь, в субботу, мальчик?

Это был по меньшей мере нокаут. Сзади тоненько пискнула, подавилась смехом какая-то девочка, и наступило благоговейное молчание. Миша представил себя на месте тихого мальчишки, который, возможно, тоже был влюблен и выпендривался перед своей зазнобой, и пожалел его. Наврала Светка или нет — не имело значения. Оправдываться герою перед товарищами будет трудно, ох как трудно. Он получил хороший предметный урок, воочию убедился в беспомощности мужской лихости перед женским коварством. Когда тебя в тридцать лет лупят ремнем любящие родители — это полбеда: когда ты визжишь при этом поросенком, выражая протест против устаревшей формы воспита-

ния — тоже полбеда; но когда о том и о другом узнает твоя компания, твой родной школьный коллектив, где ты олицетворяешь собой безупречную мужскую честь, доблесть и бесстрашие, — это, товарищи, великая беда. Сидит в темноте оклеветанный мальчишка, и сухие рыдания обиды начинают сотрясать его победительную грудь, кажется ему, что нет с ним больше друзей, с напряжением ждет он, когда вспыхнет свет и множество зрителей оглянется с любопытством: кого это тут порют по субботам. И уйти он не может, потому что не привык капитулировать, а привык с улыбкой смотреть, как капает из порезанного пальца кровь. А рядом затаилась, не зная, как себя вести, дама его сердца.

Киношный Синдбад тем часом перегнул палку своей судьбы и оказался близок к мученической гибели. То же самое и с туземкой, которая судьбу не испытывала, да попутал ее грех — втюрилась по уши в авантюриста и искателя приключений, и теперь должна была разделить его участь и пропасть ни за понюх табаку. Свирепый кентавр метался по сталактитовым пещерам в поисках жертв, а кроме Синдбада со спутниками терзать ему было некого, голодному зверюге.

— Мне страшно, — сказала Света Дорошевич и прижалась к Мишке.

— Не бойся, — он не упустил момент чмокнуть девушку в щеку. — Это сказка. Это же сказка.

— Безобразие! — заорал сзади знакомый воскресший голос. — Они целуются на глазах у детей. Это же публичный разврат. Милиция!

Нет, напрасно пожалел Михаил мальчишку, ему бы впору себя жалеть. Быстро оклемался вундеркинд и крепко отомстил. Ничего особенного не было в слове «разврат», вполне литературное слово, но Мишу будто грязью со спины окатили. Он заворочался медведем, вставая, много сил пришлось потратить Светке, чтобы его утихомирить.

— Не надо, милый, ну не надо! — умоляла она.

— Ладно, — сладко остывал Михаил, — зажгут свет, я их возьму на заметку. Я их!..

Веселые ребята не стали ждать, пока их возьмут на заметку: застучали стулья, зашаркали ноги, — детишки потопали к выходу. Михаил, бесясь, услышал напо-

следок длинное глумливое рассуждение о том, что невозможно смотреть детям хороший фильм, когда некоторые дебилы являются в кинотеатр с единственной целью — полизаться.

Света Дорошевич захлебывалась от восторга. Синдбад безжалостно прокалывал кентавра кинжалом. Добро торжествовало. Туземка была не против приглубить удачливого морехода.

— Тебе правда смешно? — недоверчиво спросил Миша.

— Очень смешно.

— А мне не смешно.

— Почему?

— Мерзавцы. Юные хулиганы. Сейчас они так, а подрастут — финка появится. Тогда с ними так просто не справишься. Вот откуда вырастает всякая мразь.

— Не занудствуй!

— Как?

— Не занудствуй, милый!

Холод, равнодушие, ледяное презрение. Когда это кончится, когда? Что он ей — игрушка, кораблик с парусами, куда дунешь — туда поплыл. Скоро переполнится чаша его терпения. Он сказал:

— Нет, Света, это не ерунда, не повод для смеха. Хамство обязательно перерастает в подлость, а подлость — в преступление, пускай это преступление тайное, не совершенное, тем оно страшнее. Несовершенные преступления — это почва, на которой произрастают все язвы человечества.

— Я тебя боюсь, — сказала Света, — проводи меня быстрее к мамочке.

Подталкиваемые с боков выходящими зрителями, они выбрались на улицу. Михаил завелся, почувствовав тему для спора. В институте, в общежитии они спорили по любому поводу, им нравился сам процесс спора. Миша был далеко не лучший спорщик, ему не хватало умения высказывать свои мысли коротко. От отца он перенял спокойную манеру обоснованных мотивированных рассуждений. В общежитии на долгие разговоры не хватало времени. Там дискуссии обыкновенно велись репликами. Уж очень надо было быть оригинальным, чтобы тебя одного слушали больше двух минут подряд. Мишу обычно ядовито обрывали на середине фра-

зы. Это его раздражало. Но парировать реплику мгновенно, точно и остроумно он не умел. Он горячился: «Глупо! То, что вы говорите, глупо!» Ему кричали: «Докажи, почему глупо!» Он начинал доказывать, торопясь, на первом же нечетком зигзаге его сбивали остротой бойкие говоруны, и он в растерянности умолкал, продолжая по инерции мямлить: «Глупо, глупо».

С отцом приятно было спорить. Сначала излагал свою точку зрения Юрий Андреевич: подробно, основательно, потом высказывался Михаил, также основательно, не оглядываясь на часы, не опасаясь подвоха. В такой манере течение мысли, пусть неверной, но продолжительной, цепь рассуждений доставляли истинное наслаждение, завораживали и вселяли уверенность в силу и цепкость собственного ума.

— Нет, ты послушай, Света. Почему ты смеешься вместе с этими подонками? Почему? Одобрение для них, как вода для сорняка. Сорняк неприхотлив. Десять раз обойдет его стороной дождик — ничего, достаточно нескольких капель влаги, случайной, и сорняк буйно потянется к небу, давя вокруг себя полезные, но более прихотливые растения. С этими мальчишками — то же самое. Десять раз они встретят отпор своему хамству — ничего, стерпят. Зато один раз кому-то понравится, кто-то одобрит, оценили их мнимые достоинства, все — победа, торжество, признание! Тем самым, Света, ты оказала им плохую услугу. Ты, сама не сознавая, явилась тем спасительным дождиком, который удобрил и укрепил их стремление к разгулу, создал иллюзию вседозволенности хамства.

Света Дорошевич холодно смерила его с ног до головы, потрогала быстрой ручкой его лоб.

— Господи, с кем я связалась. Да сколько тебе лет? А выглядишь ты, мой друг, таким упоительно молодым.

— При чем тут возраст?

— Мне скучно, милый. Я хочу домой.

— Разве мы не пойдем в парк?

— Нет, не пойдем.

— Почему?

— В парке ты замучаешь меня до смерти прописными истинами. Я потеряю голову и натворю глупостей.

— Каких глупостей?

— Отдамся чувственному порыву. А куда мы денем ребенка?

— Да, — сказал Миша Кремнев, — это финиш. Ты что, издеваешься надо мной?! Ты что, думаешь, я придурок? Светка!.. Оставь свои дикие шутки, оставь. Зачем ты так? Тебе это не идет. Ты не такая.

— Такая. Именно такая, милый. Я не боюсь слов, не боюсь смеха и двусмысленностей и не падаю в обморок, когда вижу, как резвятся взбалмошные дети... Что касается благополучных папенькиных сынков, которые кичатся своей нравственностью и своим умом, суют их под нос бедным девушкам, как паспорт, — с такими мне не по пути. Заруби себе на носу, милый! Не! — по! — пу! — ти!

Михаил оторопел и не успел удержать ее. Светка крутнулась на каблучках и припустила вдоль газона. Не бежать же за ней? Он побежал. Он догнал ее.

— Скажи, что с тобой, Светка? Что я тебе сделал?!

Бледный, с вытаращенными глазами, с выражением лица одновременно решительным и жалким, он не вызвал у Светки сочувствия.

— Отпусти! С ума сошел? Больно же. Отстань от меня, Мишка! Ты мне надоел своими лекциями и нытьем. Ты меня любишь? — передразнила она, высовывая язык. — Обожаю! Отстань, я иду домой.

— Света, прости меня!

— Вот, пожалуйста. Где твоя гордость, дружок? Хочешь хороший совет? Никогда не унижайся перед девчонками, не проси прощенья. Понял? Будь мужествен и смел. Я понимаю, тебе нечем гордиться, а ты делай вид, будто есть чем.

— У меня нет гордости, Светлана. Была раньше, а теперь нет.

— Где же она?

Они стояли на центральной улице, мимо уже началось вечернее шествие. Люди спешили с работы. Длинный пестрый поток возглавляла молодежь, та, которая собирается у проходной за десять — пятнадцать минут до конца смены и по звонку вываливается из дверей, чуть не затапывая вахтеров.

— Отойдем в сторону, — попросил Мишка, — посидим минутку. Одну минутку!

Света нехотя кивнула. Отошли, сели на лавочку в глубине сквера.

— Ну, чего тебе?

— Света, как же так. Позавчера мы гуляли до полуночи. Ты была такая нежная и... ты говорила мне... разве не помнишь? Я потом не спал до утра. Я думал... неужели так все плохо теперь?

— Неужели ты не понимаешь — я хочу домой.

— И мы больше не встретимся?

— Встретимся, встретимся.

— И мне можно поцеловать тебя?

— Господи, ну и подарок. Да целуй, сколько влезет. Ну, целуй!

Светка смежила веки и подставила ему щеку. Михаил застыл, пораженный. Ее лицо с опущенными ресницами таинственно переменялось: куда-то исчезли резкость линий, задор, пламя, словно жизнь на мгновение покинула это лицо, — строгая, спокойная дорожка бровей и вторая — потоньше — ресниц отсекли, скрыли то, что, собственно, было Светланой; так занавес в театре отсекает от зрителя чудо спектакля. Это минутное исчезновение живой души и ощущение, что она здесь, близко, схоронилась за шторками ресниц (мучительно непонятно, как столько энергии, страсти и блеска могло схорониться за узенькой полоской), — это приоткрывшееся ему волшебство стеснило его дыхание. Прижимаясь губами к ее нежно горячей щеке, Мишка замычал, застонал теленком: «мм-ы-ы!»

— Какой буйный темперамент, — оценила Света Дорошевич, отталкивая его. — Откуда что берется... Ну, надеюсь, теперь я могу бежать к мамочке?

На самом деле ей было лень вставать. Раздражение ее улеглось, да и было ли оно. Они удачно расположились за кустами сирени. Улица, затопленная толпой, совсем рядом, как на ладони, а их самих увидеть можно было только из верхних окон дома. Кто станет глядеть в окна в этот час, когда хозяйки хлопочут у кухонных плит и вернувшиеся с работы устало плещутся у умывальников.

— Миша, а ты чего, правда в меня влюбился?

— Да, — признался Кремнев, — это правда.

Какой-то бесенок все-таки подталкивал Светку под локоть.

— Печальное дельце, — сказала она. — У меня есть уже один жених. А просто так не по закону с тобой встречаться я не могу. Это аморально.

— Какой жених?

— Хороший человек, веселый и толстый. Его зовут Эрнст Львович. Я тебя с ним скоро познакомлю.

— Ты с ним вчера каталась на такси?

— Мы ездили купаться на озеро. А ты откуда знаешь? Какой ты, однако, проныра.

— Весь город об этом судачит. Он же женатый, полон дом детей.

— Да, он женат, и у него пятеро детей. Верно. Зато он не читает девушке нотаций. Хочу поговорить с тобой, как с другом, Мишенька... Да, он старше меня, у него дети, которых он бросит ради меня. Все меня осудят... И не люблю я его ни капельки. Что ты мне посоветуешь, Миша. Идти за него замуж или нет? Вопрос не простой, подумай.

— Иди. Чего тут спрашивать.

— Вот девушка так и рассуждает. Выйди она замуж, — а ей пора, ох пора! — выйди за какого-нибудь папенького сыночка вроде тебя — и что? Стирай ему грязные носки, готовь котлеты и в награду выслушивай, какой он умный и гениальный. Потом родится ребеночек... Начнутся пеленки, детский садик, болезни. А если девушка еще хочет потанцевать, посмеяться и погулять? Если у ней томление в крови и радужные планы? Теперь второй вариант — Эрнст Львович. Девушка ликует и плачет от счастья. Никаких забот, ужины только в ресторане, тряпок любимых — вагон, деньжищ — три сберкнижки, при желании — дача на Черном море... Допустим, мне надоедает конфетная действительность. В одно прекрасное утро я просыпаюсь и с приятной улыбкой говорю, — смотри, Миша, — говорю: «Любимый Эрнст. Так как ты не скульптор, а портной, то жизнь с тобой стала для меня духовно невыносимый. Поцелуй девочку крепко последний разочек и помоги ей собрать чемоданы. Адью! Я возвращаюсь к маме, богатая и очень молодая...» Ну как?

— Ты все это несерьезно!

— Осуждаешь?

Миша не мог ее осуждать сейчас, он мог ее не по-

нимать, злиться на нее, безумствовать, но не осуждать. Осуждение предполагает самоуважение, а он себя презирал. Он сказал:

— Не верю. Это называется — бесстыдная торговля своим телом. Ты на это не способна.

— Миша, опять!

— Ты сама спросила у меня совета. Я тебе его дал.

— Какой?

— Не бросай меня, и мы будем счастливы вдвоем. Я сам постираю носки и пеленки.

— Правда?

— Честное слово!

— Ну, тогда ладно. Тогда подумаю.

Светка хотела еще что-то сказать возлюбленному, как-то его подбодрить, но увидела необычайную картину и ахнула.

— Что? — Мишка проследил за направлением ее взгляда. По опустевшему тротуару шли двое: впереди понурый, с нелепо дергающейся головой молодой мужчина, а позади милицейский сержант.

— Ну и что, — удивился Мишка, — чего ты испугалась? Поймали какого-то алкаша. Сейчас будут его протрезвлять. Очень гуманно.

— Какого алкаша, дурак. Это Вика Карнаухов, брат Егора. Старший.

Света кошкой сиганула на тротуар, милиционер загородил от нее арестованного.

— Вика, Вика! За что тебя забрали?

Мужчина поднял голову, усилием воли укрепил покачивающуюся шею. Он узнал Свету Дорошевич, лицо его выразило разочарование и смущение.

— А, Света, здравствуй. По ошибке забрали, не волнуйся. С кем-то спутали. Не говори никому, ладно!

— Отойдите, девушка, — приказал сержант, нервно дернув рукой. — Отойдите, а то и вас по ошибке заберу.

— Отпустите его, товарищ милиционер. Я его знаю — он настройщик музыкальных инструментов.

— Настройщик? Поглядим, какие инструменты он настраивает. И почему берет.

— Как вы смеете!

— А вы мне девушка не грубите, не надо. Как бы ответить не пришлось. Здесь вам не танцплощадка.

Викентий, безучастно прислушивающийся к разговору, повернулся и быстрыми шагами пошел прочь.

— Эй-эй! — крикнул сержант и поспешил за ним. Михаил удержал готовую идти с ними Свету Дорошевич.

— Люди смотрят, Света. Не шуми.

— Люди! — розовое лицо ее пылало искренним возмущением. — Человека на расстрел повели — тебе ни почем! Вот ты какой оказывается, со всеми своими правильными словами. Трус! Репутацию боишься замарать, чистенький мальчик. А я не боюсь, пусти! Пусти.

Михаил крепко держал разъяренную, извивающуюся у него в руках девушку. Она пинала его локтями и коленками, попыталась укусить за палец.

— Пусти, слышишь! Пусти меня, трус. Ненавижу. Викентий бесплатно починил мне пианино. Пусти! Ах, ты мне синяки делать?

Мишка все вытерпел, отпустил ее, когда милиционер и Викентий скрылись за поворотом.

Две женщины и пацаненок в трусах остановились неподалеку и глазели.

— Что ж ты ее мучаешь, ирод? — сказала одна из женщин. — Она, чай, не кукла тебе.

Отпущенная Света Дорошевич пронзила его ненавидящим взглядом, замахнулась, но остановила свою бешеную руку на полпути.

Руку эту, приготовленную для удара, она положила себе на плечо, а другую руку положила на другое плечо и спокойно сообщила, что он сломал ей, видимо, много позвонков и все ребра.

— Ты очень сильный, Миша, — сказала она. — И за это я тебя уважаю.

Повернувшись и, гордо вскинув подбородок, пошла к своему дому. Он глядел ей вслед, покачиваясь из стороны в сторону. Обе прохожие женщины, робея, обошли его кругом, точно придорожный столб, на котором они ожидали увидеть объявления. Света Дорошевич не оглянулась.

Только что Карнаухов вернулся с работы, не успел еще приласкать разбушевавшегося от счастья встречис хозяином пса Балкана, как позвонил капитан Голобо-

родько. Они были знакомы, как обычно знакомы два старожила в маленьком городе: здоровались издалика и много понаслышке знали друг о друге. Не более того.

— Николай Егорович, — в трубке голос капитана звучал проникновенно, как голос диктора в передаче «Закон есть закон», — ты не волнуешься, понимаешь ли, есть неприятное известие («Одно к одному», — успел подумать Карнаухова). Тут твоего сынка старшего мы задержали, понимаешь ли. Аккурат, как говорится, до выяснения.

— Пьяный, что ли, напился?

— Зачем пьяный, если бы пьяный. А то ведь трезвый, понимаешь ли, как стекло. Но, однако, задержали.

— Товарищ капитан, не томи! В чем там дело?

Карнаухова почти не взволновался: слишком не вышло это с его старшим сыном Викентием. Егор — другое дело. Тот был вспыльчив, как уголек, мог при случае влипнуть в какую-нибудь историю, пошебуршить. Очень мог, а Викентий не мог — пороку не хватает. Он и пьяный не напивался, это уж так, к слову пришлось.

— Не телефонный вовсе разговор, Николай Егорович. Вы бы заглянули к нам. Не ко мне лично, а в следственный отдел. Но я там буду, как же... Мне самому, понимаешь ли, любопытно, в чем дело.

Карнаухова вскипел.

— Так вы из любопытства теперь людей хватаете? Или как?

— погоди, товарищ Карнаухова, не горячись. Ошибка если вышла — мы извинимся, как же иначе. Бывают у нас ошибки — извиняемся иногда. Поверишь ли, нет, и стружку с нас самих тоже сымают. Живая работа у нас, очень живая и щекотливая. Всяко бывает, скрывать от тебя не стану. С людьми работа. Иногда думаешь жулик, а он, этот жулик, честнейший человек, только что без крыльев — а так вполне ангел. Но чаще почему-то наоборот. Снаружи ангел, а внутри, понимаешь ли, грязь, как в конюшне у нерадивого хозяина.

Карнаухова, одурманенный доверительной речью капитана, спохватился:

— Ты, товарищ Голобородько, зачем мне тут сказки читаешь? Я что, моложе тебя, может? Или ты меня самого в чем-нибудь подозреваешь? На кого ты намекаешь со своими примерами? Сориентировался бы немного.

— Ты заходи, заходи, Николай Егорович. От тебя до нас всего пять минут солдатского шага, а мы с тобой в трубку талдычим, как глухари. У меня, понимаешь ли, от этого телефона за день ухо сверлить начинает.

— Куда идти, на какой этаж?

— Второй этаж, восьмая комната.

«Не надо, — сказал себе Николай Егорович, — прежде времени паниковать. Это ошибка, конечно, недоумение».

Катерина окликнула его с кухни.

— С кем ты говоришь, Коля? Картошка поспела, иди ужинать.

Он пошел к ней.

— Пройдусь я, мать. Прогуляюсь.

— А ужинать?

— Пока аппетита нет. Может, пивка куплю холоденького. Или кваску. Тебе чего лучше?

Жена снабдила его стеклянной трехлитровой банкой с полиэтиленовой голубенькой крышкой, в авоське. С этой банкой, удачно замаскировавшись, Николай Егорович отправился в отделение. По дороге ему попадались знакомые, и с некоторыми он останавливался перекинуться парой слов. Ему нравились эти вечерние успокаивающие встречи со старыми приятелями, не с друзьями и сослуживцами, а именно с уличными приятелями, у которых можно было узнать свежие городские новости: что-то произошло за день, привозили или собираются подвезти свежую московскую колбасу в магазин, какая предстоит на завтра погода. Бывали и более серьезные известия. У кого-то родился внук, кто-то поджидал сына из армии, а с кем-то стряслась беда: врач на медосмотре неожиданно обнаружил подозрительное затемнение в легких. Эти короткие разговоры рассеивали его нынешнее одиночество, создавали иллюзию близости к идущей рядом, в чужих семьях, жизни, как две капли воды похожей на его собственную. Он сочувствовал чужим заботам и огорчениям, значи-

тельно насупливая брови и кивая, охотно посмеивался забавным происшествиям, от всей души с азартом тряс руки счастливым, которым выпадал случайный незапланированный праздник. Обычно прогулки по своему кварталу он совершал после ужина, иногда вдвоем с Егором. Сегодня пришлось изменить расписание, поэтому некоторые из его постоянных вечерних собеседников глядели ему вслед с недоумением, не понимая, куда это может так почти бежать с банкой в руке всегда добродушно-уравновешенный Карнаухова; со своей стороны Николай Егорович подозревал, что все встречные-появляющиеся осведомлены о случившемся. Возможно, весь город уже судачит о том, что у Карнаухова арестовали старшего сына. Дурные новости в Федулинске всегда распространялись с молниеносной быстротой. Николай Егорович еще не совсем остыл после дневного разговора в кабинете директора, нервы его были напряжены до предела, он с трудом сдерживался, чтобы от ярости не расколотить стеклянную банку о подходящий угол. Повстречавшийся ему на пути Верховодов сразу заметил что-то неладное в облике приятеля и с солдатской прямоотой задал наводящий вопрос:

— Ты чего, Коля, шагаешь как-то с правой ноги? Зачем тебе с банкой идти в ту сторону, где нету магазинов? На рыбалку собрался?

— На рыбалку, — ответил Карнаухова нелюбезно. — Буду этой банкой вылавливать из вашей поганой реки пиявок.

— Почему моей? Река у нас общая, у всех федулинских сограждан. Другое дело, что не все это сознают. Но скоро мы поправим положение.

— Каким же образом?

— У меня нынче дома побывал корреспондент. Пресса подключилась наконец-то к охране матушки-природы. Они хотят опубликовать целую поэму о всех творящихся безобразиях.

— Пресса? — Карнаухова скептически ухмыльнулся. — Наша пресса хороша, когда надо красивый лозунг напечатать. А по мне, Петр Иннокентьевич, отловить бы одного из этих, которые гадят в лесу, и публично высечь на площади. А в газете дать красивый снимок выпоротого безобразника — другим в науку.

Они затронули тему, которая живо интересовала

обоих, и обсуждали они ее при каждой встрече. Предложенный метод борьбы с хулиганами был Верховодову по душе, но как общественный деятель признать это публично он не имел морального права.

— Варварство, — возразил он, перебарывая себя.— Варварство, и более ничего. Даже странно, как ты, Коля, при твоём уме и деликатности мог такое выдумать.

Карнаухов продолжал шагать по своему направлению, и Петр Иннокентьевич вынужден был, чтобы угнаться за ним, перейти на легкую рысь.

— Куда ты так торопишься, Коля?

— Вы, Петр Иннокентьевич, не ходите за мной. У меня секретное задание.

— Ишь ты. Секретное.

Верховодов начал задыхаться, но упрямо не отставал. Он собирался подробно рассказать приятелю о визите поэта, да и вообще за день, пока люди работали, он шибко соскучился по хорошей человеческой беседе. Карнаухов был как раз одним из тех его знакомых, поговорить с которыми он особенно любил.

— Слышь, Коля, — на бегу, взмокнув, Верховодов произносил слова нечетко, с шипением и пропусками некоторых слогов.

— Ты говоришь — порка. А я возражаю. Порка — факт двусмысленный, скорее юмористический, чем воспитательный. Конечно, иной раз есть желание выпороть кое-кого. Тут ты прав: бывает, руки чешутся, — он ухитрился на бегу потрясти с возмущением чешущимися руками. — Однако не думаю, что порка вызовет нужный общественный резонанс. Кого-то она может и оттолкнуть от святого дела. Требуется, Коля, акция глобальная, стратегического характера. Требуется, чтобы до каждого дошло, чтобы народ восчувствовал. Требуется вызвать общее возмущение, а уж оно, возмущение людей, само себе найдет путь, так сказать по-научному, сублимируется в окончательное и решительное действие...

Карнаухов, видя, что задыхающийся и обливающийся потом защитник природы не отстает, прибавил шагу.

— Коля, — взмолился Петр Иннокентьевич, — пожалей старика, не беги так торопко.

— Некогда, — буркнул Карнаухов. — Вы бы, Вер-

ходоводов, должны оружие у властей вытребовать. Нагаи, что ли. Сломал кто деревья, растоптал цветок — получай пулю в лоб. Вот тебе и стратегия. Сиди тишком в кустах и пуляй их, злодеев. Либо ты их, либо они тебя. Помнишь, поди, как раньше?

Последних слов Петр Иннокентьевич уже не услышал. В изнеможении, без сил рухнул старик на так горячо охраняемую им зеленую траву газона. Полежал немного, нашарил в кармане тюбик с валидолом и сунул в рот сразу две таблетки...

Перед приземистым, кирпичным зданием милиции Карнаухов погодил малость, отдышался от быстрой ходьбы, в помещение вошел степенно. Отыскал на втором этаже комнату с номером 8, постучал, не дожидаясь приглашения, толкнул обитую клеенкой дверь. В комнате было одно окно, распахнутое во двор, много стульев и один стол с лампой и телефоном. За столом, спиной к окну, лицом к двери восседал незнакомый Карнаухову лейтенант, перед ним в неудобной позе съежился на стуле сынок Викентий, сбоку у стены — массивный, тучный капитан Голобородько.

— Одного тебя ждем, Николай Егорович, — сразу обрадовался капитан. — Все, как сказать, остальные в наличии и сборе. Садись, не стесняйся.

Викентий оглянулся, и Карнаухов увидел отрешенное, пустое, серое, родное лицо старшего сына; здесь в казенной обстановке оно жалко взывало к помощи; сразу, по первому движению и взгляду Карнаухов поймал этот робкий и непонятный призыв. Викентий хотел о чем-то предостеречь отца, предупредить. «Виноват, — догадался Карнаухов, — он виноват, но в чем».

— Вы Карнаухов Николай Егорович? — тоном дознания спросил лейтенант.

— Он, он, — подтвердил Голобородько. — Я его знаю. Все обличье его.

— А это, следовательно, ваш сын, Карнаухов Викентий Николаевич?

Лейтенант определил для беседы интонацию сугубо официальную и, видно было, не собирался ее менять. Даже в угоду своему начальству. В этой комнате главным был он, лейтенант. Голобородько подмигнул Николаю Егоровичу: вот она какая у нас молодежь, независимая, своенравная. Капитан Голобородько радостно

улыбался, он был доволен и молодежью, и тем, что они встретились с Карнауховым, и тем, что на улице духотища, а в комнате прохладно и вкусно пахивает яблоками. От этой улыбки, за которой могло скрываться все, что угодно, Карнаухов оторопел больше, чем от неумело наигранной официальности следователя.

— Да что случилось, сообщите вы мне наконец или нет?! Викентий, что с тобой, чего ты натворил?!

— Не положено, — лейтенант предостерегающе наклонился к столу. — Задержанный Карнаухов, вы будете отвечать только на мои вопросы. Ясно? Больше ни на чьи!

— Разве это очная ставка?! — взвился неожиданно Викентий. — Очная ставка! Вы устроили очную ставку. Я буду жаловаться. Очная ставка оформляется по закону.

— Это не очная ставка, — холодно заметил Голобородько, движением бровей, как губкой, стирая улыбку с лица. — Это, к вашему сведению, дружеская встреча отца с сыном в следственном отделе... Хотя любопытно, откуда вы так хорошо знаете законы. Готовились на юридический? Или самообразование?

Викентий не ответил.

— Что происходит? — вступил Николай Егорович. — Объясните мне, что тут происходит? По какому праву задержан мой сын?

На лице капитана, пока он смотрел на Карнаухову-отца, опять зародилась молодая белозубая улыбка, только теперь с укоризненным оттенком. «Коля, Коля, — значила его улыбка, — о каких правах ты говоришь? Ты же сам видишь: есть права. Зачем же лгать комедию?»

Лейтенант выдвинул перед собой ящик стола, поелозил там рукой внутри, пронзительно взглянул на Николая Егоровича. «Сейчас, — догадался Карнаухов, — сейчас предъявит». Лейтенант затягивал миг какого-то своего торжества, наслаждался им, так что Голобородько не стерпел и рывкнул: «Ну!»

Лейтенант вздрогнул, заторопился, выкинул на зеленое сукно стола пять-шесть блестящих золотых безделушек: два кольца, серьги, два кулона на цепочках и роскошный, вспыхивающий мелкими разноцветными

камешками браслет. Викентий застыл, уставившись на золото.

— Подойдите ближе, Карнаухов, вам знакомы эти вещи?

Грудь Николая Егоровича перехватил железный обруч. Он понял, но сознание его, ум, воля единым мощным усилием сопротивлялись тому, что он понял и что сейчас, сию минуту, должно было подтвердиться.

— Нет, — сказал тяжелым голосом. — Нет, эти штуки я вижу впервые.

Глаза Викентия, горевшие надеждой и предупреждением, потухли, как лампочки после короткого замыкания, лейтенант с облегчением вздохнул и бросил победный взгляд на своего начальника. Голобородько сдвинул брови, потер рукой выпуклую под гимнастеркой грудь.

— Ваш сын, — мягко обратился он к Карнаухову, — торговал на базаре этими, понимаешь ли, хреновинами. Как сказать, собирался сбыть их колхозникам, прибывшим к нам из дружественной республики Армении. Арменам, понимаешь ли, хотел толкнуть золотишко. Ты, Николай Егорович, погляди пристально. Он же, сын твой, при задержании объявил, что драгоценности семейные, ваши. Вроде как бы ты сам его послал на базар, может, от нагрянувшей нужды внезапной. Либо там дачу купить. Это бывает. Закон это терпит и позволяет, ежели, как сказать, свое золото, не ворованное... Не совсем, конечно, позволяет, а лучше бы в скупку сдать... Но все же таки... одним словом, не так строго.

Палочка, которую протягивал Карнаухову капитан, была тоньше соломинки, он за нее не ухватился. Железный обруч по-прежнему сдавливал грудную клетку. Николай Егорович старался не шевелиться, чтобы железо не прошло глубже и не помешало ему что-то еще предпринять, не пронзило насквозь.

— Вы напрасно думаете... — Карнаухов произносил слова спокойно, но отделял их друг от друга короткими вздохами, — напрасно. Видно же, что тут недоразумение, мало ли... Кеша, скажи, где ты взял эту дребедень?

Лейтенант плотоядно ухмыльнулся:

— Дребедень, кстати, стоит тысячи четыре-пять, не меньше того.

Викентий повернулся на вопрос отца, но не ответил, заморгал, распустил губы, — казалось, он сейчас разревется.

— Слышь, э-э, Викентий, — вмешался в немую сцену Голобородько, — все равно же говорить придется, когда-нибудь. Лучше бы, конечно, сейчас. Пока мы тут в почти семейном кругу... Лейтенанта ты не бойся, он парень добродушный, зла никому не желает. Ему, открою тебе, письма заключенные пишут. Ей-богу! Советуются с ним о дальнейшем пути. По молодости он, понимаешь ли, может разгорячиться, особенно, когда враз столько золота у него в столе оказалось. А так что же, ты ему правду откроешь, может, и он тебе каким добром воздаст.

Опять капитан протягивал тоненькую палочку, и опять никто за нее не ухватился. Добродушный лейтенант высился над столом мрачнее тучи. Азарт сжигал его гончее сердце. Раскрыть, немедленно раскрыть преступление, каких еще не бывало в Федулинске. Размотать сразу за один присест всю цепочку. Есть она — цепочка, есть. Этот парень не один, и, наверное, не самый главный. Вокруг золота в одиночку не бродят.

Блистательные перспективы мерещились лейтенанту. Черт знает, куда тянется цепочка — в Москву, в Киев, за границу. Он должен сам все распутать, пока не подключились другие более опытные охотники, пока он один взял свежий след. Его бесило поведение капитана, этот отечески мирный тон, само его необязательное здесь присутствие.

— Могу я забрать сына домой? — осторожно спросил Карнаухов.

— Нет! — даже испугался лейтенант. — Ни в коем случае. Начато следствие... — Он гневно потряс в воздухе протоколом.

Обруч сжимался все теснее, Голобородько пыхтел и сочувственно кивал головой, словно различал этот обруч под рубашкой Карнаухова.

Взорвался криком Викентий.

— Не имеете права! На каком основании вы меня забрали? Предъявите обвинение. Это произвол, произвол. Вам все можно, потому что у вас власть, да? А я вот встану и уйду. Не имеете права. Попробуйте меня задержать силой, за это ответите. Закон для всех один!

Где обвинение? Это золото мое! Понятно? Мое. Кому я его продал! Где свидетели? Все, ухожу!

Он сделал робкое движение, показал — вроде бы поднимается со стула, и покосился, что будут делать милиционеры. Они ничего не сделали. Лейтенант презрительно щурился, Голобородько громче засопел. Отец отстранился, как бы освобождая дорогу. Вспышка иссякла, и Викентий снова точно задремал на стуле. Николай Егорович как за чужим человеком, как в кино, наблюдал чередования в настроении сына, переходы от покорной пассивности к бурным толчкам энергии, бессмысленным и нереальным, как все здесь происходящее.

— Хорошо, — сказал Карнаухов, — тогда разрешите мне поговорить с сыном наедине?

— Это можно, — сразу согласился Голобородько. — А, Петраков? (лейтенанту.) Поговори, Николай Егорович, потолкуй с сыном. Может, он с тобой чем-нибудь поделится сокровенным. Как сказать, сообразит свою выгоду. Которые ребята с золотишком балуются — всегда к концу свою выгоду соображают. Что запирается, какой смысл? Пускай тот запирается, который пока на воле гуляет. Ему, может, и хочется правду открыть, может, и совесть его мает, да не с кем откровенничать. Слышь, Карнаухов? Такие странности бывают, что колесит, значит, преступник на воле, гуляет, а сам только и стережет момент к нам прибечь, облегчить свою будущую участь. Ежели такой орел проведает, что его товарищ уже достиг предела милиции, тут он будто в горячку впадает. Тут, понимаешь ли, он к нам может в одном исподнем прибыть в спешке, чтобы, значит, первому высказаться. Суд ведь наш советский — справедливый, он это горячее стремление к раскаянью всегда возьмет на заметку и учтет... Ну пойдем, Петраков, пусть отец с сыном одни потолкуют. Оставим их на минутку, хотя я понимаю, какое это есть нарушение процессуального порядка. Понимаю, Петраков, да ничего с собой поделывать не могу. Жалостливый я чрезмерно.

Лейтенант, всем своим видом демонстрируя, что он подчиняется только приказу, неохотно вылез из-за стола и оказался ростом по плечо Карнаухову. Небольшой такой крепыш с метровым разворотом плеч; по внешнему облику — молотобоец, по образованию — следователь.

Оставшись наедине с сыном, Карнаухов опустился на стул, где только что покоил свои тела капитан Голобородько.

— Грудь что-то перехватило, как огнем, — пожаловался он сыну. — Ну что, малыш, влипли мы с тобой в историю? Крепко влипли, да?

Давненько не обращался он доверительно к своему старшему, да и сейчас «малыш» выскочило помимо воли. Он не испытывал к сыну ни жалости, ни сочувствия, вообще не испытывал каких-либо определенных чувств, он очень устал к вечеру и рад был отдохнуть, привалившись к стенке. Викентий сидел к нему боком, сонно клонил голову.

— Да уж вижу — нешуточное дело, — словно по обязанности продолжал тянуть Карнаухов. — Отвечать придется. Нам с матерью позор — это ничего, это тебя не касается. Скажи хоть, как тебе самому помочь, что можно сделать?

— Помог уже, — Викентий сглотнул слюну, — достаточно помог. Спасибо!

Карнаухов понял, что хотел сказать сын.

— Не можешь же ты ждать от меня, что я на старости лет превращусь в мошенника. Мне, Кеша, меняться поздно. Я уж доживу, как жил, — честно. Обманывать закон не стану. Он наш — закон, советский. В тюрьму за тебя при возможности сел бы, обманывать — нет, не буду... Ты бы еще пай в деле мне предложил.

Викентий изволил повернуться к отцу лицом, и оттуда, с этого бледного лица, где каждая черточка, каждое пятнышко были дороги Карнаухову, пролилась на него отвратительная ненависть, какую уже видел он недавно, у себя дома, когда они случайно столкнулись у ванной. Обруч, на минуту разомкнувшийся, с новой силой впился в его грудь.

— Пай предложить? — вяло и похоже в каком-то забытьи произнес Викентий. — Законы советские. А мне, отец, наплевать на твои законы. Я хочу жить, как хочу. Богато, дерзко хочу жить. Запомни, отец — меня серая жизнь убила, которую ты мне предложил. Ты — виноват! Нет, я не преступник, и золото это не мое. Года два, больше мне не дадут. Пускай, отсижу! Но я уже не вернусь домой. Мне бы раньше догадаться. Тридцать лет — как одна минутка. Утро, похожее на вечер,

вечер — на день. Пропавшие вы все, отец, все люди. Вы не живете. И я заодно с вами в одной упряжке тоже не жил.

— Как же надо жить, сынок?

— Свободно, смело, дерзко!

— Воровать, что ли? Грабить?

— А хотя бы и грабить... У меня смелости не хватило, твоя рабская кровь во мне течет, она подвела. За это я себя презираю, а тебя — ненавижу.

«Проглядел, — подумал Карнаухов. — проглядел сына. Когда же это?»

— Рабская кровь, говоришь? Нет, Кеша, в нас течет вольная, святая кровь... Ты ведь один хочешь красиво жить, а такие люди, как я, для общей вольной жизни старались, о себе не очень горевали. Ты вот золотишко спер, собирался, видно, какой-то свой личный мелкий праздник справить, а серые, как ты считаешь, люди, планету, как шарик, крутнули и поставили с ног на голову. Ты сын мой, но я и тебе скажу. Попадись ты мне такой, с такими соплями в другом месте, где общая судьба решалась, я бы не задумался, как с тобой распорядиться. Ненависть твоя мне не страшна, потому что ты мезгляк и пустышка... Еще послушай. Оттого, что ты вырос таким и открылся мне таким, мой сын, оттого, что мне привелось такие слова тебе говорить, я, возможно, вскоре помру от горя, но того стремления и смысла, какой есть во мне, и есть, горит огнем, в других близких и дорогих мне людях, — это не поколеблет. — Карнаухов подумал в тишине и добавил: — Я не отказываюсь от тебя, Кеша, не жди. Думаю, мы еще впоследствии пойдем друг друга.

Викентий в ошеломлении, с внезапным пенистым страхом глядел в незнакомые грозные глаза отца, дрожь его передернула.

— Пускай, — прохрипел он, — может быть, ты прав. С мамой как-нибудь помягче, папа, единственно прошу.

— Да уж...

В дверь заглянул нетерпеливый лейтенант.

— Беседуете?

— Побеседовали. Спасибо!

Карнаухов резко пошел к выходу. Лейтенант пропустил его и тут же захлопнул за ним дверь, остался в

комнате с его сыном, с его слабым хрупким мальчиком. В коридоре подждал Карнаухова начальник милиции Голобородько.

— Ну как?

На лице капитана дружеская озабоченность.

— Он мелкая сошка. Кто-то посolidнее за ним есть.

Подставили Викентия.

— Понятное дело. Как же ты, товарищ Карнаухов, так ушами хлопал, а? Отец! Где ж ты был, пока сынок преступные планы лелеял?

Карнаухов насупился.

— А как же ты, начальник Голобородько, до седых волос в капитанах ходишь? Почему тебе майора не дадут? Не знаешь? А я вот знаю. Много лишних слов говоришь, капитан. Необязательных вовсе слов. Хитрости в тебе невпроворот. Побереги свою хитрость для мальчишек. — Николай Егорович показал рукой туда, где остался его сын. Голобородько спустился с ним на первый этаж, проводил до дверей, с порожка окликнул:

— Слышь, Карнаухов! Образование у меня маленькое — четыре класса. Образование по нашим временам никакое. Поэтому майора не дают, понял? На пенсию буду уходить — дадут. Я надеюсь!

Карнаухов забыл авоську с банкой в комнате следователя, спохватился перед самым своим домом. Воспоминание о забытой банке оказалось последним черным штрихом в его настроении. Ощущение полной и абсолютной безысходности навалилось на него, подобно рвоте. Войдя в свой подъезд, он приблизился к стене и пободал ее, сминая и пачкая короткий ежик волос. На кухне Егорка с матерью гоняли чай.

— Квасу твоего заждались, — крикнула Катерина. — Чай стали пить, не дождавшись.

Егор вышел встретить отца.

— Ты чего, папа?

Николай Егорович, с трудом нагнувшись, расшнуровывал ботинки:

— Ничего, — сказал он, — сердце побаливает. Пойду прилягу, пожалуй.

Не взглянув на сына, отпихнув ногой суетящегося Балкана, он тяжело протопал коридором в спальню, не зажигая свет и не раздеваясь, повалился на кровать.

Через некоторое время вошла Катя.

— Не включая свет, — услышала она голос мужа, резкий и властный, такой, которого побаивалась в молодости, но давно забыла. — Ступай, я скоро приду чай пить. Отдохну немного, не мешай.

Катя послушно притворила дверь.

Он лежал в темноте с открытыми глазами. Стыд, приглушаемый режью в груди, терзал его. Стыд за свое поведение в милиции, за разговор с Викентием, который только по его недосмотру попал в беду. Сейчас он не представлял, как соберется с силами и выйдет из спальни, как завтра окажется в институте, что будет говорить жене и Егору. Во всем организме происходило что-то неладное: он будто вырвался из-под контроля и начал функционировать самостоятельно. При вздохе в носу пощелкивал какой-то посторонний клапан, которого прежде там никогда не было. Карнаухов попытался избавиться от этого нового металлического звука в ноздре, но не сумел определить, каким образом и откуда он возникает. Левая рука, положенная им на грудь, вдруг раза два произвольно подскочила и пальцы на ней конвульсивно сжались. В ушах стоял ровный тугой гул, словно там заработала на полную мощность трансформаторная подстанция. Карнаухов с детским беспомощным любопытством со стороны подсматривал за этими явлениями, они несколько отвлекли его от мыслей о сыне.

Зашуршала дверь, и со света в комнату втиснулся Егор.

— Папа, тебе не очень плохо, ты в состоянии выслушать меня?

— Да, сынок.

— Может быть, ты огорчишься — я собираюсь скоро уехать.

— Куда уехать?

— На стройку. В комитете комсомола нам обещали путевки. Может быть, на Байкал махнем.

Карнаухов не поинтересовался, кому это «нам».

— А как же институт? Экзамены скоро.

— Папа, я знал, что ты это спросишь. Вообще, если ты захочешь, я останусь. Правда! Если я тебе нужен... Но самому мне надо уехать. Не хочу объяснять почему — поверь так. Надо!

— Все-таки я бы предпочел объяснения.

— Хорошо. Попытаюсь, папа. В жизни нормального человека наступает момент, когда он должен остановиться и осознать себя, а не лететь сломя голову, куда его толкают, пусть даже люди, желающие ему добра. Инерция — закон физики. Для человека он не годится. Я хочу остановиться и подумать. Я понимаю, что это звучит тривиально, но других объяснений у меня нет.

В бесконечной тошнотворной усталости, которая накатывала на него со всех сторон, как океан накатывает на деревянную лодку, Карнаухов различил узенький просвет. Радуюсь, что еще остался этот просвет, он возразил.

— Для того чтобы остановиться, необязательно уезжать. Езда — как раз новое движение.

— Да, верно. Но обязательно надо остаться одному. Дома это невозможно. Я не верю, что истина рождается в спорах. В словах и суете она ломает себе крылья и покрывается грязью сомнений. Истину ищут в полном одиночестве, папа. Я хочу осознать этот мир без под- сказки.

— Подсказчики найдутся где угодно.

— Ты же понимаешь, что я имею в виду. Я имею в виду близких людей, которым не могу не верить.

Карнаухов перестал улавливать смысл разговора.

— Хорошо, Егор. Я подумаю о том, что ты сказал. Дай мне, пожалуйста, время. Немного времени. Видимо, и мне полезно, как ты говоришь, остановиться.

Егор неслышно покинул комнату. «Время, — подумал Николай Егорович. — Его запас иссякает. Как легкомысленно я его растратил. На что? Нет, было на что, конечно, было. И однако, какая короткая оказалась жизнь. Подходит срок прощаться, а я не имею права уйти. Бессовестно было бы сейчас уйти.

Надо продержаться. Сын сказал, что наступает момент, когда необходимо остановиться. Останавливался ли я когда-нибудь? Нет, не помню. Где там? Другие останавливали — это да. Бывало. А по собственной воле — где там. Вот она и мелькнула, жизнь, как вспышка. Напрасно, выходит, не останавливался... Но еще ведь не поздно, не может так быть, чтобы поздно. Я все поправлю, только отдохну немного. Только полежу часик-другой, а потом встану...»

— Почему меня не перевязывают? — спросил Афиноген у хохотушки Люды, палатной медсестры.

— Как же, перевяжут они, — ответил за Люду Кисунов, сосед. — Они на нашем брате бинты экономят, а также лекарства. Я сколько просил — достаньте мне коргармон, заплачу даже из своих. Нет, пичкают разной дрянью.

Люда возмутилась:

— Не стыдно вам, Вагран Осипович. Какие есть лекарства, такие врач и прописывает.

— Мне не какие есть нужно, а какие организм требует. Вы меня на ноги обязаны поставить. Какие есть. Меня это не касается.

Вагран Осипович Кисунов восстанавливал силы после тяжелейшего приступа полиартрита, который прихватил его как раз в первый день отпуска, когда он уже забронировал себе билет на поезд Москва — Сочи. Вагран Осипович был от природы настороженным и подозрительным субъектом, естественно, что болезнь, так неудачно выбравшая момент для атаки, не прибавила ему гормонов оптимизма. Медсестры отделения дали ему кличку «ревизор», каковую подхватили и больные. Кличка эта так к нему приклеилась, что странно было, как он обходился без нее раньше. Внешность Кисунова — худой, с узкими плечами и вытянутым желчным лицом мужчина, — как нельзя более соответствовала его характеру. Вагран Осипович видел все вокруг исключительно в негативном освещении, повсюду предполагал злоупотребления, недобросовестность и корыстные побуждения. Встав на ноги и получив возможность самостоятельно передвигаться, он первым делом отправился в лабораторию, где потребовал показать ему, как производятся анализы крови и мочи. Из лаборатории его попросили, после чего он состряпал жалобу на лаборантку, обвинив ее в хамстве и медицинском невежестве. В тот же день он поскандалил с зав. столовой, подловив ее на недобросовестном кипячении посуды. За три недели пребывания в отделении Вагран Осипович написал общим счетом семь жалоб и сделал двенадцать устных официальных заявлений. Последняя касалась Афиногена. Забежавшему в полдень навестить своего

больного Горемыкину Вагран Осипович язвительно заметил:

— Иван Петрович, а ведь я вынужден буду обратиться к вашему начальству.

— По какому поводу, если не секрет?

— По поводу того, что вы размещаете послеоперационных больных, в частности товарища Данилова, в терапевтическом отделении.

— Вы правы, это нарушение. Понимаете, хирургия переполнена плановыми больными. Дьявол побери, не от хорошей жизни мы его к вам пихнули. Да он, к счастью, не тяжелый. Верно, Гена?

— Меня это не касается. — Вагран Осипович малость смягчился, ублаженный быстрым согласием врача.— Однако, как сердечнику, мне не показаны нервные раздражители. А могу я быть безмятежен если рядом страдает человек с окровавленным животом..

— Хорошо, я что-нибудь придумаю. Завтра...

— Уж будьте любезны!

Второй сосед Афиногена был полной противоположностью «ревизору». Попавший в больницу с воспалением легких электрик-высотник Гриша Воскобойник от всей души наслаждался комфортом и безмятежностью больничного существования. Вслух он, конечно, скрипел, будто его гнетет «тоска зеленая» и поскорей бы «на волю к корешам», зато на врачебных обходах вел себя тише воды ниже травы, придавал своему веселому темно-медному от загара лицу кислое выражение и, покхекивая, шельмовато шныряя глазами, жаловался на непонятные хрипы в легких, общую слабость и «хреновины какие-то» в сердце. «Да, доктор, вот тут жмет, как колесом проехали. Я давеча ночью хотел подняться по нужде, так все прям заширкало перед глазами... Обратно назад рухнул в простыню. Так уж и терпел до утра. Может, еще какое лекарство припишете, покрепче?»

Полуспящему, полубодряющему Афиногену он через час уже рассказывал про свои житейские обстоятельства.

— ...она у меня ученая, Ленка-то. Девка красивая, фигуристая, сам после увидишь. Помоложе меня опять же будет на десять лет. Я все мечтал второго ребенка родить, а она не желает. Ну, с полочки там или когда —

загудишь, конечно. Наше дело, сам знаешь: кореша, то, се — бутылянец, другой всегда есть повод уговорить. Но так, чтобы на бровях домой прибыть, так нет, не бывает. Я лучше с собой пузырек возьму и дома с Ленкой добавлю. А она ведь, ведьма, честь честью выпьет со мной, закусочки соберет. Охотно, тебе скажу, выпьет, без уговоров. Ну, дальше обычное дело — давай спать ложиться. Так нет, Гена, веришь ли, ни в какую. «Я с тобой, — она, значит, мне, — с пьяной свиньей не лягу в одну кровать. Убирайся на кухню!» Я ей толкую, ты сама-то трезвая, что ли? Сейчас только вместе дули ее, зеленую. Почему такое неравноправие? Мне же обидно. Ну, слово за слово, иной раз, конечно, замахнешься для острастки. Нет, ты не думай, у меня бить ее рука не подымется. А так, конечно, тыкнешь для страха и от плохого самочувствия. «Сколь же можно, тварь, терпеть твоё надругательство над простым рабочим человеком!» Она — шашь, и нет ее в доме. Где она? Всю ночь может не вернуться. Она нездешняя, родители у нее в Иванове живут, к ним ехать из Федулинска шесть часов с пересадками. Где она ночует? У моих — нет. Схожу к ним: «Маманя, не знаешь, где Лена?» — «Ах ты, ирод, опять налил бельма! Уйдет она от тебя, бросит. Пожалеешь, ирод!» Ну, раз нету у них, негде ей больше быть. Мои старики в однокомнатной квартире обитают, третьего человека в шкаф не сунешь. Да я и в шкаф, конечно, загляну. Нету. А где она? Во-оо вопрос! Может, у подруг ночует... А может, и есть кто у ней, зря клеветать не буду. Иногда думаю — есть.

Да вот тебе, Гена, недавний ее прикол. Вечером в пятницу заявляется домой не одна, а с мужиком. Японский бог! Кому скажу, не верят. Приводит хорька, культурный такой, с портфелем, ну, я вижу, из ее компании. Знакомит нас. «Это мой муж, а это мой хороший знакомый Кирилл, мы вместе работаем на радио». Ладно, в чем дело? «Кирилл помоеся у нас в душе, у них воды горячей нет вторую неделю». Хорек этот невымытый, значит, прямиком, как у себя дома, в ванную. Я сдерживаюсь. Говорю ей: «Может, ты ему спинку потрешь?» Ленка мне: «Ты, Гриша, должен быть выше своих животных инстинктов. Если бы он был мой любовник, разве бы я привела его домой. Подумай».

А тот в ванной плещется, насвистывает что-то. Опосля вылезает. Лыбится, морда в каплях, волосики свои причесывает передо мной. «Ох, говорит, спасибо! В баню неохота идти. Какая у вас, Григорий, замечательная жена. И вы, видно, хороший человек!»

Ленка на кухню побежала чайник ставить. Тем моментом я, конечно, ласково сообщаю этому культурному гаду. «Помылся?» — спрашиваю. «Очень хорошо помылся, спасибо еще раз!» — «Ну вот, а теперь канай отсюда галопом, чистоплюй. Не то я тебя сейчас вторично умою, так что уж в казенном месте тебя, помытого, будут по кускам стыковать». Заглянули мы друг дружке в глаза, после чего он слов возражения не обрел, схватил чемоданчик... и ходу. Хлоп — дверь. С Ленкой даже не успел попрощаться.

Она мне, конечно, сказала так. «Был ты, Григорий, диким человеком, таким и помрешь. А я с тобой жить не буду, раз ты меня перед людьми позоришь».

Убегла опять на всю ночь. Меня что, Гена, беспокоит. Ладно, допустим, я, со мной можно как хочешь срамониться, я прощу. Так ведь она Виталика бросает.

Ничего ей не важно. Во, баба!

Вагран Осипович тоже выслушал эту историю, хотя делал вид, что читает газету. Он дал Григорию Воскобойнику дельный совет.

— Надо тебе, Григорий, дурака не валять, а написать ей письмо по месту работы. Где она у тебя служит? Кажется, на радио? Уверяю тебя, общественность всегда будет на стороне рабочего человека. Не для того государство тратит деньги на образование, чтобы они использовали знания во вред пролетариату... Буду откровенен, нагляделся я на этих молодых специалистов с дипломами. Я работаю в кадрах стройуправления, много их, голубчиков, у меня побывало. Каких только слов не наслушался от них. Я им и бюрократ, и зажимщик передового опыта, и рутинер. Они много слов знают, только не знают, когда можно эти слова употреблять, а когда лучше бы воздержаться... Ты сначала трудом докажи, кто ты такой, уж потом выставляй претензии...

День тянулся медленно, томительно, дробился в час по песчинке. Солнце постепенно нагрело палату, в на-

стежь распахнутое окно вливался плотный, горячий, остро пахнувший зной улицы. Афиноген попробовал читать, газетные строчки не вызывали обычного любопытства, черные буквы заголовков никли от зноя. Виски распирала гудящая резина. Огнем горел и поджаривался правый бок. Афиноген терпел, пытался думать о работе, о предложении Кремнева. Он помнил, что обещал еще вчера дать ответ. «Надо бы сходить позвонить, — думал он. — Может, никто не знает, что я здесь». Порой ему казалось, что он проваливается, протекает сквозь матрас. Что-то говорил ему Григорий, потом они спорили о чем-то с Кисуновым, забежала незнакомая медсестра и обратилась к нему с каким-то вопросом, он ответил, но что — не помнил. На обед Люда принесла тарелку манной каши. Он с трудом проглатывал серо-белую мучнистую жижу, не ощущая ее вкуса.

— Перевязывать вас сегодня не буду, — сообщила ему Люда, улыбаясь нежными губками, вздымая нарисованные бровки.

— Жаль. Надо бы посмотреть.

— Не волнуйтесь, больной. Врач лучше понимает.

— Меня зовут Афиноген, можно попросту — товарищ Данилов.

— Я знаю, как вас зовут, больной. Я посмотрела вашу карту, теперь много чего про вас знаю.

— Там написано, что я временно холостой?

— Мне это неинтересно.

Кисунов прислушивался с неудовольствием, наконец вмешался, не утерпел.

— А вы имеете ли право читать медицинскую карту больных?

— Имею, Вагран Осипович. Мы туда сами переписываем результаты обследования.

— И мою читали?

— Вашу не читала.

Наступил час послеобеденного отдыха. Григорий предложил воспользоваться затишьем и перекинуться по маленькой в картишки. Кисунов, как ни удивительно, его поддержал:

— До пяти к нам все равно ни один леший не заглянет.

В его безжалостных прокурорских очках мелькнула

неожиданная греховная лукавинка, стало понятно, что не до конца он потерянный для общества гражданин. Бывает, держится человек как скала, все в нем уставлено прочно, все подогнано самым лучшим образом: и одежда и принципы, но веет от него холодом, боязно рядом стоять; и вдруг проявит тот же человек слабину, откроется незащищенной щекой, и станет оттого мил и симпатичен. Так вот и Кисунова Вагран Осиповича в мгновение ока преобразила эта мелькнувшая лукавинка.

— Во что же играть, — Афиноген улыбнулся, — когда я не шевелюсь почти? Да и денежки у меня в штанах, а где штаны — бог весть.

— Хватило бы силенок карту удержать, — оживился Григорий. — Шайбочек я тебе одолжу. Может, в очешко пока и метнем?

— Самая уголовная игра.

Кисунов смутился:

— Не скажите, молодой человек. Уголовная любая игра, если в нее уголовники играют. Мы, слава богу, люди здесь порядочные. Так — время если убить. Играем без обману. Конечно, я бы предпочел пулечку, но, увы!

Григорий заманчиво загремел мелочью, которой у него оказалось припасено в медяках и серебре не меньше двух полных горстей. Кисунов тоже ловко вывернул из пижамы затейливый кожаный кошелек. Начали играть. Через полчаса у Афиногена на одеяле накопилось рублей восемь — две рублевых бумажки, тройка и куча монет. Он банквал. Вагран Осипович охал, подолгу тянул карту, профессионально, небрежно бросал: «Себе», бил обязательно на целый банк. Григорий осторожничал, карту не тянул, зато долго рассчитывал свои очки. У него часто выпадал перебор. Афиноген смеялся:

— Раздену я вас догола, мужики.

Крупный банк сбил наконец Вагран Осипович и обрадовался, как дитя. Приговаривая: «Пересчитывать нельзя во время игры», — он сгреб мелочь и рубли в карман пижамы. По лицу его блуждала уже откровенно шалая улыбка.

— Все, — вдруг объявил Григорий, печально разводя красные руки, — шайбочки на нуле.

— Так возьми, — кивнул Афиноген на одеяло.

Вагран Осипович суетливо поддержал:

— Бери, Гриша. Не из-за денег играем, ради времяпровождения. Чего такого.

Афиногену не хотелось разбивать компанию, но и продолжать невинную забаву было тяжело. Карты он различал смутно, каждое движение добавляло болезненного жара в правый бок. Подремать бы, уснуть, во сне накопить новых сил. «Еще немного потерплю, — думал он, — ничего, потерплю. Успею выспаться».

На его счастье, в палату заглянула Люда. Мужчины не успели прибрать карты, главное — деньги валялись на одеяле предательской грудой.

— Ага! — Люда сделала такую мину, как будто застучала убийц во время надругательства над жертвой. — Вот вы чем тут занимаетесь, голубчики!

Афиноген на всякий случай прикрыл медяки и рубли ладонью. Гриша Воскобойник представил себе, как его мгновенно и с позором выписывают из больницы, и затуманился. На товарища Кисунова, сурового человека — «ревизора», привыкшего вскрывать и искоренять чужие оплошности и недостатки, поимка с поличным произвела гнетущее впечатление. Он сделал было попытку изобразить непричастность к происходящему, однако вышла неловкость: гримаса наивного удивления и возмущения никак не вязалась с зажатым у него между пальцев бубновым тузом.

Хохотушка Люда не упустила случая взять реванш за многие прошлые обиды. Она вошла в палату, дверь же оставила чуть приоткрытой.

— От кого, от кого, — начала она тоном милицейского протокола, — а от вас, Вагран Осипович, меньше всего ожидала. С виду такой приличный больной, хорошо знает наши порядки — и вот на тебе. Организовали безобразие в палате, принудили послеоперационного тяжелого больного. Придется докладывать заведующему.

— Да я разве... — блаженно залепетал Кисунов. — Что, в самом деле. Ради времяпровождения перекинулись в дурака... Только и всего.

Люда наслаждалась.

— В дурака?.. А вы товарищи, вот вы, Воскобойник, или вы, Данилов, — культурные люди. Что же вы, не могли остановить соседа, объяснить ему.

Афиноген, падкий на розыгрыши, не мог более оставаться в стороне:

— Мы с Гришей останавливали, да где там. Никак нельзя остановить. Если человек втянулся в карты — это хуже пьянства.

— Что, что? — Вагран Осипович зарыл наконец бубнового туза под подушку. — Кто заставлял? Ради времяпровождения... Гриша, разве я заставлял? Подтверди.

Люда прыснула и закрыла лицо руками.

— Не сообщай, Людочка, — воспрянул духом Воскобойник. — Мы тебе шоколадных конфет купим с Ваграном. Правда, Кисунов?

— Две коробки! — бабахнул Вагран Осипович, готовый на крайность. — Или три.

— Ну-ка, давайте карты!

Григорий с умоляющей, никак не идущей здоровенному мужику улыбкой протянул ей колоду.

Тряхнув на прощание белокурыми кудряшками одному Афиногену, девушка умчалась.

— Вот тебе и вляпались, — огорченно заметил Григорий.

Вагран Осипович продолжительно глядел в окно, что-то прикидывая про себя.

— Вы, молодой человек, — обратился он к Афиногену, — оказывается, парень непромах. Честное слово, поразительно. Еще бы, я понимаю, на самом деле я принуждал. Как вы, однако, ловко меня подкузьмили. На ходу, видать, подметки режете.

Понятно было, что он не столько поражен низкой выходкой Афиногена, сколько лишний раз убедился в каких-то своих мнениях о сущности человеческой природы. Убедился и, возможно, по-доброму позавидовал быстроте реакции молодого соседа.

— Я пошутил, — отмахнулся Афиноген, — неудачно пошутил, признаю. Для смеха так сказал, без злого умысла. Она никуда не пойдет жаловаться, вот увидите.

— Я не боюсь жалоб. Грустно мне наблюдать, как глубоко проник цинизм в молодое поколение.

— Ну-ну! — предостерег Афиноген. — Не отвлекайтесь от конкретного факта.

— Ядрена корень, — выругался Григорий, — очень

запросто могут теперь больничный не оплатить. Я слышал — выпишут за нарушение режима... и привет.

В пять часов Люда пришла с градусниками и вернула карты. Она сначала протянула колоду Кисуну, но тот так шарахнулся, точно ему подсовывали ядовитую змею. Григорий тоже смалодушничал и, блудливо поморгав, буркнул: «Не мои, первый раз вижу». Карты взял Афиноген, ухитрясь вдобавок стиснуть в ладони теплые Людины пальчики.

— Не играйте больше, — строго предупредила медсестра. — Не положено. Вы должны понимать, нас самих наказывают.

— И ради времяпровождения нельзя? — уточнил Вагран Осипович.

— Ни ради чего.

Температура у Данилова намерилась — 37,2. Самая норма после операции, никакого воспаления.

Короткий разговор с Горемыкиным совсем его ободрил.

— Побаливает?

— Терпимо. Я не очень любопытный, но все-таки хотелось бы знать.

— Аппендицит... Ваш организм, Гена, рассчитан надолго. Тем не менее вчера вы имели шанс, не буду скрывать, преждевременно удалиться в лучший из миров. Еле я за вами угнался. Здоровые люди удивительно небрежны к своим болячкам. Бравировать здесь нечем. Это просто признак медицинского бескультурья.

— Когда выпишете, доктор?

— Не искушай судьбу, Гена. Думаю, недельки через полторы.

— Нет, не годится.

— Спешись?

— У вас, я слышал, коек не хватает. Как благородный человек...

Иван Петрович медлил уходить. Что-то необычное таилось под приветливой синеглазой улыбкой этого парня, какая-то страсть.

— Ну, отдыхай... Утром загляну. Если будет очень больно — попросишь, сделают укол... Не злоупотребляй этим, лучше терпи.

— Предполагаете, выпишусь уже наркоманом?

Горемыкин так не думал, по инерции высказал он тривиальную медицинскую истину и тут же в ней усомнился. Зачем, правда, заставлять больных терпеть лишнюю боль? Из-за какой-то маловероятной опасности? А те, кто давным-давно утвердил эту, одну из многих врачебных догм, терзались ли сами сводящей с ума болью, а в случае, если терзались, соблюдали ли неукоснительно это правило? Вряд ли. Как часто в медицине мы считаем для других справедливым и полезным то, что сами для себя с легкостью отвергаем. И только ли в медицине?

Часу в девятом в палате возникли Семен Фролкин и Сергей Никоненко, сослуживцы, коллеги. Их провела хохотушка Люда, проникшаяся к Афиногену симпатией.

Друзья обменялись приветствиями. Семен вывалил на тумбочку обязательные больничные гостинцы — апельсины. Кисунов протестующе заворчал и убрался с книжкой в коридор. Григорий деликатно потянулся следом.

— Эх, Гена, — укорил Никоненко, — разве так симулируют. Нам сказали, что ты дал себя располосовать эскулапам. Как это похоже на современных безграмотных молодых пижонов. Лезть под нож! Образованный человек лечится иглоукалыванием, на худой конец — гипнозом. На Филиппинах медики оперируют без крови, без скальпеля. У нас же все по старинке, как при Иване Грозном.

Афиноген с удовольствием слушал привычную болтовню.

— Как там на работе?

— По-прежнему. Платят зарплату, борются с курением. Сегодня старика нашего вызывали к Самому. Бают, попрут его скоро. Жаль, не в нем дело.

Семен Фролкин очистил себе апельсин, вставил, аппетитно жуя:

— Сухомятин, наверное, на седьмом небе от счастья. Наконец-то освободилось достойное его способностей кресло.

— Его не назначат, — сказал Афиноген.

— Может, и не назначат, а может, и назначат. В нашем паноптикуме чего только не может случиться. Могут взять и Стукалину завтра поставить директором вместо Мерзликина.

— Заводной стал Сережа, — усмехнулся Фролкин, приступая ко второму апельсину. — Заводится с пол-оборота, сам себя заводит. Как баба на базаре.

— Молчал бы уж, молодой отец, — огрызнулся Никоненко. — Завел себе мальчика, игрушку живую, и посапывай в ноздрю. Старайся понять, когда я тебе говорю... Мне тоже не больше всех надо, да иногда и задумаешься, оглядишься: кого обманываем. Кого? Бухгалтерию, государство? Себя, братцы, себя... Годы проходят. Не так мечтали мы их прожить, не в бирюльки играючи. Меня лично в институте чуть не за идиота держат, — телепат, мол, черная магия. Да, именно телепат. Все лучше, чем растрачивать силы на сухомятинские липовые справки... Вспомни, Геша, на таком ли счету был я в институте?

— Ты специально ждал, пока я в больницу лягу, мне это рассказать?

— Ага, — подхватил Фролкин, — надеется, что ты отсюда не выйдешь. На службе боится рот открыть. А тут вон как разуделся. Оказывается, его государственные заботы обуревают.

— Замолчи, Сенька. Надоели твои смешки... Не боюсь я ничего, но... Больно смотреть, когда много умных, специально подготовленных людей занимаются ерундой и делают при этом вид, что чуть ли не блоху подковывают. Говорить без толку, надо ведь доказывать. А вы не хуже меня знаете, что в нашей, так сказать, непрощупываемой области деятельности любое доказательство можно сто раз повернуть и вывернуть наизнанку. Начни доказывать, как раз на эту свистопляску жизнь и уйдет. Вдобавок приобретешь репутацию склочника и сутяги.

— Есть объективные критерии деятельности предприятия, отдела...

— Брось, Семен. Объективные? У нас? Мы как метеорологическая служба, всегда сумеем объяснить ошибки каким-либо негаданным антициклоном.

Фролкин заскучал, пора, видно, было ему возвращаться в лоно семьи.

— Сергей, мы к больному все-таки пришли... Что у тебя болит, Гена?

— Подожди. Ну и кто же, ты считаешь, конкретный виновник, что мы все из липы лапти плетем?

— Директор Мерзликин.

Семен поперхнулся апельсиновой долькой.

— Эвона! Директор. Может, министр?

Никоненко назвал того человека, о котором Афиноген так много думал в последнее время, которого то оправдывал, то обвинял наедине с собой. Да, он хорошо понимал, что имеет в виду Сергей. Именно с высокого и не всегда уловимого благословения Мерзликина поддерживалась, во всяком случае в их отделе, атмосфера странного нетворческого всепрятия, утверждались радикальные методы выполнения заданий, начисто исключавшие инициативу и свободный поиск. Тогда зачем же путает карты Кремнев, умный, деловой человек? Или ему удобнее и почему-то выгодно перекладывать вину за антисанитарное состояние отдела полностью на усталые плечи Карнаухова? Или его устраивает форма работы, когда грамматическая сторона дела важнее фактической?

Действительно, кому, как и что докажешь, если сам ни в чем не уверен?

— Ладно, парни, это дела серьезные. Их лучше всего за поллитром обсуждать. Винца-то не догадались приволочь?

Семен Фролкин, юноша добродушный, редко теряющий самообладание и покой души, внезапно заклокотал, как паровоз:

— Чего их вообще обсуждать? Чего? С жиру вы перебесились? Или дурной славы вам захотелось? Ишь куда махнули, Мерзликин теперь виноват. А в чем виноват? В чем, скажите? Вы не допускаете, что ему с высоты виднее, какой участок и как должен функционировать. Он не первый день директор, знает, вероятно, почем что продается... Нет, я точно вижу — с жиру вы беситесь! Афиноген, правда, и в институте вечно свары устраивал. То ему преподаватель не тот, то предмет лишний, то посещение лекций его не устраивает. Я помню, как мы в комитет ходили вместе на посмешище. Тогда вы меня затанули, теперь не удастся. У Семена Фролкина своя голова на плечах... Я понимаю, у вас неудовлетворение. Наверное, вы рассчитывали тут через год-два диссертации сколотить, а ими и не пахнет. Вы недовольны, брюзжите. Толком ничего объяснить не умеете, потому что и нечего объяснять.

Все одни пустые голые словеса. Честное слово, вы мне напоминаете пьяного мужика, который о стену ударился и от злости решил дом разрушить.

Друзья слушали Семена, обомлев. Никоненко с сожалением резюмировал:

— Дебил, а похож на кретина. Обижаться нельзя, случай клинический.

— Семья у него, — добавил Афиноген, — кормилец он.

Семен успокоился так же неожиданно, как и вспыл.

— Извините меня, старики. Утомляюсь я очень. Ночами не сплю, ребенок не дает. Нервничаю. Ты не прав, Сергей, семья не пустяк... Может, я как-то несовременно выгляжу, мне не стыдно. Я вырос в большой семье, дома у нас всегда было весело... Помню, после уроков ребята договариваются, куда пойти: в кино, в лес, — а я домой, к братьям, к сестренке, к папес мамой. Да, да! Наверное, я запрограммирован на семью. Честно, работа для меня — средство, смысл — дома, там, где я люблю. И мне этого хватает, я не чувствую, что чем-то обделен... Хотите посмейтесь, но это так. Вам я говорю правду, чего мне от друзей скрывать. Я так устроен, вы по-другому. Я, в общем-то, сочувствую вашим мыслям. Так почему же вы отказываете мне в праве жить, как мне нравится. По-вашему, я обыватель? По-моему — гражданин, заботящийся о будущем поколении.

— Не надо слез, — заметил Никоненко. — Отделение для душевно больных на четвертом этаже. Я тебя, Сеня, устрою туда по благу. Там тебе будет еще веселее, чем в большой семье. Там все ваши настоящие граждане собираются — Наполен, Юлий Цезарь и многие другие... Там тебя поймут и обнадежат.

— Не ссорьтесь! — Тягостно было Афиногену наблюдать, как затаенное отчаяние старит и морщинит лицо Фролкина, какой не юношеский, не прежний гнев подкрашивает бледным румянцем скулы Никоненко. Миновало радужное время, когда злость их, снопом огня взлетающая до небес, в ту же секунду разливалась беззаботным морем смеха, когда чувства были яркие, но скоротечны, когда сердце не затаивало обид, а порывы, хорошие и дурные, не хоронились надолго под

скорлупу мудрого умалчивания. Возраст начинал делать свое поганое дело. Ничто теперь не забывалось, обидные слова не вылетали из одного уха в другое бесследно, обязательно оставляли на душе мелкие ранки.

— Не ссорьтесь по пустякам, — повторил Афиноген. — Семен, ты все правильно изложил. Оставим сей предмет. Лучше ответьте, способны ли вы выполнить последнюю просьбу умирающего бойца.

Никоненко и Фролкин, не глядя друг на друга, согласен кивнули.

— Принесите мне в четверг утром штаны и рубашку. Сможете?

— Семен принесет. У него много запасных штанов.

— Сеня, притащишь?

— Мои тебе не полезут.

— У моей соседки есть ключ от квартиры. Сходи ко мне. В шкафу висят — серые с ромбиками. И рубашку чистую захвати.

Напряжение, вызванное недавней стычкой, спало, друзья привычно заулыбались. Никоненко посоветовал:

— Тебе, Гена, надо беречь свое реноме. На работе и так про тебя разное говорят.

— Да, — подтвердил Фролкин, — поползли слухи.

— Что такое?

— Ну, вроде, тебя Юрий Андреевич Кремнев в кабинете поколотил и сам «скорую» вызвал. Не обращай внимания, недаром сказано, что злые языки страшнее пистолета. Опять же, на чужой роток не накинешь платок... — Никоненко торжественно закончил: — Общественность не позволит честных людей калечить. Подавай, Гена, в суд.

Прятели еще немного побыли, посплетничали, разговор был мирный, уравновешенный, доверительный, без вспышек. На прощание Фролкин извинился:

— Ты прости, Гена, что мы здесь тебе представление устроили. Не бери в голову, выздоравливай... Нам девушка сказала, что у тебя все в ажуре. Выздоровливай!

• До послезавтра.

Оставшись один, Афиноген почувствовал усталость. Не было сил шевельнуть пальцем. Наворачивался не сон, а наркотическое забытие, сквозь которое он плохо воспринимал расплывающуюся реальность. Он слышал

реплики вернувшихся Кисунова и Григория — они громко обсуждали какую-то телепередачу, — ощутил, как погасили в палате свет, как за окном резкий баритон заорал песню, но не мог разлепить тяжелых век, не мог выдать из себя ни звука.

«Спит парень», — донесся сочувственный голос Григория, и Кисунов ответил: «Неужели?»

Ужасное состояние. Не было выхода ни туда, ни сюда: ни вверх — в бодрствование, ни в глубину — в спасительный сон. Полная прострация. Наверное, так чувствует себя человек, которого похоронили заживо.

Сколько это длилось — неизвестно. До тех пор, пока великий мрак не сломил наконец последние борющиеся частицы мозга — и сразу стало пусто, легко, горько... и никак.

7

Не везло мне в жизни на учителей, поэтому и воспоминания мои о школе окрашены не в сентиментальную дымку, а в ровный серый цвет безразличия. Трогательные романсы типа: «Учительница первая моя» нисколько меня не трогают. Фильмам о великолепных, талантливых педагогах, обладающих непостижимым запасом человеческого такта и любви к людям, — таких фильмов развелось сейчас множество, — я плохо верю, хотя смотрю их с любопытством. Думаю, что такие фильмы нужны в качестве учебного пособия для студентов педагогических вузов, хотя, с другой стороны, они могут создать в неустоявшихся умах иллюзию праздничной легкости педагогической карьеры. Кто в молодости не предполагает в себе педагогического таланта? А фильмы эти все, как один, утверждают, что если такой талант имеется, то, преодолев некоторые трудности, победив мимоходом двух-трех школьных монстров, ты будешь обязательно вознагражден упорительной любовью огромного числа детей плюс подобострастным уважением менее способных, но принципиальных коллег.

Мой собственный опыт ученика восстает против подобного вранья, зато сердцем я искренне радуюсь за удачливых, высокообразованных, справедливых педагогов и хотел бы от души пожелать им такую же жизнь, как в кино. Увы!

В школе мы любили добреньких, слащаво-ласковых учителей, которые не мучили нас понапрасну. Только значительно позже мы открыли для себя, что, в сущности, этим добреньким было наплевать на нас, своих способненьких мальчиков и девочек. У нашего класса, с пятого по восьмой, была любимая учительница (кстати, «любовь» здесь слово неточное — не любимая, а скорее «терпимая» нами), которую мы предпочитали всем остальным. Эта пожилая, рано располневшая женщина была нам как добрая общая наседка. Ей, а не своей классной руководительнице, мы из года в год обязательно делали подарки на 8 Марта и на именины, ее навещали всем классом, когда она болела. Потом по ее предмету девяносто процентов выпускников завалили экзамены в институт.

Других учителей, которые, старея раньше времени от нервических припадков, старались вколотить в наши сопротивляющиеся головы положенный объем знаний, мы, по возможности, игнорировали... и спуску им не давали. Попомнят они своих любимцев, попомнят.

Разумеется, в любом классе найдутся три-четыре ученика, которые непонятным образом по каким-то своим личным качествам искренне и глубоко привязываются к тому или другому учителю. Он, как правило, отвечает им взаимностью. Заметим в скобках, что жизнь учеников-любимчиков не менее запутанна, чем жизнь школьных педагогов. Ядро класса, его основная группа — всегда независима, и не потерпит подхалимства, сюсюканья и заискивания, пусть даже, обычно так и бывает, это вовсе не подхалимаж, а чисто-сердечная потребность привязанности к своему наставнику.

Я абсолютно согласен с теми, кто считает, что педагогика, как наука, не терпит общих теорий и рассуждений (исключая, естественно, положение о цели педагогической деятельности), а вся состоит из нюансов, штрихов и акцентов, обсуждать которые имеет смысл лишь в приложении к конкретной ситуации и личности. С трудом выйдя из положения ученика и не достигнув статуса педагога, я полюбил бывать на школьных уроках, как иные любят посещать при случае заседания суда. Весело сидеть на задней парте и следить за действием спектакля, роли в котором распределены толь-

ко стечением обстоятельств да волей усталого человека, сидящего за преподавательским столом и играющего обязательно одну из заглавных ролей.

В Федулинске я дважды посетил уроки Олега Павловича Гарова, отца Наташи. Он вел математику. Из этих двух уроков я вынес впечатление чего-то сверкающего, отдающего мистикой, и величавого.

Олег Павлович был ярчайшим представителем известной породы педагогов-глухарей. Войдя в класс, он сразу громовым голосом требовал тишины и порядка:

— Кто не хочет заниматься, а?! — гремел он, как на гвардейском смотру. — Выходи из класса по одному... Никого не держу! — соколиным взглядом выискивал желающих. Класс скромно молчал. В течение примерно пяти минут Олег Павлович еще вспоминал про дисциплину и изредка вскидывал подбородок. — А? Кто там? Раз-го-воры! Прекратить!

Но стоило ему приблизиться к доске, взять в руки мелок и начать объяснение какой-нибудь новой теоремы, как он забывал обо всем на свете. Теперь ученики без помех могли расхаживать по классу, читать вслух романы, поигрывать в незамысловатые школьные игры, обмениваться записочками, выяснять отношения — все, что угодно. Их славный учитель, покоренный ему одному пока видимой красотой, метался у доски, подобно раненому тигру. Волосы его вставали дыбом, мелок крошился от резких ударов о доску, осыпая его белой пылью, голос прерывался от лихорадочного возбуждения. Это было похоже на сумасшествие: казалось, в любой момент его может хватить родимчик. Как я понял, у Олега Павловича редко оставалось достаточно времени на спрос, поэтому оценки он выставлял почти по наитию, спешил, обрывал учеников на полуслове едкими замечаниями. Никто на него не обижался. Особенно отчаянные детишки смело вступали в пререкания по поводу выставленной оценки.

— Я не согласен, Олег Павлович, с тройкой. Я подготовлен на четверку.

— Ну-ка, ну-ка. Из чего же это явствует?

— Вы мне сами не дали досказать!

Одобрительное шуршание класса. Гаров эффектно откидывается на спинку стула, как человек, узревший перед собой живого неандертальца.

— Скажите, пожалуйста... Не согласен! Очень приятно. Тогда ответь на такой вопрос...

— Не буду отвечать!

— Почему?

— Я слишком взволнован и не смогу сосредоточиться.

Одобрение в классе переходит в гул восторга. Олег Павлович опять глух ко всему, он полностью увлечен диалогом.

— А знаете ли вы, милейший, что такое четверка?

— Знаю. Такая после тройки перед пятеркой отметка.

— Остроумно. Ценю... Нет, вы не знаете, что такое четверка. Даже я сам вряд ли смогу получить такую высокую оценку.

— Вы не сможете, а я смогу.

Класс рыдает от счастья. Гаров глух. Он не жалеет времени на несуразный обмен репликами и ничуть не оскорбляется.

— Чтобы заслужить пятерку или четверку, мало знать урок, надо его прочувствовать. Математика, милейший, наука наук. Короля от дворника, говорю я вам, отличает математическое знание. Король, пренебрегающий математикой, не усидит долго на троне.

— У нас социализм построен, Олег Павлович, Какие там короли?

— Учитесь мыслить математически, друзья, и вы не будете задавать подобных вопросов. Король среди людей не тот, у кого на голове корона, а тот, чей мозг вооружен великой логикой математических построений. Восчувствовав трепещущую плоть теоремы Пифагора, вы получите возможность понять смысл мироздания. Человек рождается дважды, один раз от матери в родительном доме, второй раз, взяв в руки учебник арифметики.

Класс послушно внимает горячечной речи.

Я проверял: из выпусков Олега Павловича Гарова большинство успешно сдает экзамены в технические вузы. Вне класса Гаров нормальный, обаятельно застенчивый человек. Он со вниманием выслушал мои путанные рассуждения о педагогике, часть из которых я привел выше.

Он сказал:

— Да, конечно. Существуют разные точки зрения. Возможна и такая, как ваша. Она ничуть не хуже других. Вообще, все это туманно, бестолково. Как лучше, как хуже — неизвестно. У меня жена учитель... Разумеется, мы часто с ней спорим. А успокоимся — и видим, что оба правы. Это такая наука — педагогика — счастливая, ей-ей, где каждый в споре прав. Не припомню, чтобы у нас кто-нибудь ошибался в учительской. Ошибаются в классах...

Как-то я осмелился и задал бестактный вопрос.

— Олег Павлович, вот ваша экзальтация на уроке — это метод, прием, сознательное действие?

— Какая экзальтация?

— Да вот вы горячитесь во время объяснения темы, словно стихи читаете.

Олег Павлович взглянул на меня с сочувствием.

— Уверяю вас, в любой математической формуле больше поэзии, чем во всех вместе взятых опусах нашего федулинского поэта Марка Волобдевского.

Тут же он потерял ко мне всякий интерес и вежливо отклонил предложение поужинать вместе в ресторане.

Наташа Гарова, его дочь, при всем своем максимализме и строгости манер, была девушка доверчивая, впечатлительная, склонная поддаваться как собственным капризам, так и влиянию чужой достаточно сильной воли. Другое дело, что рано научилась прятать свои слабости под маской внешнего безразличия. Ее губки привычно складывались в презрительную гримасу, словно она собиралась сказать: «Фи, как это пошло, то, что я вынуждена слышать и терпеть». Тут тоже был обман. Она не умела хорошенько отличать прошлое от прекрасного, дурное от истинного, руководствовалась, как правило, первым впечатлением и клубому новому человеку долго приглядывалась с горячим любопытством и ожиданием каких-то необыкновенностей. Ничего не дождавшись путного, она не разочаровывалась в объекте своего исследования, а считала себя недостаточно проницательной, чтобы обнаружить то неповторимое, что, как она была твердо убеждена, есть и должно быть в каждом человеке. Первое любовное увлечение настигло ее в шестом классе и принесло много горя и беспокойства ей самой и ее родителям.

Тогда и обнаружались некоторые ее качества, заставлявшие впоследствии не раз трепетать в страхе за дочку ее мать, Анну Петровну.

Мальчик, к которому ее угораздило привязаться, был на два года старше, учился в восьмом классе и обладал необузданным даже для своего трудного переходного возраста нравом. История их знакомства осталась тайной. Надо заметить, что девочке из шестого класса почти невозможно подружиться с восьмиклассником, — это совершенно не смыкающиеся уровни школьной иерархии, — тем более с Мальчиком, который все подряд перемены героически выстаивал в туалете с сигаретой в зубах, а после звонка с уроков вылетал из дверей школы подобно снаряду, пиная и сшибая на пути все и вся.

Однако факт остается фактом: замкнутая, неактивная в общественной жизни, медлительная отличница с бантиками, Наташенька Гарова подружилась с двоечником и нарушителем спокойствия. Мальчиком из восьмого класса. Наташина классная руководительница заметила странное увлечение девочки и уведомила о нем родителей с некоторым опозданием, на той стадии, когда Мальчик уже стал поджидать Наташу после уроков и они вдвоем отправлялись на прогулки в лес. Педагог Гарова, не советуясь с мужем тут же приняла решительные меры. Она попросту запретила дочке встречаться с Мальчиком, пригрозив в противном случае ее жестоко наказать и перевести в другую школу. Самое удивительное, Наташа ничего не возразила, не расплакалась, — она не обратила внимания на мамину угрозу, не приняла ее всерьез. И на следующий день преспокойно отправилась с Мальчиком в кино, смотреть какой-то близкий умонастроению ее друга фильм про индейцев, купив себе и ему билеты из денег, отпущенных ей на завтраки. Анна Петровна растерялась и обратилась за помощью к мужу, уповая на его авторитет. Олег Павлович поговорил с дочерью не сразу, а дня два спустя, время, потраченное им на всесторонний анализ ситуации и выявление обстоятельств, как-то оказались самыми неутешительными. Мальчик из восьмого класса давным-давно был взят на заметку комнатой милиции. Разговор с Наташей отец начал с вопроса:

— Доченька, расскажи мне, какие у вас отношения. На чем основана ваша дружба?

— Он мой жених, — не таясь ответила Наташа, — а я ему подходящая невеста.

— Это шутка, надеюсь?

— С любовью нельзя шутить, папа. Взрослые знают это не хуже девочек-шестиклассниц.

Олег Павлович усилием воли спрятал поглубже готовые сорваться с уст прописные истины, глубоко задумался, а дочь, поцеловав его в щеку, отправилась в свою комнату делать уроки. Оттуда прозвенел ее утешительный голосок: «Он хороший, папа! Ты не думай... И поженимся мы, когда я кончу школу».

— Тут что-то не так! — коротко доложил Гаров супруге. В ответ Анна Петровна высказала бескомпромиссное мнение о мужском уме и предупредила, что будет действовать на свой страх и риск, но единственную дочку спасет. Она созвонилась с родителями Мальчика и навестила их. Разговор Анны Петровны с сильно пьющим алкогольные напитки отцом Мальчика остался очередной тайной в этой истории. Но лучше бы она никуда не ходила. На следующий день Мальчик отвесил подруге оплеуху на виду у всей школы. Дальнейшее до сих пор вспоминается родителями Наташи как кошмарный сон. Девочка стойчески перенесла оплеуху и позор и упрямо продолжала искать дружбы и расположения Мальчика. После уроков она бежала не под родительский кров, а к дому Мальчика, и долгими часами просиживала там на скамейке, поджидая счастливой случайной встречи. Иногда «жених» возникал на улице во главе дворовой ватаги. Он цинично хохотал, кривляясь, и издали тыкал в нее пальцем. Наташа переносила и это. Ей нужно было понять, в чем она виновата, почему так круто изменилась их прекрасная святая дружба. Анна Петровна приходила и, бледная, не отвечая на приветствия знакомых, уводила дочку за руку домой, где в горе и бессилии изнемогал несчастный Олег Павлович. На расспросы Наташа не отвечала, на насмешки одноклассников в школе не реагировала. Она чахла, как влюбленная принцесса, и под ее изумительными темно-полыхающими глазами пролегли взрослые голубоватые тени. Упорство ее переходило все мыслимые для двенадцатилетней девочки границы. Мать и

отец всерьез подумывали о переезде в другой город. Учителя на уроках избегали вызывать к доске бедную девочку. Постепенно вокруг нее возникло таинственное пространство, переступить которое никто не мог. Как-то за ужином Наташа спросила отца:

— Папа, почему люди злые?

Таким прозрачным, исполненным роковой умудренности голосом это было произнесено, что Олег Павлович не выдержал и отвернулся, пряча слезы. Потом он нашел слова, которые необходимо было давно сказать:

— Он не стоит твоей любви, дочка. В этом все дело, поверь мне.

И она поверила. Не сразу, но вскоре Наташа пришла к мысли, что Мальчик не стоит не ее именно любви, а вообще не дорос еще до человеческих чувств, раз он смог предать их дружбу и без всяких объяснений бросить ее, Наташу, на поругание. Она решила, что уже сделала для него все, что могла. И не ее вина, если усилия оказались бесплодными. Она сказала на перемене своей подруге Светке Дорошевич:

— Я отряхиваю прах любви со своих ног. Отныне я снова свободный человек.

А Светка обрадовалась:

— Злюка он, воображала и дурак. Правильно ты решила, Натка. Отряхивай прах!

Мальчик, окончив восьмой класс, поступил в строительный техникум, ушел из школы. По этому поводу супруги Гаровы тайком от дочери распили бутылку шампанского. Они никогда не узнали, что около полугода спустя Мальчик однажды подстерег Наташу на улице и дерзко потребовал продолжения их нежных отношений. Теперь Наташа Гарова видела его совсем иными глазами. Перед ней манерно покачивался, пряча руки в карманы, нахальный самоуверенный рыжеволосый подросток с царапиной на щеке и с оторванной верхней пуговицей на рубашке. Она подумала о нем совсем как взрослая женщина, пережившая тяжелое, но не губительное разочарование, подумала с облегчением: «За что я могла любить этого человека?» Вслух сказала:

— Мне жалко тебя, Мальчик. Кажется, ты не очень-то умен и вдобавок плохо воспитан.

Мальчик встревожился и вынул руки из штанов, а

Наташа прошествовала мимо него неспешной походкой знающего себе цену человека.

Десятый класс она закончила с серебряной медалью. В положенный срок, благословляемая родителями, она уехала в Москву сдавать экзамены в педагогический институт. В столице Наташа остановилась у тетки, отцовой сестры. Тут она выкинула очередной фортель. За три недели пребывания в Москве и близко не подошла к педагогическому институту. Тетка, естественно, ни о чем не подозревала, потому что каждое утро, позавтракав, Наташа укладывала в сумку какие-то книжки и тетрадки и исчезала на целый день. Тетка, простая, добрая женщина, работница трикотажной фабрики, несколько подавленная свалившейся на нее ответственностью, считала главным своим долгом досыта и вкусно кормить любимую племянницу. Наташа бродила по Москве, посещала музеи и выставки, гуляла в парках, просмотрела восемнадцать художественных фильмов и девять спектаклей. Попала даже в Театр на Таганке, на «Мастера и Маргариту», купив билет у взвинченного средних лет человека, который сам к ней подошел и предложил свои услуги. Какие бы надежды ни питал молодой человек, его постигло досадное разочарование. В перерыве в буфете Наташа охотно выпила предложенный ей бокал шампанского и с завидным аппетитом схрустела бутерброд с подсохшей черной икрой, отвечала на многозначительные взгляды театрального шустряка не менее откровенными взглядами (что доставляло ей неиспытанное прежде волнующее ощущение своего взрослого женского всемогущества), но после спектакля быстренько попрощалась, что-то невразумительно и виновато наврав насчет больной сестры, и смылась, оставив воспламененного сорокалетнего юношу при своих интересах. Чтобы ему не было совсем плохо и тошно, она всучила ему федулинский телефон Светки Дорошевич, прибавив к нему две вымышленные цифры. Побывала Наташа и в некоторых институтах, как-то: в театральном, ВГИК(е) и обоих медицинских, первом и втором. Ей понравилось, как весело сдают будущие актеры творческий экзамен, и она чуть не присодинилась к ним, да поленилась тратить время на зубрежку басни и куска прозы. Бог с ней, с ослепительной карьерой кинозвезды.

Отдохнувшая, посвежевшая, загорелая, к сентябрю Наташа вернулась в Федулинск.

Папе и маме она объяснила, что в Москве с ней произошел душевный перелом, она поняла точно, что ее призвание, к сожалению, не педагогика, и она предполагает позаниматься как следует год и поступить в медицинский. Родители не слишком огорчились, потому что среди множества других предусмотрели и подобный исход Наташиного вояжа. Работать она устроилась в детский садик, где и отбыла один сезон в качестве нянни-воспитательницы. В мае взяла расчет и действительно всерьез уселась за учебники.

Работа в детском саду, изматывающая кое-кому последние нервы, не оставила в ее душе никакого следа, если не считать того, что там она познакомилась с Афиногеном Даниловым, который светлым весенним днем забрел в их садик, сопровождая Семена Фролкина. Тот наводил долгосрочные справки. Она навсегда запомнила фразы, с которыми они обратились друг к другу, и очень впоследствии удивлялась, как это Афиноген мог их забыть.

— Девушка, — обратился к ней Афиноген, — откуда у вас, такой молодой, столько детей? Или вы разводите их мичуринским методом?

— Это детский сад, — вежливо ответила Наташа, — и ваши плоские шутки совершенно тут неуместны... Если вы будете выпендриваться при детях, я позову заведующего.

Афиноген прямо сказал:

— Сударыня, я покорен и приглашаю вас на ближайшую театральную премьеру. Ах да, я забыл, в Федулинске нет театра. Придется идти в кинематограф. Это и дешевле.

Наташа ответила:

— Поищите себе девушку, которая сумеет оценить ваш бесподобный юмор. Уверена, это будет нелегко.

Афиноген сказал:

— Самый благородный юморист тот, кто один понимает свои шутки. Это возвышенное чистое искусство. Сам шутит, сам смеется. Я как раз такой.

Наташа посоветовала:

— Не стоит этим бахвалиться.

Афиноген сказал:

— Бахвальство — признак честолюбия, которое есть основной двигатель прогресса. Не менее того.

Наташа возразила:

— Честолюбие, не подкрепленное внутренними достоинствами, есть идиотизм. Не более того.

Наташа ему улыбнулась. Они неподвижно стояли в окружении ликующей, розовощекой и ясноглазой толпы детишек, которые дергали Афиногена за пальто и пищали: «Дядя к нам пришел... Дядя, расскажи нам сказку!.. Дядя, хочешь поиграть с нами в прятки?» Они не обращали внимания на визг и возню детей, не отводили друг от друга напряженных, приглашающих взглядов, а сбоку, открыв рот, любовался ими Семен Фролкин. Это мгновение тянулось довольно долго, оно опутало их тончайшей сетью взаимной симпатии. Видимо, пока они стояли так, в мимолетном забытьи, потеряв из виду копошащийся вокруг мир, успел хорошенько пристреляться к ним кудрявый круглоголовый шалунишка с колчаном и крылышками на спине.

То было начало, о котором нынешняя Наташа часто вспоминала с меланхолической грустью.

Она высматривала с балкона отца, чтобы успеть поставить на огонь жаркое и чайник.

Наташа обманывала себя: она ждала Афиногена, который пропал с воскресенья и не звонил. Ей не впервой было мучиться ожиданием и неуверенностью. В их отношениях редко выпадало подряд несколько солнечных дней, когда Афиноген становился таким, каким она хотела бы видеть его всегда: внимательным, чутким и искренним. Большею же частью она не понимала, к сожалению, чего он требует от нее и от других, шутит или говорит серьезно, в добром ли здравии или болен. Женским чутьем она ощущала сжигавшее его пламя, неведомого ей свойства и непонятно чем питавшееся. Этот огонь опалял и ее кожу, и ее сознание тем больнее, чем энергичнее она стремилась вернуться от него. Если бы она хотя была уверена, что Афиноген ее любит, дорожит ее привязанностью, — но такой милостью, открыть ей правду, Афиноген, дорогой жених, ее не баловал. Когда он признавался в нежности своих чувств, это звучало скорее издевкой, чем объяснением в любви, пожалуй, то были самые оскорбительные для нее минуты. Например, жмурясь как кот, корча траги-

ческую мину, он произносил умиротворенным проникновенным тоном почуявшего скорое вознесение святого: «Я так люблю тебя, Натали, так сильно желаю тебе счастья, что готов передать тебя из рук в руки хорошему, достойному тебя человеку. И я скоро найду такого человека, у меня есть один на примете... Оценишь ли ты мою жертву, дорогая?» Или: «Наташа, как подло играет судьба человеком. Вот мы могли бы с тобой пожениться и жить припеваючи на мои сто восемьдесят рублей. Но для этого я должен получить согласие моих бедных родителей, а они всегда мечтали, чтобы я женился на поварихе. Могу ли я нанести удар пожилым старым людям, убить их мечту? Наташа, любимая, что, если тебе пойти учиться в пищевой институт?»

«Он околдовал меня, — думала Наташа, — и взял меня в плен. Теперь я его раба и должна служить ему честно, исполнять все его прихоти. Что поделаешь, если у меня злой хозяин. Раба не выбирает себе господина. Могло быть и хуже. Я могла попасть в услужение к пьянице и садисту, а мой господин бывает добр, хотя и редко... Знать уж мне на роду было написано стать рабой, что теперь вспоминать о девичьем достоинстве и плакать. Надо хорошо и честно служить ему, и тогда со временем в награду за все он даст мне волю... А когда он даст мне волю и скажет: «Иди, милая Наташа, на все четыре стороны», — я останусь и буду служить ему добровольно, потому что зачем мне воля и зачем мне достоинство, если его не будет рядом».

Вряд ли Афиноген догадывался о Наташином настроении, с ним она была строга и рьяно деспотична.

Наташа забросила учебники и давно перестала строить мало-мальски реальные планы. У нее появилась назойливая привычка целыми часами выговаривать и мусолить в голове какую-нибудь одну бессмысленную фразу или слово.

«Если бы, если бы, если бы...» — бубнила она на все лады. В другой раз: «Любовь такая штука, что в ней легко пропасть... Любовь такая штука, что...» — сто, двести раз, с перерывами, когда ей приходилось вести нормальные разговоры, отвечать на вопросы, потом опять: «Любовь такая штука...» — без конца.

Заболевание любовью мало кого не делало полубезумным и мало кому приносило продолжительную радость. Любопытно другое, как Наташа ухитрялась скрывать свое состояние: родители, подруги, сам Афиноген — все были уверены, что она спокойна, безмятежна, довольна собой и собирается в августе ехать в Москву на экзамены.

Позвонила Света Дорошевич:

— Ты одна, Натка?

— Одна... Скоро папа придет, а мама задержится. Она на собрании.

— Все?

— А что?

— То, что очень ты стала болтушкой. Тут такие события грянули, а мы с тобой ушами хлопаем.

Наташино сердечко на всякий случай екнуло.

— Какие события?

— Не телефонный разговор... Сейчас прибегу.

Светка влетела растрепанная, жახнула дверь так, что лампочка закачалась на потолке.

— Вику арестовали, Егоркина брата. Повели в милицию. Я сама видела... Со мной был этот сопливый мальчишка, папенькин сынок Мишка Кремнев. Ух, какой заяц! Нет, чтобы отбить Вику у милиционера, так он меня удержал, трус!

— Опомнись, Светик. Приди в себя. Как отбить, кого?

— Так и отбить, как Павел Корчагин Жухрая. Выскочить и отбить внезапно.

— Ты что, тронулась?

Света схватила подругу за руку и утащила в самый дальний угол квартиры и под кровать заглянула для конспирации.

— Я знаю, за что его арестовали, Натка, знаю! Это такая тайна смертельная. Тебе одной открою. У него была любовница... Помнишь, приезжая женщина ходила, я тебе показывала, в жутком зеленом парике. Мы еще гадали, кто такая. Это к нему, к Вике приезжала. Поняла? У него была связь с этой женщиной, актрисой. Она к нему приезжала из Москвы на выходные. А в Москве-то у нее семья.

— Его арестовали за то, что у него была любовница? Ха-ха. Не смейся,

— Ты что, не понимаешь? Дурочкой совсем заделалась или прикидываешься?

— Что я, интересно, должна понимать?

Светка оглянулась на шкаф и сказала, выкатив в поддельном ужасе глаза:

— Он ее убил. В гостинице.

Светка кипела от восторга. На курносом носу капля пота. Наташа возмутилась.

— Что ты мелешь, Светка? Откуда ты все это сообразила? Господи, какая чепуха... Тебе пора замуж, дорогая подружка.

Светка поскуичнела, расстроилась.

— Может, я и ошиблась, Натали. Зато как красиво, представляешь. Убил, чтобы никому не досталась. Ты замечала, какие у Викентия бывают глаза, когда он на тебя смотрит? Нет? Это глаза обреченного человека, с такими глазами люди ради любви готовы на все, и на преступление.

— По-моему, Викентий Карнаухов просто мужчина с запоздалым развитием. Афиноген говорит, что это теперь социальное явление, с которым врачи не знают, как справиться. Мужчины боятся женщин, боятся темноты, боятся работать... Афиноген думает, это от радиации.

Света сказала:

— Дай чего-нибудь попить!

Наташа принесла подружке стакан яблочного сока. Света произнесла из живота, подражая адскому духу из кинофильма про Синдбада.

— Ты, Наталья, дитя. Для тебя на свете существует только твой Афиноген и вон те учебники. — Она пренебрежительно ткнула пальчиком в сторону этажерки. — Скажи, дитя, может ли Афиноген тебя убить в порыве страсти? Способен ли он на этот прекрасный шаг?

Наташа замешкалась с ответом.

— Я думаю — да. Он способен... Я хотела бы так думать. Пусть он убьет меня, я готова... Пусть.

— Наконец-то ты поняла, девочка. Поверь мне, Наташа, тот, кто любит, тот обязательно убийца. Может быть, он ножом и не убьет, но он убийца. Настоящие мужчины всегда так или иначе убивают своих возлюбленных. Я это знаю точно...

Наташа согласилась. Она тоже считала, что от любви до убийства один коротенький шагоч. Подруги немного молча погоревали над тем, что скоро им предстоит быть убитыми, погоревали, каждая по-своему представляя заманчивую сцену.

— Ой! — крикнула Света. — Я забыла позвонить Егору. Может быть, он ничего не знает.

По телефону она велела Егору немедленно прибыть к Наташе Гаровой. Егор отнекивался, мямлил, но она замогильным голосом уверила его, что решается судьба многих близких ему людей, и он пообещал вскорости быть.

Вернулся из школы Олег Павлович. Они поужинали втроем на кухне, попили чайку с медом. Попытки Олега Павловича разговаривать девочек ни к чему не привели. На его вопросы обе заговорщицы отвечали односложно, уставясь в чашки. Наконец Олег Павлович забеспокоился:

— В самом деле, красавицы, не случилось ли у вас что-нибудь? Выкладывайте.

— У нас ничего не случилось.

Это было сказано Светкой с такими многочисленными, чудом уместившимися в одной фразе намеками, что Олег Павлович потерял голову.

— Бессовестные девчонки! Вы разве не видите, что я взволнован, обескуражен, возмущен?

Начинающую быть тягостной сцену нарушил приход Егора Карнаухова. Девушки выскочили к нему в коридор и повлекли на улицу, не дав толком поздороваться с хозяином. Он лишь успел крикнуть: «Добрый вечер, Олег Павлович!», а ответ донесся к нему на лестничную клетку: «Добрый вечер! Это ты, Егор? Проходи».

— Да-а! — недовольный Егор отчаянно отбивался от подруг. — Вы что, девушки, красивых парней давно не видели? Прошу меня не тискать! Официально.

В скверике подруги усадили Егора на скамеечку и Светка выложила ему ужасающую новость.

— Если соврала, гадом быть, схлопочешь. Не погляжу, что ты слабый пол.

Но он видел, Светка не врет. Больше того, он не слишком удивился.

— Ладно... Вы ступайте пока домой,

— А ты?

Действительно, что делать ему. Надо повидать брата, вот что. Обязательно и тотчас же.

Они увязались за ним в милицию. От Светки Дорошевич, он знал, отделаться невозможно. Проще ее утопить в пруду.

В отделении дежурный сержант объяснил ему, что поздно, никаких свиданий сегодня быть не может, не положено, все начальство на покое. Света попробовала закатить истерику, однако сержант очень обрадовался неожиданному развлечению и крикнул куда-то за перегородку: «Гоша, иди быстрее сюда!»

В конторку, на ходу расстегивая кобуру, вымахнул рослый, ушастый милиционер в расстегнутой гимнастерке. Увидев, зачем его позвали, он предчувственно заржал, взгромоздился на лавку у стены и приготовился, как в театре, наслаждаться зрелищем, сколько удастся долго.

Наташа еле увела взбрыкивающую Светку и Егора. Он замороженно слушал дерзкие Светины рассуждения о тупом милицейском бюрократизме, о разнице между инструкцией и живым человеком, когда же она прекратила недозволенные речи, то вдруг Егор запиликал на тоненькой струне.

— Пустите к брату, товарищ милиционер! Мама больная, что я ей скажу... Пустите, прошу вас... к родному брату, хоть на минутку!

Света, услышав это нытье, вдруг осознала, что все происходящее не игра, не забава, специально для нее придуманная, — подурнела, юбку одернула. Обоих Наташа вывела под руки на крылечко.

— Может, домой сходим к Голобородько. Это их начальник. Я знаю, где он живет.

— Конечно, — встрепенулся Егор, — скорее, скорее!

Три квартала они пробежали бегом, взмокли. К капитану Егор отправился один, оставил подруг около подъезда. Его не было с полчаса. Вышел он с какой-то синенькой бумажкой в руке, торжествующий.

— Вот разрешение! — помахал бумажкой с видом победителя.

Прочитав записку, дежурный вылез из-за перегородки, поправил ремень на поясе.

— Вы, девочки, погуляйте на улице. Здесь вам обретаться не след... А ты ступай за мной.

Он провел Егора длинным, плохо освещенным коридором, отпер одну из дверей, предварительно заглянув в глазок.

Старший брат лежал у окна на широком, низком, деревянном топчане, где с успехом могли поместиться еще человек десять.

— Потолкуйте, братья... Скоро приду. — Сержанта почти втолкнул Егора в камеру и замкнул за ним дверь на засов.

Егор осторожно приблизился к брату и присел на краешек нар. Он хотел произнести заготовленное, то, что велел ему сказать Голобородько, но никак не мог начать.

— Братушка, — неожиданно выдал он, подобно отцу, давно забытое слово, прозвучавшее как просьба. — Братушка, что же ты так...

— Тебя кто прислал? — Викентий сухо кивнул на дверь. — Они?

Имел ли он в виду родителей или милицию — непонятно.

— Нет. Я сам пришел. Еле упросил, чтобы пустили. Ты теперь, Кеша, подследственный. Тебя повидать целая история... Капитан, правда, велел у тебя вызнать, кто твои дружки. Он так сказал мне: ты его ни о чем не спрашивай, он тебя — ты, то есть, меня — о чем-нибудь сам попросит... Ну, а я уж потом должен ему передать.

— И ты согласился?

— Согласился. — К горлу подступила спасительная злость. — Откуда я знаю, что мне делать. Он обещал, вроде тебе это на пользу будет... Я почему знаю. Скажи мне, что я должен сделать, — я сделаю... Я молодой, в таких делах не участвовал и не собираюсь участвовать.

— Не хами, Егор. Придержи язычок!

— Придержи?.. Это я от тебя много раз слышал. Дома. Теперь здесь... Ты старший мой брат, на двенадцать лет старше, чему ты меня научил? Язычок придержать? Я жить не знаю как надо... Тебе хоть за то спасибо, что научил, как не надо. Я на тебя всегда смотрел и боялся, что тоже так буду жить... из угла в угол, молчком. Ты думаешь, я твоих дружков не знаю?.. Знаю. Младшие братья все знают про старших. Это ро-

дители не знают, а я знаю. Я мог сразу капитану называть.

— Почему же не назвал?

— Да уж не из-за тебя... Поостерегся как-нибудь рикошетом бате с мамой не навредить. Послушай меня, Кеша. Назови их сам, пожалей стариков. Ты ведь не главный, у тебя жила тонка главным быть... Может, тебя вообще отпустят. Уедешь из Федулинска... Хочешь, вместе уедем?

— Ну-ну, дальше. Я слушаю.

— Хочешь дальше. Пожалуйста... Ты в этой компании, я знаю, был на побегушках. Главный у вас черномазый такой, на корейца похож. Он раньше джинсами спекулировал. Подонок! Кеша, пожалей стариков! У нас батя человек, каких нету. Зачем ему перед смертью позор. Он умрет, а ты после того долго будешь жить... Но запомни, брат! Я тебе покоя не дам, никогда не прощу. Ты на спокойную счастливую жизнь не надейся теперь.

Что-то сломалось в лице Викентия, поплыли его глаза к потолку, он вжался в нары.

— Ты за что меня так, Егор? Тебе я какое зло причинил? У меня беда-то, не у вас. Меня бы пожалеть надо, вот как. Мы братья с тобой, Егор. Твой отец и мой тоже отец. За что ты-то так?

Егор вытер рукавом рубашки мокрое от душной испарины лицо. Он сказал то, что пришло ему в голову только сейчас:

— По крови родство — не главное родство. Ты отца и мать предал, Кеша. Ты торговал, теперь тобой торгуют. Черномазый и тот... с двумя фиксами.

— Хочешь, чтобы я их выдал?

— Да, хочу. Я слов не боюсь. Да, выдал.

Викентий заплакал, не пряча глаз, неумытое лицо его стало грязным от слез.

— Я их выдам, а ты потом и этого мне не простишь... Я ведь правда не виноват. Испугался. Они сказали: иди, толкни, сотняги две отвалим. Я спросил: «Чье золото?» Они сказали: «Наше, наше!» Я знал, что не ихнее, откуда у них быть золоту, а рассудил так, почему бы и не быть, если они сто лет так спекулируют. Нажили, теперь продают. Испугался я, брат. Убить они меня не убьют, а поувечить могут спокойно.

— Стыдно, Кеша. Еще стыдней, что я, сопляк перед тобой, тебя стыжу. Во, ты докатился как!

— Ерунда все это, брат, брызги жизни, как Сива говорит. Ничего этого нет, пустое... Я вот мечтал, у меня мечта была, хотел красиво полюбить, и чтобы меня красиво полюбили. Нарочно никого не заводил, не женился. Мне с мечтой веселее было. Ты другой, ты не поймешь... Отец мог бы понять... Я не конкретную женщину хотел, понимал — это у всех одинаково, да и у меня бывало. Видишь, не умею тебе объяснить. Может, я для поэзии родился, для музыки. Может, я в себе такую музыку слышу, которую никто не слышит... Брат, брат! Стыдно, говоришь? — лениво повел рукой по стенам. — Нет, за это мне не стыдно. Родиться, отбарабанивать все, что тебе положено, потом лечь и, как животное, в вони помереть — вот стыдно, да.

Теперь Егор хорошо понимал брата, жалел, что раньше никогда так не поговорили душевно.

Шаги прогрохотали по коридору и спрятались за дверью.

— Подслушивает, — Викентий улыбался чуть капризно. — Пусть подслушивает, служба... Скажи старикам: ошибка это. По ошибке я сюда загремел, скоро выйду. Голобородько ничего не говори... Я сам, наверное, все-таки... А ты меня не оставишь одного, Егор? Если они мстить будут.

— Мы им, гадам, уши-то пообрываем. Мы их научим родину любить. — Егор был уверен: он кому угодно уши пообрывает за брата. Представился бы случай.

Дверь распахнулась бесшумно.

— Выходи!

Егор крепко, со всей силой сжал влажную руку брата.

На улице стемнело, он и не заметил когда. Девушки переминались на углу.

— Ни в чем он не виноватый, — не ожидая вопроса, объявил им Егор. — По недоразумению забрали, спутали с кем-то. Вы бы не трепали языками, если можно. Очень вас прошу. Особенно тебя, Светка. Ты же, чего узнаешь, сразу на площадь бежишь.

Наташа нервничала: сколько времени она не была дома, и каждую минуту мог позвонить Афиноген. А она

тут прохлаждается. Заранее ведь было ясно, все это очередная Светкина штука. Милиция, преступление, что это такое? Ничего такого нет на свете.

— До свиданья, — сказала она. — Вы сколько хотите играйте в свои приключения, я побежала, мне некогда. В другой раз еще с вами поиграю, теперь некогда больше.

— Чокнутая, не обращай внимания. — Светка обернулась к Егору, погладила нежно его плечо. — Ты в нас не сомневайся, Егорша. Мы тебе преданные друзья. А с кем его спутали?

Егор плюнул, чуть не выругался, не отвечая зашагал прочь. Он двинул в одну сторону, Наташа в другую, а Света Дорошевич осталась временно на месте, в рассуждении, где она нужнее. Сообразила все же, догнала подругу.

— Натка, Натка! Все-таки я точно права, это из-за той женщины в зеленом парике. Помнишь, я тебе ее показывала...

8

В среду отдел Карнаухова с утра напоминал не учреждение, где люди работают, а скорее большую коммунальную квартиру, озабоченную неким событием, затрагивающим судьбу каждого жильца. Слух об уходе Николая Егоровича на пенсию, доселе вяло обсуждавшийся как возможная, но неопределенная во времени перспектива, приобрел реальность в связи с вызовом Карнаухова к директору. Недоброжелатели во главе с Клавдией Серафимовной Стукалиной, так и не простившей Карнаухову двурушничества в истории с курильщиками, откровенно радовались, не таясь обсуждали возможных новых кандидатов на пост начальника отдела. Странники Карнаухова, каковых было немало, в основном из числа людей, проработавших в отделе не один год, толпились в коридоре или в местах, отведенных для курения, почти не разговаривали, вздыхали и понимающе кивали друг другу. Равнодушные — те, кому было все равно, кто станет заведующим, — охваченные общим волнением, переходили от группы к группе, отпускали колкие шуточки и попросту наслаждались как бы кем-то свыше санкционированной возмож-

ностью побездельничать. Были и такие, как Виктор Давидюк, который делал вид, что ничего вокруг не происходит, и, бросая вызов коллективу, не отрываясь строчил за столом обычную свою тягомотину. Так или иначе, вопрос о скорой смене заведующего всех волновал и всех касался. Отдел, выбитый из обычного рабочего ритма, кипел и выплескивал возбуждение на другие этажи.

Николай Егорович собрал у себя в кабинете начальников группы, как нив чем не бывало, дотошно обсуждал и утрясал с ними квартальные планы. Вид у него был несколько помятый и усталый, что дало Стукалиной основание ехидно заметить: «Наш-то, видать, запил с горя!»

Карнаухов неожиданно публично распек Инну Борисовну, отвечавшую за своевременное составление сводки по показателям группы «С». Раньше он никогда себе этого не позволял. Инна Борисовна до того напугалась, что на требование объяснить, почему сдача сводки задержана на три недели, ответила невразумительно: «Фролкин постоянно занимает телефон. Нельзя никуда дозвониться!»

Этот наивный ответ вызвал сочувственные смешки. Инна Борисовна залилась краской и выскочила из кабинета. Стукалиной, в этот день без устали бродившей из конца в конец этажа, она сообщила, что шеф наплевал на все правила приличия и набрасывается на сотрудников, как император на своих рабов.

— Ничего, — успокоила ее Клавдия Серафимовна, — теперь недолго ему буйствовать и куражиться. Укорот ему скоро выходит.

Перед самым обедом случилось маленькое событие, убедившее всех, что тучи над Карнауховым сгущаются. В кабинет позвонил Кремнев и осведомился, где находится Сухомятин. Георгий Данилович присутствовал на совещании и, сообразив, что его разыскивает начальник отделения, нацелился принять трубку из рук Карнаухова, но тот резко бросил ему: «Сидите!» — трубку не дал и при этом чуть ли не толкнул в грудь. Он сам ответил Кремневу:

— Юрий Андреевич, у нас идет производственное совещание. Присутствие Сухомятина необходимо... Да, он зайдет к вам попозже.

В течение следующего часа Сухомятин сидел как на иголках, лоя на себе иронические взгляды товарищей. Он до того извертелся, что Карнаухов вынужден был его спросить:

— Вам нездоровится, Георгий Данилович? Что с вами?

Сухомятин извинился и заверил, что с ним все в порядке. Про себя он думал: «Эх, Карнаухов! Ведь у тебя это агония. Это мне тебя надо спрашивать про здоровье. Отдел-то скорее всего я у тебя приму. А если нет? Если и на этот раз меня обойдут?» Дома Сухомятин давно «просчитал» всех возможных кандидатов из числа замов, начальников групп и даже заведующих другими отделами. По всему выходило, его шансы предпочтительнее. Объективно предпочтительнее да плюс доброе расположение товарища Кремнева, рекомендация которого, конечно, сыграет не последнюю роль. Может быть, этот звонок и был для него сигналом. Сухомятин испытывал утомительное чувство раздвоенности: должность заведующего не слишком привлекала его — она давала ему лишние сорок рублей в месяц, мнимую самостоятельность (в том, что самостоятельность мнимая, Сухомятин не сомневался, он хорошо освоил структуру отношений в их институте), с другой стороны, на его плечи ложилась вся тяжесть ответственности за работу отдела. При всем при том он чувствовал, если его не назначат на эту малопривлекательную должность, он будет огорчен и подавлен, как никогда прежде. Его давно не манила ни сладость пусть иллюзорной власти над людьми, ни другие преимущества руководящего положения — слишком много раз он убеждал себя в суетности подобных преимуществ. Ему необходима была какая-то перемена, весь организм его — нервы, ум — настойчиво требовал движения, какого угодно — вверх, в сторону, — но обязательно движения. Сухомятин не мог больше торчать на одном месте раз и навсегда воткнутому в землю сучком. Эта отупляющая неподвижность наводила его на пустые и вредные размышления.

В просторный кабинет Кремнева, где прежде всего в глаза бросалась пуританская антимодерная строгость обстановки, он вошел взбудораженный и полный предчувствий.

— Как кончилось совещание? — поинтересовался Юрий Андреевич.

Сухомятин помедлил, пытаясь уловить, чего ждет от него Кремнев. Он не был подхалимом и никогда сознательно никому не угождал, однако исподволь в нем выработывалось убеждение: начальству лучше говорить то, что оно желает услышать, особенно когда речь не идет о принципиальных вопросах.

— Кончилось, Юрий Андреевич, так же, как и началось — ничем. Попереливали из пустого в порожнее и разбрелись. Мне кажется, на подобных совещаниях следует устанавливать регламент, как на партсобраниях, чтобы каждый не лез во что горазд. У нас ведь как: стоит человеку открыть рот — он столько нагородит, столько сторон разных затронет, что уже невозможно отличить, где главное, где второстепенное. Старинная русская привычка к краснобайству хороша в застольях, никак не на деловых совещаниях.

— Георгий Данилович, вы проговорили ровно три минуты. Однако вы правы, правы... Думаю, немаловажно, кто проводит подобные совещания.

— Конечно, конечно.

Сухомятин смущенно склонил голову, напрягся. Вот оно.

— Вам не кажется, что Карнаухов в последнее время излишне медлителен, несколько как бы начал уставать? Не будем закрывать глаза на его возраст, пенсионный возраст.

Сухомятин хмыкнул неопределенное: «Да-с».

— Это было бы его личным делом, если бы не показатели. А они в упадке. Вы, заместитель Карнаухова, не хуже меня понимаете: отдел часто пробуксовывает. В чем причина? Да, да, ответьте. В чем, по-вашему, причина?

Георгий Данилович теперь отлично понял, какого ответа ждет от него Кремнев. Понимал он и другое — вряд ли Карнаухов виноват в плохой работе целого коллектива. Было время, когда этот же самый отдел, почти с теми же работниками, под тем же руководством числили в передовых... Что-то изменилось — но где, в чем? В первую очередь изменились требования, вырос, расширился институт. Скорости, пригодные года три-четыре назад, нынче оборачивались черепашьям шагом.

Качество разработок не соответствовало больше уровню даже не института, нет, а какому-то другому, осязаемому пока лишь на бумаге уровню. На окрепшем и разветвившемся предприятии появились службы, которые запараллеливали функции отдела, но не подчинялись Карнаухову. Подавая свои прогнозы, не всегда совпадавшие с прогнозами отдела, они, тем самым, вставляли им палки в колеса, создавая видимость неразберихи. Прибрать эти службы к рукам Карнаухову не удалось и не могло удаться по той простой причине, что, существуя реально при других отделах, они никак не именовались в штатных ведомостях, в отчетности, представляя собой нечто похожее на доходные прикладные промыслы, которые расчетливый председатель создает у себя в хозяйстве.

Было еще множество нюансов, объяснять которые не имело смысла, потому что Кремнев не мог их не знать и не учитывать. Спрашивая «в чем причина?», он надеялся услышать короткий и исчерпывающий ответ: «Причина в слабом руководстве отделом, а именно в халатности Николая Егоровича Карнаухова».

Мог так ответить опытный и предусмотрительный Сухомятин? Мог, разумеется. Было бы это честно? А какая, в сущности, разница, если сама постановка вопроса некорректна. Высшие инстанции решили отправить Карнаухова на пенсию и обратились к нему, заместителю заведующего, за поддержкой. Хотя вполне могли бы обойтись и без него. Закон-то на их стороне.

И все-таки что-то мешало Сухомятину без лишних проволок назвать фамилию своего заведующего. Слишком все это походило на вызов свидетеля в суд. «Знаете виновника?» — спрашивает следователь. Ответов два: «да» или «нет». Сухомятин напрягся и придумал третий: «Виновника не знаю, но предположить могу». В кабинете Юрия Андреевича ответ прозвучал в несколько иной форме:

— Видите ли, — изображая глубокое беспокойство, произнес Сухомятин. — Причин может быть несколько. Как одну из них, могу предположить некоторую нечеткость руководства отделом со стороны Карнаухова. Повторяю, как одну из них.

«А, съел? — подумал Сухомятин не без злорадства, и тут же содрогнулся, сообразив, что, возможно, уклон-

чивым ответом ставит крест на собственном продвижении. Вместо того чтобы попытаться, пока не поздно, перестроиться, он заторопился и добавил:

— И я виноват не меньше других. Конечно! — Кремнев улыбнулся с одобрением: мол, держись, Жора, не все у тебя еще потеряно.

— Дорогой Георгий Данилович, будем откровенны. Для меня не имеет значения, кто возглавит отдел. То есть не имеет до тех пор, пока отдел функционирует нормально. Понимаете, какая тут есть психологическая петрушка? Для меня отдел — его удачи и его неудачи — представлен в основном в лице одного человека: его руководителя. Хорошо работает отдел, и этот человек мне дорог; плохо работает — я постараюсь избавиться от такого заведующего. Скажу больше, я понимаю, о чем вы про себя думаете... Да, я даю себе отчет в том, что, заведя речь о развале отдела, мы несколько сгущаем краски. Да, с таким же успехом можно попытаться изобразить картину и навыворот... Но надо думать о перспективе, о завтрашнем дне. Надо планировать тенденцию, а не отдельные мероприятия: Меня, если хотите, не устраивает стиль работы Карнаухова, его медлительность, его такая склонность к философскому обдумыванию, его постоянные ссылки на объективную реальность, в конце концов его мягкость, непростительная мягкость по отношению к нарушителям дисциплины. Все эти качества, простите меня, более уместны в воспитании мудрым дедом любимого внука. Какой-никакой, а у нас конвейер. В этом, надеюсь, не нужно вас убеждать? Мне во главе отдела требуется человек, который чутко улавливает ритм конвейера, а не пытается постоянно философствовать. Мне нужен работник, а не мыслитель, хотя и на место мыслителя я, скорее всего, предложил бы другую кандидатуру. Вы можете упрекнуть меня, что я хочу воспользоваться стечением обстоятельств. А я этого и не скрываю. Да, царствование Карнаухова представляется мне бесперспективным, и я пользуюсь временем для смены караула, установленным отнюдь не мной, другими, поверьте мне, грамотными и сведущими людьми... Уйдет Карнаухов, уйду в свой срок и я, и вы — институт останется, и он должен развиваться и набирать темп. В конечном счете, каждый на своем месте, все мы поставлены, чтобы способство-

вать этой центральной идее... Вы согласны со мной?

Сухомятин глубокомысленно кивнул.

— Отлично. — В этом месте Юрий Андреевич снизошел до сомнительного комплимента. — Мне всегда было приятно обмениваться с вами соображениями. Ладно, достаточно слов, перейдем к сути, тем более что между нами не осталось недоговоренного... В ближайшее время, желательно в понедельник, мы проведем общее собрание отдела с привлечением заинтересованных товарищей со всех участков института... Собрание необычное. Некий творческий отчет о работе отдела. Таковую форму отчетов, кажется, мы раньше не практиковали. Ведь не практиковали?

— Нет, кажется. — Сухомятин понял: началось главное. Кремнев, как обычно, вел разговор предельно сухо, по-деловому, и все-таки Георгию Даниловичу казалось, что над ним слегка подсмеиваются, слегка подсмеиваясь, подталкивают его коленкой пониже спины. Он отнес это ощущение на счет своей всегдашней подозрительности. Так ему было удобнее. Не пешка же он в конце концов в этой игре. Он — будущий заведующий. А если нет?

— Вам, Георгий Данилович, придется взять на себя самую ответственную часть, — вы подготовите основной доклад с анализом, с беспощадным анализом, без всяких двусмысленностей. Все точки над «и» мы на этом собрании расставим, я надеюсь. Не хотелось бы пускать отчет на самотек. Правильно? Наверное, нелишне будет поговорить с товарищами, как-то настроить, чтобы не разыгралась стихия, которую вы так метко окрестили краснобайством. Цель и смысл вашего выступления — вскрыть недостатки и сделать выводы.

— Сколько минут мне...

— Сколько хотите. Учтите, Карнаухов так просто не отступит. Он тоже будет готовиться.

«Сталкивают лбами», — жалобно подумал Сухомятин, но не испугался. Они теперь разговаривали почти как заговорщики, и он еле удержался, чтобы открыто не спросить: кто будет заведующим? Удержал его единственно металлический блеск глаз Кремнева, тот блеск, за который, возможно, любили Юрия Андреевича женщины. Сухомятину он не нравился. Человек с таким блеском отчасти напоминал ему робота, но даже робот

не станет же гробить своих добросовестных помощников.

Из кабинета начальника отделения Георгий Данилович вывалился с чувством человека, извлекшего кошелек с деньгами из помойного ведра. Лицо его расплывалось в радостно-виноватой улыбке. Первым делом он уединился на этаже с Клавдией Стукалиной. Ум этой женщины, изощренный в борьбе с курильщиками, не нуждался в долгих объяснениях. Не понадобилось даже намекать, чего он от нее ждет, какого рода поддержки. Наоборот, пришлось удерживать ее от слишком бурного проявления энтузиазма.

— Весь народ за вас, — возбужденно завершала она, — ждем не дождемся, когда же уберут этого... Вы, Георгий Данилович, только скажите, когда выступать, только знак подайте.

— Да нет, я не про это. — Сухомятин досадливо поморщился. Стукалина багровела нехорошим азартом, и ему было стыдно, что приходится обращаться за советом к ограниченной, почему-то обозленной на Карнахова женщине. Правда, другого выхода он не видел, с ней по крайней мере можно не бояться подвоха. Она будет предана ему до конца. «К сожалению, — подумал он философски, — не всегда мы сами выбираем себе сторонников».

— Клава, надо, во-первых, нарисовать объявление, текст я вам составлю. В понедельник будет собрание отдела, общее. Во-вторых, хочу просить вас выступить на этом собрании. Так сказать, от лица низовых сотрудников.

Стукалина держала нос по ветру.

— Не беспокойтесь! Я так выступлю — гром прогремит. Я ему устрою финскую баню! Никогда прежде не выступала, не люблю, а тут выступлю, постою за справедливость.

— Отлично, — голосом Кремнева похвалил он. — Хотелось, чтобы и другие наши товарищи не отмалчивались. Это будет откровенный нелицеприятный разговор. Довольно шептаться по углам.

— Выступлю! И другие выступят. Измучился народ под его начальствованием, натерпелся унижений. Инна Борисовна выступит непременно... Кабы еще этих урезонить, никогинщиков. А то ведь они тоже, поди, по-

ползут на трибуну. Кабы им заранее хвосты прищемить.

— Как?

Стукалина надулась коварством, как шар водородом, понизила голос до глухого пощелкивания; хотя никто их не мог слышать, коридор был пуст — обеденный перерыв.

— Главный заводила у Карнаухова, собутыльник его Мефодьев Кирилл Евсеевич. Он из ума-то давно выжил, но может скомпрометировать. К нему некоторые по глупости прислушиваются. Его в этот день отослать бы куда-нибудь подальше... Я после придумаю. Хоть бы и звонок из райкома организовать — он же парторг. Мальчишки еще, сопляки наши отдельские, куряки которые, — им бы только дай языками потрепать. Хорошо ихний самый жуликоватый в больницу угодил. Допредставлялся, голубчик.

— Данилов?

— Генка, он. У него вместо человеческих слов яд изо рта вытекает. С ним в комнате Наталья Иосифовна работает, женщина культурная, робкая, четверо детишек у ней. Жаловалась мне! Бывало, наслушается его диких признаний — ночами после мается, не спит. Почему, я вас спрашиваю, дозволено изголяться над пожилой заслуженной работницей? Кто дал такое право? Ну, мы-то с вами знаем кто.

Легок на помине, вышел из своего кабинета и повравнялся с ними Николай Егорович. Как обычно, шагал он тяжелой походкой, смотрел прямо перед собой, но зорко все примечал. Сухомятин от неожиданности покраснел, как краснел давным-давно в безмятежные юные годы, пойманный учителем на списывании. Клавдия Серафимовна поздоровалась ангельским голоском:

— Добрый день, Николай Егорович! Покушать решили?

— Здоровались утром, Клава. По воздуху пройдусь немного. Вы, Георгий Данилович, загляните ко мне после обеда.

— Хорошо.

Карнаухов миновал их, вдруг остановился, обернулся, словно что-то припомнил.

— Клава, передайте Инне Борисовне, пусть тоже ко мне зайдет.

— Непременно, Николай Егорович, непременно.

Карнаухов скользнул по ним невеселой улыбкой, казалось, он нес в себе какую-то суровую думу, а здесь в разговоре она выскользнула невзначай — поди догони. Сухомятин ничем не мог ему помочь. Они работали вместе несколько лет, по-разному складывались их отношения, всякое бывало: ссоры, непонимание, взаимные упреки, — но ни разу Карнаухов не унизил своего зама, не использовал своего положения начальника. Зато нет-нет да и ловил Сухомятин на себе эту потерянную, невеселую улыбку, ни на ком другом не ловил, а на себе ловил. Что она означала?

Николай Егорович вышел во двор и свернул за угол административного здания. Тут начиналась липовая аллея, которая шагов через двести приводила к небольшому искусственному пруду. Возле пруда под сенью деревьев были расставлены скамеечки и столики; здесь обедали летом те, кто предпочитал приносить еду из дома. Большинство сотрудников института либо питались в здешней очень приличной столовой, либо успевали за час обернуться домой. Карнаухову обеды готовила жена, но сегодня ему просто неволею было идти к ней. Чем он мог ее утешить? Утром, улучив минутку, он позвонил Голобородько, и тот дал ему телефон следователя. Голобородько ничего не сказал путного, уклонился, хотя Николай Егорович напомнил ему о давности их знакомства, о том, что федулинские старожилы должны поддерживать друг друга. Следователь тоже мычал что-то невразумительное, но в голосе его по сравнению со вчерашним появились какие-то извиняющиеся нотки, — Карнаухов догадался: новости есть, плохие или хорошие, но есть, и решил сразу после работы заглянуть в милицию.

За одним из столиков на свежем воздухе попивал молочко и грыз сухарики Кирилл Евсеевич Мефольев. Увидев Карнаухова, он приглашающе махнул рукой.

— Угости сухариком, — присев, попросил Карнаухов.

— Бери. Тебе, Коля, надо полный обед съесть. Ты худеешь, я замечаю.

— А ты по-прежнему, как английский лорд, обедаешь по вечерам?

— Так для здоровья полезнее.

Мефодьев выбрал удобный столик: в тени, с видом на пруд. Неподалеку закусывали другие люди — в основном молодежь. Понятно было, почему они тут пробаваются кефиром и хлебом. Получка через день, а семьями они пока не обзавелись — это были ребята из общежития, строители и молодые специалисты. Поедали они свой скромный обед беззаботно, с шуточками, щедро бросали кусочки хлеба в пруд, на потеху рыбкам.

— Как они, настроения? — спросил Кирилл Евсеевич, глядя на старинного приятеля с состраданием и еле заметной насмешкой. — Хотят, я слышал, тебя отпочковать из наших славных рядов?.. Учил я тебя, Коля, не лезь в начальники. Еще когда предостерегал, вспомни, — лет двадцать назад. Тут тогда пруда этого не было, и вон тех корпусов не было... Тебе, видишь, захотелось возвыситься над людьми, теперь пожинай плоды. Меня вот никто не трогает, хотя мне, по секрету сообщу, шестьдесят шесть годиков. Ешь, ешь сухарики, угощайся. На, молочка хлебни, не побрезгуй. Самый полезный продукт — пастеризованное молоко. Пей три бутылки в день, как я, и никакая хворь тебя не одолеет.

Николай Егорович отхлебнул большой глоток и не почувствовал вкуса. Молоко холодом ознобило горло.

— Ты что, в холодильнике его держишь?

— А как же. Маленькие удовольствия и нам, рядовым сотрудникам отдела, доступны.

— Послушай, рядовой руководитель группы, у тебя сын вроде на юриста учился?

— Учился. И выучился. В Москве обитает в качестве адвоката. Хочешь, чтобы он тебя на работе сохранил? Это можно... Давай мне задаток — сто рублей, я ему напишу письмо. Он ко мне прислушается, уважает отца.

Очень захотелось Карнаухову поделиться своей бедой со старым товарищем, с кем еще мог он обсудить положение, посоветоваться, да язык не поворачивался. «После как-нибудь», — подумал. Все же что-то в нем за эти грустные дни набродило такое, что требовало исхода, перло наружу, как бражка в щель. Не мог он так глупо перегорать внутри себя, не имел права, слишком много сил это отнимало, никуда не направленных сил.

— Хочешь знать, почему мне тяжело, Киря? Дума-

ешь, потому, что начальство решило от меня избавиться? Нет. Хотя и это имеет значение. Не чувствую я особой вины за собой, не нахожу, что отдел зашился. Тем более недостатки я сам вижу ясно и, думаю, смогу их исправить. Особенно торопиться тут нельзя. Люди не машины, и шестеренки у них не металлические. Ситуация такая, что прежде институт рос, как растет ребенок. Нужнее всего на этой стадии ему были витамины роста, рыбий жир. Теперь задача иная. Научить выросшего ребенка понимать свои возможности, свою новую мощь, заставить его работать как положено взрослому человеку, без скидок и слякучиков. Наверное, свежему человеку легче это сделать, но смогу и я... Да не про то я тебе хочу сказать. Мне горько, Кирилл, что люди, которые меня хорошо знают, с которыми столько вместе работали, вроде бы ждут не дождутся моего ухода. Я вижу. Ходят, шушукаются. И в глазах почти у всех какое-то жадное нетерпение. Будто любят со стороны, как другие охотники загоняют дичь в силки. Мне не столько за себя горько — и за них тоже. Я, возможно, в людях разочаровываюсь на старости лет. Может такое быть?

— Непонятно... Ты ожидал, что слухи о твоём уходе вызовут волну самоубийств, как смерть Сергея Есенина, а тут — на тебе, равнодушие.

— Не надо так со мной, Кирилл! — попросил Карнаухов.

— Не надо? А если мне стыдно от тебя такое слышать?.. Азы психологии коллектива тебе-то уж пора понимать. Не думал, что ты разнюнишься. Отыскался, господи, отец солдатам, слуга отечества. Коля! Коля! Ты же руководитель: для нас, рядовых, ты не обычный человек. В любопытстве, которое ты так тонко, по-девичьи подметил, может быть скрыто не равнодушие, но и восхищение. Люди ждут, как ты выпутаешься, ждут от тебя очередного примера, урока. Они привыкли учиться у тебя... Никому и в голову не придет, что ты можешь так мандражировать.

— Все?! — рявкнул Карнаухов.

— Вот теперь я тебя узнаю. Не ори только, я постарше тебя. Умей уважать возраст, мальчишка... Конечно, Коля, есть в отделе товарищи, которые рады твоей отставке. А как же? Человек слаб и завистлив, врагов

нет только у того, кто боится их заводить. В любом коллективе при тесном скоплении народа всегда плетутся какие-то мелкие интрижки, кто-то кого-то подсиживает, но ты, Коля Карнаухов, должен быть выше этого, выше базарной суеты. Если ты опустишься до уровня, прости, выражения чьих-то глаз, тебе надо самому бегом подавать заявление.

— Ты прав, — сказал Карнаухов. — Ты прав, и я тебя за это благодарю.

Мефодьев растрогался, дал другу допить молоко, сам выудил из заднего кармана пачку «Примы».

— Тогда, если я прав, послушай маленькую историю. Она случилась со мной лет восемь как тому. К нашему разговору годится. Не гляди, не гляди на часы — перерыв не кончился... Родом я, Коля, знаешь или нет, из-под Пскова. Мы псковские. Сколь на родине не был — страшно сказать, почти с войны. Да вроде и делать там нечего, семья здесь, которые дальняя родня, так, может, никого и не осталось, почему я знаю. Кто и остался, навряд ли признают. Так и жил, пока сердце не схватило. Как же так, думаю, скоро собираться пора окончательно, а я в родных местах не погулял. Так, знаешь, захотелось, мочи нет. Речка там, я помню, прудок. Деревня под бугром, за бугром — луга и железная дорога. Из деревни самой дороги не видать, а поезда слышно как гудят, особенно ночами, зимой. Вот ведь, Коля, сто лет не помнил, а тут стал припоминать, что ни день, то новое вспоминаю: то дерево какое-нибудь необычное, то мосток через речку, то лицо чье-нибудь. Имена тоже, события разные. Как по хозяйству хлопотали, коней пасли, рыбу в речке сеткой ловили... Вишь, готовили меня, готовили к крестьянской работе, а я убежал. Не сам убежал — жизнь увела... И так ведь ясно, ясно все вспоминаю: что ни день, то больше.

Пошел я тогда, Коля, в местком и попросил путевку в санаторий, в те места. Решил как бы совместить приятное с полезным. У нас там, я читал, хорошие санатории понаоткрывали для сердечников... Думаю, с земляками повидаяюсь и отдохну напоследок. В тот год мне путевку, конечно, не дали, а через два на третий звонят, приглашают: «Путевка для вас поступила, идите в исполком в такую-то комнату к такой-то».

Пришел я к такой-то, встретила она меня вежливо, помогла все оформить и при мне позвонила к нам, не знаю уж кому точно, в институт. Говорит: «Мефодьеву путевку выделяем вне очереди... хотя, учтите, она плановая». Я этих тонкостей, естественно, не понимаю, какая мне разница, как они путевки добывают, — не мое, в общем, дело. Слышу с той стороны что-то, видно, ей возражают, моей благодетельнице. Она же твердо объясняет, что кавалер орденов, четверть века на предприятии, как вам, мол, не стыдно... И бросила трубку! Я поинтересовался: в чем дело? Она отмахнулась: «Бюрократия там у вас, ну мы их поправим. Езжайте, товарищ Мефодьев, желаю вам приятного отдыха и всяческих успехов!» Расстались как родные.

Возвращаюсь я к себе довольный и счастливый, — что такое? Как будто в другое место вернулся, не туда, где постоянно работал. Коллеги мои поглядывают косо, чего-то скрывают, в глазах, как ты, Коля, любишь говорить, какое-то нетерпение и раздражение. Гадаю я про себя, чем вызвана такая перемена, — может, думаю, они таким образом радуются за меня, что я отдыхать еду на родину. Хотел уже объявить, что в субботу приглашаю всех в гости по случаю отпуска и путевки. Только было заикнулся — вбегает наша любезная Клавдия Серафимовна, зачем — неизвестно. Покрутилась так между столов и произносит в сторону окна: «Какие у нас деликатные воспитанные люди работают. Приятно поглядеть. Женщинам место уступают, в магазине без очереди не лезут. Зато уж единственную путевку могут с руками оторвать. Тут уж на дороге им не стой, кавалерам нашим». И — шашть из комнаты.

Опять я не придал значения болтовне пустой женщины, зная хорошо ее характер. Другие-то, думаю, поймут, как дело обстоит. День-другой выжидаю, чувствую, словно вакуум возле меня образовался. Вроде все и по-старому, а вроде и нет. Здороваются — в лицо не смотрят, в столовой за столом один сижу, с работы иду — один. И быстро так все, Коля, прямо в один момент совершилось. Я уж и сам начал считать себя злодеем, путевка карман жжет. Встречает меня Сухомятин, хохочет: «Ловко, говорит, вы общественность провели, Кирилл Евсеевич. Путевочка-то плановая.

На нее очередь имеется... Как вы это по-гвардейски сумели. Уважаю!» — «Ты, Жора, — отвечаю ему, — гвардию не трогай. Ты в ней никогда не был и быть не можешь». — «Почему?» Я не стал ему объяснять, прямым ходом в местный комитет. Обидно, конечно, как тебе сейчас. Первый раз за всю жизнь попросил путевку — и так влип. В комитете выложил им путевку на стол, сказал несколько попутных слов — в отпуск поехал за свой счет.

— Побывал все-таки на Псковщине?

— Побывал, Коля. Так славно побывал — возвращаться не хотелось.

Николай Егорович ухмылялся, закашливался дымом и выпускал его из ноздрей.

— Аллегории твоей никак не пойму.

— Я тебе как было рассказал. Как коллектив от меня отвернулся, пошел на поводу у Стукалиной... Выводы сам можешь сделать, тебя для этого начальником поставили на командную высоту. Часто, Коля, часто мы ходим благополучные и довольные и не подозреваем, что у нас в кармане чужая путевка.

Карнаухов поднялся, за ним поспешно Кирилл Евсевич.

— Я тебя обидел, Коля?.. Не сердись. Старческое у меня. Привык всех учить, самого бы кто поучил.

— Нет, ничего...

Они медленно брели к административному корпусу. Седые головы приятелей солнце поджигало, как через линзу. У Карнаухова было ощущение, что затылок его задымился, ощущение настолько реальное, что он потрогал макушку. Нет, не горит.

«Нет, не горит, — думал он, поглядывая на идущего с полуоткрытым ртом Мефодьева. Беспощадное солнце подчеркивало контраст между бледно-белой пергаментной кожей на висках друга, тонко натянутой, жалкой, и суровыми, глубокими, серо-коричневыми морщинками, стекавшими от глаз к подбородку и замыкавшими рот в плотно неживое кольцо. — Куда ни оглянешься — саднит сердце от жалости. Сколько маленьких, незаметных печалей окружают нас. Погляди, — не заплачь! — как весело-безмятежно бодрится человек, словно не замечает, не предвидит... Ну, ничего. Главное сейчас — сын. Старший сын. Лишь бы там все как-то утряслось».

Не часто в своей жизни Николай Егорович чувствовал себя таким беспомощным и подавленным, близким к совсем уж унижительным мыслям.

Не успел он войти в свой кабинет и набрать номер милиции: хотел еще разок посоветоваться — будь что будет! — с капитаном Голобородько: судя по всему, тот все же отнесся к беде Карнаухова с пониманием. Не успел он позвонить, как в кабинет элегантно вступила Инна Борисовна.

— Вызывали, Николай Егорович?

— Я? Ах да. Утром я был, видимо, несдержан. Извините меня, Инна Борисовна.

— Пустое, Николай Егорович. Я вас понимаю, что же, в таком состоянии...

— В каком состоянии?

Инна Борисовна, настроившаяся на доверительный обмен любезностями, смутилась.

— Да как же... конечно... возможно, это обычные наши сплетни. Я понимаю.

Карнаухов подбодрил ее доброжелательным взглядом.

— Не волнуйтесь, Инна Борисовна. Конечно, сплетни. Я пока никуда не собираюсь уходить. Благодарю, что вы так близко к сердцу приняли эту болтовню, переживаете за меня. К сожалению, не смогу этим объяснить Юрию Андреевичу задержку вашей работы. Я перед вами извинился за свой тон, суть от этого не меняется, дорогая Инна Борисовна. Извольте сдать мне материалы сегодня к пяти часам.

— Я не успею!

— Когда же успеете?

— Николай Егорович, зачем вы восстанавливаете против себя людей в такой обстановке. Никогда у нас не было подобной спешки.

— Теперь будет.

Инна Борисовна, с утра заведенная на скандал, возможно, приготовила слова, которые уязвили бы Карнаухова, но вовремя взглянула на него и... осеклась. Такого сосредоточенного, предостерегающего и насмешливого выражения она никогда прежде у него не замечала, он словно интимно спрашивал ее: а не выпороть ли тебя, сестричка?

— Я пойду к себе, Николай Егорович?

— Вы мне не ответили.

— Постараюсь завтра к обеду. Если понадобится, задержусь после работы.

— Спасибо, Инна Борисовна. Вы свободны.

Фертом вклинился в дверь Георгий Данилович Сухомятин.

— На нашей Инне косметика поблекла. Чем вы ее так проняли, Николай Егорович? Аж парик набок съехал.

Карнаухов усадил своего заместителя, несколько мгновений полюбовался пышущим его здоровьем и энергией. Глядя на него, можно было предположить, что отдел давно вырвался на первое место.

— Георгий Данилович, мне стало известно, что в отделе активно муссируется вопрос о моем уходе на пенсию. Я считаю эти слухи преждевременными, прошу вас, по возможности, их опровергать... Второе, в понедельник слушается творческий отчет нашего коллектива — я понимаю, вы в курсе. Не думаю, что следует рассматривать отчет, как мои проводы. Это слишком узко. Надо извлечь из мероприятий как можно больше пользы для дальнейшей работы, акцентировать внимание на самом важном: на рабочем процессе. Критика обязательно должна нести в себе позитивное начало, иначе она бесполезна и превращается в критиканство. Простите меня за эти прописные пожелания: конечно, вы сами решите, как вам лучше построить свое выступление. Далее. Хорошо, если подготовка к собранию поможет нам уяснить для себя самих некоторые конкретные позиции. Подключите к себе в помощь кого считаете нужным, составьте тезисы — я имею в виду, естественно, только рабочие тезисы, не эмоциональные, — не забудьте привлечь нашего уважаемого парторга Мефодьева. У него большой практический опыт, нельзя этим пренебрегать... В пятницу в два часа соберемся здесь у меня для окончательной координации. Вот, кажется, и все. Вы хотите что-нибудь мне сказать?

Георгий Данилович никак не мог уловить, впал ли его начальник в детство, валяет ли дурака или, маскируясь, проверяет его, Сухомятина, лояльность. Никак не мог он предположить искренней озабоченности делами отдела в момент, когда собственная голова Карнаухо-

ва, образно выражаясь, висела на волоске, — он торопливо прикидывал, имеет ли смысл сообщать заведующему о разговоре с Кремневым. Решил, что имеет, ведь факт встречи был известен всему отделу, и — умолчил он о содержании беседы — это может быть истолковано как вызов.

— Я хочу рассказать вам, о чем со мной беседовал Юрий Андреевич.

— Не стоит, — возразил Карнаухов. — Я и так догадываюсь. А вы попадете в неловкое положение.

— Однако, Николай Егорович...

— Не стоит, — более настойчиво перебил Карнаухов. — Но раз вы проявили такую готовность, — честно говоря, не ожидал, — я позволю себе дать вам еще один совет. Как старший товарищ. Я ведь старше вас, Георгий Данилович, почти на два десятка лет. Совет лирический и банальный, хочу, чтобы он вас не обидел. Но иногда некоторые простые вещи полезно напоминать людям любого возраста. Совет, знаете ли, такой. Не изменяйте себе, не поступайте своим внутренним достоинством. Стыдный поступок, как бы его ни оправдывать, всегда в конечном счете направлен против того, кто его совершает...

Георгий Данилович попытался вызвать в себе возмущение, это ему не удалось.

— Не хмурьтесь, дорогой мой. В том, что вы планируете занять мое место, нет ничего стыдного. Я не об этом... Я хочу просто напомнить и вам и себе, что большую часть времени жизни человек, как ни крути, остается наедине с самим собой. И отвратительно, когда встреча с самим собой становится нежелательной и тягостной.

— Не понимаю, почему вы говорите это мне. Таким вещам я сам давно учу своих дочерей.

Карнаухов засмеялся, обнажая желтоватые зубы, смех был неискренним.

— В том-то и дело, Сухомятин. И я учил своих. Одного сына уже доучил. Ладно... Скажите, пожалуйста, Сухомятин, почему мы с вами сохранили такие официальные отношения? Работаем, слава богу, не один год и даже ни разу не пытались перейти на «ты».

— Это уж как получится. Не могу знать. Я ничьей дружбы не ищу.

— Прекрасный ответ, достойный! А я, представьте, всю свою жизнь искал чьей-нибудь дружбы. Все мне ее не хватало... Простите, что так вас задержал.

Откланявшись, Сухомятин остался в полной уверенности, что заведующий впал в детство. Да, вряд ли в таком состоянии человек способен руководить десятками людей, современным отделом современного научно-исследовательского института. Пора Карнаухову переключаться на писание мемуаров... Непонятным образом разговор в кабинете Карнаухова освободил Георгия Даниловича от угрызений совести. При чем тут это: совесть, такт, — если человек явно стал заговариваться, несет какую попало чепуху.

Сухомятин заглянул к Стукалиной и с удовлетворением убедился, что работа над объявлением идет полным ходом. Клавдия Серафимовна священнодействовала над огромным куском ватмана. Ей помогала Инна Борисовна. Молодежь, Фролкин и Никоненко с добродушным видом спорили, как грамотно пишется слово «меморандум», и несказанно обрадовались появлению Сухомятина.

— Георгий Данилович! — окликнул Никоненко. — Скажите, пожалуйста, слово «меморандум» — вторая буква «и» или «е». Вы должны знать, как кандидат наук.

— «Е», — сказал Сухомятин. — Пора вам, ребятки, накачать грамотешку.

— О-о! — возопил Фролкин. — Георгий Данилович все на свете знает, все науки превзошел. А почему? Где причина непомерных знаний?

— Кроссворды потому что разгадывает, — ответил Никоненко.

Клавдия Серафимовна встрепенулась на звук голоса дорогого ей человека.

— Бездельники они оба, товарищ Сухомятин. Цельными днями лясы точат... По пачке в день яду выкуривают.

Сухомятин одобрительно улыбнулся и ей, и обоим парням, всем сразу.

— Как там Данилов? — вспомнил он. — Вы, кажется, к нему собирались вчера.

— Поправляется, — обнадежил Фролкин. — Аппендицит ему вырезали.

Никоненко сказал:

— К понедельнику выпишется. На собрание обязательно придет, Георгий Данилович.

Сухомятин уловил затаенный намек.

— Очень хорошо, что придет. Очень!

Как раз в эту минуту он кое-что решил для себя...

Карнаухов постучался и ждал. Громче постучал и опять ждал. Наконец ему крикнули:

— Ходи, кто там?!

Голобородько был не один, у него сидела женщина. Когда она обернулась, Карнаухов узнал ее — это была заведующая аптекой, фамилии ее он не помнил. Кажется, заведующая появилась в Федулинске вместе с аптекой, а то и раньше, бродила еще по строящемуся под аптеку этажу. Приметная женщина. Всегда с безупречной прической, модно одетая, ясноглазая, с детской улыбкой. Левая щека женщины не щека вовсе, а алый, туго натянутый шелк, начинающийся чуть ниже глаза и складками нависающий над губой. Обожжена, и ничем этого не поправишь. Смотреть справа, в профиль — красавица, счастливая и улыбающаяся, смотреть слева — урод с багрово-мраморной навсегда застывшей гримасой страдания. И как ты не делай вид, что тебе это безразлично, что ничего в этом нет необычного, — все равно про себя подумаешь: кому-то, возможно, придется видеть это двойное лицо изо дня в день, за завтраком и в постели. И еще подумаешь с горьким сожалением: она, конечно, догадывается о невеселых твоих мыслях, оттого и улыбается так беззащитно.

Голобородько пригласил:

— Садись, Николай Егорович, мы сейчас заканчиваем. Садись!.. Вы не стесняйтесь его, Матрена Карповна, это свой человек. Наш активист.

В другой ситуации — ах, как бы огрызнулся Карнаухов на такую шутку. Да уж где теперь. Хоть не гонят, и то спасибо.

— Значит, договорились, Карповна. Увидишь тех двух алкашей, позвони. Телефончик записала? Добре... Мы их выведем на чистую воду, у нас тут не Гонконг.

Капитан под руку проводил женщину до дверей, по-

кивал ей напоследок многозначительно. Карнаухов заметил, женщина изо всех сил старается повернуться к ним обоим здоровой щекой, для этого ей пришлось неестественно изогнуться, — еще раз пожалел несчастливцу, пожелал ей про себя всяческих радостей, какие ей доступны. Обратившись к Николаю Егоровичу, капитан сразу стал серьезным.

— Хорошие новости могу сообщить, хорошие. Ты вот меня вчера уколоть хотел, того не понимая, что служба наша особенная, похожая на медицинскую. Бывает, как сказать, нарочно стараешься человека из терпения вывести. Когда человек спокоен, он себя не показывает, какой он есть. Он себе на уме и виляет. Другой коленкор, если он в сердцах, в чувствах либо в приступе раскаяния. Тогда, понимаешь ли, все тайное становится явным. А сколь раз замечал: хороший человек и в гнев хорош, даже лучше делается, открытей; ну, а уж кто плох, из того в злости все дерьмо наружу прет. А для нас, милицейских служащих, как сказать, первое дело сначала хорошего от плохого отличить, дознание произвести, потом уже можно виноватого от невиноватого отшелушить.

— Что же, хорошие не бывают виновными?

— Бывают, но по другой статье. Вдобавок, хорошего мы иногда отпускаем на поруки, верим ему, и он, хороший человек, в котором дерьма почти нету, ходит по свободе до самого суда. А там уж, как сказать, не ранее, берем его под стражу.

Карнаухову стало невмоготу.

— Тарас Гаврилович, не мордуй ты меня своими хляцкими прибаутками. Что с сыном? Какие новости? Неужели не видишь, каково мне?

— Сына забирай домой!

Карнаухов потерял солидность.

— Оправдался Кеша! Умница! Сумел?

— Не оправдался, а отпускаем до выяснения обстоятельств. К вам просьба официальная от меня, Николай Егорович. Постарайтесь, по возможности, особенно по вечерам, придержать его дома, при себе.

— Запру. Как кутенка запру.

— Не торжествуй слишком, — остановил его капитан. — Скорее всего суд им будет. А уж пойдет ли он свидетелем или обвиняемым, во многом, понимаешь ли,

от него самого зависит. Да он в понятии парень, два часа ведь мы сегодня ворковали на этом самом месте.

За прошедшие сутки, с той минуты, когда Карнаухов узнал о задержании сына, он испытал много различных чувств: страх, обиду, недоумение, боль, желание действовать, жалость, — все эти чувства истерзали его и вымотали, он устал, будто после многодневной бессонницы, но стыдно ему не было. И только сейчас, пока он шел коридором от кабинета Голобородько к дежурной комнате, непереносимый стыд обрушился на него. Стыд за себя, за сына, за то унижение, которое он изведал здесь и которое не кончится с выходом из милиции, стыд перед людьми, перед Катей и особенно перед Егором, — весь этот огромный многоэтажный стыд сплющил его усталую голову. Судьба редко останавливается на полдороге. Если она берет человека за грудки, то уж постарается вывернуть его наизнанку. Чтобы измерить до дна, сумеет ли она доконать Карнаухова стыдом, судьба послала ему маленький недостающий нюанс: он увидел Викентия в компании с двумя хохочущими милиционерами. Он гадко кривлялся, изображая пьяного, и хохотал громче всех. Это был его старший тридцатилетний сын, достигший предела в своем падении.

Карнаухов приблизился сбоку, рывком отодвинул сержанта, приподнял сына сзади за ремень и с силой толкнул его к выходу.

— Папа, ты что?!

Из глубины глаз глянул на Карнаухова родной, забытый, перепуганный маленький мальчик, в отчаянии и слезах.

— Прости меня, Кеша, — сказал Карнаухов, давась и проглатывая свой стыд, — прости за все, что раньше было. Вставай, и пойдем домой! Мать заждалась...

Афиноген проснулся от мгновенного кошмара, ему показалось, что рядом болото и в нем с глухими стонами тонет человек. Оглушающе квакали лягушки, чавкала, засасывая страдальца, трясина. Стряхнув наваждение, Афиноген открыл глаза и увидел, что в палате утро. Гриша Воскобойник мирно спит, а Кисунов вы-

полняет на своей кровати дыхательные упражнения по системе академика Микулина. Впечатление было такое, что Кисунов бьется в судорогах после укуса кобры. Он с хрипом набирал в грудь воздух, стремясь, вероятно, захватить весь кислород, который был в палате, горбом выгибал живот, замирал в этом противоестественном положении на несколько секунд, потом небольшими порциями с угрожающим присвистыванием выталкивал воздух сквозь плотно стиснутые зубы... и в изнеможении запрокидывал на подушку багровое лицо.

— Здорово, — восхитился Афиноген, — Вагран Осипович, а зачем вы так себя мучаете? Для какой цели?

Кисунов, не отвечая, еще раз изогнулся в чудовищной конвульсии, отдышался, отпил глоток водички из стакана, обернулся к Афиногену:

— Шлаки! Между клетками застревают за ночь шлаки. Их надо выжать, стронуть с места. Скопление шлаков в организме сокращает жизнь и является причиной преждевременной старости. Теперь это точно установленный факт.

Кисунов, напуганный последним приступом болезни, вступил в неравную борьбу с законами природы. За короткий срок он изучил массу медицинской литературы и убедился, как непростительно небрежно обращался со своим организмом и сколько вреда ему нанес, но не отчаялся, а мобилизовал себя на новый образ жизни. Его потрясла и воодушевила мысль доктора и писателя Амосова: человек настолько прочен, что может начать борьбу за восстановление здоровья на любой (!) стадии его упадка. Будущее рисовалось ему в радужных красках, представлялось как сверкающая дорога, в конце которой его поджидала возвращенная молодость и прелестные ужимки совсем юных девиц. Однако, чтобы сказка стала былью, предстояло немало потрудиться, возможно, даже поголодать, судя по изумительному трактату австрийского ученого под названием «Чудо голодания». Кисунов был готов и на это. Разумеется, голодать он решил начать по возвращении домой, глупо было бы отказываться от бесплатного харча. Пока же он с успехом вырабатывал комплекс физических упражнений, бегал трусцой по палате, овладел в теории аутотренингом и вплотную приблизился к хатхе-йоге.

Конечно, все это на первых порах сильно ослабило его организм: пропал сон, начали непроизвольно подрагивать ноги и руки, лицо время от времени уродовало нервный тик и, самое неприятное, возник неведомый врачам «поясничной синдром», который привел к тому, что Кисунов начал бояться ходить самостоятельно в туалет и каждый раз униженно уговаривал Гришу Воскобойника проводить его и подождать у кабинки. Пожалуй, сильнее физических страданий мучила Кисунова необходимость вести в уме постоянные арифметические подсчеты. Для поддержания в норме своего веса он применял одновременно две диеты: американскую «очковую» и отечественную, разработанную академиком Покровским, более простую в интеллектуальном смысле, но к сожалению, требующую каких-то особых деликатесов, которых не было не только в больнице, но вообще в Федулинске. Американская же диета, где каждый продукт имел определенное количество очков, не внушала ему полного доверия по той причине, что непонятно было, на каком основании, к примеру, апельсин по очкам чуть ли не превосходит стограммовый кусок мяса. Кисунов допускал возможность того, что распространение американской системы питания может оказаться ловким политическим трюком и своеобразной диверсией капиталистической пропаганды. Попадаться на удочку вражеской агентуры Кисунов не собирался, поэтому, не отбрасывая целиком «очковой» диеты, он все-таки главный упор делал на рекомендации Покровского. Необычайное умственное напряжение, коего потребовало от него совмещение двух диет, сделало его крайне рассеянным и еще более мнительным, что дало почву медсестрам для нелепых пересудов о якобы «сдвиге по фазе» у больного Ваграня Осиповича. Вызванный на консультацию психотерапевт, проведя полчаса в дружеской беседе с Кисуновым, не смог сказать ничего определенного, хотя и был в некоторой степени обескуражен специфическим уклоном в настроении больного, а также обилием произносимых им по любому поводу цифр. Кисунов, напротив, сделал вполне ясные выводы о медицинском легкомыслии посетившего его специалиста.

— Я его спрашиваю, по каким параметрам высчитывается калорийность ржаного батона, он не знает. Про-

шу его высказать мнение о системе Певзнера — хлопает глазами... Поразительное бескультурье, поразительное.

Гриша Воскобойник, с которым он делился своим возмущением, охотно с ним соглашался.

— Это уж точно, бескультурье. Я им показываю: вот тут хрипит и тут, — а они мне, от курева хрипит. Двадцать лет курил — не хрипело, теперь, ядрена корень, от курева взялось.

— Невыгодно им тут больных долго держать, невыгодно, Гриша. Чем хуже человеку, тем они быстрее его норовят выписать. Чтобы в больнице не помер. У них прогрессивку срезают за процент летальности.

— Ну уж так-то навряд ли.

— Ты не спорь, оглядись, Гриша. Много ли здесь больных ты увидишь. Мы вот, считай, двое с тобой, больше никого. Остальные здоровее самих врачей.

В это утро Вагран Осипович после массированного дыхания решил испробовать новое упражнение из багажа индийских йогов, не самое сложное, под названием «плуг». В трактате эта асана рекомендовалась для начинающих и сулила избавление от прострелов, растяжения связок и нервных болей. Заодно асана «плуг» снимала излишнюю полноту, вылечивала хронические запоры, делала гибким позвоночник, давала возможность избежать закупорки вен, одновременно приводила в порядок печень и селезенку.

Вагран Осипович, кряхтя, завалился на спину около своей кровати и чуток полежал, собираясь с мыслями. Афиноген с любопытством наблюдал за ним. Увидев, что Кисунов начинает поднимать ноги, он по-товарищески его предостерег:

— Может быть, не надо так высоко, Вагран Осипович?

— Главное, — глухо ответил Кисунов, — следить за диафрагмой.

Некоторое время он простоял «свечой», а потом резко запрокинул ноги за голову. Что-то хрустнуло у него в спине, и голова оказалась торчащей между ног. После минутного тягостного молчания Кисунов произнес голосом с того света:

— Обратно не могу, голову заклинило!

— Что ж теперь делать? — спросил Афиноген, колоссальным усилием сдерживая смех, чувствуя, что сей-

час от смеха шов его разоидется, и надо будет возвращаться на операционный стол.

— Буди Григория! — невнятно выговорил Кисунов, лицо его налилось кровью и приняло безумное выражение.

Разбудить Гришу Воскобойника было делом непростым, обычно медсестра, приносившая по утрам градусники, подолгу трясла его за плечо, но стоило ей отойти, Гриша снова впадал в спячку. Просыпался он ровно к завтраку и, не умываясь, сломя голову мчался в столовую, чтобы не пропустить какого-нибудь особого лакомства.

— Эй! Гриша! Проснись! — что есть мочи завопил Афиноген. — Гриша, горим! Завтрак проспал.

Видно было, как из глаза Кисунова выкатилась суровая слеза.

— Ичи... Що! — простонал он.

Вдруг Воскобойник заворочался и сел в постели. Одновременно на крик открыла дверь в палату дежурная медсестра Капитолина Васильевна. На замысловатую позу Ваграня Осиповича они отреагировали по-разному, это и понятно. На медсестру взирало полное затаенной печали лицо Кисунова, а Гриша Воскобойник лучше всего разглядел худощавый зад, обтянутый лиловыми больничными трусиками.

— Господи! — воскликнула медсестра, привалилась к косяку и чуть не выронила банку с градусниками. — Что вы над собой такое произвели?

Гриша Воскобойник принялся хохотать и в продолжение дальнейшей сцены спасения Кисунова взрывался и исходил звуками, напомилавшими движение небольшой лавины в горах Кавказа. Афиноген вторил ему, стараясь обеими руками удержать на месте бинт, извиваясь от боли и судорог смеха.

Гриша разогнул непокорное тело новоиспеченного йога и оставил лежать его на полу. Капитолина Васильевна сунула ему под нос ватку с нашатырем. Кисунов чихнул, зверовато повел очками и сказал плачущим голосом:

— Как не стыдно, товарищи, смеяться в такую минуту.

— Перестаньте! — попросил Афиноген, сам он не в силах был остановиться, новые и новые волны сотря-

сали его. Хохот Гриши Воскобойника достиг невиданных размеров. Он смеялся так, как не смеются люди над одним каким-то случаем или шуткой. Казалось, этим смехом он ставил крест на прошлом: на болезни, на любви, на неудачах и потерях, и обращал перекошенное хохотом, умытое соленой влагой лицо навстречу новому светлomu будущему.

— Ух ты! — взвизгивал он. — Ну отмочил, Вагран! Оох! Не могу! Один зад наверху. Ой-ой, спаси меня, Капитолина! У-уа!

Смех его иссяк мгновенно, как вода, канувшая в раскаленный песок. Капитолина Васильевна оставила им градусники и ушла, сказав, что обязательно доложит об очередной выходке Кисунова на пятиминутке. Вагран Осипович перебрался к себе на кровать, натянул одеяло до подбородка, тоскливо глядел в потолок. Возможно, он размышлял о многих терниях, которые еще подстерегают его на пути к звездам. Грустно стало в палате. Но ненадолго. Гриша Воскобойник попросил:

— Ты, Ваграныч, когда в другой раз будешь в лягушку играть, предупреди меня. Я уйду из палаты. А то так от смеха загнешься, и вся недолга.

— Ой, — сказал Афиноген. — Не надо, Гриша. Ведь чувствую, шов расклеивается.

— Не только шов, весь живот у меня оторвался. Надо нам вместе к Ваграну с просьбой обратиться от имени всего нашего коллектива. Пускай он упражняется в другом месте. Хотя бы и в сортире.

С кровати Кисунова прозвучал задушевный трагический голос:

— Слушаю я вас, ребята, и становится мне тягостно на сердце. Неужели вам доставляет радость мое несчастье? Я ведь чуть не погиб пять минут назад нелепой шутовской смертью. И что? Повергла ли моя гибель в печаль хоть одного человека? Нет, этого не было. Над собой я услышал один первобытный кощунственный гогот. Неужели так устроен человек, что ему доставляет радость беда ближнего? Поведением Гены я не удивлен, бог с ним. Но с тобой, Григорий, мы ведь подружились. Неужели ты несколько не пожалел меня?

— Я же тебя спасал, Вагран Осипович, разве забыл? Я тебя обратно из лягушки превратил в человека. С тебя по совести причитается.

Перед самым завтраком в палату, озираясь, как шпион в старых кинолентах, вошел Фролкин Семен со свертком в руках.

— Вот, что ты просил... Говори быстро, как самочувствие, а то меня сейчас отсюда извлекут.

— Как же ты просочился?

Семен подмигнул, давая понять, что для него преград не существует.

— Ладно, у тебя, я вижу, все в порядке... Поправляйся. В понедельник у нас собрание, будут Карнаухова судить.

— За что?

Кисунов устроился поудобнее, чтобы слушать. Фролкин говорил, наклонясь почти к уху Афиногена. Это Вагран Осиповича беспокоило и настораживало.

— Уж найдут за что. Будут нового заведующего ставить над нами... Ладно, побежал я. Мы с Сережкой, может, вечером заскочим, тогда все обсудим. Ты, главное, поправляйся. Болит еще?

— Ничего, терпимо. Говоришь, в понедельник?

— Ага.

— Я приду на собрание.

— Конечно, придешь, куда ты денешься. Без тебя и проводить его не будут.

Фролкин исчез, бесшумно растворился в дверях. Кисунов желчно заметил:

— Кажется, начинают разоблачать ваших дружков, Гена?

Он не совсем, естественно, понял смысл сообщения, но догадался, что ничего хорошего Афиногену не довелось услышать. Он ошибся.

Новость не была для Афиногена ни хорошей, ни плохой, да, пожалуй, и новостью не была. Весь вчерашний день он собирался позвонить Кремневу и сказать, что помнит о предложении и решения еще не принял. Какое решение мог он принять, если с той минуты, когда вышел из кабинета Кремнева и грохнулся в коридоре, ему ни разу не удалось сосредоточиться. Мысли его реяли легкокрылыми стрекозами, перелетая с предмета на предмет, нигде не задерживаясь. Он и звонить поэтому не рискнул. Думал, отступит болезнь, прояснится разум, тогда, здоровый, он сумеет понять, что происходит. Он не испытывал ни радости в связи с

открывающейся перспективой, ни сочувствия к Карнаухову — был безразличен. Чудное дело, стоило ему заболеть, и все, что так полно занимало его, мучило, — работа, планы на будущее, отношения в отделе, — все показалось не дороже выеденного яйца.

Капитолина Васильевна прикатила в комнату тележку с завтраками для «неходячих» больных. Афиногену опять дали тарелку каши, сваренной из совершенно непонятного сырья — то ли пшена, то ли овса, — и стакан слабенького чая с кусочком подсушенного хлеба.

— Рыбки бы постненькой, — взмолился он. — Хочется покушать. Шашлычок бы на косточке.

— Хорошо, если появился аппетит, — отметила медсестра, заботливо поправляя одеяло. — На обед принесу паровую котлетку.

— У него аппетит и не пропадал, — с досадой сказал Вагран Осипович.

— А вы почему не идете в столовую, Кисунов?

— Спину ломит.

— Сюда я вам не привезу. Нет распоряжения врача.

— Ага! Вам обязательно нужна бумага. Вы разве не видите, в каком я нахожусь состоянии.

— Сами виноваты. Зачем безобразничали с утра. Пожилой человек...

— Отдайте ему мою кашу, — сказал Афиноген, — а я пойду в столовую.

Кисунов обиделся чуть ли не до слез. Он вылез из постели, накинул халат и отправился завтракать.

— Удивительный человек. — Капитолина Васильевна приглашала Афиногена разделить ее необычайное удивление. — Несчастливая его жена, которая с ним живет. Все ему не так, не по нему. Уродился же такой.

— Он больной, — возразил Афиноген, — поэтому и капризничает.

— Какой он больной! Давно здоровый. А выписать нельзя, пока сам не попросится. Все боятся его жалоб. Жалобами замучает. Потом три месяца придется его жалобы разбирать.

Она удалилась, горестно вздыхая и продолжая удивляться разнообразию человеческих характеров.

Афиноген проглотил несколько ложек каши, залпом отпил полстакана несладкого желтого чая, похожего на

крапивный отвар, и быстро составил поеву на тумбочку. Развернул сверток, принесенный Фролкиным, и присвистнул. Брюки Семен притащил те, которые он приготовил нести в химчистку. Они валялись на виду, на стуле, и, конечно, Семен схватил именно их, решив, что для больницы лучше и не надо. Рубашка, правда, приличная, но тоже помятая — пол ей, что ли, Семен успел подмести? — и без двух пуговиц внизу. Это ничего, заправить в брюки, и ладно. Афиноген начал, сидя в постели, натягивать штаны и тут только заметил, что Фролкин не захватил ремень. Вдобавок, пуговицы брюк не застегивались, мешала пухлая повязка.

Афиноген завернул рубашку в газету, укрылся одеялом и стал ждать. В десять должен быть врачебный обход, смываться до десяти не имело смысла.

Вернулись Гриша Воскобойник и Кисунов.

— Опять гречку давали, — сообщил Григорий, — надоело. Зато салатик ничего был, помидорчики, лучок. Я три тарелки наверху. Мне Дуська с кухни дала, хорошая девка. Может, мне приударить за ней. Как считаешь, Вагран Осипович?

Тот развернул «Известия» и начал читать колонку объявлений. Воскобойник, как всегда растроганный бесплатным завтраком и перспективой вскоре так же бесплатно пообедать, был оживлен и склонен к умствованию.

— Нет, что ни говори, тут жить можно. Питание, телевизор, опять же уход. А зарплата идет. Вроде как мы за границей в командировке. Там, я слышал, зарплату прямо на книжку переводят. Там год отбарабанил, приезжаешь — пожалуйста ваши тыщи получите в сохранности. Ты не был за границей, Гена?

— Нет, не был.

— И я не был. Жаль.

— А я был, — неожиданно скрипнул Кисунов.

— Где это ты, интересно, был? В Тамбове, что ли?

— В Германии был. Два года. В пятьдесят восьмом и в шестидесятом. — Кисунов не надеялся, что ему тут же поверят, оттого голос его приобрел страдальческую интонацию, которой так мастерски владеет артист Смоктуновский в роли Гамлета.

— Так расскажи, чего ты там производил у нем-

цев. — Воскобойник подмигнул Афиногену, приглашая его принять участие в разоблачении заграничного специалиста. — Или секрет? Скажешь?

— Секрета нет, хотя, может, и был. Только для секрета срок давности истек... Вам, Гриша, рассказывать что-либо без толку. Вы же мне не верите... Я не удивляюсь, что вот он не верит, — кивок в сторону Афиногена. — Но откуда у вас, Гриша, у рабочего человека, этот нигилизм.

— Чего? — переспросил Гриша Воскобойник.

— Нигилизм, то есть некоторым образом отрицание всяческих идеалов?

— Ну ты, Вагран Осипович, говори да не заговаривайся. Никаких идеалов я не отрицаю. Если ты имеешь в виду, как давеча утром мы с Геной со смеху чуть не погибли, так я прямо скажу: для меня все эти твои упражнения на голове никакой не идеал и идеалом быть не могут. Кому хошь в глаза скажу.

Гриша насупился. Его сильно задело слово «нигилизм», по невольной ассоциации оно напомнило ему унижительные попреки образованной жены, которая любила ни с того ни с сего уколоть его непонятным словом, намекая иной раз и при посторонних, что он, Гриша, высотник-электрик высшего разряда, уважаемый в СМУ человек, для нее всего-навсего чурбан неграмотный. Он не отрицал умственного превосходства своей супруги, гордился ее умением ловко излагать самые затейливые мысли, слушая ее всегда с таким же уважением, как слушал диктора телевидения, но прямых выпадов в свой адрес не выносил, долго их переживал, страдал и мог ответить беспощадной грубостью, хотя, что касается грубости, то жена при случае и тут давала ему фору — она умела ругаться похлеще его друзей-электриков.

Воспоминание о любимой супруге погрузило Гришу в уныние. Он загоревал, подумав о том, что за время болезни она навестила его всего три раза и до сих пор не принесла ему вяленого леща, который ржавел дома в холодильнике без пользы, а тут Гриша уже несколько раз обещал угостить им Кисунова. Кстати, Ваграна Осиповича навещали почти каждый вечер — родственники, дети, супруга, и его тумбочка была до краев завалена домашними гостинцами.

— Что же вы, соколы, приумолкли? — попытался Афиноген вернуть бодрость в палату. — Пошто кручина, молодцы?

— Умных очень много, — из вежливости отозвался Воскобойник. — И каждый желает тебе свой ум в рыло ткнуть, как фигу.

— Если вы обо мне, Гриша, то я не хотел вас обидеть, отнюдь... Вы же сами не поверили, что я бывал в Германии. Вот возьмите их город и наш. У них чистота, порядок, улицы подметены, газоны ухожены, домики стоят как умытые, все ровно, симметрично. Потом — тишина. Там после девяти вечера все будто вымирает. Сидят по домам либо в пивных. Возьмет он, немец, себе пару кружечек пива, сосиски... и вежливо, деликатно весь вечер беседует с другими немцами.

— Вот уж скука, — оценил Воскобойник. — Нет, такая гулянка не на мой характер.

Кисунов увлекся воспоминаниями, смягчился и опять перешел с Гришей на «ты».

— Нет, Гриша, у них много любопытного. Не все, конечно, нам подойдет, но поглядеть интересно. Возьми, к примеру, магазины. Скажем, фрукты — яблоки там или что, одно к одному, сверкают, и тоже к тебе повернуты самым розовым боком. Я уж не беру обслуживание. Там продавец тебя обслуживает как жених дорогую невесту. Ты у него в магазине самый долгожданный гость.

— Все это фальшь и обман, — отпарировал кое в чем сведущий Гриша Воскобойник. — Купили они тебя, Вагран.

— Почему фальшь? Я в ГДР был, не в Западной Германии. Ты меня, Григорий, за дурака не считай. У друзей был!

Беседу нарушил приход сразу двух врачей: к Афиногену — Горемыкин, к его соседям терапевт, заведующий отделением Виктор Кириянович Лебедихин. Кисунов и Гриша Воскобойник мгновенно погрузились в себя, изображая безнадежно невыздоровливающих больных. Кисунов даже отвернулся к стене и сипло задышал ртом.

— Вижу, вижу, — весело уверил Лебедихин. — Поправляйтесь полным ходом. Ну как у вас температура? Скоро, скоро обоих выпишем. Пора уже... Вы, Вагран

Осипович, я слышал, начали йогой заниматься? Хорошее дело, хорошее, но злоупотреблять все-таки не советую. Очень, очень вы Капитолину Васильевну нынче напугали. Да-с.

— Клевета, — резко ответил Кисунов. — Утром я потерял сознание от слабости. Только и всего. Некоторым вашим сотрудникам это, естественно, доставило много радости. Я понимаю.

Укор, который был заключен в словах Кисунова, произвел впечатление на Гришу Воскобойника. Он печально вздохнул.

— Мы его, доктор, еле-еле спасли. У него голову заклинило между ног, как в цирке.

Виктор Кирьянович улыбнулся Грише, проверил его легкие, по старинке приложив ухо к лопаткам. Гриша с удовольствием вдохнул и не выдыхал, пока не стал красным, как флаг.

— Ну, ну! — Лебедихин ловко и с озорством выстукал пальцами дробь на выпуклой груди электрика. Он присел к нему на кровать и ворочал его, как мешок с овсом.

Гришу процедура взволновала и умилила. Им обоим было приятно, врачу и больному.

— Даже выписывать жаль такого здоровяка, — сказал врач.

— Хрипит чего-то, — пожаловался Гриша. — Вот тут под вздохом похрипывает. Корябается чего-то. Может, доктор, горчичники пропишете?

Все эти минуты Горемыкин разглядывал Афиногена, который наслаждался сценой осмотра Гриши Воскобойника.

Кисунов окончательно отвернулся к стене, закрыл глаза и не подавал признаков жизни.

— Перевязывали? — спросил Горемыкин.

— Сегодня нет, а вчера перевязывали.

— Что это, Гена, какие-то не наши штаны на тебе надеты? Зачем это?

— Для утепления.

— Мерзнешь, что ли?

— Ноги зябнут.

— Попроси, тебе второе одеяло дадут. Штаны сними. Негигиенично в них лежать... Ходи, начинай потихоньку.

— Я хожу.

Доктора побыли еще минутку, удалились. Сразу воскрес Кисунов.

— Пожалуйста! Это называется утренним обходом. Что нового мы узнали?.. Все-таки удивительно. Никакого такта, никакого чутья! И это заведующий отделением, — передразнил: — Йогой начали заниматься? Нет, я буду дожидаться ваших советов. Как же? Ну вы подумайте! Ему лень фонендоскоп с собой захватить. Выслушивает больного как знахарь. Нет, видно, придется опять жаловаться. Не хотелось, но придется. Иначе они тут с нами натворят бед. Они думают — тут с больными полные хозяева и нет на них управы. Найдется управа, как раз найдется!

Гриша привык к ворчанию Кисунова и не обращал на него внимания.

— Эх, хотел я его спросить, дома на сколько мне больничный продлят. Если на неделю выпишут, махану к брательнику в Москву. Поедем на пару, Вагран Осипович? Гори оно все синим пламенем. Хочь погуляем, придем в себя после этой богадельни.

— У меня отпуск. Я на Черное море поеду.

Афиноген стал садиться и сел, держась левой рукой за спинку кровати.

— Ты куда, Гена?

— Пойду погуляю. Слышал, врач распорядился?

Он собирался в долгую дорогу и не знал толком, куда она его приведет. Кисунов сказал:

— Вы что, поверили этому костоправу? Вам надо лежать, а не ходить.

— Пойду, пожалуй. Пора... Гриша, можно я твои тапочки надену. Они красивее моих.

— Бери.

Они смотрели, как Афиноген встал и неловко поддернул брюки. Тапочки оказались в самый раз и удач-

но подходили по цвету брюкам, коричневые, без задников.

— На танцы, Гена?

— Жениться.

Он накинул, не вдевая в рукава застиранный больничный халат, сверток с рубашкой сунул под мышку. Ноги держали вполне нормально.

В коридоре было пусто, только за столиком у выхода с этажа заполняла больничные карты Капитолина Васильевна.

Сзади из палаты шастанул любознательный Гриша Воскобойник.

— Ты еще здесь, Гена? Я думал, ты уже до загса домчался.

— А в ту сторону есть выход?

— Есть. Вон в дверь, потом налево и сразу вниз. Но на улицу тебя не пустят, не жди.

— Почему?

— Посмотришь почему. Не пустят, и все. Много таких гавриков казенные халаты воровать. Там вахтер сторожит.

Афиноген свернул влево, а Гриша отправился к столику медсестры. На лестничной клетке Данилов подождал, поглядел вниз. Второй этаж, два коротких пролета. Пустяки. Вскоре его догнала Капитолина Васильевна.

— Вы куда, Данилов? Вы в своем уме?

— Я никуда. Здесь постою, подышу. Мне доктор разрешил.

— Не упадешь?

— Нет, не упаду.

— Ишь ты, уже в брюках... Ну постой и обратно иди. Рано расхаживать по этажам.

Она убежала, успокоенная его беспечальной улыбкой. Два пролета он одолевал медленно, и с каждым шагом страх перед движением слабел. У выхода в коридор — скамеечка. Здесь он сделал то, что было бы лучше сделать в палате. Он снял халат и спрятал его под скамейку. Натянул голубенькую рубашку и заправил ее в брюки, замаскировал бинт. Осталось последнее. Слегка нагнувшись вперед, Афиноген плавным, точно рассчитанным движением ухитрился затянуть брюки и зацепить крючок, после чего пуговицы застегнулись

сами собой. Теперь он был готов к прогулке. Стоила ли только игра свеч?

Афиноген прокружил еще одним коридором и очутился у выхода из больницы, который охранял пожилой санитар в синем халате военного покроя. С внешней стороны в вестибюле толпились первые посетители, через стекло они подавали сторожу красноречивые знаки. Он не обращал на них внимания, плотно восседал на стуле, прислоненном к дверям. Взгляд его тусклых глаз был устремлен вдаль. В больнице этот человек проработал целую вечность, повидал всякого, мало что могло смутить его дремлющий ум. В душе сторож был человеком верующим и считал больницу заведением, негодным богу. Больничные врачи брали на себя смелость вставать на пути между самим господом и простыми смертными, когда он посылал им вызов к себе. Врачи пытались продлить срок человеческой жизни, известный одному господу. Это было кощунством. Сторож не любил врачей, очень боялся очной ставки с господом, но не уходил из больницы, потому что привык к сытной легкой жизни, привык сидеть, дремля, на стуле в разных местах, куда его сажали, и тайно, исподтишка наслаждался ежедневным зрелищем борьбы, из которой победителем выходили поочередно — либо всевышний, либо обыкновенные люди в белых халатах. Судьба главных участников этого волнующего спектакля, больных, его никогда особенно не волновала. Было, правда, несчастье с его племянником, прекрасным человеком, посвященным в тайны седьмого дня, который, упившись зелья, ночью поджег себя сигаретой и обгорел с пяток до пупка. Федулинские врачи девять дней боролись за его жизнь, подключали к искусственной почке, один вид которой вселял в сторожа священный трепет. Все дни, следя, по обыкновению, со стороны за перипетиями неравной схватки, сторож молился за безбожников врачей и упрашивал всевышнего оставить племянника еще хоть малость побродить по белу свету. Бог не услышал его молитв, и племянник умер.

Афиноген подошел к сторожу твердой походкой и попросил распахнуть дверь на волю. Сторож очнулся от спячки и сразу дал точное определение действиям Афиногена.

— Побег совершаешь, — сказал он добродушно. — А меня, значит, под судебное следствие подводишь.

Афиноген размышлял недолго:

— Вернусь не с пустыми руками. Мы порядки знаем.

Сторож оживился, оторвал зад от стула и отворил для Афиногена узкую щель, в которую тут же хлынули руки с записками и свертками.

— погоди! — велел сторож. Он с необычайной сноровкой собрал все записки и пакеты, после чего Афиноген беспрепятственно проник в вестибюль. Вслед ему сторож объявил.

— Не вернешься через час — подымаю тревогу. Тапочки не потеряй!

На улице жгучее солнце сразу обдало его дымным жаром, и он, покачнувшись, переступил в тень деревьев. На мгновение сердце сдавило от мысли, что сейчас вот он рухнет прямо на парящий асфальт. Испарина прохладной паутиной прилепила к спине рубашку, пот просочился под бинт и зашипал, расплавился, просолил шелковые нитки шва. «Плохо, — подумал он, — к Наталье идти далеко, а земля вот она, рядом. Может, прилечь отдышаться на газоне».

Но он не лег, а заковылял, держась теневой стороны улицы. Постепенно головокружение прекратилось. Тапочки, к сожалению, соскакивали, и приходилось напирать ступню, чтобы вытягивать их на пальцах. Пока Афиноген шел по больничным коридорам, тапочки не соскакивали, а теперь с каждым шагом они делались все просторнее и вертлявее. Он свернул вправо, в переулок, и, оглянувшись, уже не увидел здание больницы. Она осталась в покинутом пространстве вместе с палатой, где в ожидании обеда разматывали бесконечный клубок слов Гриша Воскобойник и Кисунов.

Он радовался, что идет по городу, что справился со своей слабостью, ему важно было знать, что тело подчиняется ему и, значит, он способен будет всегда справиться с ним, как бы ни повернулись наперед обстоятельства. Он улыбался редким прохожим. В газетном киоске хотел разжиться сигаретами, но спохватился: в кармане нет ни копейки. «У Натали займу рублевица, — подумал он, — если она дома. Она должна быть дома, где еще ей быть. Сидит, готовится к экзаменам и

поджидает любимого. Она любит меня, не стоит сомневаться».

Он пересек площадь и вскоре добрался до памятника сдавшему нормы ГТО — белому мужчине со странным выпученным выражением лица и наклоненной вперед круглой головой, словно он в азарте собирается забодать судейскую коллегия. Отсюда одинаковое расстояние и к его дому, и к Наташиному. Он присел на ступеньку памятника, который отбрасывал длинную, метров на десять, полосу тени, и вдруг начал терять ощущение реальности. Все вокруг растворилось в лучах солнца, как в сером паре. Афиноген представил себя сверху, хотя бы с высоты этого целеустремленного спортсмена, серенькой, уныло ползущей, а теперь застрявшей на ступеньке букашкой, готовой в любой момент превратиться в пар, как и прочие живые и неживые предметы вокруг.

Эта новая слабость не физического свойства, а какая-то гнилая расплавленность душевного состояния заколотила его сильнее боли. Не то чтобы раньше не переживал он приступов смятения, мрачных предчувствий или неверия в свое нравственное здоровье; переживал, конечно. Однако раньше, застигнутый чем-либо подобным, он предвидел, почти ощущал, как скоро уныние сменится приливом бодрости и новые силы вольют энергию в уставшие клетки. Здесь же, в центре города, окутанный жаркой пеленой, покусываемый резью незажившей раны, Афиноген невыносимо ярко прочувствовал неизбежность и роковую неотвратимость действия посторонних могучих сил, перегнувших пополам его скелет и имеющих власть невзначай раздавить ему череп, расплескать по асфальту то самое, что и есть его душа и разум.

«Ну уж не так это просто, — сказал себе Афиноген. — Не ящерица же я в самом деле. Иду и иду по своей надобности, и никто меня не ведет. Сам себе выбрал направление. Иду к любимой Наташе, которая меня ждет. Все остальное сейчас рассеется».

Он вдохнул душный запах асфальтовых испарений, поднялся и заковылял дальше. Он нарочно не сворачивал теперь с солнечной стороны и не старался приспособить движения к импульсам, стреляющим из-под набухшего и булькающего бинта. Больничные тапочки

больше всего действовали ему на нервы. Он скинул их и понес в руке. С лица на шею, под горячую рубашку, скатывались ручейки пота, ядовитую соль слизывал он с губ, ругался на чем свет стоит. Брюки обвисли и прилипали к влажным ногам. Казалось ему, весь он внутри раскалился, подобно солнцу, и не идет, а перетекает студенистой массой из шага в шаг. «У меня поднялась температура, — сообразил он, — вероятно, высокая температура. Надо будет попросить у Наташи градусник, прежде чем идти в загс. Могут истолковать мое желание попасть в загс, как результат горячки. Но это же не так. Я давно решил жениться на Наташе, а она обещала родить мне сына... Я все отлично помню и создаю».

От пивного ларька навстречу ему стремительно кинулся человек, которого Афиноген знал, несколько раз пил с ним пиво, но имени его вспомнить не мог. Человек был неопределенного возраста в жокейской кепочке и нетрезвый.

— Гена! — закричал он. — Кореш дорогой! Выручай! — подбежав близко, он совсем осатанел. — Ты уже кирной? Ну, даешь. Выручи, Афиноген!

— Чем тебя выручить?

— Займи полтинник. Больше не прошу, вижу. Но полтинник ссуди старому другу.

«Старый друг» вибрировал перед глазами, ускользал из прицела, жокейская зеленая кепочка — единственный ориентир.

— Денег у меня нету... Тапочки, хочешь, возьми. Новые совсем. Загонишь на базаре.

— Шутишь, Гена! Пиво кончается.

— Нету денег. Самому бы кто поднес.

С криком: «Эх, туды твою...» — жокейская шапочка последний раз разочарованно мелькнула на высоте окошка пивного ларька.

Несколько позже Афиногена догнал Гаврюха Дормидонтов, вывернулся откуда-то сбоку и загопал рядом. Про этого человека надо сказать особо.

Дормидонтов, которого в городе все от мала до велика звали попросту Гавриком, был в Федулинске не менее примечательной личностью, чем, скажем, поэт Марк Волобдевский. Но если к поэту жители города относились с некоторым скепсисом и предубеждением,

то Гаврик пользовался в народе слепой любовью и восхищением. Он был обычным русским богатырем, который родился богатырем и жил как богатырь. Ростом около двух метров, с широченным разворотом плеч, не жирный, с красиво посаженной безупречно круглой головой, светловолосый до белизны, Гаврик отличался, как и должно богатырю, приветливым, добродушным нравом и невинными чудачествами, дававшими почву для легенд. Особенно популярны были любовные похождения Гаврика. Влюблен он бывал каждое лето, и обыкновенно очередной его роман длился месяца два-три, не больше. Выбрав предмет для обожания — обычно какую-нибудь невзрачную девчушку из общежития, — Гаврик начинал за ней ухаживать. Первый этап ухаживания знаменовался тем, что Гаврик облачался в праздничный серо-розовый костюм-тройку и уже не вылезал из него и в самую лютую жару. Каждый день с букетом цветов он встречал девушку там, где она работала, и брел за ней в отдалении до самого ее дома. Когда девушка скрывалась в подъезде, Гаврик подходил и раскладывал цветы на ступеньке. Потом он садился где-нибудь неподалеку и часами стерег, чтобы никто не умыкнул цветы. По истечении недели или двух он решался на более близкое знакомство, пересекал улицу и приближался к обожаемому существу вплотную. Краснея и заикаясь, он говорил всем одно и то же:

— Меня, вы знаете, зовут Гаврик. Я очень хотел бы с вами дружить. Не беспокойтесь, моя дружба не принесет вам огорчений.

Девушка, заранее предупрежденная и наученная подругами, охотно соглашалась на дружбу. В дальнейшем почти ничего не происходило. Некоторое время счастливый Гаврик появлялся с девушкой в общественных местах — в кино и на танцах, — провожал ее до дома, всегда соблюдая приличную дистанцию, и, пожелав доброй ночи, целовал руку и удалялся. Некоторые из его пассий бывали всерьез увлечены Гавриком и, вероятно, желали бы какого-то углубления отношений. Чем кончалось дело в этих случаях, как ни странно, оставалось тайной. Гаврик не был трепачом, да никто и не посмел бы у него выпрашивать подробности, если же и находился лихач, который по пьяному делу распускал язык в его присутствии, достаточно было

Гаврику, доверчиво улыбнувшись, попросить: «Не надо, дорогой! Это некрасиво так говорить!» — как лихач сникал и старался даже отойти на большое расстояние. Девушки же, любимые Дормидонтовым, помалкивали по другой причине. Они были научены горьким опытом многочисленных прежних подруг Гаврика, в которых он непременно разочаровывался.

Первым признаком разочарования являлось то, что однажды Гаврик возникал на улице одетый опять в белую рубашку с засученными рукавами и затрапезные джинсы. Несколько дней он пребывал в меланхолии и неохотно вступал в контакты с многочисленными приятелями. Это означало, что очередной роман исчерпал себя.

Случалось, у девушки, за которой Гаврик начинал ухаживать, уже имелся кавалер. Узнав об этом, Дормидонтов переживал бурную драму чувств. Напивался и даже исчезал куда-то из города, но, вернувшись, обязательно находил «соперника» и приносил ему самые искренние извинения, считая, что право первенства в любовных делах непререкаемо.

Трудился Гаврик на железной дороге разнорабочим, но работал вольно, по собственному графику, не придерживаясь установленного порядка. Мог вкалывать, не разгибаясь, с утра до ночи, а мог забежать на час для виду, пошляться в своей оранжевой куртке по рельсам и смуться загорать в соседний лесок. Начальство смотрело на его повадки сквозь пальцы, и правильно делало. Будучи в хорошем трудолюбивом настроении, Гаврик играючи за день перевыполнял недельные нормы, причем уж если он брался за дело, то трудился на совесть, за ним не надо было ничего проверять. Находились, конечно, в бригаде недовольные, для которых трудовая жизнь Дормидонтова была поводом поворчать и вытребовать что-либо для собственной корысти, но и эти люди ворчали и требовали больше в силу привычки, сознавая, что за Гавриком Дормидонтовым при любом раскладе им не угнаться.

Иногда Гаврик заглядывал в спортивный зал общества «Труд», где по вечерам занимались секции борцов, боксеров и штангистов, все в одном помещении и в одно время. Объяснялась такая теснота тем, что в другое время здесь функционировали секции волейболи-

стов и баскетболистов, которые никак не могли совместиться с более уплотненными видами спорта. Любопытное зрелище представлял спортивный зал в часы наиболее интенсивной загрузки. В одном углу — помост для штангистов, в центре расстелен ковер для любителей уложить противника на лопатки, рядом — огороженное стульями пространство для боксеров; и повсюду спортивные снаряды: гири, штанги, всевозможные металлические приспособления, торчащие гуттаперчивые боксерские «груши». Народу тьма: важно расхаживают мускулистые громоздкие штангисты, кувыркаются борцы, мельтешат, протрачивая кулаками воздух, гибкие, стремительные боксеры, у стен, на длинных низких скамьях, отдыхают и обмениваются мнениями зрители — поклонники спортсменов вперемешку с тренерами. Гул, пропитанный запахом тяжелого пота воздух, саднящие стуки штанг и человеческих тел о деревянный пол, пыль, еле вытягивающаяся в зарешеченные высокие окна. Многие в зале курят, хотя вроде бы трудно придумать менее подходящее для этого место. В поисках бесплатных развлечений сюда забредают и случайные люди: зимой — влюбленные, летом — кто попало. Пьяные ведут себя скромно — тут не разгуляешься, не покачаешь права. Спортсмены — люди сосредоточенные, в себе уверенные, вышвырнут из зала — не успеешь маму позвать.

Гаврик, заходя в зал, скромно располагался где-нибудь на скамейке в самом дальнем уголке, старался усесться под окном: его организм не переносил духоты. Устроившись, он начинал с иронией поглядывать на штангистов, которые интересовали его больше остальных. К нему подходили здороваться, каждому было лестно пожать руку богатырю. Штангисты в его присутствии тушевались и не спешили выходить на помост. Их тренер в который раз безнадежно предлагал ему раздеться и маленько размяться. Гаврик моргал длинными ресницами, будто не совсем понимал, о чем речь, а когда улавливал суть предложения, делал рукой отчаянный жест: куда мне тягаться с вашими силачами. Обычно весть о том, что Дормидонтов в спортзале, быстро распространялась в городе и сюда набивалось огромное количество мальчишек, самых верных его поклонников... Гаврик высиживал не больше часа, но и не

меньше, давая возможность собраться всем желающим. Наконец он устало поднимался и, нарочито нескладно топая ботинками, потупясь, бочком подходил к помосту. «Это, значит, штанга ваша? И чего с ней делать? Ах, вы ее вверх вынаете. Силой, значит, меряетесь!» Тем часом добровольцы уже нанизывали на штангу неизменное число кругов. «Попробую, попробую, — благодушно басил Гаврик. — А ну, хватит, отойди-ка, мальцы! Ишь набросали сколь тяжестей. Хотят, чтобы Гаврик пуп надорвал». Перед тем как взять вес, он обязательно обращался к самому сильному, на его взгляд, спортсмену: «Ты как, дяденька? Давай на спор потягаться. На шоколадку. А? Слабо?»

Тот, к кому он обращался, хмурился, отворачивался, видя, что действительно слабо, и стыдясь этого. Конечно, обидно, если ты день за днем приноравливаешь мускулы, надрываешь жилы, лишь бы отнять у штанги лишний грамм, а тут приходит ленивый посторонний человек и навешивает словно тебе в насмешку и унижение десятки килограммов.

Гаврик наклонялся, небрежно, но тесно ухватывал брус, поводил плечами и с торжествующим всхрипом вскидывал немислимый вес над головой. Тело его, наточенное в рывок, сказочно обвивали вдоль и поперек толстенные змеи набухших мышц. Несколько мгновений он стоял, покачиваясь, багровый, запутанный, спеленатый этими змеями-мышцами, усмехаясь издевательски спортсменам, — вдруг гибко, по-рысьи выскальзывал из-под штанги, которая с грохотом рушилась чуть ли ему не на пятки. Тренер хватался за голову, мальчишки свистели и неистовствовали, девицы визжали: «Браво, Гаврик!» Он кланялся с достоинством, как это делали по телевизору олимпийские чемпионы, протягивал руку тренеру, советовал спортсменам побольше тренироваться и, провожаемый восхищением масс, покидал зал.

С Афиногеном они как-то оказались случайно рядом на пляже, сыграли партеечку в шашки, разговорились и с тех пор стали здороваться при встречах. Надо отметить, что с Гавриком здоровался весь город и он всем отвечал, но радовался немногим, может быть, пяти-шести человекам, в том числе, кстати, капитану Голобородько. Принципов в выборе знакомых Дормидон-

тов никаких не придерживался, просто при виде одних лиц его душа улыбалась, а при виде других оставалась равнодушной. Угадать тут было невозможно. Многие из тех, кто ради лестной дружбы с богатырем готовы были голову свою заложить, а уж денег на угощение и всяческих заискивающих слов вообще не жалели, так ни разу и не смогли полюбоваться его сверкающей белозубой улыбкой, другие же, которым, кажется, на чью-либо дружбу было начхать, как, скажем, тому же хитрюге и притворщику Голобородько, находили в Гаврике Дормидонтове преданного и забавного товарища.

Догнав Афиногена, богатырь некоторое время шагал молчком, только счастливо посмеивался и нежно трогал попутчика за плечо, потом сказал:

— Эх, Геня, нравится мне, что ты босиком и один шпаришь! Я бы тоже разделся, жарко, да боюсь, пойдут всякие разговоры.

Афиноген покосился и отметил про себя, что Гаврик облачился в праздничную тройку.

— Какие разговоры, Гаврюша?

— Всякие могут быть. Кто чего придумает. Могут сказать, что чокнулся Гаврик... В другой раз мне, конечно, до лампочки, а теперь особые у меня обстоятельства. Репутация мне теперь дороже всего. И так уж разное про меня треплют.

— Плохого не слышал.

— Это от человека зависит, Геня. Какой человек, то они слышит. Разные люди... Ты чего вроде прихрамываешь?

— Болею я, из больницы сбежал по делу.

— Это, конечно. Когда дело есть — откуда хошь мотанешь, хоть из санатория. А у меня, Геня, никаких что-то особых делов не осталось. Некуда пока спешить. Может, к вечеру, попозже соберусь куда, а теперь свободен. Вот тебя провожу и дальше даже не знаю, что с собой предпринять.

— Меня провожать не надо. Один доберусь.

Гаврик было насупился, но тут же опять просветлел и заулыбался.

— Нравится мне, как ты разговариваешь, Геня. Хорошо, свободно. Нас с тобой двое таких в Федулинске. Ну, от силы пятеро.

— Не хитри, Гаврик. Каких это таких?

— Таких, которые прямо, как есть, отвечают, чего хотят сказать, то и говорят. Вообще народ у нас не очень крепкий, с некоторыми даже тошно. Вот ты мне сказал «один доберусь», валяй, то ись, Гаврик, отсюда, не до тебя. Ты сказал, я не обиделся, понял, потому что прямо и открыто. Думаешь, любой так ответит? На-косы! С ума сойдет, а будет меня обхаживать и лукавить. Многие не умеют отвечать как есть, как сердце требует. Которые, может, побаиваются, а другие вообще не умеют и не хотят, не любят.

— Заврался ты, кажется, Гаврик, от избытка сил. Суд вершишь. Люди иногда лукавят не от страха и подлости. Из вежливости и добрых чувств. Потом — не в словах правда, слова превратны.

— А в чем правда, Геня? Ну, определи.

Светлым заревом отливали выцветшие глаза Гаврика, наклонил он сверху голову, приблизил ухо, готовясь принять в себя любую правду, какая она коварная ни будь, и схоронить за пазухой. Но Афиноген не открыл ему секрета. Остановился, прижал тапочки к груди:

— Гаврик, у тебя сигаретки не найдется? Курить хочется, помираю!

— Ты что, Геня! Кабы я курил и пил, мне бы другая цена была. И ты тоже зря куришь. Брось! Тебе не надо. Курить начнешь — про всякую правду забудешь... Одно из двух: либо курить, либо правду шутать.

— Что такое? — У Афиногена от изумления рассеялся мрак в голове. — Что же это на свете творится. Одни философствуют, другие пиво пьют. Чернокнижники! А я к невесте иду, — взмолился он. — Оставь меня!

— К невесте? Это святое. Поздравляю, Геня. Ты меня не совсем до конца понял. Я помочь хотел, дух в тебе укрепить. Гляжу — ты еле ползешь... Невеста — другая песня. Из больницы — к невесте! Уважаю. Айда, Гаврюха, в кювет!

Дав сам себе команду, богатырь развернулся и топтал обратно. Афиноген глянул ему в спину — богатырь как богатырь. Высоченный, дружественный и с загадками,

Совсем уж около Наташиного дома Афиногена окружили ребяташки. Они часто выполняли его мелкие поручения, теперь у них самих, видимо, образовалась к нему просьба.

— Дяденька Афиноген, — поднимая одно плечо выше другого, кокетничая, пропищала семилетняя девочка Катя. — Вы не очень куда-то спешите? Не очень?

— Как раз спешу, — ответил Афиноген, глядя в начальное лицо трудного третьеклассника Вадима. — Но у меня хватит времени спросить у тебя, Вадик Черноусов, почему ты не в школьном лагере? И дожидаться ответа. Отвечай, Вадик Черноусов!

Внимание детишек переключилось на Вадика, который еще более отодвинулся и передернулся, как от крапивы.

— Я был в лагере. Меня вожатая взяла и выгнала.

— За что?

На лице трудного третьеклассника выразился нелюбезный вопрос: «А кто ты такой, дяденька, почему я тебе должен отвечать?» Но он пересилил себя и опять ответил вежливо:

— Она сказала — я ей мешаю читать малышам книгу.

Дети сдержанно загудели в шесть маленьких ртов.

— Что сей означает звук? — поинтересовался Афиноген.

Девочка Катя набралась смелости и объяснила:

— Мы никто с Вадькой не хотим водиться. Он сам за нами ходит и заставляет...

— В каком смысле заставляет?

— Заставляет играть с ним в расшиша.

Гудение приобрело оттенок сдерживаемого негодования. Афиноген переложил тапочки в левую руку и велел третьекласснику подойти ближе. Вадик не двинулся с места, заложил руки за спину и изящно сплюнул, еле приоткрыв губы. Этот жест был понятен Афиногену. Юный задира предостерегал его от излишней назойливости.

— Значит, так, уважаемый Вадим Черноусов. Я во всем разобрался. Ты, оказывается, террорист и шулер, раз заставляешь невинных малюток играть с тобой в денежную азартную игру расшишо. А почему бы тебе не сразиться со мной?

Третьеклассник присвистнул, выразив тем самым целую гамму чувств, упрощенно изложить которую можно словами: «Шутишь, дядя! Не на такого напал!» Одновременно Вадик занял позицию, пригодную для успешного и немедленного бегства.

— Я говорю с тобой серьезно, как с мужчиной. Сыграем разок?

— Где?

— Прямо тут.

Вадик спросил:

— А у вас деньги есть?

— Ребятки, кто даст дяде Афиногену займы любую монетку?

Дети зашушукались, заверещали и стали разглядывать друг друга. Девочка Катя, решившись, сунула ручку в затейливый карманчик своей юбочки и достала монету достоинством в две копейки. Она протянула ее Афиногену на ладошке, как сказочная принцесса в лучшие времена вручала рыцарю ключик от своего невинного сердца.

— Вот деньги, — сказал Афиноген. — Покажи свои.

Трудный третьеклассник задумался, заколдобился, затем извлек из штанов целую горсть, где были две стершиеся биты, несколько мелких пуговиц, три-четыре медяка и подшипник.

— Моей будешь играть? — спросил Вадик, показывая биты. Он готов был к испытанию и отбросил сомнения.

Они поставили деньги на кон. Афиноген полную двушку, а его противник две однокопеечные монеты — игра началась. Афиноген великодушно предоставил мальцу преимущество первого удара, при умелой игре решающее.

Вадик процедил сквозь зубы: «Рассыпья, мелюзга! Учись, на старших глядя!» — согнулся над коном, еще раз с последним недоверием взглянул на Афиногена и, примерившись, хряснул. Он промахнулся, позорно промахнулся, не попал по кону. Бита — металлический кружок — прозвякала по асфальту и даже не рассыпала столбик.

— Бей вторично, — разрешил Афиноген сверху. Он прикидывал, сумеет ли опуститься на корточки. А если сумеет, то встанет ли потом. Вадик Черноусов заме-

тался. Мгновенно его маленькая душа оказалась растерзана непомерной сложностью выбора. Ударить вторично, подряд, не по правилам, вопреки правилам, но зато это давало ему шанс на выигрыш. Пропустить удар? Но ради чего? У него мало денег и так трудно их доставать. Взрослые же не считают такие монетки вообще за деньги. Он сам видел, как в магазине один дядька обронил пятак и поленился его поднять. Так и ушел, не подняв. Правда, Афиноген, с которым свела его жестокая игра, сам не при деньгах, он ставит Катькину «двушку».

— Нет, — сказал Вадик Черноусов, — ваша очередь. — И скучающе отвернулся, скользнул острым взглядом по лицам взволнованных детей.

Афиноген, превозмогая поскрипывание в боку, опустился, полуприсел. Он ударил точно, не целясь особенно, по краешку нижней «двушки». Все три монетки перевернулись с «решки» на «орла».

— Продолжим? — деловито спросил Афиноген.

— Да! — не смалодушничал азартный третьеклассник. Минут за пять Афиноген отыграл у него все деньги общим достоинством в семнадцать копеек.

— Добродетель всегда торжествует, — непонятно объяснил он Вадике свой успех. — Но что я вижу, тебя огорчил проигрыш? Ты готов распустить нюни?

Вадик Черноусов побледнел:

— Вам так кажется, дядя.

— Отлично! Что значит деньги для бледнолицего брата? Обычные железки. Хочешь, мы заключим с тобой договор на тропе войны?

— Еще чего!

— Я предлагаю тебе почетные условия. Смотри. Ты получаешь обратно весь свой капитал, а взамен даешь мне честное слово благородного человека.

— Ну?!

— Ты обещаешь никогда не заставлять играть на деньги маленьких детей.

— А сам могу играть? — перестраховался Вадик Черноусов.

— Играй пока, — великодушно согласился Афиноген. — Твоей судьбой мы займемся отдельно. Мы еще вернем обществу полноценного пионера. Я нахожу в тебе задатки благородного воина.

Вадик Черноусов, надо сказать, готов был продолжать разговор до бесконечности. Вся эта мелюзга слышала, как великий взрослый игрок назвал его благородным воином. А он и есть — воин. Три дня назад он не побоялся вступить в заведомо безнадежное сражение с хулиганом Шевяком из соседнего дома и, находясь уже в состоянии близком к скоростижной капитуляции, ухитрился прокусить Шевяку ухо. Более того, он до смерти напугал Шевяка, наврав, что его укус смертелен, потому что родители сделали ему особые прививки от бешенства.

— Я согласен! — сказал Вадик твердо. — Согласен не играть с ними на деньги... Плевать мне на них. Я их и трогать не буду.

— Подай мне, пожалуйста, мои тапочки! Я тебе верю на слово, хотя следовало бы по хорошему обычаю скрепить договор кровью.

Денежки опять перекочевали к пуговицам и подшипнику, только две копейки Афиноген со словами благодарности вернул девочке Кате.

Он поднял глаза и увидел стоящую на балконе Наташу Гарову.

— Я найду сейчас, — крикнул он. — Ты пока переодевайся!

Наташа изобразила книксен, засмеялась, издали сверкнули ее зубы... и исчезла с балкона.

До второго этажа Афиноген поднимался долго, но все же поднялся, всунул ноги в тапочки и позвонил. Он увидел Наташины глаза, бледную краску ее щек, услышал ее воркующе строгий голосок и освободился ото всего: дороги, глупых своих мыслей, больницы, операции, — жизнь начиналась от этого порога, за этой дверью. Надолго ли?

— Натали, — сказал он. — У меня времени в обрез, а ты, я вижу, какая-то непричесанная и в халате. Родители дома?

— В школе.

— Ладно. Официальная часть переносится. Я полежу у тебя тут на диванчике, пока ты переоденешься. Подремлю. — Говоря это, он уже укладывался на диван, подбивал себе под голову подушку, осторожно вытягивал ноги, наконец обосновался и блаженно закрыл глаза. Он почувствовал, как тело его, источая

принесенный жар, зудит и вибрирует каждой клеткой, страшной силы колокола начинают разрывать и растягивать ушные перепонки. Несколько секунд он спал, отброшенный во мглу веков.

— Очень мило, — Наташин голос вынес его обратно. — Где-то пропьянствовал, прогулял четыре дня... явился не запылится и уснул. Я должна быть, видимо, счастлива. Вернулся добрый рыцарь мой. Не пропал без вести.

— Мы на четверг договаривались, на сегодня.

— Договаривались? Сам с собой ты договаривался... Геночка, ты не болен?

Афиногену в его раскаленном состоянии казалось странным, почему она не собирается, почему уселась посреди комнаты и отнимает у него последние силы своим уютным голосом, ему казалось сейчас, что они оба давно все обговорили и решили: больше между ними ничего не стоит. Болен ли он? Да, разумеется, болен, потому и лежит на диване и не бросается в ее объятия, не целует прекрасное лицо, не припадает к круглым, прохладным коленям.

— Да, я болен, — сказал Афиноген. — Меня из больницы еле отпустили. На два часа. В загс и обратно — бегом. Не вернусь вовремя — расстрел.

Наташа Гарова не стала изображать тревоги, которой не испытывала.

— Эти ужасные тапочки, значит, из больницы? А что с тобой случилось? Грипп?

Афиноген заранее обдумал ответ на этот вопрос. Только на этот. Других вопросов он не ждал.

— На обследование положили, Ната... Подозревают — печень не в порядке... Побоишься стать женой инвалида?

— Это серьезно? Печень?

Наташа примостилась на краешке дивана у него в ногах.

— Иди ближе.

Она вздохнула и покорно пересела ближе.

— Геночка, это серьезно?

Он погладил ее пальчики, провел ладонью по худеньким теплым плечам.

— Наклонись, Ната!

Она слушалась его, безропотная. Афиноген стал це-

ловать ее щеки, нос, лоб легкими поцелуями, и с поцелуями от ее лица струилась к нему живительная ровная прохлада.

— Где больно, где? Покажи?

Он догнал ее ищущую руку и стиснул.

— Одевайся, Наташа. У нас мало времени. Принеси мне воды...

Воды! Вот чего он хотел. Единственно воды. Никаких свадеб, никаких хлопот — глоток воды, и можно будет снова уснуть. Еще бы на мгновение уснуть! Желтая обивка дивана раздражала зрение. На стенах, на шкафу, в зеркале серванта отражалось коварное солнце, которое бушевало за окном. Неужели придется опять идти на улицу? Невероятно. Это никому не по плечу. Какую глупость он затеял. Далеко в палате дремлют в ожидании обеда Гриша Воскобойник и Кисунов. Он мог быть там, с ними. Кисунов рассказал бы про Германию. Интересно. Как интересно! В водах Рейна плавают толстые карпы, похожие на федулинских милиционеров... Наташа, дочитала ты книгу про путешествия? Хорошо бродить по горам, сидеть у костра и угощать снежного человека сигаретой «Столичные». Скучно жить без снежных людей? Неужели их нет на свете? А летающих тарелок? Ничего такого нет? Но позвольте, что же тогда останется. Эта комната с желтым диваном?..

— Пей, милый!

Афиноген припал к чашке, к чудесной холодной чашке с живой водой. Он засасывал воду между зубов, захлебывался, прокатывал ее круглый холодок по горлу, впитывал языком, деснами. Напился.

— Ну все, Наташа. Я отдохнул... Ты готова?

Наташа заметила неестественный блеск глаз Афиногена, но не могла понять, что с ним, не могла представить, что он болен.

— Куда мы пойдем? — спросила она, чувствуя, что быть сестрой милосердия не способна. Тем более, она видит его насквозь. Он хочет разжалобить ее и ввести в заблуждение этими рассказами о больнице, а потом, возможно, принудить к... Она знала к чему. Это он, глупый, возомнивший о себе мальчик, не знает, как давно в глубине души она готова исполнить любое его желание. Только бы он не смеялся над ней. Вот что

останавливало. Он будет громко смеяться над ней, телкой, неумелой в любви. Он и прежде обзывал ее иногда телкой. Спрашивается, за что? Откуда все же выпал он эти допотопные тапочки и почему вырядился в старые мятые грязные брюки?..

— Я до сих пор не поняла, куда мы собираемся? Гулять?

— Да, да, гулять. Одевайся только поскорей!

— Может, чай поставить? Ты не голоден?

Афиноген промолчал. «Что я делаю? — подумал он.— В какой капкан сую голову?» Снующая по комнате девушка была ему мила, желанна, но стоит ли так спешить? Не пора ли в конце концов тормознуть? Хватит чирикать канарейкой на жердочке. Как они будут жить? Наташе надо ехать в Москву учиться... Что он может ей предложить, кроме своей фанаберии? Откуда в нем эта подлая уверенность, что женщине для счастья достаточно любить своего мужа? Перед ним не женщина — девочка. Она, возможно, готова ему довериться, но дарить себя, как брошку! Она ничего не понимает в жизни... Неужто он, подонок, воспользуется ее беззаботной наивностью?

— Наташа, — сказал он, — последнее время я запутался, заигрался. И не живу, а играю. Может быть, я злодей похлеще сорока разбойников... А может, обыкновенный человек. Не пойму никак. Живешь, живешь — все вроде ясно, гордишься тем, что тебе все так ясно, умом своим, а потом — хлоп! — ералаш какой-то. Простое и понятное становится загадочным, как шифр Фуше. Самые обыкновенные вещи оказываются нашпигованными взрывчаткой с почти догоревшим запалом. Кто я, что я? Ничего не известно. И от этого очень противно... У тебя так бывает?

— Я рада, что ты так говоришь со мной. Обычно ты смеешься, и все. Может, ты и теперь смеешься. Больше всего я боюсь, что ты окажешься жестоким человеком.

Афиноген как будто не расслышал.

— Мне предложили новую солидную должность на работе. Для моих лет — просто великолепную. Это карьера. И вдруг я вижу, повышение сопряжено с чем-то замаскированно нечистым, с чем-то таким, что может покалечить душу, сломать ее. Я это чувствую...

— Миленкий мой, хочешь еще полежать? Давай я тебе принесу вторую подушку.

Последние Наташины слова все-таки разбудили Афиногена. Он обнаружил, что здоров, бодр и готов действовать. Боль собралась в одном месте в узелок, там, где находзяничал скальпель. В ней не было ничего пугающего. Так точно ноют перегруженные, требующие отдыха мышцы. Жар утих. Казалось, и на улице стало свежее, солнце попритупило о землю свои каленые стрелы.

Часы показывали начало двенадцатого. В больнице давно суматоха, не дай бог — уже позвонили на работу.

— Все! — сказал Афиноген. — Отставить разговоры. Короче! Ты идешь со мной, Натали? Спрашиваю последний раз. Ответа не нужно. Быстро одевайся, скоро гроза начнется. Не успеем добежать до загса.

Наташа обреченно подумала: «Если он правда хочет отвести меня в загс, я пойду с ним». Она ушла в свою комнату и скоро вернулась в светлом сарафане до щиколоток. Она успела причесаться. Афиноген не собирался ахать, но ахнул.

— Ах! — ахнул он. — После свадьбы буду запирать тебя на замок. Это же надо, какая красота дана одной женщине.

— В таких тапочках я с тобой никуда не пойду.

— И не надо. Я босиком предпочитаю.

Наташа принесла ему летние светло-желтые туфли Олега Павловича. Он натянул их на голую ногу. Из передних прорезей туфель его пальцы торчали, как спички из коробки.

— Простенько, а как смотрится! — восхитился Афиноген. — Что значит подобрать обувь со вкусом.

Шествие их в загс прошло без всяких приключений, если не считать, что дважды дорогу им перебежала черная кошка. Они малость поспорили. Афиноген утверждал, что это одна и та же кошка, подосланная судьбой, чтобы покрепче их пугануть, а Наташа считала, что это разные кошки, хотя смысла появления животных не отрицала. Смысл был понятен обоим одинаково хорошо. Афиноген на всякий случай презрительно отозвался о людях, верящих в такую чушь, и

предложил сделать крюк и подобраться к цели другой дорогой. Наташа, наоборот, готова была вернуться и отложить мероприятие до следующего раза, но потом передумала и ограничилась тем, что несколько раз символически поплевала через левое плечо. Она опасалась, что другого раза может не быть.

Весело было им идти рядышком по солнечной улице на виду у распахнутых окон. Голубизна неба потемнела, по ней заскользили неряшливые разорванные облака. Пылающий диск солнца рассекал их без труда. Но вот из-за горизонта показался широкий с ярко-белой каймой бок громадной тучи. Эта туча выползала степенно и растекалась в разные стороны медленно. Солнце, небрежно отбрасывая пустяковые облака, на тучу поглядывало с тревогой и даже сделало безнадежную попытку рвануться куда-то в сторону, закатиться прежде срока за горизонт. Однако законы физики и астрономии были посильнее. Пришлось солнышку терпеливо на одном месте поджидать коварного и грозного врага. Ветер взмыл с земли к небу, подбрасывая вверх вороха листьев, клочки бумаги и всяческую дребедень, то ли предостерегая солнце от опасности, то ли, напротив, торопя тучу побыстрее занавесить эту чадающую раскаленную линзу. В воздухе разлилось душное предвкушение дождя. Затрепетали, пытаясь заранее стряхнуть пыль, листья деревьев.

— Еще одно хорошее предзнаменование, — обрадовался Афиноген. — Такое же было князю Игорю.

— Не надо острить, — печально сказала Наташа. Ее напряженные нервы пощипывал сейчас любой пустяк. Одно слово, один неосторожный жест мог заставить ее броситься куда глаза глядят. Про кошек она, конечно, шутила, но не совсем от души. Неожиданная туча привела ее в трепет. Женщина, выросшая и воспитанная в двадцатом веке, во второй его сумасшедшей половине, начитанная и умная, искренне осуждавшая предрассудки, невежество и условности, Наташа ухитрилась сохранить в каком-то дальнем уголке сознания древний темный страх перед силами неведомого. Тот великий страх неразбуженного, мечущегося в потемках ума, который делал из женщин рабынь, кликуш и фанатичек. Перечитывая повести Гоголя, она дрожала от ужаса и потустороннего восторга. Ей выпадали сны,

в которых она беседовала не с богом, но с каким-то высшим и необъятным существом, без очертания и образа, но густым и обволакивающим, как болотные испарения. С любимой подругой Светкой Дорошевич они часто гадали на картах, смеялись и все-таки с жадным любопытством вглядывались в предстоящие им бубновые или пиковые перемены.

— Ладно тебе, — успокоил Афиноген. — На пороге семейного счастья все становятся суеверными. Не бери в голову... Кстати, дай мне рублик или два. Мне надо сторожа наградить, который побег устроил.

Наташа безмолвно достала из сумочки трешку. Трезвость и житейская предусмотрительность жениха вконец испортили ей настроение. «Ему все равно, куда идти, — подумала она, — что в загс со мной, что выпить с друзьями. Он бесчувственный. Нет, он не бесчувственный, он меня не любит. Ну и пусть. Когда узнает, какая я буду преданная и заботливая жена, как я умею готовить и стирать, то полюбит. Обязательно полюбит... Не может быть иначе».

— Еще не поздно, — сказала она. — Не поздно попытаться. Ступай к себе в больницу, а я буду готовиться к экзаменам.

— Поздно, — возразил Афиноген. — После всего, что между нами было, я обязан жениться.

«Вот и отлично, — решила Наташа. — Пусть он издевается, пусть. Он не знает, какая я хитрая. Женщинам приходится хитрить, чтобы не упустить своего счастья. И я буду хитрить...»

У входа в загс под козырьком подъезда стоял одинокий фотограф Васька Шалай. Он был пьян и держал в одной руке кожаный портфель, в другой — ребрышко вяленого леща. Ребрышко он время от времени подносил ко рту, но не откусывал, подержав и понюхав, безвольно ронял руку вдоль туловища. Жизнь не баловала Ваську Шалаю ни большими заработками, ни вниманием женщин. Фотографироваться люди у него остерегались, а федулинские невесты считали алкоголиком и избегали его ухаживаний. Долгие часы проводил он у загса, с упорством маньяка сторожил случайную жертву.

— Гроза собирается, — обратился он к подошедшим жениху и невесте, — хороший снимок может полу-

читься, уверяю вас... Смеющиеся парень и девушка на фоне грозового неба. Любая газета с руками оторвет по высшей таксе.

Наташа вежливо задержалась, повернулась к фотографу. Этого было достаточно, чтобы Васька Шалай развернул сверхактивную и беспорядочную деятельность. Рябое лицо его, просветленное творческой мыслью, преобразилось.

— Художественный элемент, элемент... — забулькал он трясущимся голосом, пытаясь оттеснить обоих на проезжую часть улицы. — Счастливое совпадение. Вам повезло... Подержите закуску, будьте добры!

Афиноген быстро пришел в себя.

— Сейчас я тебя подержу, — пообещал он. — Вместе с твоим аппаратом. Вас потом не отличишь друг от друга.

Васька Шалай с совсем уж собачьей мольбой потянулся к Наташе.

— Ваша девушка понимает... Она хочет иметь память о счастливом дне. Вы же пришли подать заявление? Вы будете счастливы, поверьте. У меня большой опыт. Кому я предreshаю счастье, те могут быть спокойны за будущее. Я сужу по некоторым приметам... Вот сюда, пожалуйста! Сюда!

Суматошная речь, настырность и безобразный голос как раз были теми «художественными элементами», которые отпугивали от Васьки Шалай редких клиентов. Но ему никто никогда этого не объяснял. А сам он недопетривал. Афиноген объяснил ему впервые:

— погоди, не суетись, — приказал он, и фотограф замер корявым столбом. — Зачем ты нас берешь за грудки? Не надо. Фотограф, подобно академику, должен быть неназойлив, благодушен и ни в коем случае не молоть вздора. Смотри, какого ты дал маху. Девушка действительно была настроена доверчиво, а теперь ты так устроил ее своими обезьяньими выкрутасами, что она прячется за мою спину... Она уже не может глядеть в твои алкогольные очи.

— Ничего я не страшусь, — возразила Наташа. — Но, может быть, вы в другой раз нас сфотографируете?

— Вот видишь, чего ты добился, мастер?

Васька Шалай побрел за ними, как в лунатическом

сне. В коридоре Афиноген обернулся и заметил сухо:

— Не унижайся, Шалай! У тебя благородное ремесло в руках...

Васька Шалай вошел за ними в комнату, где на нескольких столах была разложена бумага, детские ручки с перышками, в углу серел навечно запыленный молодой фикус. За одним из столов что-то быстро черкал мужчина в ковбойке. Он черкал, тут же отбрасывал лист и брал следующий из стопки, лежавшей от него по правую руку. На вошедших он не обратил никакого внимания.

— Этот своим счастьем уже по горло сыт, — шепнул Афиноген невесте. Она ответила непонятно просящим взглядом. Васька Шалай подвинул ей стул и встал за спиной, готовый оказывать дальнейшие услуги. Афиноген попросил его временно удалиться.

— Да, да, — поддержала Наташа. — Будьте любезны!

Шалай отступил к окну и начал оттуда целить в них фотоаппаратом. Его воля к исполнению профессиональных обязанностей была непоколебима.

Афиноген быстро сочинил текст заявления, чем вызвал в невесте нехорошее подозрение, что занимается он привычным делом. Фотограф несколько раз шелкнул спуском. Услышав это ритмичное пощелкивание, мужчина в ковбойке ошалело поднял голову, понял, в чем дело, и грозно изрек:

— Уйди отсель, Васька, гад! Христом богом прошу!

— Тебе-то что? — взвился фотограф. — Не тебя снимаю. Вот их! Пиши свою бумагу!

Мужчина заворочался, отодвигая стул. Васька Шалай еле успел проскочить мимо него к двери.

— Видишь, — сказал Афиноген. — Видишь, Наташа, какие повсюду бушуют страсти. Нет, рано нам мечтать о тихой гавани. Непокойно в море.

Заявление у них приняла бледная женщина в опрятном ситцевом платье. Когда они вошли в соседнюю комнату, она в одиночестве за длинным, заваленным папками столом ела клубнику из газетного пакета. Обтерев тряпочкой пальцы, прочитала заявление, улыбнулась брачующимся.

— Паспорта с собой, детки?

— У меня с собой, — сказала Наташа.

— А у вас.

— У меня на прописке.

— Ну хорошо, потом занесите, не забудьте. Что ж, недельки через две-три мы вам сообщим. — Молодые глядели с недоумением. Она заметила их взгляд.

— Не удивляйтесь, детки. И не волнуйтесь, все будет в порядке. А я тут временно, подменила подругу. Толком и не разобралась пока, как у них все делается. Собираю вот бумаги в кучу. Хозяйка отболеет — придет, рассортирует. Я уж ничего стараюсь тут не перемешать. С живыми хлопот не оберешься. У нас в отделе спокойнее. Клиент совсем молчаливый, да и родственники его, обыкновенно убитые горем, тоже лишнего не запросят.

Афиноген хмыкнул, и женщина в ответ улыбнулась ему с профессиональным соболезнованием. Наташа потащила его за руку к выходу.

— Ничего, — утешил ее Афиноген. — Сегодня такой, видно, денек... он не главный. Мы с тобой свадьбу устроим, Натка. Пригласим много народу. У нас на Урале свадьбы шумно справляют. Конечно, без скандалов не обходится.

— Да остановишься ты наконец! — неистово, с гневом и страстью взмолилась Наташа. — Неужто ты не понимаешь, какой у меня день? Не главный? Это у тебя, Генка, не главный. У меня он один и больше таких никогда не будет. Неужто не жаль меня?! Хоть капельку.

Афиноген сосредоточился и сообразил... Вся боль последних трех дней пошатнула его и повлекла вниз; все сомнения последних лет раскололи его сердце и стиснули грудь единым возвращенным порывом. Он сообразил. Эта женщина рядом с ним — его неминуемое будущее, его завтрашний день. Без нее, без этих отчаявшихся глаз, без звука голоса, напоминавшего лесное «ау!», не будет ему завтра ни славы, ни чести. Коридор встал перед ним на дыбы и закрутился чертовым колесом. От печени до горла прошла тело тупая вязальная спица. Он глубоко впихнул в себя затхлый воздух и устоял на ногах.

— Ничего, — попытался улыбнуться невесте. — Сейчас отпустит. Прости!

Отпустило. Проехало. Пронесло мимо.

— Ну, Натали, расшевелила ты старика. До печенок проняло. Знаешь, что я сейчас решил?

— Что, любимый?

— Ты будешь в нашей семье главная. А я буду во всем тебе подчиняться. И вся дрянь высвистит из меня, как воздух из спущенной шины. Эти шуточки, смешки — вся дрянь.

— Это я буду слушаться тебя во всем. Я слабая очень, Геночка. Очень слабовольная. С другими мне иногда кажется, что я и умная и тонкая, а с тобой нет. Мы оба скоро станем другими, совсем другими. Я почувствую.

На улице их подстерегал неутомимый фотограф Васька Шалай.

— Не здесь! — сказал ему Афиноген.

Они отошли к скверу, пустынному, как и улицы Федулинска в этот час.

— Не ворошись, щелкай быстрее.

Больничная палата рисовалась Афиногену как рай, как спасение. Там ему преподнесет укольчик добрая Капитолина Васильевна. Очень боится уколов поганая боль. Он ляжет в прохладной палате и будет лежать сто часов, не вставая.

— Где же дождь, Гена? — возбужденно спохватилась Наташа. — Где туча? Ничего нет, пропала!

Небо отливало соком недозрелой смородины.

— Не будет грозы. Нет.

Васька Шалай попросил их обняться.

— Думай, что говоришь, — сказал Афиноген, — мы еще не расписаны.

Тихая, дорогая наступила минута. Они обнялись под деревом, онемели в объятье, и оба одинаково почувствовали приближение какого-то высшего волшебного звонка. Перед ними мельтешил с фотоаппаратом Васька Шалай, о чем-то их просил — они не понимали. Грохни сейчас неподалеку взрыв, развалились на две части земной шар, они не сразу шелохнутся... Короткая редкая минута, и дорого она стоит в жизни...

Наташа поддерживала жениха под руку, он очень устал. Он думал, что прошло всего-навсего часа два, а кажется прожито несколько ярких пробуждений и столько же тягостных ночей. Все-таки он осуществил

задуманное и теперь со спокойным сердцем под руку с любимой спешил на заслуженный отдых в больницу. Пока они шли, запоздалая туча еще разок высунула пасть из-за горизонта, твякнула дальним громом, пустила издали бледную молнию и скрылась с позором. Наташа тихонько напевала.

— В понедельник, не позже, я выпишусь из больницы, — заверил ее Афиноген. — Переодену брюки и сразу к тебе. Представляюсь родителям, как положено. Посидим по-семейному, попьем чайку. Вот увидишь, я произведу на них хорошее впечатление. Постараюсь прикинуться воспитанным юношей.

— Мы еще сегодня увидимся. Я вечером к тебе приду. Что тебе принести почитать?

— Не надо, — сказал Афиноген, — не приходи в больницу. Я тебе лучше позвоню.

Он не хотел, чтобы Наташа видела его беспомощным в непотребном халате. Она кивнула, чтобы зря не спорить. Про себя подумала, что успеет к вечеру сварить курицу и купить на рынке фруктов. Она была в восхищении от этих новых навалившихся на нее забот. Теперь у нее есть муж, и он болен, — уж она знает сама, что делать, не вчера родилась.

У памятника гражданину, сдавшему нормы ГТО, они повстречали Петра Иннокентьевича Верховодова, совершавшего предобеденную прогулку — осмотр вверенной ему федулинской природы. Афиногена он признал, лишь столкнувшись с ним нос к носу.

— Это ты, Гена... А я думаю, кто это днем под ручку гуляет. Не работаешь-то почему?

Афиноген познакомил его с Наташей, поделился радостью. Верховодов поздравил их как-то рассеянно. Какая-то не до конца продуманная мысль занимала его.

— Хоть кол на голове теши! — сказал он загадочно. — Как прямо дикари какие!

— Про кого вы, Петр Иннокентьевич?

— Хулиганы эти ночные, беда с ними совсем. У клуба опять штaketник развалили, газон затоптали. В пруд новых бутылок накидали. Что с ними делать? Главная беда — не поймаешь. Не пойман — не вор. Мне ночью за ними на старых ногах как угнаться... Обращался я, Гена, в дружину за подмогой. В дружине ребята хоро-

шие, дисциплинированные... Да ты их знаешь. Думаешь, помогли? Не тут-то было. Мне их главный — Рубен этот — так ответил: «Вы, Верховодов, нас на пустяки отвлекаете. Штакетник сторожить. Наша задача иная, чтобы, значит, кровь не пролилась». Так и сказал: кровь чтобы не пролилась. Я уж и то, грешным делом, заподозрил, не в исступлении ли он. Дело молодое, дали в руки власть, есть от чего в исступление прийти. «Чья же кровь, спрашиваю, предполагает пролиться?» — «А вы не знаете чья? Мирных сограждан». Ну что с него возьмешь. Ребята, конечно, в дружине хорошие, дисциплинированные. Порядок соблюдают, устав у них имеется. Но как с ними ближе разговоришься, — нет, не то. Хорошие ребята, но какие-то маляхольные. Навроде как детишки в войну играют. Навроде они есть тайный федулинский гарнизон, оставленный для подпольной работы.

— У вас, Петр Иннокентьевич, сигаретки не найдется?

Афиноген опирался на Наташино плечо, и она старалась стоять крепко, твердо, чтобы ему было удобнее и легче на нее опираться. Верховодов достал смятую пачку «Явы» и спички. Он сам не курил уже лет десять, иногда разве перед сном баловался двумя-тремя затяжками, но сигареты с собой носил на случай доброжелательного разговора. Афиноген зажег спичку и впервые за этот день затянулся. Дым ворвался в легкие и произвел там массу диверсий и опустошений. Афиноген закашлялся, согнулся, схватился за бок обеими руками, застонал и со стоном опустился на ту же самую ступеньку, где сидел не так давно совершенно холостым человеком. Наташа, заохав, досгала платочек и вытерла его посеревшее от натуги влажное лицо.

— Никак, ты хвораешь? — удивился Верховодов.

— Болеет он, дядя Петр, болеет. Вы не беспокойте его... Ступайте!

Афиноген уже отдышался, смирил разгулявшуюся стихию.

— Ничего, порядок. Не курил давно — рванула, как динамитом. Не обращайтесь внимания, Петр Иннокентьевич. Так что, говорите, штакетник изуродовали?

— Кабы один штакетник?.. Смородиновый куст обломали. Молоденькую вишенку с корнем из земли выдрали. Это же надо, какую охоту иметь, да и силу немалую. Которое растение в земле укоренилось — оно так просто злодею не поддается... Зачем все это, я думаю? Какая от этого хулигану польза, если он дерево изувечил и загубил? И отваги тут не надо особенной. Так — дикость, варварство и более ничего. Мы тоже молодыми бывали, и дрались, и петухами перед девчатами выхвалялись. Бывало, помню. Но все же разум сохраняли и до состояния диких зверей, а точнее, кабанов, которые носом под живые корни подкоп ведут, нет, не опускались... Ко мне тут давеча заходил человек один, поэт товарищ Волобдевский. Он желает про все эти безобразия и кабаньи выходки поэму сочинять. Считает, что его поэма внесет вклад в общую пропаганду защиты невинной природы. Я уж теперь и не верю. Навряд ли ночные тати и пещерные жители станут поэму читать. Навряд ли.

— Если Марк поэму шлепнет, ее вообще никто читать не будет, — уверил его Афиноген.

— Ты что же, знаешь его хорошо?

— Знаю. И Наташа знает. Наташа, будут читать поэму Марка Волобдевского?

— Нет, дядя Петр, никто не будет.

— Что же он, плохо напишет?

— Халтурщик он, Петр Иннокентьевич.

Верховодов огорчился, присел рядом на ступеньку. Так они рядышком и сидели в холодке: посередине страдающий Афиноген, по бокам заботливая Наташа Гарова и огорченный Верховодов.

— Я и то засомневался. Больно уж он безудержно наливку глушит. Как-то даже торопливо и будто в забвении. Что же делать? Ума не приложу... Ни войны, ни разрухи нет. Отчего же и откуда они такие вылупляются, просто-таки звереныши некоторым образом? — На лице его отразилось беспомощное старческое смятение. — Призадумался и действительно согласишься с Карнауховым. Пороть надо публично на площади, он предлагает. Смех, конечно, но что делать? Что делать?

— Карнаухов предлагает на площади пороть?

— Николай Егорович? Да! Достойный всяческого

уважения человек. Но молодой еще, горячий. Пороть, говорит, на площади. А ведь это самосуд — порка. Я не могу самосуд поощрять.

— Никакой не самосуд, — возразил Афиноген. — Требование момента.

— Ты, выходит, поддерживаешь Карнаухова?

— Точнее сказать, я им восхищаюсь. Своей собственной платформы пока не имею.

— В том и беда, Гена, что такие, как ты, умные, сильные — держатся в стороне в качестве этаких попутчиков-наблюдателей. Уж известно про нас — все ждем, чтобы жареный петух клюнул.

— Зато когда клюнет — нам удержу нет никакого, — несколько приободрил старика Афиноген. — Тогда уж русский человек стенку лбом прошибает.

— Прошибает, — согласился Петр Иннокентьевич. — Да что толку. Ни стенки, ни головы... Вы, девушка, разумеется, тоже находитесь в числе пассивных наблюдателей творящихся бесчинств?

— Я не очень понимаю, каких бесчинств?

Афиноген толкнул невесту в бок локтем, но было поздно. Великое горе сомкнуло уста беззаветного защитника природы. Меленько, по-козлиному тряс он головой, опуская ее все ниже и ниже. О чем думал он? Верховодов, отрешившись от идущего дня, задумался о том, что дело, которому он отдавал последние убывающие силы, видимо, находится в упадке и никому не нужно. В этом он убеждался на каждом шагу. Повсюду его доброжелательно выслушивали, сочувствовали его убеждениям, обнадеживали, но даже те, от кого многое зависело — ученые, представители власти — в конце концов начинали поглядывать на него с нетерпением и вежливым неудовольствием, как на человека, который, погрузившись в стариковские разглагольствования, отрывает их от многих более насущных вопросов. Ему было удивительно, как люди, наделенные полномочиями, образованные, не понимают, что нет и не может быть вопроса более важного и неотложного, чем сохранение и продление жизни природы в том порядке и в той красоте, в какой она сохранялась испокон веку. Как могли они не чувствовать, что пренебрежение к природе не просто немилосердный акт, а удавка, которую люди сами накинута себе на шею и сами скаж-

дым днем затягивают все туже и туже. Недалек и виден тот день, когда эта удавка в буквальном смысле перетянет горло и человеку нечем станет дышать. Не понимали?.. В том-то и ужас, что понимали, и ничего не делали. Так же нерадивый и ленивый хозяин откладывает со дня на день ремонт квартиры, пока грязь и плесень не разъедят стены и изо всех щелей не хлынут в гости к жильцам полчища тараканов, клопов и всяческой мрази, у которой и названия-то нет никакого... Что может сделать он один, старик, собирающийся вскоре покинуть этот мир? Зачем все его хлопоты, если такая вот свежая цветущая девушка, прекрасная, как сама природа, оказывается даже не знает, о чем идет речь.

Афиноген с Наташей так и оставили старика сидящим под памятником. Его согнувшаяся в каком-то нелепом поклоне фигура была, конечно, более выразительна и символична, чем каменный круглоголовый спортсмен над ним.

— Что я такого ему сказала! — Наташа чуть не плакала от огорчения и оттого, что сейчас Афиноген подумает про нее, какая она пустая и бесчувственная.

— Половина города у меня полоумных друзей, — беспечно сказал Афиноген. — И у каждого своя магия. Не горюй, дорогая... Скоро больница. Вон он, приют страдальцев и душевнобольных. Заметь — это не одно и то же... Наташа, любимая, я так и не купил сигарет.

Последние метры до входа в больницу он проделал со всей возможной быстротой и без сомнительного прихрамывания. Вот Наташа, а вот и сторож, который переместился со стулом прямо в вестибюль. Кроме этого, ничего здесь не изменилось. Так же, а возможно, и те же, горестно толпились посетители, такой же отражался от высоких стен микстурно-затхлый запах.

— Тапки несешь? — встретил его сторож вопросом. — Ну, милочка, ты отчудил! Меня уж чуть с работы не сняли. Зачем пропустил? Куда пошел? — передразнил он кого-то. — Ты уж меня не выдавай, больной Данилов! Не выдавай добродушного старичка.

— Не выдам.

Сторож засмутился и как-то через силу, вроде его отталкивали, а он упирался, — приоткрыл дверь.

— Держи! — Афиноген протянул трешник. — Самая надежная валюта — советские деньги. Половина — твоя, на половину купишь мне сигарет. Договорились?

Сторож не взял трояк, а мягко проглотил его в широкий рукав. Куда там Акоюну с его фокусами. Пускай едет в федулинскую больницу — поучится.

Халат лежал нетронутым под скамейкой на переходе второго этажа. Никому не понадобился. Афиноген снял ботинки и сунул их на место халата. В пристойном больничном виде он шагнул в терапевтический коридор. Вот тут были перемены. Пустовавший утром коридор сейчас напоминал прогулочную аллею у подножия Машука. Больные прохаживались с кружками и мензурками, собирались группами по два-три человека у открытых окон. Небольшая очередь выстроилась к столику Капитолины Васильевны — там отпускали целительные снадобья.

Проскочить незаметным Афиногену не удалось. Капитолина Васильевна устремилась к нему, расталкивая больных, подбежав, крепко схватила за руку с таким выражением, словно хотела повалить на пол и куда-то тащить волоком.

— Данилов, вы что? Вы как это? Где отсутствовали?

— Я был в туалете! — гордо и вызывающе ответил Афиноген.

— Как в туалете? Больше двух часов? — спохватилась. — Не было вас там, мы искали.

— Я был в туалете на третьем этаже. Что уж, право, нельзя человеку побыть одному, подумать?

Больше медсестра не стала рассусоливать, провела в палату, помогла стащить брюки, бегло ощупала повязку: как? тут как? не больно? — и убежала.

— Да, Генка! — взялся за него Гриша Воскобойник. — Навел ты шороху. Теперь тебе кранты, ясное дело!

— Выгонят, — без тени сомнения подтвердил Кисюнов.

— У них тут полный аврал был. Сам главный прибежал. С Капитолиной дергунчик стряся. Твой хирург ей крикнул: «Вы ротозейка!..» Под горячую руку вон Ваграныча обидели ни за что.

— Я не обиделся, Гриша, — отозвался Вагран Оси-

пович. — Я не могу обижаться на людей, забывающих элементарные нормы обращения с больными.

— Главный велел ему заткнуться, Ваграну. Он стал про тебя заикаться, что имеет вроде подозрения насчет твоей психики, а...

Досказать Гриша не успел, потому что в палату ворвался взбешенный Горемыкин, влетел и уставился на добродушное улыбающееся лицо Афиногена.

— Знаешь, что за это бывает? — сухо осведомился Иван Петрович, загипнотизированный доброй, голубой улыбкой, призывающей его не к шуму и скандалу, а к дружескому долгожданному объятию.

— Виноват, Иван Петрович, — просто и задушевно сказал Афиноген. — Будьте снисходительны! В этом городе у меня никого нет...

— Только ты мне бредни насчет туалета не крути. Не надо.

— Это я пошутил с туалетом.

— Данилов! Мы ведь на работу сообщаем. Как думаешь? За больничный ведь шиш получишь.

— Деньги — ладно. Мне совестно, что я вас потревожил, Иван Петрович. Но и вы меня должны понять, как отец.

Афиноген заискивающе улыбался. Горемыкин не испытывал злости, она прошла, пока он бежал сюда с третьего этажа; все-таки он отчеканил:

— Я думал о тебе лучше, Данилов. Ты поступил гнусно. Подвел многих людей, которые ничем не провинились перед тобой. Они хотели тебе только добра. Ты их подвел. Не буду говорить, кто так делает — ты сам знаешь... — У двери обернулся и буднично добавил: — Давай на перевязку! В перевязочную.

— Хороший человек, — сказал Афиноген, — справедливый. И хирург изумительный.

— Не переживай, Гена, — посочувствовал Воскобойник. — Может, еще оплатят больничный. Ты Капитолине конфет купи.

— Я ей куплю вишню в шоколаде, — сказал Афиноген.

Перепутались в моей голове реальные живые люди, действительные события и выдумка. Ночами стали

сниться чудеса. Приснилось, как встретились Георгий Данилович Сухомятин и больной Афиноген. Ночью тайно вылутился из воздуха Сухомятин и пристроился на подоконнике. Чтобы его видеть, Афиногену приходилось задирать голову. Сухомятин во сне тоже был босой и в больничном халате. Разговор произошел короткий и без обиняков. Шепот Сухомятина растекался по палате, как сырой сквозняк:

— У тебя все впереди, Данилов! Я тебе всегда завидовал. Но сегодня настал мой черед. Если ты не будешь мне мешать... Карнаухова убирают, «уходят» старика. Я хочу на его место. Очень хочу! Мне это необходимо.

— Зачем?

— Надо. Я чувствую, что надо. Не знаю, как объяснить. Надо было учиться — учился. Надо любить — любил. Детей рожать — рожал. Диссертацию делать — делал. Теперь надо мне на место Карнаухова. Я чувствую. Пришел мой черед.

— На подоконнике сидеть — тоже надо?

— Не такая уж большая величина — заведующий отделом. Так и я ведь не карьерист. Но мне надо. Человек — глупый ли, умный ли — постоянно самоутверждается. Каждый возраст имеет свои формы самоутверждения. Мне нужно продвижение. Больше ничего. Мое самоутверждение настоятельно требует общественного резонанса. Я так устроен.

— Существуют ли для вас какие-то высшие цели?

— Возможно. — Сухомятин из сна воодушевился и забрался на подоконник с ногами. — Вполне вероятно. Высшие цели существуют для всех, но абстрактно, как уровень.

— Я-то вам зачем понадобился, Георгий Данилович? От меня чего вы хотите?

— Ничего особенного, представьте. Хочу, чтобы вы не мешали. Даже совсем не приходили на собрание. Дело в том, что среди части сотрудников вы пользуетесь непонятным мне влиянием. Погоды не сделаете, но маленькую тучку нагнать при желании сможете. Без всякой, кстати, цели. Так, ради бравады и того же самого утверждения. В вашем возрасте часто самоутверждаются, открывая Америку. А ее открывать не надо, она давно открыта... Вам нравится, Данилов, быть

тем мальчиком, который крикнул королю, что тот голый. А мне нравится быть портным, который сшил королю его злополучный наряд. Знаете, что самое любопытное? Оба они — и мальчик и портной — в конечном счете оказались единомышленниками, судя по результату. Они подорвали королевскую власть.

— Слишком запутанно, Георгий Данилович.

— Чтобы вам иметь возможность крикнуть: «Король-то голый!» — необходим портной, выполнявший королевский заказ. Что тут непонятного?

— Портной был просто жулик. Никак не соображу, к чему вы клоните. Хотите признаться, что вы жулик?

— Когда я буду руководителем — вам станет интересно работать. С Карнауховым неинтересно, а со мной... увидите, будет интересно.

Афиноген с содроганием заметил, что спина Сухомятина продавала оконное стекло и очутилась снаружи, из непонятным образом продавленного неразбитого стекла торчали руки, ноги и серое лицо Георгия Даниловича.

— Поза у вас действительно жуликоватая... Помому, вы даже не портной, а мелкий его помощник, подмастерье. Вам еще учиться и учиться на портного. Я не хочу иметь с вами никакого дела. Не мешайте выздоравливать.

— Последний раз — согласны помочь мне стать заведующим?

— Никогда.

— Вы что же, может быть, меня презираете?

— От всей души...

В действительности, не во сне, все случилось проще, длиннее и достовернее. В тот же вечер, в четверг, Кисунов после ужина отправился навестить какого-то знакомого на третий этаж. Афиноген и Гриша Воскобойник играли в шахматы. Время от времени в палату всовывалась хохотушка Люда, недавно заступившая на дежурство.

— Глянулся ты ей, — отметил Воскобойник. — Раньше ее в нашу палату на аркане было не затащишь. Займись, мой тебе совет.

— Поздно, — пожалел Афиноген. — Женатый я теперь.

— Не-е. Поздно не бывает. — Гриша аж замаслился от чувственных грез. — Я вот постарше тебя, и жена есть, а при случае своего не упущу. Не-е. Как вижу, если женщина знак подает, по мне даже судорога пронизывается. Во тут... Я себе не вольный становлюсь. Другой раз некогда да и, бывает, такая страхолюдина, крокодил — все равно я, как боец, завсегда на посту. Это ж какое оскорбление надо нанести женщине, если она к тебе добром, а ты к ней как? Не-е. Грех это даже!

— И много у тебя случаев было?

— Было. Теперь где уж... Вишь, облезать начал. Да и здоровьишко. Бывало — столько усидишь, ну с закусью, конечно, — и ни в одном глазу! То есть, не то чтобы... но вполне, язык слушается и домой хочь на карачках... Утром крепкого чая выдуешь — и как огурчик. На работе никто и не догадается. Теперь, бывает, сразу косею. На другой день и толковать нечего. Морда опухнет, как валенок. В башке — кузнецы кувалдой стучают. А мы сколь ее в себя усадили? Море... Ты сам-то потребляешь?

— В меру.

Гриша Воскобойник сделал ход конем, потом вернулся на место. Пошел слонем, извинился и опять вернулся ход. Тяжко задумался и, наконец, выдвинул впереди центральную пешку, ход, после которого гроссмейстеры хватаются за голову, ищут взглядом в зале хоть одно родное лицо и... отключают часы. Гриша в шахматы играл слабо, но со вкусом, как в домино.

В этот решающий момент партии и появился Георгий Данилович Сухомятин. Сначала забежала Люда и сообщила: «Гена, к тебе гости!» — И тут же из-за нее вынырнула высокая сухая фигура заместителя заведующего.

— У тебя особые права, я вижу. — Сухомятин брыкнул головой вдогонку Люде. — С личным секретарем болеешь. Правильно. Знай наших...

Георгий Данилович доставал из матерчатой сумки с голубой надписью «Аэрофлот» яблоки, кульки с конфетами, коробку печенья «Салют».

— О, у вас интересная позиция — для черных, кажется, предпочтительнее, — он сел на стул и с интересом стал изучать расположение фигур. Можно было

предположить, что это и есть цель его прихода — проанализировать партию.

— Разрешите, товарищ, я попробую за вас доиграть? — обратился он к Грише Воскобойнику.

— Играйте. Мы после наиграемся.

— Да-с. Запущенная ситуация, запущенная. Как у нас в отделе. А, Гена?

— Играть еще можно.

— Можно, можно. Только осторожно, — пропел Георгий Данилович. — Очень даже можно. Если осторожно. Какой поэт во мне похоронен, товарищ Данилов... Про здоровье не спрашиваю, все знаю от милейшей Людочки. Она, кажется, имеет на вас далеко идущие виды.

— Что я ему и толкую, — буркнул Воскобойник.

— Конечно, конечно... Прелестная девочка. Вы, Данилов, счастливчик... А пойдем-ка мы вот сюда, в уголок. Ферзя, как ни странно, предстоит спасать. В жизни они сами себя спасают — вы не находите, Гена? А в шахматах приходится частенько уповать на пешки.

— Пешки — плохая защита ферзю, — сказал Афиноген, делая неряшливый ход и теряя темп. Сухомятин был сильный игрок, это сразу видно. Сильный и цепкий. Он заметил промах противника и устремился на открывшуюся линию слонем. Через два хода он значительно укрепил позицию белых. Воскобойник не выдержал и начал ему подсказывать.

— Сюда ходи. Двигай ладью!

— Нет уж, мы ладью пока попридержим в резерве.

Афиноген сосредоточился на игре. Безразличный к поражению, он все-таки не хотел уступать почти выигранную партию за здорово живешь. Но и затягивать игру не собирался. Он искал обострения и быстро его нашел. Жертва двух пешек сулила ему стремительную атаку. Сухомятин жертвы не принял.

— Нет, нет. Нам этого не надо. Мы вот остороженько, остороженько... Курочка по зернышку клюет.

Афиноген почувствовал раздражение. Зачем вообще пришел Сухомятин? Они не друзья, не ровня друг другу. Долг вежливости? Этикет? Что ж тогда расслаиваться. Отметился и... привет. Привет, Сухомятин, здесь тебе не шахматный клуб. Здесь больница, и люди играют в шахматы, чтобы рассеять скуку. А ты при-

шел, чтобы выиграть? Ну, погоди! Еще не вечер. Он стал лихорадочно восстанавливать в памяти теорию эндшпи-лей, урывками изученную на первом курсе и давно за-бытую. Хоть что-нибудь бы вспомнить! Но в голову по-лезли совсем иного рода воспоминания, связанные, однако, с шахматами.

...На первом курсе Афиноген увлекся игрой не про-сто так, не ради красоты шахматных идей. Его одно-курсник москвич Леня Файнберг имел первый разряд по шахматам и этим, как казалось тогда Афиногену, превосходил его в глазах Катеньки Семиной, зелено-глазой наяды, джинсовой девочки, генеральской дочки, которая смертельно ранила сердца обоих студентов. Леня Файнберг утверждал, что способности к шахмат-ной игре являются безусловным показателем интеллек-та. Отсюда следовало, что проигрывающий ему из де-сяти партий десять Афиноген Данилов стоит на не-сколько ступенек ниже Лени Файнберга. Мысль была проста и поэтому особенно впечатляюща для воображе-ния джинсовой девочки. В той среде, где вращалась Катенька Семина, была мода на интеллектуальных мальчиков. Кто же и когда из женщин разбирался в сути и смысле моды. Мода — это реальность, которой следует придерживаться. Вот и все. Возникни тогда мода на мальчиков-дебилов — и оговоренное интеллектуаль-ное превосходство Лени Файнберга оказалось бы для него минусом. Мода не слепа, она возникает по опреде-ленным законам, но люди ей подчиняются в большин-стве своем слепо и доверчиво, как послушные дети род-ной матушке.

Короче, Афиноген решил побить врага его же ору-жием... Он не смутился тем, что Леня Файнберг зани-мался в шахматном кружке с двенадцати лет. На шах-матное самообразование Афиноген отвел себе два ме-сяца — больше нельзя; начнется летняя сессия, — от ложил в сторону учебники и углубился в шахматные книги.

Пока он недосыпал ночей и, рискуя быть непоня-тым преподавателями, изучал шахматную теорию, Леня Файнберг наслаждался обществом зеленоглазой наяды. Как уж он себя там вел и в какие игры учил играть генеральскую дочку — неизвестно, но надоел он ей до чертиков. И то сказать, хотя Леня и подходил под ка-

тегорию мальчиков-интеллектуалов, мог дельно порассуждать на любую тему, сыпал именами, избегал диалектизмов и носил через плечо японскую кинокамеру, внешне он как-то не привлекал внимания. Леня был из тех невзрачных, тщедушных мужчин с узкой, заостренной кверху продолговатой головой, которые в двенадцать лет выглядят умудренными жизнью усталыми людьми, в двадцать пять заболевают ревматизмом и линяют, а оживают лишь после пятидесяти. В этом почтенном возрасте они берутся шалить, ухаживать за молоденькими девочками, попивать портвейн и приобретают детский румянец на впалых щеках. Приблизительно около шестидесяти эти пожилые живчики впадают насовсем в старческий маразм и только импозантностью манер отличаются от детишек, играющих в песочнице.

На одной из лекций Афиноген получил записку от Катеньки Семиной. «Достопочтенный сэръ! Мне приятно знать, что ради меня вы истязаете свой мозг. Однако годы проходят и не возвращаются. Если я проведу еще два вечера в обществе Л. Ф., мне все будет безразлично, и я, вероятно, соглашусь на идиотское предложение выйти за него замуж. Кажется, это единственная возможность от него избавиться. Вы были когда-то так добры ко мне, сэръ! Не соблаговолите ли ради старой дружбы уделить мне пять минут для короткого разговора? Уважающая ваш шахматный талант К.»

Афиноген уделил пять минут, и разговор их затянулся на полтора года. Матч между перворазрядником и вундеркиндом-любителем, к сожалению, не состоялся. Нет, Афиноген не увиливал, предлагал пари, помахивая у Лени Файнберга перед носом учебником для начинающих шахматистов. Леня сам отступился и от матча и от наяды. Но пояснения дал: «Не хочу, старики! Мне ничего не светит в любом случае. Выиграю, скажут: связался черт с младенцем. Проиграю — позор. Катя меня не полюбила, и конец. Да я в ней и сам разочаровался».

Он обманывал, хитрый будущий профессор Леня Файнберг. Он переждал полтора года и повторил свое предложение, посватался к Катеньке. Выбрал момент удачно, но опять получил отлуп. Зеленоглазая няяда, расставшись с Афиногеном, закрутилась мотыльком

под музыку магнитофонных лент и пропала где-то в глубине шикарных, увешанных коврами московских квартир. Моду на интеллектуальных мальчиков сменила мода на сорокалетних крепышей, восседающих за рулем личных автомобилей, оставивших в прошлом как минимум одну-две семьи. Эти ребята имели много денег, много мышц и были восхитительно безнравственны. С одним из героев новой моды, человеком, отягощенным каким-то необыкновенным удостоверением личности, Катенька Семина и связала надежно свою судьбу. Лёня Файнберг опять остался при пиковом интересе. Афиноген, правда, тоже. Разница была в том, что Афиноген хорошо знал, какое трудное счастье выронил из рук, и ни о чем не жалел.

— Гена, будете ходить или нет? — спросил Сухомятин с доброжелательной иронией.

— Задавили мы Генку, не продыхнет никак, — оценил Воскобойник.

— Мало того что задавили — и камень сверху положили, — подтвердил свое положение Афиноген.

Он сделал аккуратный ход, укрепил центр. Сошприцем в нежной руке подошла к нему Люда.

— Гена, укол!

Сухомятин отвернулся, но краем глаза следил, как шприц вонзился под кожу.

— Не больно?

— Приятно очень. Людмила лучше всех делает уколы.

В присутствии представителя института Афиноген не рискнул ущипнуть сестренку, что, в общем-то, стало у них маленьким обрядовым действием. Воскобойник попробовал подменить его, но нарвался на железный отпор. Протянутую Гришину руку Люда отбила с такой силой, что звук получился как при выстреле из духового ружья.

— Много вас таких, — сказала Людмила, поощрительно глядя на Афиногена. — С длинными руками.

— Извиняюсь, — повинился Гриша. — Обознался!

— К чужим девушкам не приставай, — оборвал его Афиноген с нарочитой обидой. Под шумок этой интермедии Сухомятин сделал коварный ход. Партия затягивалась. Время шло. Сухомятин поглядывал на часы.

— Вам спать не пора, Гена?

— Доиграем.

Вернулся в палату Кисунов. Увидев посетителя, не снимая халата опрокинулся на кровать и засопел.

— Предлагаю ничью, — сказал Сухомятин.

— Почему ничью? — забеспокоился Гриша. — Партия наша.

Кисунов сопел все навязчивее. Он многое сейчас мог сказать, но задень утомился и не собирался взвешивать себя перед сном.

Показной запал, с которым Георгий Данилович начинал игру, сменился апатией и беспокойством. Он понимал, что рядом мучается, стесняясь раздеться, пожилой человек. Его самого заждались к ужину. Одна мысль заставила его чуть ли не вскочить с места: а вдруг Афиноген догадывается о тайном смысле его визита и нарочно ломает комедию, издевается над ним, над его нерешительностью и прозрачным маневрированием. Да нет, откуда — это невозможно! Часы показывали половину девятого.

— Ваш ход, Георгий Данилович.

И тут Сухомятин стал делать то, что он так часто делал в трудных случаях: он стал поддаваться, отступать. По лицу Афиногена он угадывал, что для того их партия уже не просто случайная шахматная встреча и победа в игре не просто случайная победа в одной партии, а нечто более значительное, определяющее, возможно, их будущие отношения. Ему и самому страстно хотелось поставить на место зарвавшегося молодого сотрудника. Для начала хотя бы в этой игре. Тем не менее наполовину бессознательно, а наполовину оправдывая себя невыгодными обстоятельствами, он сделал несколько заведомо слабых ходов. Афиноген не удивился и не обрадовался внезапному улучшению своей позиции. Глядя прямо в глаза Сухомятину, он просто и вежливо заметил:

— Я никогда не проигрываю, Георгий Данилович. Вы не расстраивайтесь.

Гриша Воскобойник носился по палате буреломом. Он много пробурчал невнятных слов, из которых можно было выделить только одну осмысленную фразу: «Говорил ему, двигай ладью. Нет. Не двинул! Тупой доцент!»

Доигрывалась партия в полном молчании. Устало и

беззащитно улыбающийся Сухомятин подставлял фигуры, а Афиноген их брал. Зрелище было неприличное, какое-то стыдное. Гриша не выдержал и со словами: «В солдатиков оловянных тебе играть!» — выскочил в коридор. Кисунов отправился за вечерним кефиром.

— Сдаюсь, Гена, сдаюсь! — Сухомятин шутливо развел руками. — Отыграюсь в следующий раз.

— Давайте сразу.

— Нет, нет. Поздно. Я уж и так засиделся. Какой суровый у тебя сосед — этот пожилой. Я все ждал, что он встанет и, слова не говоря, вытолкает меня за дверь.

— Этот может.

Сухомятин замялся — вот он, удачный момент закинуть удочку. Но слова не шли с языка. Почему он должен унижаться, лукавить? Перед мальчишкой, а если по правде, то перед самим собой. До каких пор?

— В понедельник у нас собрание, Гена. Вам, наверное, сообщили ребята?.. Я так и думал. Пошумим, поспорим. Жалко, что вас не будет. Разговор важный, принципиальный. В присутствии дирекции.

— А я буду, — сказал Афиноген. — Я приду.

Сухомятин сделал жест, убеждающий: ну что вы, здоровье прежде всего. Он ожидал какого-нибудь вопроса, какого-нибудь словечка, за которое можно будет зацепиться и кое-что выяснить. Афиноген помалкивал. Минуты уходили.

— Да-а, Гена. Так вот бегаем, суетимся, кажется, заняты важными делами, а полоснет болезнь серпом по ногам, и вся наша беготня оказывается не такой уж значительной. У вас, конечно, ерунда, аппендицит. Бывают болезни пострашнее.

— Бывают, — в тон ответил Афиноген. — Еще какие. Ужасные бывают болезни.

Сухомятин чуть не сорвался от замаскированной, невыносимой наглости мальчишки. «Боже, за что?» — подумал он. Его улыбка поблекла, сквозь ее светский лак проступила тоска по-настоящему измученного человека. Сколько уж раз в последнее время рвался из него этот недоуменный жалкий вопрос: за что, ну за что вы меня презираете? Какой дал я повод? Разве я не умен, не образован, не добр? Разве у меня нет достоинств, за которые уважают человека, работника?.. Этот во-

прос высверлил в сознании Сухомятина кровоточащее дупло и был обращен сразу ко всем: к Афиногену, жене, дочерям, Кремневу — в пустое и гулкое пространство.

Воротился успокоенный Гриша Воскобойник. Следом за ним — медсестра Людочка.

— Товарищ посетитель, больным пора спать. Я и так нарушила правила... Вы обещали ненадолго.

— Извините! Конечно. — Растерянно щуря незоркие глаза, Сухомятин поднялся. — Ну, Гена, выздоравливайте... Привет вам от всех наших... Торопиться не советую, — пошутил. — Собраний много будет, а аппендицит один. Вам, Гриша, тоже желаю скорейшего выздоровления. Не огорчайтесь, у Данилова мы еще выиграем.

— Ладью надо было двигать, когда я сказал.

— Возможно... Людочка, спасибо огромное. Не обижайте здесь нашего любимца.

Напоследок Сухомятин все же подковырнул Афиногена. Хотя, возможно, его ирония была ему одному понятна. Возможно, Афиноген в самом деле считал себя общим любимцем. В дверях Сухомятин все еще кланялся, раздаривал прощальные улыбки, — так воспитанный человек покидает гостиную милых друзей, подчеркивая, что сердце его остается с ними навеки.

— Чудной какой, — Люда хихикнула с опозданием. — К тебе, Гена, девушка там приходила, ее не пустили. И передачу не приняли. Она долго ждала, — Люда вздохнула, протянула ему пачку «Столичных». — Много только не надо курить. Неужели люди не понимают, что после операции у нас диета. Надо же! Курицу приволокла жареную.

«Наташенька! — подумал Афиноген. — Счастье мое!»

Больничная палата готовилась ко сну. Кисунов, пыхтя, производил над собой новые дыхательные упражнения. Гриша Воскобойник с сумрачным лицом читал замызганный прошлогодний номер «Крокодила». Одинокий малярийный комар планировал под потолком. Из открытого настежь окна струился чистый, прохладный воздух с вяжущим привкусом так и не пролившегося дождя. Мгновения плавного перехода дневного света в ночной мрак — прекрасное, лучшее время

суток. Кривая преступлений в этот час опускается до нуля, и капитан Голобородько спокойно выкуривает вечернюю сигарету.

Час умиротворения, когда нетленность бытия вполне доступна любопытному взору.

— Пишут, — лениво заметил Воскобойник, — смешно пишут. Интересно, за что больше платят: за смешное или за обыкновенное. Я бы платил за смешное больше. Чтобы смешно писать — талант нужен. Как считаешь, Вагран Осипович?

— Некоторым палец покажи — они со смеху помрут.

— Я не про дураков говорю — про нормальных людей. Нормальный человек много зла и горя встречает — его рассмешить непросто. Он заранее опечален. Другой раз и хочет поржать и видит, что смешно, а не может. Не до смеху.

— Тебе, Гриша, и вон ему это не угрожает.

— А вот скажи по совести, Вагран, ты сам когда последний раз смеялся? Давно, поди? По совести?

Афиноген тоже с интересом ждал ответа Кисунова, который сперва отмахнулся, как от мухи, но постепенно вопрос начал проникать в него все глубже и глубже, возбуждая в памяти давно, видать, отболевшее и минувшее. Ох, каверзный вопросец подкинул Гриша, затейливый вопросец. Серая тень опустила на щеки Кисунова, еще более набрякли мешки под глазами. Отвернулся он к стене и натянул одеяло до уха. Это уж проверенный у него способ был — отрешаться от гнусной действительности с помощью одеяла.

Вагран Осипович долго не мог заснуть, ворочался, томился, никак не находил удобного положения. Уже раздавался победный храп Гриши Воскобойника, когда с кровати Кисунова послышались странные хлюпающие звуки, похожие на попискивание мышей. Афиноген прислушался. Что такое? Тонкие звуки вибрировали, обрывались на негромко-высоких нотах, сливались в ледящее душу мурлыканье. Вдруг Афиноген понял, что это было такое. Вагран Осипович смеялся, прячась под одеялом, задыхаясь и повизгивая, хохотал неудержимо.

«Хотелось бы знать, — подумал Афиноген, — над чем смеется Кисунов?»

Карьера

1

Повернулась жизнь к Мише Кремневу невыносимой стороной. Мир, в котором он ориентировался достаточно уверенно, мир ясности и простоты отодвинулся, почти исчез. Оказалось, что рядом находится, сосуществует с первым, но не сливается с ним иной мир, полный неосознанных страстей и необъяснимых явлений. Утром в пятницу мать сказала:

— Мишенька, сыночек, хочешь мы с папой купим тебе мотоцикл?

Предложение было абсурдным — Миша никогда не заводил речи о покупке мотоцикла и не думало о нем никогда. Миша сообразил: каким-то образом его добрая мама очутилась в том, другом мире, где мысль присутствует добавочным и неглавным элементом. Он уточнил:

— Мамочка, купим лучше подводную лодку.

Дарья Семеновна расцвела, всполошилась и сделала движение, будто хочет немедленно бежать в сберегательную кассу. Миша ушел в свою комнату. Заперся там и лег на кровать. На глаза ему попала книга о Максвелле. Он открыл ее наугад и прочитал с середины страницы: «И вот какие-то новые события и проблемы увлекли его, и уже не кольцами Сатурна занят молодой профессор, а обручальными кольцами и сопутствующими проблемами...» Какой бред! Он перечитал фразу несколько раз подряд и пришел к спокойному убеждению, что, оказывается, издаются специальные книги, состоящие из набора бессмысленных фраз, но по форме одинаковых с теми изданиями, какие он почитывал прежде. Одна из таких книг, по счастью, по-

пала ему в руки. Он с удовольствием погрузился в чтение и за час одолел полсотни страниц, не уразумев ни единого слова. «Хватит, отдохнул!» — сказал он себе и пошел звонить Светке Дорошевич. Телефонный аппарат стоял на специальной полочке в коридоре, из кухни на звук вращающегося диска выглянула Дарья Семеновна.

— Обязательно скоро купим, — успокоил ее сын.— И лодку, и мотоцикл, и вертолет.

Света Дорошевич на голос милого друга отозвалась какими-то невнятными звуками, бормотанием, фырканьем, шлепаньем... и тут же отключилась. «Сердится, — подумал он.— А за что?»

Он перезвонил. В этот раз Света разговаривала вполне внятно.

— Вечером я иду в ресторан с женихом. Можешь больше не звонить, Мишенька!

— Я не могу не звонить.

— Пойми, здесь ателье, все смотрят. Ты добьешься — перестанут подзывать к телефону. Миша, ты меня компрометируешь.

— Как же мне быть, я не пойму.

— Ах ты бедненький ангелочек. Он не поймет. Руки мне ломал — понимал. А теперь не понимает. Лицемер!

— Ты сама говори...

Света бросила трубку, Миша потоптался в коридоре. Делать ему было нечего. Светка! Ее ладони пахнут цветочным мылом, а чистая кожа светится. Жених! Ладно, вечером в ресторане он поглядит на этого жениха, поглядит. Специально займет столик рядом с ними и весь вечер будет в упор разглядывать ее жениха, а после подойдет и...

Миша несколько повеселел. Он все еще топтался в коридоре, не понимая, куда ему двигаться — в комнату или на улицу. А может быть, пойти в ванную, принять душ? Зачем?

— Мишенька! — позвала Дарья Семеновна. — Иди — поможешь мне. Скоро отец придет обедать.

— Да, мама. Иду!

Отец. Юрий Андреевич. Сильный человек, сильнейший и умнейший. Он не стал бы сходить с ума из-за девчонки, из-за юбки. Ни за что не стал бы. Смешно и

предполагать. Но это, кстати, можно узнать из первоисточников.

— Папа любил тебя, ма?

— Ты что это, сынок. Он и теперь меня любит. Разве ты в этом сомневаешься?

— Нет, ты не поняла меня. Любил ли он тебя безумно, страстно? Я хочу знать.

Дарья Семеновна опустила руки на колени. Под ее ресницами сверкнули ясные искры, то ли слезы, то ли солнечный свет чудно отразился.

— Спроси лучше у папы, он тебе ответит.

— Я и сам знаю, рассудка он не терял. Наверное, все рассчитал, взвесил. На этой полочке ребенок, на той — карьера.

— Замолчи!

— Я его не осуждаю, завидую ему. Я его сын и хотел бы быть похожим на него. Но у меня пока не получается.

— Миша, ты еще мальчик. Слепой мальчик.

— Почему?

— Ты не понимаешь своего отца.

Разговор незаметно увлек Мишу.

— Папа добрый и заботливый человек, но его мозг устроен как электронно-счетная машина. Повторяю — я ему завидую. Только такие люди могут добиться чего-нибудь стоящего, потому что они последовательны. Конечно, успех, признание, деньги приходят к разным людям, часто к недостойным, — это случайная удача, везение. Не больше. Только такие, как мой отец, умеют идти прямо. Не хотел бы я, честно говоря, оказаться помехой на его пути.

— Миша, ты говоришь что-то ужасное. Не судья ты ему и не можешь быть судьей. Я-то с Юрием Андреевичем познакомилась, когда он чуть постарше тебя был. Какой он был? Резкий, огневой, щедрый на выдумки, на забавы, душа любой компании. Не веришь? А ты поверь. Матери не врут своим сыновьям.

— Бывает и обманывают.

— Нет, я правду вспоминаю. Ты-то по сравнению с ним даже поспокойнее будешь, Миша. Мой у тебя характер, не его. И слава богу... Расскажу один случай, только смотри ему не проговорись. Мы когда встречались с папой, дружили, так у нас называлось, то за

мною ухаживал еще один военный — слушатель академии. За твоей мамой, Мишенька, многие ухаживали, но этот особенно неотступно. Юра про него знал, они знакомы были. Я если хотела твоего отца подразнить, ему говорила: вот опять Веня звонил. Приглашал туда-то и туда-то. Ух, он ревнивый был, набычится, позеленеет сразу — вытянется в струнку: «Что же ты не согласилась?» — «Вот не согласилась, видишь!» — «Соглашайся, соглашайся! Выгодный жених! Генералом будет!» Мне нравилось, как он ревнует. Это всем женщинам нравится, если они влюблены.... Однажды мы с Юрой поссорились из-за чего-то, не помню, из-за пустяка. Он пропал — день его нет, два нет. Тут звонок — Веня. Приглашает меня на просмотр в Дом кино. Какой-то редкий фильм. Я от злости согласилась... Заехал за мной Веня на такси, счастливый, с цветами. Я его увидела и подумала: вот этот человек по-настоящему меня любит и готов ради меня на все. А для твоего отца, — я тогда рассудила вроде тебя, — главное собственное самолюбие. Подумать я так подумала, но легче мне не сделалось. Я-то сама уже без Юрия Андреевича жить не могла и не хотела. Поехали на просмотр. Веня изо всех сил старается меня развеселить, комплименты сыплет, а сам грустный, видит все-таки — нехороши его дела.

Погасили свет, началось кино. Я на экран почти не гляжу, ругаю себя на чем свет стоит. А ну как Юра в это время мне звонит или, того лучше, пришел домой мириться... Маму я просила не говорить, где я и с кем, сказать — с подружкой ушла. Примерно половину картины прокрутили. Вдруг в зале зажигается свет. В публичке свист, крики — недовольство. Фильм продолжается, а свет горит. Что случилось? Оглянулась я, — горе мое! — по проходу шагает Юрий Андреевич, бледный как покойник. Я ему навстречу. Он меня за руку взял, из ряда, как репку из грядки, вырвал — все молчком! — и повел к выходу. Пока мы до двери дошли, свет все горел. Зрители свистеть прекратили, смеются. Веня остался в одиночестве досматривать фильм. Вывел меня Юра на улицу. А меня ноги не держат. Думаю, обязательно он меня сейчас ударит. Нет, не ударил, а сказал: «Нельзя так, Даша, хочешь с ним быть — будь. Обманывать не надо!» Через месяц мы и расписа-

лись... Ты отца считаешь холодным и рассудочным — это не так. Поверь, Миша, это не так! Столько огня, сколько в твоём отце зажжено, мало в ком встретишь. Только он его скрывать умеет.

Миша был подавлен рассказом матери, который так не вязался с привычным обликом отца, человека властного, суховатого, умеющего в самом душещипательном разговоре с сыном смотреть оскорбительно мимо, на какие-то одному ему видимые ориентиры, — ох, этот его страшный удаленный взгляд. Миша привык думать, что отец его, разумеется, способен страдать и волноваться, но не от обычных человеческих страстей. Нежные чувства, ревность — нет, это не его область. И вот пожалуйста: Юрий Андреевич совершал хулиганские (а как еще назовешь?) поступки, безумствовал от любви.

Миша решил, что надо срочно позвонить еще разок Свете Дорошевич. Как будто нечто новое мог он ей сообщить, не про отца, про себя самого.

Он позвонил:

— Света, можно мы с тобой увидимся сегодня?

— Нет, не можно.

— Я хочу объясниться. Неужели ты такая безжалостная?

— Послушай меня, Михаил Юрьевич! Будь мужчиной! Девушка с женихом идет в ресторан, не мешай ей. Пойми ее взволнованное радостное состояние... Чего ты от меня добиваешься?

— Света!

— Чего?

— Последний раз встретимся. Света! Если ты не хочешь со мной дружить... что мне делать со временем? Которое у меня осталось. Куда мне его деть?

— Нам это знать ни к чему.

— Света, не бросай меня так. Я тебя умоляю! Я пропал, совсем пропал, вокруг пусто и сыро... Только о тебе думаю, только о тебе. Ничего не могу делать, читать даже не могу. Ничего не понимаю. Тебя одну вижу... Света, так не говорят, я знаю. Ты смеешься? Я опять тебя обидел? Пойми, не мог я отпустить тебя в милицию, не мог. Глупо, если ты только из-за этого мучаешь меня.

— Все, Миша, все. Я побежала, кличут. Жених зовет делать выкройку... Не звони. Не звони мне, понял? Девушке надоело и скучно. Хочешь, я познакомлю тебя с подругой? Все, все. Побежала. Целую, любимый!

«Ту-ту-ту!» Миша прижался лбом к вешалке. Короткие гудки еще связывали его со Светой Дорошевич, доносились оттуда, где была она. Вдруг он прозрел... Она же рядом, в пяти минутах ходьбы. В ателье. Какого черта! Он может пойти и заказать ей брюки. Нет, брюки — это пошло. Лучше пиджак. Конечно! Именно пиджак спортивного покроя. Заодно можно полюбоваться на ее жениха. Составить о нем мнение.

«Как же я страдаю из-за тебя, Света, — подумал он, — как мне плохо. Что же, оказывается, все врал про любовь. Все писатели врал, все поэты. В любви ничего нет для человека, кроме унижения, кроме гадкой невыносимой тошноты. И никто не предупредил. Любовь не возвышает, она расплющивает. И это то, к чему все стремятся, о чем мечтают с детства. Любовь! Нет, не надо себя обманывать. Если бы она меня любила, если бы она меня любила и не обижала, все было бы иначе.

А не сходить ли в милицию, — думал дальше Миша. — Там разузнаю про этого... Карнаухова и как-то помогу ему. Докажу ей, что я не испугался, а предпочел действовать по-умному. Да нет, это, конечно, был только повод. Ей нужен был повод, чтобы от меня избавиться. Как глупо все».

Глупым было главным образом то, что Света Дорошевич похожа с колыбели и по сей день проживала в мире эмоций и необъяснимых поступков, а он по-прежнему пытался проникнуть туда, куда ему хода нет. Звонить ей, объяснять что-либо, конечно, бессмысленно. Действие, действие может его спасти.

Заерзал ключ в замке входной двери. Миша повесил наконец изгудевшуюся трубку — отпер дверь. Юрий Андреевич пришел обедать.

— Привет, — поздоровался он с сыном. — Что нового?

— Ничего.

Обедали они на кухне. Отец с аппетитом хлебал мясной борщ, косился на сына.

— Папа, у тебя, кажется, работает некто Карнаухов?

— Не у меня, а в институте. Николай Егорович возглавляет отдел координации. Что тебя интересует?

— У него сына позавчера забрали в милицию.

— Ну да? Ты откуда знаешь? У него два сына. Которого?

— Кажется, старшего. Провели под конвоем повсему городу.

— Но-о-вость, — протянул Юрий Андреевич. — Тот старик будто не в себе. Хотя... А что он натворил, собственно?

— Я думал, ты мне скажешь.

Кремнев доел борщ, и Дарья Семеновна тут же поставила перед ним тарелку с дымящимся бифштексом.

— Странные у тебя представления, Михаил. Мы в институте не занимаемся домашними делами — там у нас люди план выполняют. Твой Карнаухов как раз, по-моему, мало на что способен. Его на пенсию собираются провожать... Сынок арестован? Любопытно... Ошибка, наверное, какая-то.

«Нет у нее никакого жениха!» — в этот момент осенило Мишу.

— Ты чего дергаешься, сынок?

— Нет, папа, я так... Пойду я.

Он спешил в ателье, обдумывая на ходу план вторжения. За квартал до цели припустил бегом. Вошел в ателье. У стола приемщицы — хвост, очередь. В большинстве — женщины. Стены увешаны образцами тканей. Прямо у входа — огромный прейскурант расценок. Прейскурант огромный, но подвешен к самому потолку, цифры и шрифт мелкие — прочитать невозможно. «Сейчас выглянет Светка, увидит меня — совсем глупо», — понял Миша, потоптался для приличия у декоративного прейскуранта, выскочил на улицу.

Света Дорошевич, торопясь, криво загладила брюки, а их ждал в приемной какой-то выгодный клиент. Через минуту в рабочее помещение влетел разгневанный Эрст Львович, волоча брюки за одну штанину.

— Ротозеи! — загремел он. — Опезьяны пезмозк-
лые! Руки оторвать за такую клажку. Чья рапота!

— Эрнст Львович, — пропела Света Дорошевич, —
какой вы очень рассерженный. Давайте быстрее я пе-
реглажу штанишки.

Закройщик, дыша пузом, оторопело озирался. Жен-
щины-портнихи пересмеивались и перешептывались.

— Внимательнее, пожалуйста, Света, — дымясь и
остывая, бурчал Эрнст Львович, — так мы всех заказ-
чиков растеряем. Конечно, я понимаю — темя торопи-
ли, — он бросил по сторонам свирепый взгляд.

— Что же вы штанишки не выпускаете из ручек? —
мурлыкала Света. — Как бы клиент лишние рубрики с
собой не унес второпях.

— Света! — задохнулся Эрнст Львович. — Ты мне...
такое! Как можно, а?

Затем он сидел на табурете в сторонке, утирая ли-
цо большим серым платком, беспомощно следил, как
Света, напевая арию Кармен, аккуратно и скоро пере-
глаживала брюки.

Катерина Всеволодовна Карнаухова заняла очередь
за сосисками. Сама она их терпеть не могла — по
2 рубля 60 копеек, ядовитые, с привкусом хозяйствен-
ного мыла, но Николай Егорович поедал их, обжарен-
ные с яйцами и помидорами, с наслаждением. Он
съедал их зараз по шесть штук. А уж если любил со-
сиски отец, то не отставал от него и Егор.

Она маялась в очереди, переживала за Викентия.
Куда он опять отправился? Отец строго-настрога при-
казал не выпускать его на улицу. Как же, удержишь!
Хлопнул дверью, и был таков.

От печальных мыслей ее оторвало появление бабы
Пелагеи, соседки по подъезду, которая с воплем: «Я
тут занимала, когда вас и в помине не было», — вшто-
порилась в очередь прямо перед Карнауховой.

Баба Пелагея, пенсионерка, очень здоровая обличь-
ем женщина, подрабатывала шитьем на дому и торгов-
лей семечками на базаре. За семечками она каждую
осень выезжала на неделю в неизвестном направлении.
Привозил обратно ее всегда племянник, водитель трех-
тонного грузовика; он же разгружал и заносил в квар-

тиру мешки с тыквенными и подсолнечными семечками, а потом весь вечер пьянствовал у нее в гостях. Как правило, перебрав сорокаградусной, племянник в майке выскакивал на улицу и начинал приставать ко всем проходящим женщинам, сквернословить и безобразничать. Баба Пелагея, наглядевшись на племянника из окна, сама вызывала милицию и после со стенаниями и жалобами подсаживала дорогого родича в зарешеченный фургон. У Пелагеи своего телефона не было и звонила она от Карнауховых, поэтому Катерина Всеволодовна была в курсе всех жизненных обстоятельств соседки. Муж Пелагеи в незапамятные годы удрал «к развратной женщине», дочка вышла замуж за «военного офицера» и улетела на Камчатку.

Карнаухова прикидывала примерный доход бабы Пелагеи. Та получала пенсию — 60 рублей, ежемесячно дочь присылала ей 20—30 рублей. Плюс к этому — торговля семечками и шитье. Нет, не бедствовала Пелагея, хотя и любила навести тень на плетень, устраивала иногда в магазине целые представления, всячески обзывая продавцов, обвешивающих «горемычную нищую старуху».

— Чтой-то обоих сыновьев твоих не видать? — обратилась баба Пелагея к Карнауховой.

— На работе оба, — охотно откликнулась Катерина Всеволодовна, а сердце захолонуло: «Знает про Викентия, старая злыдня!» — Где же ты их увидишь — трудятся оба.

— И Викентий трудится?

— А то!

— Чудной он у тебя работник, Катерина, чудной, подружка. Чуднее не бывает. То он в будние дни дома ошивается, а то в праздники не видать его нигде. Какая, маю, секретная у него должность? А ты все-таки приглядывай за им, подружка. Нынче ихнего брата, секретного работника, не шибко милуют, тоже и суд нынче с матерьми не больно-то советуется. Упекут ведь родненького, как есть прямиком в острог... Посидит он в остроге годов этак пяток, опамятуется, а тады уж целыми днями станет трудиться, как все прочие.

— Не стыдно тебе, Пелагея? — испугалась Карнаухова. — Ну что несешь? Что? Вот вправду язык без костей.

Не стала и в очереди дальше стоять Катерина Всеволодовна. Бог с ними, с сосисками. Плюнула, прибежала домой. Пусто. Никого. Не вернулся еще Викентий.

Вдруг Балкан взвыл ни с того ни с сего и так жалостно взвыл, аж подавился. В отчаянии стебанула его веником Катерина Всеволодовна, он — шашть на кухню, и оттуда опять: у-у-у! у-у-ар!

Вот напасть. Быстрее сунула псу рыбных консервов. Кое-как он утих, начал чавкать.

— Никаких у тебя забот нет, псина ты злющая, — попеняла ему Карнаухова. — Нет у тебя ни детей, ни хозяйства. И на уме поэтому одна пакость. Зачем вот ты сейчас выл и меня пугал? Что тебе я плохого сделала? Хозяина одного признаешь. Не разумеешь того, что я кормлю-то твою ненасытную утробу. Без меня ты бы, Балкан, с голоду давно окошел... Ну, посмей, завой еще раз, ненасытное бородатое чудовище! Посмей! Уж я тебя уважу вон той мокрой тряпкой — забудешь и кусаться, и рыком рычать. Не боюсь я тебя! Ишь разлегся, блох разводить на коврике. Уйди с глаз моих, Балкан! Уйди в коридор, не испытывай судьбу вторично.

Катерина Всеволодовна, когда оставалась одна, часто беседовала с Балканом, он привык к ее бормотанию, но чуткое ухо его всегда улавливало не сулившие ему покоя вибрации голоса. Так было и теперь. В ответ на угрозу Балкан чуток обнажил клыки, но, не желая нарушать по пустякам процесс пищеварения, встал, зевая и презрительно оглядываясь, нехотя пошлепал в коридор.

Катерина Всеволодовна застыла у плиты. В пространстве, ограниченном этими стенами с коричневыми обоями, ей все нравилось: холодильник, стенные белые шкафы для посуды, удобная плита и кран с горячей и холодной водой, множество приспособлений для готовки вкусной еды, посуда — все это символизировало каким-то образом незыблемость ее положения в семье. Однако случись что с детьми — и все это окажется ненужным хламом. Она так чувствовала. Поэтому в одиночестве подолгу застывала на кухне в самых неудобных позах, недоумевая, не сознавая, что делать ей в следующую минуту, в каком направлении двигаться.

Дыхание ее замедлялось и становилось по-детски легким; бесхитростные и неуклюжие мысли текли редкой, с долгими паузами, чередой, поглощая лишь малую часть внимания и жизненных сил. Так бывало до того долгожданного мгновения, когда возникали под дверью знакомые шаги кого-нибудь из трех родных мужчин, заходился восторженным лаем Балкан, лопался с хрустом дверной замок. С неудержимым коротким «ой!» она спешила навстречу, с каждым шагом из кухни к двери зябко ощущая возвращающуюся жажду деятельности...

Вечером Эрст Львович за отдельным столиком неподалеку от оркестра поджидал Свету Дорошевич. Ему в пору было выть от духоты, от того, что официант принес теплую водку, от влажного сердечного беспокойства. Галстук душил. Он заметил, что все маломальски модные парни в ресторане одеты в яркие рубашки с широкими воротниками, без галстуков. «Надо же, — укорил себя страдающий закройщик. — Не считал, не предвидел».

Наконец явилась обворожительная Света Дорошевич — в простеньком летнем платьице в полоску, в туфлях на высоченной платформе. С соседних столиков сразу начали на них пялиться. К этому Эрст Львович был внутренне готов.

Он помахал официанту — худому, желтушного вида юноше с плаксивым лицом. Судя по шаркающей нетвердой походке, согнутой спине и унылому взгляду, официант недолго собирается задерживаться на белом свете, более того, казалось, он сам ждет не дождется конца этой канители. Принимая заказ, официант ни разу не взглянул на Свету, обращался подчеркнуто к солидному клиенту Эрсту Львовичу. Это дало Свете основания несколько раз пройтись на его счет. Одну шутку официант услышал.

— В бокале — яд! — трагически произнесла Света Дорошевич, пригубив шампанское. Официант приблизился, занял прежнюю позицию, спиной к девушке, и обратился к Эрсту Львовичу.

— Бокалы помытые, — сказал он. — Никакого яду в них нету и не может быть. Зачем зря обвинять?

— Тевушка пошутила. — Эрнст Львович поперхнулся маслиной.

Официант не уронил своего достоинства каким-либо знаком внимания к Светке, холодно поклонился, давая понять, что если это и шутка, то вполне идиотская, и удалился выполнять заказ.

— Страшный человек, — ужаснулась Света, — улыбается, а под рубашкой топор.

Она с удовольствием глазела по сторонам, ловила оценивающие взгляды, отвечала на них рассеянной, как ей казалось, светской полуулыбкой. В зале ресторана три года назад размещалась столовая. Точнее говоря, это было странное заведение, порожденное алчной фантазией администраторов-пищевиков, которое днем называлось столовой, а вечером — рестораном. В зависимости от названия, естественно, резко менялись цены на одни и те же блюда да на столы по вечерам стелились клеенчатые скатерти и расставлялись вазочки с жесткими бумажными салфетками, по-видимому выдранными из детских блокнотов для рисования. Однако наступило время, когда выросший, окрепший в интеллектуальном отношении город не мог уже обходиться без питейно-развлекательного заведения высшей (хотя бы по видимости) категории. Два федулинских кафе-забегаловки не компенсировали отсутствие такого рода предприятия. В этих кафе можно было в случае крайней необходимости распить бутылочку сухого вина и отведать порцию желтоватых котлет с рисом под интригующим названием «федулинские люля». Не более того.

И вот однажды столовая закрылась на длительный ремонт и вскоре прекратила свое существование. Ремонт — сказано, конечно, слабо. Помещение подверглось кардинальной перестройке и обновлению, руководил которым выписанный из Москвы бородатый художник-дизайнер, хапнувший за это дело немалые денежки. К чести бородача — он получил свои рубли не задаром. Посетитель, впервые переступивший порог нового ресторана, издавал невольный возглас восторга и тут же проникался справедливой гордостью за родной Федулинск. Помещение представляло собой как бы огромную парадную залу княжеского терема. На деревянных, переливающихся блестками темноватой смолы

стенах — красочные гигантские панно, изображающие батальные сцены из жизни древних славян. Потолок — тоже деревянный, куполообразный, украшенный множеством веселящихся амурчиков, постреливающих из своих луков в посетителей; вниз с потолка на витых металлических тросиках свисали массивные деревянные люстры, утыканные лампочками в форме свечек. Поддерживался потолок четырьмя деревянными, но с более светлой полировкой колоннами без всяких украшений, если не считать маленьких черных, скользящих вверх и вниз змеек с живыми веселенькими мордочками. На паркетном, с широкими темно-коричневыми плитками полу расставлены большие, на шесть — восемь персон, и уютные, на две персоны, деревянные столы, покрытые красноватым лаком. Общий тон всего зала — красно-багрово-темный. Довершали впечатление высоко прорезанные стрельчатые узкие окошки, перевитые ажурными решетками. От кухни зал был отгорожен высокой деревянной стенкой, на которой изображен пахарь в белой рубахе до колен, одной рукой опирающийся на плуг, а другой утирающий пот с лица. Кудрявые, светлые волосы пахаря стянуты алой лентой, лукаво-утомленный взгляд направлен прямо на входящего в ресторан клиента, словно вопрошая: «Пришел отдохнуть, браток? Давай, давай! Я бы и сам с тобой посидел — выпил, закусил, да, видишь, надо кому-то и землю пахать».

По вечерам здесь выступал молодежно-инструментальный ансамбль «Башмаки».

Эрнст Львович, озабоченный предстоящим объяснением, не нашел ничего лучшего, как предложить выпить за их счастливую встречу.

— Мы днем уже встречались, — напомнила ему Света деликатно. — Вы еще кричали на меня из-за штанов.

Все-таки она чокнулась с Эрнстом Львовичем и отпила глоток шампанского. Тем временем на столе появились закуски: черная икра в хрустальной вазочке, семга, соленые рыжики, салат из помидоров, холодный ростбиф и почему-то яблоки в меду. Всего помногу, мясо и семга в больших тарелках. Эрнст Львович не скупился, не каждый день приходилось ему водить по ресторанам свободолобивую Светлану. Вид аппетит-

ной еды воодушевил его, привел в веселое расположение духа, тем более что Света, загипнотизированная обилием яств, взялась сама делать бутерброды.

— Разве я на тебя кричал?! — начал Эрнст Львович, захрустев ловко подцепленным на кончик вилки рыжиком. — Если бы я знал, что это ты глатила, язык бы проклотил.

Слегка обалдевший закройщик, желая потешить Светку, продемонстрировал, как бы он стал глотать язык, уминая его в глотку исколотым портновским пальцем. Получилось смешно. Свете понравилось. Она чувствовала себя в ресторане привольно, как на лесной лужайке. Оркестр грянул шейк, и через весь зал к их столику потянулся федулинский Мефистофель, дамский угодник, шофер с автобазы Митька Шуруп. Стройный, черноволосый, с затуманенными музыкой, вином и предвкушением побед ярко-синими глазами, он галантно поклонился и пригласил Свету на танец. Она отказала, смеясь.

— Позвольте, — обратился ухажер к Эрнсту Львовичу. — Вы же разрешаете вашей очаровательной внучке сбачать со мной тур вальса?

— Это не вальс, молотой человек, — нашелся Эрнст Львович. Оркестр надрывался в изуверском ритме, публика созерцала их столик. Митька Шуруп говорил громко, ему нечего было скрывать от общественности.

— Не вальс? Любопытно. Я, конечно, не Копенгаген, но в музыке разбираюсь не хуже вашего. Уверяю, полковник, это самый настоящий вальс.

Света Дорошевич нахмурилась, вытянулась над столом. Как пружинка разогнулась.

— Ступай отсюда, остряк! Послушай, Шурупище, если ты вздумаешь приставать, я тебе такой бемс устрою — надолго запомнишь.

Митька Шуруп был не из тех, которые лезут нахрапом, а из тех, которые очаровывают остроумными, приветливыми речами.

— Мадмуазель гневается, — сказал он. — Непонятно, но исторический факт. Дмитрий Шуруп разочарован.

Он ретировался.

— Вы с ним знакомы, Света? — с неумело скрытым неудовольствием спросил Эрнст Львович.

— Кто с ним не знаком. Известный бабник. Трус и болван вдобавок.

Эрнст Львович настолько удовлетворился ответом, что позволил себе внеочередную рюмку. Света о чем-то замечталась, поскучнела, но не забыла машинально набивать рот то икрой, то рыбой, то скользкими грибами. Шампанское она прихлебывала большими глотками, как воду. Эрнст Львович смотрел на нее не отрываясь. «Такая девушка счастье,—млеет он. — Сможет ли только она полюбить? Я крепок, но годы прошли. Как ей доказать, что паспорт мой врет, там неправда. Правда здесь, в моих руках, в моих глазах, когда я люблю ее гибким телом, и ртом, и белыми щеками».

А Светка думала так: «Наверное, напрасно поперлась я с ним в ресторан. Обязательно кто-нибудь родителям скажет. Чудеса! Вот никого тут нет из маминых или папиных знакомых, а кто-нибудь обязательно донесет».

— Что с тобой, Светлана?

— Наливайте, Эрнст Львович, наливайте. Ухаживайте за дамой, как положено рыцарю вашего возраста.

Она представила себя Грушенькой, гуляющей в Мокром с нелюбезным поляком, повела плечами, укутываясь в невидимую шаль, и томно сузила глаза.

— Сожжем синим пламенем нашу жизнь, Эрнст Львович! Этот вечер — он наш. А завтра, возможно, в прорубь.

— Зачем синим пламенем? Зачем в прорубь? Я серьезно хочу, по-хорошему. Поженимся. Зачем так плохо шутишь, Светлана? Хорошо, покато будем жить. — Он склонил к ней багровое, выпуклое лицо. — Знаешь, сколько я зарабатываю? Знаешь?

— Ну!

Это холодное «ну» отрезвило закройщика.

— Я понимаю, понимаю, — поправился он. — Мы не рати денек с тобой путем жить. Таким тевушкам деньги — тьфу! Они для них просто пумага. Кто хочешь, отолжит.

— Что такое вы говорите, дорогой Эрнст Львович, — она уже была не Грушенька, а светская львица из гостиной Сен-Жерменского предместья. — Вы забывае-

тесь! Нет? Старайтесь следить за своей речью и держать себя в рамках. Что значит, любой одолжит! Вы хотите оскорбить мою девичью честь? Кажется, вы принимаете меня за уличную девку?

— Света! Света! Опомнись! Вон на нас смотрят со всех сторон. С чего ты взяла, что я хочу тебя оскорбить. Если вырвалось не то слово — не вини. Прости. Я выпил немного...

Капелька пота скатилась с носа Эрнста Львовича и юркнула в рюмку.

— Да снимите вы наконец свой старинный пиджак. Вот послал бог кавалера. Вы же сейчас растаете у меня на глазах, как Снегурочка.

Эрнст Львович покорно и охотно снял пиджак и пристроил его на спинку стула. Он ужасно был шокирован, возмущенно поводил очами, как турецкий паша, и одновременно пытался улыбнуться. К счастью, внимание Дорошевич отвлек официант.

— Горячее подавать прикажете?

— Как ты, Света?

Она допила бокал, изучающе поглядела на обтянутую белым сюртучком спину официанта.

— Молодой человек, вы женоненавистник? Да, да, это я к вам обращаюсь. Я пришла к вам в гости, веселая, доверчивая девушка, ничем вас не обидела, а вы битый час заставляете меня любоваться своим затылком. Кстати, он у вас криво подстрижен...

Официант застыл, глядя в одному ему доступную даль.

— Не хотите отвечать? Хорошо. Я допускаю, что какая-то гадкая женщина подложила вам свинью. При чем тут я? Взгляните же мне в лицо!

Официант выше вскинул подбородок. Эрнст Львович вдавился в стул в предчувствии скандала.

— Горячее подавать? — повторил официант.

— Подавайте.

Официант отошел гусиным, цепляющимся за паркет шагом.

— У-у-ф! — выдохнула Света и всерьез задумалась. К ней еще кто-то подходил приглашать, но она даже не подняла головы.

— Снегурочка, вы опытный, умудренный и так далее человек. Объясните, почему так бывает? Один че-

ловек увидит другого и сразу испытывает к нему неприязнь. Он же меня возненавидел с первого взгляда! Да и взгляда-то не было.

— Свою работу он ненавидит, не тебя, — точно ответил Эрнст Львович. — У нас в ателье, ты же знаешь, некоторые напрасываются на клиента, словно это их злейший заклятый враг и вымогатель. Я тумал нат этим, Света. Если уж кто не люпит свою рапоту, он и лютей не люпит, которые его застают за рапотой. В труком месте такой человек топрый, а на рапоте злой, даже опасный.

— Верно. Вы умница, Снегурочка. Теперь я опять буду называть вас по имени-отчеству. Хотите?

Осчастливленный Эрнст Львович кивнул с облегчением. Ему не нравилось быть Снегурочкой. Света перестала озиаться по сторонам, а то бы она давно заметила, что за одним из столиков сидит, опрокидывая рюмку за рюмкой, отвергнутый и забытый страдалец Миша Кремнев. Он пришел в ресторан с полчаса тому назад, заказал котлету и бутылку «Фетяски», которую наполовину уже осушил. Ресторан был набит битком, ему пришлось подсесть за неудобный угловой столик к пожилому мужчине с испитым, изъеденным оспой лицом, на котором двумя перископами торчали выпуклые, налитые кровью глаза. Мужчина, неопрятный, с жилистыми, удивительно длинными и какими-то ерзающими руками производил отталкивающее впечатление, тем более что перед ним стоял графинчик с водкой, тарелочка с нарезанными мелко солеными огурчиками, и больше ничего. Увидев стоящего в растерянности посреди переполненного зала Мишу, мужчина сам пригласил его, вскочил и приветливо замахал рукой, при этом лицо его осталось сосредоточенным и отрешенным. «Алкаш, пропащий!» — подумал Миша, но ошибся. Мужчина сказал вполне трезвым, дребезжащим на низких нотах голосом, словно прочитал Мишину нелестную для себя характеристику.

— Язва у меня. Водочки немного могу себе позволить с пенсии, а закусывать — ни-ни! Враз скрутит. Вот огурчики — туда-сюда! Это ничего, полезно даже. Натуральный продукт.

Мужчина, видимо, истосковался в одиночестве, ему не терпелось поболтать, но он терпеливо ждал, пока

Мише принесли вино, пока он себе налил и выпил. Только после этого спросил:

— Вы рыбак?

— Не очень, — Миша не удивился, он был теперь там, за столиком у оркестра, и все чувства его были там, не здесь.

— Я вижу, что не рыбак. Вижу. А я ловлю. В речке ловлю, — сосед с глазами-перископами каждую фразу выделял многозначительным интервалом, давая слушателю возможность над каждой подразмыслить. — В нашей речке в Верейке. Да. Шесть лет ловлю, как на пенсию вышел. Бычков ловлю. Во — с палец... Там и карась есть, но его трудно взять. А бычка я беру. Да. Карась есть, но мелкий. Во — с палец. Поймал я давеча пять штук... Двух отправил обратно в реку. А трех хозяйка обжарила... Мелкие... Пососешь — они сладкие. Да... Сладкие, но мелкие. А так сладкие — пососать, как конфету. Не умею консервы делать. Надо делать консервы. Из карасей. Бычок тоже годится для консервов... Бычка я где хошь возьму. Сижу на речке, один спрашивает, рыба тут есть? Рыба, спрашивает, есть? Я ему говорю, а ты покажи, где ее нету. Покажи! Я тебе три рубля дам, покажи, где нету. Я туда пойду и возьму бычка. Где его нету, а я возьму, — рыбак гневно поводит перископами. С непривычки к вину быстро окосевший Миша слушал как замороженный.

— Ребятишки сидят, ловят бычка... А у них не клюет. Это недавно, тем выходным. Я закидываю — одна за другой поклевки, одна за другой... Ребятки мне: дяденька, дай мы тут тоже половим. Ловите! Стали кидать — не клюет. Я на новое место — опять тягаю бычка за бычком. Сорок пять штук взял... Детки, — объясняю им, — вы за мной не гонитесь. У меня снасть другая. Без груза, да и поплавок ни к чему. С грузом бычка не возьмешь... Заместо поплавок у меня жилка — вот тут, на этом пальце, — он клюнет, моя жилка по удилицу отзовется — тук, тук! Что говорить, бычка в нашей речке — тьма. Не каждый взять умеет... А я бычка где хошь возьму, не сумлевайтесь. Но мелкий он, стервень! Во — с палец... Там, конечно, и окунь есть и щурята, но этих надо брать умеючи. Их дело — омота.

— Карпа надо запустить в реку, — высказал Миша неожиданно пришедшую в голову мысль. Он уже толком не помнил, зачем сидит в ресторане. Света, любимая, неподалеку ужинает с наглым старым дядькой. Не может же быть это жених? Значит, жених пока не явился. Надо ждать.

Его легкомысленное замечание о запуске в реку карпа вызвало в собеседнике бурю чувств. Несколько минут казалось, что от сильного душевного потрясения он потерял дар речи. Перископы его завращались с молниеносной быстротой, словно не могли сразу обнаружить того человека, который ляпнул про карпа. Затем он с огромным напряжением произнес несколько раз подряд одну фразу:

— Где карп есть, там меня убьют! Понял? Где карп есть, там меня убьют. Понял?

— Понял, — сказал Миша на всякий случай.

Несколько успокоившись и выпив водки, сосед изложил свои соображения.

— Карп! Ишь ты, карп! Есть карп кое-где в прудах, но тебя туда за пять километров не подпустят. Там на одного карпа десять сторожей. Я тем летом в Москву ездил, к братану. К нему в гости один ученый приходил. Я у него, как ты вот, сглупу спросил про карпа. Он мне объяснил. В Подмосковье, говорит, почитай две с половиной тысячи водоемов разных. Ну, запустим туда везде карпа. Это можно, наука позволяет, — здесь Мишкин собеседник выдержал паузу длиннее обычной. — А кто тогда треску будет лопать?! А? Кто будет треску покупать? Сравнишь ты карпа с треской? И я не сравню. Я пойду вечером, выжу карпа кило на полтора, два... и все. И точка.

— Да, ужин есть.

— Какой, к лешему, ужин? Я его продам. Четвертинку куплю и еды — дома сыты, и соседям еще останется. Карп! Ты как думаешь — там наверху без ума сидят, глупее нас с тобой? Да если карпа повсеместно пустить — это что же будет? Каждый бросится карпа рыбалить... Кому охота в стороне быть. Заводы опустеют. Кто вкалывать на них пойдет? Все на рыбалке. Карпа тягают. А то! Я карпа брал один раз. Толстый, белый, как свинья. Ты мне про него не рассказывай, про карпа. У нас в пруду за лесом есть карп, водится.

Я-то знаю. Однажды прибреля к этому пруду. Только устроился, лесу размотал, вылазят из кустов двое в штатском. Ваши, говорят мне, удостоверения личности просим предъявить. Какое в лесу удостоверение, когда я рыбку хочу половить, постынького детишкам на ужин. Они мне вежливо указывают: гуляй, папаша, отседова и больше не приходи никогда со своей палкой. А то мы тебе ее враз переломаем... Там есть карп, я знаю. Где он есть, меня убьют. Понял? Если не убьют — удилище поломают. Я ведь чудом в тот раз уцелел... Карп! Это рыба государственная — ты на ее не замахивайся.

Миша, испепеленный молниями глаз-перископов, оглушенный невероятным количеством «Фетяски», укачиваемый сентиментальной мелодией «Старого извозчика», решил, что пора нанести визит столику у оркестра.

— Я вернусь, — пообещал Миша рыбаку. — Вы постерегите мое место пожалуйста. Вот и вино оставляю, еще много в бутылке. Мы его с вами допьем.

Нетвердо переступая, улыбающийся, поминутно восклицающий: «Извините! Пардон!» — кажущийся себе самому неотразимо обаятельным, ловким, красивым и остроумным, он проталкивался между танцующими парами к заветному столику. Света пилила тупым ножом куриную котлету, а ее партнер — в бисеринках влаги, как после душа, — сердито разглядывал на свет пустой бокал.

— Миша?!

— Да, это, представь, я прибыл засвидетельствовать! — он цвел от радости, не предполагая дурного. Все дурное теперь позади, кануло в лету. Он ее видит, разговаривает с ней. Никаких женихов нет и в помине. Надо было раньше догадаться.

— Познакомьтесь, Эрнст Львович, это мой друг и знакомый Мишка Кремнев... Садись, Миша! Бери стул и садись. Мы тебя водочкой угостим. Выпьешь водочки? Эрнст Львович, налейте Мише водочки... Сейчас я тебе приготовлю бутерброд. Хочешь котлетку? Эрнст Львович, немедленно закажите Мише котлету. Он истощенный юноша, разве вы не видите?

— Не беспокойтесь, — сказал Миша. — Ради бога, не беспокойтесь из-за меня. Я только что плотно поужинал, выпил бутылочку «Фетяски». Все отлично..

Света, оказывается, так отлично выпить бутылочку за ужином. Теперь каждый день буду ходить в ресторан. А вас зовут — Эрнст Львович? Очень приятно... Я там сижу с товарищем. Света, он удивительный человек, рыбак. И философ. В духе Льва Толстого. Я вас с ним познакомлю обязательно... Вы увидите, какой это милый, добрый человек. У него язва — ему нельзя закусывать, вот трагедия. Только пить можно...

— На, ешь. — Света, прищурясь, протягивала ему бутерброд. Она тоже была возбуждена музыкой, красноречивыми взглядами, шампанским. Театральные роли успели ей наскучить, кроме одной, — она была любезной, прелестной молодой девушкой, от которой все без ума. Она со всеми равна, добра, но никому не отдает предпочтения. Они недостойны ее — сборище пьяных и пошлых дон-жуанов. Правда, есть среди них один, с которым — кто знает, девичье сердце переменчиво, — может быть, она бы станцевала. Нет, не больше, но разве этого мало? Один танец, о котором он станет вспоминать всю последующую жизнь. Однако его нигде нет, он прячется, робеет, не хочет смешиваться с серой, восхищенной толпой поклонников. Он не догадывается, что она думает о нем и согласна, почти согласна.

— Тавайте выпьем, юноша, — строго сказал Эрнст Львович. Появление Миши он расценивал как очередной, незаслуженный пинок коварной судьбы. Уже он приготовил красивые и убедительные слова, уже мысленно несколько раз повторял их, как заклинание, уже открыл рот, чтобы произнести их вслух, — слова, которые изменят навсегда его теперешнюю повседневную муку, — и вот появился этот прыщавый болтливый мальчишка, как снег на голову.

— С удовольствием... Я раньше мало пил, представьте, даже не знал, как это здорово. Все становится другим — праздничным, понятным. Всех готов расцеловать. И вы такой хороший, возвышенный человек, Лев Эрнстович... Света много о вас рассказывала. Но нельзя же в самом деле... Давайте выпьем! Будем много пить. У меня есть деньги. Мама дала мне двадцать рублей на ботинки. Какие могут быть ботинки, право! У меня есть почти новые коричневые туфли. Света знает. Сейчас я закажу шампанского. Нет, позвольте. Я угощаю! Официант!

— Да ты пьяный, Мишка, — вдруг заметила Света Доросевич, — этого только не хватало. Уймись сейчас же!

Миша заливался птичьим смехом, быстро, счастливо поглядывал по сторонам. Наконец-то он обрел самого себя. Душа не болит, удивительно хорошо.

— Света, дорогая, пойдем танцевать?

— С тобой?

Мишу вопрос насмешил чрезвычайно. Ну, а с кем же? Может быть, с этим... ах, черт, никак не запоминается имя... с папашей? Чудесная будет парочка, курам на смех.

— Пойдем, Светочка! Посмотрим — все танцуют, весело. Не надо ни о чем грустить. Пойдем!

— Хорошо, хорошо, только не канючь.

Эрнст Львович с черной завистью наблюдал за танцующей парой. Призывно, жарко мелькали быстрые, круглые Светины коленки, струилось летнее тонкое платье — на лице сосредоточенность и сквозь нее ярким лучом — неудержимый огневой задор молодости. Недаром голенастым козленком скачет вокруг нее сопливый мальчишка, чуть не визжа от страсти, как распалившийся щенок. Внезапно с трезвой ясностью представил Эрнст Львович свое будущее с этой девушкой, представил то, что старательно отгонял до сих пор. Ведь этак всегда будет, всегда. Она будет убегать от него с мальчишками, которые выются вокруг нее, подобно рою жужжащих ос. Для него они все на одно лицо, но не для нее. Она будет убегать, а ему придется, стиснув зубы, ждать ее, постоянно ждать... за столом, в постели. Не посадишь же ее на цепь. Она будет вертеться волчком в чужих проклятых объятиях, а он, старый, изношенный... что, что? Какая опасная самоубийственная затея. Нет, нет, нет!

Душа его исходила яростным тупым криком.

«Тогда, — подумал он. — Тогда есть другой выход. Я не могу отпустить ее просто так. Это выше моих сил. Она сделала из меня клоуна и должна ответить за это. За все ответить... Я ей не мальчик, не школьный товарищ. Она ответит за то, что я сижу здесь в одиночестве. Она ответит... Я сомну ее, и она будет моей... она будет моей любовницей!»

Эрнста Львовича обдало холодом, ведомый неким

первобытным инстинктом, он заглянул под стол: не подслушал ли кто-нибудь его преступные мысли. Нет, никого. И за столом он по-прежнему один. «Она будет моей! Она будет моей! — ликовал он, пожирая глазами танцующую Свету, трепещущей изнывающей рукой поднося ко рту бокал. — Она будет моей!»

— Где же жених, Света? — спросил тем временем Миша Кремнев. — Где он, твой нареченный?

— Много будешь знать, скоро состаришься. Зачем ты примотал сюда? Я тебя звала?

— Нету жениха, Светка! Нету! Все ты наврала. Я твой жених, твой суженый.

— Ты? Не смей и думать. У девушки будет инфаркт... Жених! Вон мой жених остался за столом. Ты сам сказал про него — хороший, возвышенный человек.

— Лысина у него возвышенная.

— Смотри, Миша. Поостерегись... Лучше топай к своему рыбаку. Ух, как он глаза пучит. Он рыба, а не рыбак.

Сбоку вывернулся Митька Шуруп.

— Не передумала, Света?

— Нет, не передумала. Не возникай!

— Разве я не молод, не красив?

У Шурупа была скверная привычка не замечать, есть ли у дамы кавалер или его нет. Много горя принесла ему эта привычка.

— Не возникай, тебе сказано по-русски.

К счастью, танец кончился.

Эрнст Львович встретил их сообщением, что сейчас принесут бутылочку шампанского и мороженое.

Света устала и собралась домой. Она пожаловалась:

— Какие все мужчины одинаковые. Особенно молодые. То ли дело, когда кавалер солидный, в годах.

Миша некстати, но с апломбом ввернул откуда-то вычитанное:

— Человек бывает похож на самого себя всего дважды: когда рождается и когда умирает.

Ресторан бился в прощальных конвульсиях. Музыканты отдыхали после каждого танца. Гул голосов за столиками достиг высшего накала. Официанты нервно стучали костяшками счет, прикидывая, с каких клиен-

тов безопасно заломить побольше. Табачный дым вытолкнул из зала остатки воздуха. Миша вспомнил, что у него в резерве полбутылки «Фетяски». Он сходил к своему столику, но обнаружил только тлеющий в вазочке для салфеток окуроченный папиросы. Рыбак скрылся.

«Пьяная дружба — вот она, — огорчился Миша. — Так хорошо беседовали, и конец... Никакого продолжения».

Светлое возбуждение от выпитого вина исчерпало себя. Миша стал рассеян, пытался вспомнить что-то важное и никак не мог. Какая-то скользкая мысль не давалась ему. «Ах да, — подумал он. — Ну, конечно!»

— Эрнст Львович, — сказал он капризно. — Прошу вас объяснить, в каком качестве вы сопровождаете Свету Дорошевич? Имею право требовать!

— Мишка!

— Отстань. У нас будет мужской разговор. Сейчас мы выпьем... выпьем?.. и поговорим по-джентльменски. Я собираюсь жениться на Светлане. А вы? Что вы ей предлагаете?

Мише казалось, что он говорит достаточно внушительно. Он гордился собой. Никаких уловок. Полная ясность. Убийственные формулировки.

— Я тоже собираюсь жениться, — менее уверенно и ища взглядом поддержки у Светы, ответил Эрнст Львович. Официант принес шампанское, а заодно и счет.

— Я плачу, — сказал Миша. — За все!

— Не тряпи языком, Мишка.

Миша протянул к себе счет, смутился, взглянув. Итоговая цифра — 48 рублей.

— Мальчики, — сказала Света Дорошевич, которая в связи с поздним часом перестала играть роли и стала сама собой. И став собой, она поднялась на недосягаемую для обоих высоту. — Мальчики. Перестаньте ломать дешевую и пошлую комедию... Эрнст Львович, я не выйду за вас замуж. И не собиралась никогда. Вы — мой учитель. Я уважаю ваше мастерство. Я тоже буду портнихой — буду модельером. Сегодняшняя шутка слишком затянулась. Я сама виновата... У вас пятеро детей, Эрнст Львович. Как вам не стыдно их предавать!.. Неужели вы думаете, что я смогу жить с человеком, который бросил пятерых детей? Ну и прикол... Теперь ты, Миша. Милый мой! Тебе вовсе не о

женитьбе надо думать. Тебе надо думать, как бы самому заработать себе на ботинки. Или ты собираешься ко мне на содержание?

— Я пойду работаты!

— Помолчи, когда с тобой говорит умная женщина. Нет, дружок. Я бы еще могла ходить с тобой в кино, но ты слишком увлекся. Вы оба мне не годитесь в мужья. И кончим на этом. Девушка вообще не собирается замуж, с чего вы взяли. Я люблю, когда много лета, много шуток, много музыки. Буду петь, смеяться, сводить с ума... Вы думаете, мне больше подходит стирать кому-то из вас носки? Ошибаетесь. Мне и так распрекрасно живется. Платите по счету, дорогой Эрнст Львович. А ты, Мишка, спрячь свои деньги.

«Не будет она моей любовницей, — с болью, напоминающей зубную, сообразил Эрнст Львович. — Никогда не будет».

«Я женюсь на ней, — спокойно решил Миша Кремнев. — Она — моя суженая».

«Здорово я их отделала, двух петухов, — похвалила себя Света Дорошевич. — Жаль, мамочка меня не слышала».

В молчании допили шампанское, Эрнст Львович расплатился. Стараясь ни на кого не смотреть, засосывал руки в рукава пиджака. «Как я смешон! — думал беззлобно. — Как жестоко она надо мной посмеялась. «Платите по счету!» Я уплачу по всем счетам. Я всегда платил, даже когда был молод. Бесплатно мне ничего не доставалось. За все платил и буду платить... Быстрее отсюда домой. Милые мои детки... Это затмение, оно пройдет. Девчонка дразнила меня. Она поплатится когда-нибудь. Она поплатится».

Он не знал, как и чем поплатится Света Дорошевич, но призывал все грома небесные на ее бесшабашную голову.

У выхода из ресторана Эрнст Львович холодно кивнул обоим: «То свитанья!» Миша поплелся за подругой, остав на полшага.

— Не стыдно? — обернулась Светка. — Выставил пожилого человека и рад. Ишь глазищи брызжут. Фигляр ты, Мишка!

— Я раньше, Света, когда читал в романах любовные описания, знаешь, эти охи, ахи, презирал влюблен-

ных мужчин. Мне они казались неполноценными. Какя был глупо самоуверен. Я из всех самый неполноценный. Те, в романах, хоть чего-то добивались. А у меня совсем руки опустились... Прогонишь — уйду... Что тогда со мной будет?.. Мне не стыдно это говорить. Ни капли не стыдно.

— Сублильный ты какой-то, Мишка. А хитрый. Хочешь девушку разжалобить своим враньем. Только я не жалостливая. У меня железяка вместо сердца. Заруби на носу.

Каждое ее слово подсыпало соли на Мишкино израненное самолюбие. Она, наверное, это чувствовала, не могла не чувствовать. Для женщин эта область не имеет тайн. И странным образом, то, что она, вероятно, сознательно его подраживает, успокаивало Мишу. Значит, не совсем к нему равнодушна. Постороннего человека дразнить мало кому придет в голову. И, уж конечно, не ей, не Светке.

Миша ощутил вдруг неодолимое желание схватить ее сзади за плечи, стиснуть, сжать. И он это сделал — схватил и прижал к себе. И она забилась в его руках, яростно вырываясь.

— Да чего ты добиваешься, Мишка? Ну, сильный, сильный. Сильнее всех. Успокойся... Доказал. Сейчас как врежу! Отпусти... Фу, перегаром разит. Ах, так!

Она ущипнула Мишку не шутя. Он вскрикнул и выронил из рук невесту.

— Я уж хотела милицию вызывать. Как повело-то тебя с вина. Прямо медведь. Забыл, что сказал Чернышевский? Не отдай поцелуя без любви. Миша, а ты случайно не маньяк?

— Хватит надо мной издеваться, Светка! Я все-таки живой человек.

— Никто тебя не держит. Ступай к своему папочке, профессорский сынок. Я тебе не пара. У меня простые родители, где уж мне мечтать о таком женихе. Приданого нет. Вот, что на мне только. Платьишко да старенькая комбинация.

Он сознавал, что ему пора уйти, бросить ее, разрубить этот узел, не подходить к ней никогда на пушечный выстрел. Каждое ее слово было желчь. Она вытворяла над ним, что хотела. Никаких границ не придерживалась. Миша не мог уйти, это было выше его

сил. Его тешило, что Светкин ядовитый язычок жалит его, а не кого-нибудь другого. Могло ведь быть и так. Ей все одинаково. Какой бес ее заводит? Даже в их лучшие редкие вечера, которые миновали, она не давала ему передышки. Поцеловав, тут же норовила уку- сить. Как спастись?

Света беспечно вприпрыжку вытанцовывала впе- реди. Вот и дом ее четырехэтажный. Вот и скверик, где сиживали они, бывало, где в безудержных ласках про- водили долгие часы.

У подъезда она все же помедлила, не порхнула до- мой, как он ожидал. Да уж лучше бы и не медлила.

— Ты каких девушек больше любишь, Миша? Брю- неток или блондинок? Некоторые, конечно, предпо- читают шатенок.

— Мне все равно. Я...

Она не позволила ему разглагольствовать, спешила.

— Тем лучше. Я к чему веду. У меня в доме сосед- ка, Матреной зовут. Замуж больно хочет. Не старая еще, крепкая женщина. И как домработница хороша те- бе будет. Не гордая... Я тебя с ней завтра познакомлю. Сегодня поздно, спит она. А завтра приходи. Она и «Фетяски» может купить. Деньги у нее водятся, неиз- вестно, правда, откуда.

— Все?

— Тебе мало? Нет, уверяю тебя, милый, совсем бодрая женщина — сорока годков. Хоть завтра под ве- нец.

До дна испил чашу унижения Михаил Кремнев, сто- личный студент, но еще, видно, не напился, спросил, как спрашивал многократно:

— Почему ты такая безжалостная, Света? По- чему?

— Плохой ты психолог, Миша. Никудышный.

— Ничем я тебя не обидел. Люблю! Да, как могу. Убить никого не убью и яд не приму. А жить сдела- лось невыносимо. Кажется, я этим летом состарился на сто лет и уж никогда не буду молодым. Зачем же ты меня добиваешь? А вдруг и с тобой так будет. Не на- до бы, Света, по живому резать. Больно очень!

Света спустилась со ступеньки, на которую было шагнула, взгляделась в его замороженное, действитель- но иссеченное какой-то старческой морщиной лицо (мо-

жет, свет так падал), тихонько шепнула ему в самое ухо:

— Не плачь, дурачок. Я тебя жалею. Не нищим будешь милостыню у девушек вымалывать — повелителем будешь. Вот какая моя к тебе доброта и как я тебя отблагодарю за любовь...

Скакнула вверх, хлопнула дверь... прощай! еле-еле дождался раннего утра, чтобы позвонить. Прикинул, что лучше всего перехватить Свету на пути от туалетного столика к завтраку. Точно по минутам рассчитал, позвонил:

— Алло! Это ты, Света?

— Нет, это гастроном.

— Света, мне только один вопрос спросить, можно?

— Может, с папой поговоришь?

— Я хочу что узнать-то, Светлана. Ты меня вчера пообещала отблагодарить. Так ведь для этого нам еще повидаться вроде бы нужно. И необходимо.

— Какая дерзость! Умыться девушке не дают. Розовые щечки ключевой водой ополоснуть. Телефон, что ли, отключить! Михаил Юрьевич, я хочу только один вопрос спросить — у вас совесть есть? Или вы ее в ресторанах пропили.

— Я серьезно, Светочка. Подожди, послушай. Если ты так вчера сказала, значит, у меня есть надежда? Значит, ты меня не совсем бросила? Я же ничего, только узнать.

В трубке щелкнуло, и он услышал привычный в разговорах с любимой звук отбоя: «ту-ту-ту».

«Ничего, — подумал Миша. — Потом позвоню на работу к ней. Разберемся...»

2

Ах, Федулинск, город влюбленных, разочарованных странников, тишайших бунтарей, личностей с неопределенными желаниями, образованных детей, веселых женщин, строителей, пьяниц, реалистов и чудаков; зеленый город, где я бывал проездом и хотел бы жить долго. Двухэтажные дома старого центра создают как бы котлован, окруженный коробками новых, чем дальше от центра, тем более многоэтажных строений. В северной части города почти на лесной опушке высится чудо фе-

дулинской архитектуры — серое двадцативосьмиэтажное здание, построенное в форме расплзающегося куба. По этому небоскребу ориентируются заблудившиеся в городе или в лесу приезжие.

Подавленные масштабом и нездешней красотой строения местные власти не сразу смогли решить, как с наибольшей выгодой использовать его жилые помещения. Отдавать такой дом целиком под квартиры было, разумеется, абсурдно. Какое-то время шла невидимая, но яростная борьба между различными учреждениями и организациями за право получить прописку в новом доме. Побежденных в этой борьбе не оказалось. На первых трех этажах с комфортом разместились следующие организации: банно-прачечный трест, сберегательная касса, редакция городской газеты, контора по заготовке и сбыту трикотажных изделий, Общество охраны животных, клуб шляпной фабрики, ветеринарная лечебница, гостиница на 30 мест, строительномонтажное управление, профилакторий НИИгаз, юридическая консультация и многие другие, перечислить которые нет возможности по той простой причине, что их вывески не уместились на общем рекламном стенде. Кроме того, на первом этаже расположились продовольственный и посудохозяйственный магазины, парикмахерская и кабинет частного стоматолога.

Я жил в гостинице на третьем этаже, в маленьком уютном номере с восемью койками, семь из которых пустовали. Федулинск не пользуется международной известностью и не привлекает внимания туристов. Редкие командированные да гости солнечных республик, привозившие для продажи цветы и фрукты, — вот обычные постояльцы. Тетя Клаша, женщина сумеречного возраста, в одиночку справлялась с многочисленными обязанностями по обслуживанию клиентов. По утрам она добросовестно высиживала около часу в конторке при входе на этаж, выполняя работу и кассира, и администратора, и портье; потом исчезала на целый день и появлялась только поздно вечером, в бигудях и домашнем халате, для того, чтобы пройти по комнатам и напомнить лишний раз о жестких правилах проживания в гостинице. В штате состояла еще одна единица — безымянная, глухонемая старуха уборщица, которая в любое время суток могла возникнуть в номере

и, ни на что не реагируя, произвести сокрушительную уборку с помощью огромной черной тряпки, нанизанной на бамбуковое удище. Пресечь вторжение можно было, подарив уборщице полтинник. Вообще порядок в гостинице нельзя было назвать строгим. Например, как-то поздней ночью ко мне в номер вломился коренастый мужчина с вещмешком. Он осведомился не буду ли я возражать, если он переночует на одной из свободных коек.

— Тетю Клашу где-то черти носят, а вы вроде один, — сказал он. — Не возражаете?

Что мне оставалось делать?

Мужчина извлек из вещмешка бутылку с мутной жидкостью, заткнутую бумажной пробкой, полбуханки хлеба, жареного куренка... и стал отдыхать. Он рассказал, что приехал из колхоза «Красные зори» за запчастями к автодоильной установке, собирался управиться за день и к вечеру отбыть домой, но не застал «анафему Захарыча». Он полночи лакал бормотуху, курил и всячески подбивал меня разделить с ним компанию, повеселиться. В пятом часу утра мужчина начал снаряжаться в гости к какой-то знакомой женщине, даже надел чистую рубашку и повязал галстук. Его свалил последний глоток, про который он выразился, что это «посошок на дорожку». Посошок уложил его на койку, где он прохрапел всего-навсего минут сорок. Вскочил, спешно упаковал вещмешок, наскоро ополоснулся в душе, пожал мне руку со словами: «Спасибо, кореш! Давно так не высыпался!» — и был таков. Больше я его никогда не встречал.

По утрам меня будили голуби, несчетной стаей пузырящиеся за окном. Взлетая, они все вместе издавали звуки, похожие на многократное встряхивание мокрой простыни. Невиданное скопление голубей во дворе объяснялось просто: они подстерегали утренний подвоз продуктов в магазин. Приятно было смотреть с балкона на медлительно-осторожных тяжелых птиц, чувствующих себя в полной безопасности. Пожалуй, никакая другая птица не чувствует себя так уверенно в наших городах и не живет так сытно и беззаботно. И благодарить за это они должны, видимо, художника Пикассо...

Завтракал я в баре на втором этаже: выпивал чашечку кофе и съедал холодное вареное яйцо, а также

обменивался несколькими фразами с барменом по имени Серж. Этот рослый сероглазый крепыш с залезанными набок волосами словно каким-то чудом переместился за стойку федулинского бара напрямик из ночного кабаре Лас-Вегаса. Удивительна, неуловима и неустановима миграция некоторых культурных ценностей такого рода. Бармен Серж разговаривал, не открывая рта, двигался за стойкой с вальяжностью черепахи, коктейли размешивал, глядя в окно, и весь его вид подчеркивал готовность к скорой и непереносимой перестрелке, когда со звоном посыплются на пол разноцветные осколки бутафорских бутылок, лопнут зеркала и прольется на паркет чья-то невинная кровь. Только тогда, в те роковые секунды станет ясно, зачем оказался за стойкой этот благородный и задумчиво-неприветливый молодой человек в опрятном вельветовом пиджаке. Ко мне бармен Серж относился с симпатией и некоторой опаской, предполагая, что я, как столичный житель, нагляделся и не на таких барменов и способен подметить какую-нибудь досадную небрежность или несоответствие в его профессионально-ковбойских манерах. Опасался он напрасно; думаю, что Серж на конкурсе барменов не уступил бы и неподдельному негру из ресторана «Гавана». Единственно, что могло его подвести, — это нижегородское произношение и иной раз помимо воли вспыхивающая на лице доверчивая славянская улыбка. Он сам это прекрасно сознавал и старался реже встречаться взглядом с озорными продавщицами из посудохозяйственного магазина.

— Как обычно, Серж, — говорил я, зная, что такое обращение ему более всего по душе, — кофе, яйцо, булочка с маслом, — и шутил как равный с равным, — сегодня обойдусь без огненной воды.

— Рекомендую кофе покрепче и полстакана лимонного сока, — отвечал он с приятной грубостью в голосе.

— Отлично, Серж. Благодарю... Как идет ваш маленький бизнес?

Серж расцветал.

— Какой тут может быть бизнес, в Федулинске. Бог давно забыл этот город. Здешние жители предпочитают с утра до ночи накачиваться простоквашей. Еле еле тяну план.

Обычно в это же время в бар заходил опрокинуть перед работой чашечку кофе частник-стоматолог Сурен Прокопьевич Вышеградский. Дома кофе ему пить не позволяли, выполняя строжайший запрет врача, — Сурен Прокопьевич перенес два инфаркта, — и в бар он забегал украдкой. Запрещенный кофе доставлял стоматологу-индивидуалисту огромное наслаждение. Он пил его нежными маленькими глоточками и причмокивал, как ребенок, сосущий соску. После каждого глотка он торжествующе оглядывался по сторонам с выражением человека, еще раз давшего подножку судьбе. По виду Сурену Прокопьевичу было лет шестьдесят пять, — седенький зазорный чубчик, нависавший над розовобледным лбом, делал его похожим на гнома из старой немецкой сказки. Глядя на его худенькие ручки, слабые, — он и чашку-то подносил ко рту сразу двумя, — я не мог представить его орудующим около зубо-врачебного кресла с бормашиной. Однако в Федулинске записывались в очередь, чтобы попасть к нему на прием. Так как в этот час бар почти всегда пустовал, а Сурен Прокопьевич был словоохотлив, мы поневоле познакомились и при случае делились мнениями по разным вопросам. Меня, конечно, интересовало все, что связано с профессией зубного врача, особенно аспект его частнопредпринимательской деятельности, но как раз об этом он не любил распространяться, отделялся общими фразами: «Работаем понемногу. Отец зубы чинил, дед чинил — и я стараюсь сделать людям облегчение. А как же».

— Почему не в государственной поликлинике, Сурен Прокопьевич?

— Так ведь оно само дело такое, не коллективное. Отец в одиночку зубы рвал, дед...

— Выгоднее, наверное? — не давал я сбить себя с толку.

— Может, и выгоднее, сынок. Только ведь я о деньгах теперь не забочусь. Куда мне... С собой не утащишь, а дети и внуки пускай учатся на собственных ногах стоять, — хмыкал. — Чашечку кофе да тарелочку каши овсяной я могу и на пенсии иметь.

· Более всего Сурен Прокопьевич любил обсуждать всякие случаи из жизни своих федулинских сверстников, со многими из которых поддерживал тесное мно-

голетнее приятельство. Его занимали люди только старше 60 лет, остальные представлялись ему безликой массой, не играющей в обществе мало-мальски заметной роли. В этом смысле я, отставший от него на несколько десятилетий, был почти неодушевленным предметом, и примирило его с моим существованием лишь наличие у меня двух совершенно развалившихся коренных зубов.

— С такими зубами вы скоро состаритесь, юноша! — благожелательно сообщил он, прямо за столиком в баре мельком обследовав мой рот. Подумал и еще более благожелательно добавил: — С такими зубами долго на свете не задерживаются.

Его ровесников в Федулинске осталось не так уж и много, большинство почему-то не дотягивало до среднего возраста жизни, утвержденного медициной, — 71 год. В Федулинске, как и в прочих местах, было много бабушек, а стариков, настоящих стариков, а не преждевременно увядших молодых людей, можно было пересчитать по пальцам. Так обстояло дело в действительности, но не в рассказах Сурена Прокопьевича, который не умел отделять мертвых от живых, никого не сбрасывал со счета, подобно Чичикову, и о тех и о других говорил с одинаковым ехидством и снисходительностью. Выходило, что федулинские старики, хотя и являли собой образцы подражания для молодежи, сами жили неумело, рассуждали наивно и совершали великое множество безрассудных поступков. Особенно доставалось Верховодову, с которым они проживали в соседних домах.

— Самовлюбленный старикашка, — отзывался о нем Сурен Прокопьевич, — уж я его, слава богу, хорошо знаю. Здоровенный дед, а занимается всякой ерундистикой. Давеча иду я вечером с работы и вижу, — знаешь, где улица Чехова, в переулке несколько кустов смородины кто-то посадил, — вижу из этих кустов торчит белая кепка. Кто там? Ну, конечно, он, Петр Иннокентьевич, собственной персоной. Притаился и охраняет природу, то есть эти самые кусты смородины. Я ему кричу: «Вылезай, дед, тебя с площади видно!» Он вышел, отряхнулся с этой его гримасой, будто он только что государственное задание выполнил. «Не совестно тебе, — спрашиваю, — посмешищем быть для

всего города?» Он надулся индюком и отвечает: «Ты, Сурен, зубы умеешь выдергивать, этого у тебя никто не отымает. А до других категорий у тебя мозги не созрели, хотя ты и пожилой человек». — «В кустах, что ли, с тобой не сижу, потому не созрели? Ты бы, Петя, на работу куда-нибудь пристроился на половину зарплаты. Нашел бы себе путное занятие...» Да чего сним толковать, бесполезно.

Иногда за столик к нам подсаживался заведующий отделом газеты товарищ Свиридов. Он так и представлялся — товарищ Свиридов, имени-отчества никогда не называл. Свиридов, пятидесятилетний мужчина с тонкими ниточками усов и мощными надбровьями, очень дорожил знакомством со стоматологом, так как собирался в ближайшем будущем справлять себе новую верхнюю челюсть. Товарищ Свиридов во всем соглашался с Суреном Прокопьевичем, но делал это тактично, даже каким-то образом создавал видимость полемики. Сказывался трудный опыт газетчика.

— Безобразий очень много, — говорил, к примеру, Сурен Прокопьевич. — Куда ни погляди... Возьми хотя бы нашу улицу и двор. Ровно в шесть утра там обязательно начинают грохотать мусорные бачки.

— Как это? — взвизвался товарищ Свиридов.

— Никому горя нет, что трудовым людям дорога утром каждая минутка от сна. Мусорщики, видите ли, приступили к уборке.

Товарищ Свиридов горестно вздыхал и соглашался:

— Каждый должен с полной ответственностью относиться к порученному делу.

— Мелких много еще безобразий, — продолжал Сурен Прокопьевич, — которые вместе образуют большую вонючую кучу. Зачем далеко ходить — вот мы сидим, кофе пьем. Девять утра, а он уже остывший.

— Разве остывший? — переспрашивал Свиридов.

— От кофе должен вверх душистый дымок вырастать, в ноздри бить. Тогда он считается горячим.

— Увы! — скорбел Свиридов. — Некоторые участки быта до сих пор остаются вне пристального внимания общественности.

Многолетняя работа в редакции выковала своеобразную речевую стилистику товарища Свиридова. Он привык излагать мысли с плакатной выразительностью

газетных передовых, за писание которых, как он сам признался, редактор платил ему повышенный гонорар.

— Тем более досадно, Сурен Прокопьевич, что эти мелкие огрехи мешают гигантским шагам прогресса, которыми труженики нашего города продвигаются к дальнейшим славным свершениям... Как вы считаете, доктор, имеет ли смысл вставлять металлические зубы? Или предпочтительнее во многих отношениях золотые? Этот вопрос для меня немаловажен вследствие того, что у меня, к сожалению, осталось вверху только три собственных зуба, на которые я могу положиться. Остальные недостойны упоминания.

— Посмотрим, — отмахивался Сурен Прокопьевич от бесплатной консультации, — приходите на прием, там разберемся.

— В общей очереди?

— У меня знакомых — весь город. Вы уж извините, дорогой друг. Без очереди не могу.

Свиридов замыкался в себе, молча допивал кофе и уходил, холодно попрощавшись и придерживая рукой челюсть. Как-то я ему посоветовал:

— Вы бы, товарищ Свиридов, заняли очередь. За это время она бы уж десять раз подошла.

Он поглядел на меня с недоверием.

— Странно слышать, коллега.

Всего один раз я видел Сурена Прокопьевича торопящимся. Он пил свой кофе большими глотками, не причмокивая, и бросал на меня таинственные взгляды. Розовый лобик его покрылся испариной. Ему не терпелось что-то мне сообщить, что-то скорее радостное, чем печальное. Подразнив его немного показным безразличием, я сказал со скучающей миной:

— Жаркое какое лето в Федулинске. Уж не от жары ли, Сурен Прокопьевич, вы сегодня на себя не похожи?

— Вам охота смешки строить, юноша. А у меня сегодня действительно не совсем обычный день. Сам Виктор Афанасьевич попросил его освидетельствовать. Так-свот... Не в поликлинику направился, а ко мне, старику.

Я не сразу сообразил, кто такой Виктор Афанасьевич, однако вскоре догадался, что речь идет о директоре НИИ Мерзликине.

— Дурно он поступает, — заметил я. — Видный деятель и идет к частнику, дискредитирует авторитет государственного сектора.

Видимо, некоторую неловкость испытывал и Сурен Прокопьевич, потому что стал защищать директора с необыкновенной горячностью.

— Я Виктора Афанасьевича двадцать лет пользую, и он меня уважает. Достойный человек. В шестидесятом году я запломбировал ему глазной зуб — через три года он мне позвонил домой и поблагодарил. «Спасибо, сказал, тебе, Сурен, за добрую работу. Третий год горя не знаю, кости твоим зубом дроблю, и ничего». Понятно? К кому же теперь ему направиться лечиться? К мальчишке, вроде тебя, или ко мне — заслуженному мастеру?

— Все-таки...

— Я предложил ему попозже вечером, когда большие разойдутся... «Нет, — он говорит, — ровно в десять буду у тебя, Сурен. А в одиннадцать у меня совещание. Учти!» Вот он какой человек. Вся жизнь по минутам расписана.

— Хотелось бы поглядеть на него.

— Пойдем, поглядишь.

У входа в кабинет сидели в ожидании экзекуции человек семь — преимущественно женщины преклонных лет. Сурен Прокопьевич поздоровался, почти каждого клиента называя по имени, и прошествовал к себе. Я остался в коридоре, уселся в сторонке на стул. Не знаю уж, что мне было любопытного в том, как придет лечить зубы директор. Нет, что-то, конечно, было любопытное. В Федулинске восемьдесят процентов жителей так или иначе, косвенно или прямо зависели от этого человека, и для них он был не просто директором — некоронованным королем, самодержцем, каждый поступок которого представлял интерес и имел значение.

Мерзликин явился ровно в десять ноль-ноль. Вошел среднего роста крепко сколоченный мужчина в белой рубашке с засученными рукавами. Лицо и руки загорелые дочерна, как у лесоруба. На начальника не похож ничуть. На улице увидишь — не оглянешься. Но тут, в приемной зубного врача, его вмиг опознали, две женщины вскочили было уступить ему место, но Виктор

Афанасьевич махнул досадливо рукой и примостился рядом со мною — последним. В кабинет нахрапом не ломанул.

— За вами буду? — обратился ко мне.

— Да... но вас, вероятно, без очереди примут?

Мерзликин скользнул по мне небрежно изучающим взглядом и сразу открылось: да, этот не из простых, командующий. Глянул как ошпарил.

— Примут так примут, — согласился беспечно, — только не меня, должность мою примут. А вы возражаете?

— Нет. Я вообще тут посторонний.

— Отдыхаете?

— Вроде того.

— Понимаю. Самое лучшее место для отдыха — кабинет стоматолога... Вы где работаете?

Он допрашивал без нажима, но в абсолютной уверенности, что получит ответ на любой вопрос. Голос веселый, рокочущий. В глазах — неподдельный интерес. На стул опустился мощно, как в кресло.

— Я приезжий...

— По какому делу?

На мое счастье, отворилась дверь, выглянул Сурен Прокопьевич:

— Виктор Афанасьевич, заходите. Я вас жду!

Мерзликин кивнул мне, развел руками, извиняясь перед женщинами, которые нестройно и одобрительно загалдели в ответ (кстати, как только за директором закрылась дверь, галдение не прекратилось, но приобрело осуждающий оттенок).

— Им все можно, — тут же громко констатировал мужик в кирзовых сапогах с перевязанной распухшей щекой. — Они над нами для того и поставлены, чтобы очередей не соблюдать.

— Как вы смеете, — вступилась в защиту директора восторженная, загримированная под девушку толстая дама. — Постеснялись бы делать такие замечания. Никакого уважения не осталось у людей.

— У меня второй день зуб в висок прорастает, я не прущу вперед всех. Не химищу. А это хамство, только так и можно оценить. Хамство и чиновничество. Чего, спросите вас, вы сейчас от радости чуть не визжали? Шишку вблизи увидели? Эх, сидит в нас еще эта заню-

за, сколь лет сидит, не выковырнешь никак. Только и счастья, что вельможный... руку лизнуть.

Тут уж многие женщины взялись ему возражать, но мужик не стал слушать, поднялся и пошел, на ходу срывая повязку с головы, матерясь сквозь зубы. На меня зыркнул глазами, как ножом пырнул. Я вышел за ним на улицу. Идти ему было некуда с таким зубом, он согнулся около подъезда, покачивался, баюкал кувыркающуюся в щеке боль.

— Закуривайте.

— Давай спробую. Эти — видал?.. Да нет, я не против, понимаю — директор он и есть директор. Всегда так было. А все же вот спиханул. Может, от зуба... Когда же мы все людьми-то станем, парень? Когда по-человечески научимся? А что ведь особенно сволочно. Он-то, директор этот, сразу не попер, сел вдалеке... и лыбится. Сам ведь знает, что стоять не будет в очереди, а вид все-таки сделал. Не я, мол, доктор тут распоряжается. А из доктора от поклонства искры сыплются... Ведь издевательство это, парень, — какой-то кураж над всеми. Глаза-то у всех ведь нечистые, и у баб, и у доктора, — у всех. Один он ни при чем... Ну-ка дай другую сигаретку. Покрепче бы надо. Дым, однако, унимает боль-то.

— А чего сюда, не в поликлинику? Там народу поменьше.

Мужик через силу ухмыльнулся.

— Это ты у директора спроси, почему он в поликлинику не тыркнулся.

— Я знаю. Они с доктором давние приятели.

— Был у овцы приятель — серый волк... Нет, парень. Сурен — врач знаменитый, он обхождение понимает. У человека ежели зуб ноет, то и душа ноет. В поликлинике тоже зуб вылечат, а в душу, глядишь, сморкнутся. Бывает.

— Так вот и здесь...

— Что здесь? Что здесь?!

Мужик неожиданно рассвирепел, растоптал сапогом почти целую сигарету:

— Ты кто такой сам? Выспрашиваешь, сигаретки раздаешь. А? Может, ты диверсант, почему я знаю. Времени нету, а то свел бы тебя, куда положено... Ну ладно, будь здоров, не кашляй!

Свирепый и разом отчего-то повеселевший, он отправился достаивать очередь. В дверях столкнулся с выходящим Мерзликиным.

— С облегчением, Виктор Афанасьевич! С избавлением, как говорится, от невыносимого страдания.

— Тебе того же желаю, дружок!

Из глаз мужика, минуту назад неистово поносившего все и вся, струился елей. Не было для него большей радости, чем поприветствовать облегченного от страданий директора. Вот уж воистину — чужая душа потемки.

Мерзликин заметил меня, подошел.

— А вы, оказывается, журналист? Фельетон будете про нас писать? Заходите, я вам фактиков подкину.

— У меня творческая командировка, — заюлил я. — А к вам зайду, если вы серьезно.

— Почему несерьезно, конечно, серьезно. Мы столичных гостей уважаем. Обязательно приходите. Пропуск вам секретарша выпишет... Лучше завтра, к вечеру, — подмигнул, — или вы любитель скрытой камеры?

— Это метод фотографирования.

— Не только, к сожалению, — взгляд его сосредоточился на моих руках. — Некоторые и живут по этому методу. Насобирают тайком мешок дряни и носят с ним как с писаной торбой...

Я решил, что пора давать отпор.

— Вы, значит, избегаете скрытой камеры?

Директор хохотнул, залез пальцами в рот и покачал там травмированный зуб.

— Да-а. Сурен — волшебник, три минуты, и готово. Так бы всем управляться, да с таким же качеством. ...Некогда мне, товарищ журналист, с вами дискутировать. Перенесем на завтра... А скрытую камеру никто не любит. Никто. Ее ведь можно и в сортире пристроить. Так-то! Неэтично это, не по совести.

Рука, которую он протянул для прощального пожатия, оказалась твердой, как дерево. На следующий день я позвонил в институт, но секретарша сообщила, что директора срочно вызвали в Москву и вернется он денюшка через два, не раньше. Это значило, что Виктора Афанасьевича я больше не увидаю, потому что командировка подходила к концу. Она и так затянулась.

Серебряным утром покидал я Федулинск. Никто меня не провожал. Афиноген обещал заглянуть утром в гостиницу, да, видно, проспал. В станционном буфете я съел последний бутерброд с засохшим сыром (последний здесь для меня, в буфете их еще много оставалось), выпил кружку горьковатого кваса. Железнодорожная станция располагалась в низине, с перрона открывалась панорама поднимавшихся в гору желтых четырехэтажных домов, выстроившихся в неровную шеренгу, над которой высоко прочитывалась вывеска «Спортклуб «Олимп». Там был городской стадион. Раннее солнце расцветивало скудный пейзаж в несколько красок с преобладанием зеленой. Бродячий пес безнадежно лаял из травы на приближающийся поезд. Немногочисленные пассажиры потянулись к краю перрона, словно собирались прыгать в электричку на ходу.

Грустно мне было уезжать, возможно навсегда, но и жить больше в чужом городе я не мог...

3

В семье Карнауховых было тревожно, и каждый чувствовал себя в ней неуютно, непрочно. В субботу они обычно завтракали все вместе, но в этот раз Викентий сказал, что у него болит голова, и остался лежать в постели.

Екатерина Всеволодовна хлопотала над салатом, остерегаясь натолкнуться на деланно-бодрый взгляд мужа. Она не привыкла видеть его таким! Тюкнутым, расслабленным. За то огромное количество лет, которые они провели вместе, Екатерина Всеволодовна так и не сумела проникнуть в его душу. Николай Егорович остался ей далеким, непонятым человеком. Она боялась происходящих в нем перемен, потому что не могла предвидеть, что они сулят ей. В молодости, давным-давно, ткачиха Катенька Чижова делала попытки пробиться к его сердцу, но натыкалась на равнодушную мягкость, в которой увязала, как в трясиине: ни вперед, ни назад не шагнуть. Тогда, в молодости, бесилась, требовала от него чего-то такого, что сама не умела определить и выразить словами. Николай Егорович ласкал ее, приговаривал: «Ну что тебе, дурочка? Что? Поженились уже, все в порядке. Детишек скоро заведем».

Подруги ей завидовали: вышла замуж за инженера, образованного — сама деревенская девка. Они с Николаем жили в достатке, в уважении друг к другу. Катя постепенно успокоилась, примирилась с мужниным равнодушием и отстраненностью, приучила себя думать, что, видно, такая и есть на свете любовь — без вспышек, без огня, с простыми домашними заботами и радостями, с безмятежными ночными объятиями, без напряжения и фейерверков. Наверное, есть и другая любовь, бездумная, пылкая, — не наверное, а точно есть, — но такая, как у них с Колей, лучше, устойчивее. Она надеялась, что ребенок еще больше укрепит прочность их союза. Так и случилось. Родился Викентий — маленький, тщедушный, розовый комочек плоти. Николай Егорович радовался сыну, целовал жену, благодарил ее:

— Катя, милая, какая ты хорошая — сына мне родила. Умница.

В этих словах тоже чего-то не хватало, не было в них истинного тепла, но Катя теперь ничего другого и не ожидала. Потеряй он от возбуждения голову, выкинь какую-нибудь лихую шутку, вроде тех, какие вытворяют герои кинофильмов — молодые отцы, — она бы, пожалуй, не поняла его и насторожилась. Она привыкла к нему, приняла его таким, какой он был с ней, и больше не терзалась мучительным вопросом: любит ли он ее. Как же не любит, если живет рядом, никуда не уходит, прощает ее дурной характер — скупость, взбалмошность, бессмысленную воркотню.

В сорок лет — поздно-то как! — она родила Егорку, долго болела, перенесла тяжелое осложнение, и муж уговорил ее уйти с фабрики. Она сомневалась — ей недоставало четырех лет до пенсионного стажа, но в конце концов мужа послушалась, и мир ее навсегда сузился до размеров квартиры, улицы и знакомых магазинов.

Смешно ей было вспоминать девичьи сомнения и неудовлетворенность. Об одном молила — лишь бы все шло так, как идет, не по-другому. Да, видно, плохо молила: Викентий попал в беду. Викентий, кровушка родная, неудачливый ребенок, тридцатилетний холостяк, музыкальный мастер. Любая женщина могла его обмануть и унижить, злодей обобрать, машина на дороге сбить, но чтобы он сам решился на скверное и вдоба-

вок опасное дело — не могло этого быть. Екатерина Всеволодовна, когда узнала, сразу поняла: навет. А потом, поговорив с мужем, дотумкала: не навет — хуже. Вовлекли ее доверчивого голубя в злую компанию и оставили вместо себя на растерзание.

— Ты отец, — упрекала ночью Екатерина Всеволодовна. — Все ты виноват один во всем. Когда ты последний разок по-хорошему с Кешей поговорил, посоветовал ему? Не помнишь? Отец!.. Он у нас в доме как посторонний, как угол снимает. С Егоркой ты нянькаешься, сюсюкаешь, а со старшим... Не отец ты — отчим. Хуже отчима — своими руками сына в яму пихнул.

Николай Егорович глядел в потолок, курил сигареты одну за другой.

— Перестань, Катерина! Тебе тяжело, понимаю. Так и мне не праздник... Викентий не ребенок и человек неглупый. Я к нему и отношусь как к взрослому умному человеку. Отцовство — это что ж, лет до двадцати. А там связь времен может и распасться, трагедии в этом не вижу... Викентий давно меня чурается, сама знаешь. А навязываться ему я не хотел. Думал, понадоблюсь — позовет. Я не понимаю, почему у нас сним так произошло и понять не смогу. Понять такое мне не дано. Может, потому, что я сам рано из дома ушел, сколь себя помню — жил самостоятельно. Почему отец становится сыну чужим? Думаешь, я этим не мучился? И мостики ладил, да все они соломенными оказались. Говорят: голос крови. Тоже не знаю... Увидел я Викентия в комнате у следователя: жалко его стало — не могу тебе передать как. Но и злость. На него, на себя — подошел бы и шваркнул по затылку. Очувствуйся, опомнись! ...Это, что ли, голос крови?

Катерина слушала мужа, замерев. Редко говорил он с ней так открыто, беспощадно.

— Может, Катя, мне вообще не дано было испытать любви? Я к ней и не стремился, ни к какой. Не очень стремился. Другие слова выше ценил: долг, обязанности, справедливость... Теперь я часто думаю, правильно ли жил, не обманул ли себя самого, и тебя, и детей. То, что с Викентием стряслось, моя вина — не отрицаю. Но где она — вина, в чем, когда? Мы с Кешей разговор один имели, тяжелый разговор. Он мне про

свои жизненные планы и мечты рассказывал. В истерике, конечно, полностью верить нельзя; но и забыть все сказанное я уж теперь не сумею. Он ведь мне врагом открылся, самым истинным врагом. Не мне лично, а всему, во что я верю, врагом. Это как?

— Коля, Коля! — сомлела Катерина. — Ты про кого говоришь-то? Про сына родного! Какой он тебе может быть враг, ты что? Викентий! Да легче его человека нету. Он мухи не обидит... Смурной ходит — да. Понятно, не клеится у него личная жизнь, жены нету, никого нету. И отца нету. С которым можно посоветоваться, душу излить. Нету у него такого отца! Коля, как ты мог сказать про сына, что он тебе враг! Как твой язык поворотился?

— Вот здесь, — Николай Егорович ткнул пальцем в грудь, — сковал железный обруч, давит. Никак не освободишься. Ты думаешь, я из-за милиции, из-за позора переживаю? Ошибаешься, если так думаешь. Я грязи его испугался, какая в нем накопилась. Она мне в грудь сюда перетекла, Катя, и давит, ах как давит!

Страшно звучали для Екатерины Всеволодовны негромкие непонятные мужнины речи.

— Замолчи, Коля, — попросила она. — Замолчи, а то я на кухню спать уйду. Сын он тебе, сын!

— А я отец. Я ему жить не помешаю, а судить его буду. И если осужу, то и мне, конечно, какую. Заново не начну, другого сына не выращу. Значит, и мне какую.

— Ты спятил! — шепотом заорала она, чтобы не разбудить Егора. — Тебе к врачу надо! Завтра же.

— Ладно, Катя, спи. Я ведь, может, ошибаюсь. Выговориться надо было, смалодушничал. Зря тебя расстроивал. Спи.

— Как это ты судить будешь? Кого? Да ты разве прокурор? Кто тебя назначил? Сын твой в беде, в несчастье — от нас помощи ожидает, а ты вон куда. Нет! Жила с тобой долго, а такого еще не видала. С таким чудовищем и аспидом переведаться — тюрьма раем покажется. Поняла я Викентия. Он тебя раньше всех раскусил и в милицию скрылся, хоть у власти защиты от отца сыскать. Ну, Коля, погоди! Ты умный, а я, баба, терпеливая. Найду на тебя где-нибудь управу... Понятно! От сына хочешь отгородиться, чтобы на тебя не

взъярились, не заругали. Не-ет. Не выйдет! Или ты мне Кешу назад вырвешь, или... или... или!

Забулькала Катя, как старая пластинка, скорчилась от рыданий. Николай Егорович жену утешал, пытался погладить ее, стонущую, по голове, по спутанным волосам, как издавна привык утешать.

Когда вернулся домой Викентий, вроде забылся этот ночной разговор, вроде и не было его. Истаял, как ночной кошмар, который вспоминать и держать в голове самое пустое дело. Для Кати он и был воистину кошмаром — этот разговор. Она на другой день порывалась спросить мужа, помнит ли он, о чем у них затянулась ночью беседа, да момента не выбрала, потом и рукой махнула, запомятовала, навеки запомятовала.

Почувствовал, что в доме неладно, и пес Балкан, несмирный фокстерьер. Он не путался, как обычно, под ногами, не шлялся с угрожающим оскалом из комнаты в комнату, не заигрывал с Николаем Егоровичем, — смирно дремал на своей подстилке у двери и изредка то ли выл потихоньку, то ли скулил. Возможно, его странное поведение отчасти объяснялось унижительным случаем, который произошел с ним на недавней прогулке. У самого леса, уже спущенный с поводка, Балкан засек одного из своих заклятых врагов — пожилого, занозистого спаниеля Кука. Тот прогуливался со своим хозяином, имени которого Балкан не знал и знать не желал. Увидев Балкана, проклятый спаниель издали соорил ему издевательскую рожу и слегка тьякнул. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы вывести Балкана из созерцательного, добродушного состояния. Ничего более не соображая, ослепленный приступом безрассудного бешенства, Балкан прыжками помчался на противника, подлаивая и сбрасывая на землю белую пену. Спаниель, трясаясь, метнулся за ближайшее дерево. И тут произошел чудовищный казус. Не рассчитав скорости, Балкан не успел свернуть и в высоком прыжке ввинтился лбом в корявый ствол сосны. От удара он опрокинулся на бок и на миг потерял всякую ориентацию. Этим воспользовался хозяин спаниеля и пару раз со всей силы перетянул его поводком по морде. Укрепив себя в стоячем положении, Балкан обнаружил, что враги окружают его с двух сторон, и опять замешкался, не зная, кого первого проучить —

ядовитого Кука или его обнаглевшего хозяина... Подбежавший вовремя Николай Егорович успел пристегнуть ему поводок и потащил, — упирающегося и истерически захлебывающегося теперь уже бессильной злобой, по направлению к дому. Спаниель Кук провожал его на смешливым кудахтаньем, а его торжествующий хозяин кричал о каких-то «вашей собаке необходимых прививках». До самого дома униженный Балкан плевался, хрипел, оседал на задние лапы и даже позволил себе неодобрительно вякнуть в адрес любимого хозяина, на что Николай Егорович в свою очередь отвесил ему доброго тычка под зад. Балкан глубоко переживал этот случай и целый день отказывался от пищи.

Сейчас, поглядывая на зевающего на подстилке Балкана, Николай Егорович припомнил эту историю.

— Надо что-то делать с собакой, — обратился к Егору, — все границы приличия она преступила. С поводка опасно спускать... Уже на людей бросается, вражья псина. А ведь это ты, Егор, уговорил нас с матерью завести собаку. Теперь и расхлебывай. Вызовут в суд — я не пойду. Сам пойдешь. Это же твой пес...

На кухню вышел заспанный, в трусах и майке, Викентий, услышал последние слова отца, зло усмехнувшись, посоветовал:

— На живодерню отвести, и дело с концом. Чего с ним канителиться?

Балкан глухо заурчал с подстилки.

— Все как есть понимает, — всплеснула руками Екатерина Всеволодовна, — откуда же в нем злости столько накопилось?

Она проговорила это быстро и весело, спеша ответить возможную вспышку отца, который уперся в Викентия помутневшим взглядом.

— Потому и злой, что все понимает, — сказал Егор. — Горе от ума.

Викентий налил из-под крана воды в стакан и стал пить. Капельки воды потекли на его худую шею, скопились в ямочке между выпирающими острыми ключицами.

— Ты бы оделся все-таки, — заметил ему отец, — здесь люди завтракают. Или теперь тебе все можно?

— Садись позавтракай с нами, Кеша, — опять заискивающе заторопилась Екатерина Всеволодовна, —

картошка пока горячая. Чай свежий заварила, как ты любишь:

Викентий не ответил, потопал с кухни, чмокая бо-сыми ногами по линолеуму.

— А ну вернись! — грохнул Николай Егорович.

— Ну? — Викентий гаденько, с прищуром улыбался.

— К тебе мать обратилась — ты зачем ей хамишь? Почему не ответил?

— Спасибо, мама. Завтракать не буду. Сыт.

— Хорошо, Кеша! Ступай отдохни. Суббота нынче, почему не отдохнуть, не полежать.

Николай Егорович цеплялся взглядом за сына, как проволокой.

— Викентий, ты себя держи в руках. Держи! Достаточно фокусов. Живешь в семье — живи, соблюдай этикет. Ты не страдалец, и тут тебе не богадельня. Мы перед тобой ни в чем не провинились. Ни я, ни мать. Втемяшь это себе в башку. И характером не козыряй. Нет его у тебя, характера. Блажью пробавляешься. Уразумел?

— Уразумел, отец. Поздновато ты за мое воспитание взялся. Раньше надо было, когда у меня усы не росли.

С тем и ушлепал к себе в комнату. Карнаухов поник, тускло поглядел на Егора.

— Поздно... действительно, что ли, поздно?

Екатерина Всеволодовна что-то хотела вставить, видно, в осуждение мужу, потому что уж больно с решительным видом несколько раз поворачивалась от плиты, да так и не осмелилась. Егор сказал:

— Ничего, папа. Все образуется. Мы его спустим на землю из райских куш. Это никогда не поздно.

Много дерзкой уверенности было в юном голосе. Воспрянул духом Карнаухов. Даже не заметил несурзанности: младший брат о старшем свысока рассуждает.

— Некоторые на стройку хотят бежать...

— Переждет стройка.

— И то. Их много, строек. Одну построят, а вот тебе и другая. У меня на тебя большие надежды, Егорша. Хоть он и старший брат, а повлиять ты на него можешь. Он ведь сейчас как тростиночка, весь исколебался, внутри ветер и снаружи ветер. Гнет его в разные стороны, он и координацию утратил. Нам с тобой, Егор, главное

общую линию теперь держать. Мать нам, пожалуй, не помощница. Жалости в ней много. Прости, Катя, что я тебе при сыне так говорю, но пойми — твоя жалость вредная, губительная. Ему окрепнуть предстоит, очеловечиться, а твоя жалость его размягчает. Рядом с ней он и сам себя жалеть начинает. Я думаю, у него сейчас это самое сильное чувство — жалость к себе.

— Кто же пожалеет, кроме матери, Коля?!

— Сто раз эти слова говорены. Нет в них смысла, — от живота они идут, не от ума. Его за что жалеть? Раненый он? За правду пострадал? За идею? Его ни жалеть, ни уважать пока не за что. А показать, что мы в него верим, надеемся на него — надо. Трудно, а надо. Жалеют пропащих, какой же он пропащий. Споткнулся, да. Кто в молодости не спотыкается. Бывает, на ровном месте шишку набьешь. Поднять его нужно... ясной позицией. У тебя, Катя, нет ее. Поэтому твоя жалость вредна. Я тебя убедить не надеюсь, но и мне не мешай, не вставляй свои жалеющие иголки, когда я с ним буду расправляться.

— Расправляться! Ишь как. Скорый ты что-то стал на расправу. Расправщик!

— Не мешай, мать, прошу тебя!

Теперь уже Егор поспешил вмешаться:

— Папа, пойдем в лес? Позагораем. Шахматы захватим.

— И Балкана?

— Так он нам покоя не даст. Сегодня суббота, полно народу везде.

— На поводке-то ничего.

— Ступайте, — поддержала мать. — В такую жару грех дома сидеть.

— Викентия не терпитя приглубить?

Николай Егорович заметно порастерял свою обычную невозмутимость, придирался к словам, мельтешил. Каждую минуту помнил, что в понедельник, через день, наступит роковое собрание. Все сразу обрушилось на него. Верно, беда не приходит одна. Нарушилось гладкое течение времени, взбаламутилось. «Полезно, — убеждал он себя. — Это полезно. Чтобы не заплесневеть».

Перед уходом он заглянул в комнату к Викентию. Тот читал газету и слушал передачу «Здравствуй, товарищ!». Звук приглушен до воркования.

— Нам с тобой от разговора не уйти, — сказал Николай Егорович, — не отмолчаться по углам. И разговор будет противный и тебе и мне. Сейчас ты к нему не готов, да и я, пожалуй. Давай так и условимся, никаких шагов не предпринимать до нашего разговора.

— Папа, и так все ясно. Не надо разговоров. Ничего нового ты мне не скажешь.

— Что тебе ясно?

— Ах, папа!

— Это «ах» тебе только и ясно.

Викентий отложил газету.

— Надоело! Понимаешь, отец, надоело! Проповеди ваши я на зубок знаю. Их в школе любой октябренок наизусть учит... Факт совершился, я вляпался в грязную историю. Мне и выпутываться, оставьте меня в покое.

Николай Егорович ощутил движение опасного нерва. Этот нерв давно не шевелился в нем — лет двадцать. Раньше, бывало, доставлял много хлопот. Он помнил, что утихомирить занывший нерв может только немедленное энергичное действие. Он с наслаждением вдруг представил, как выталкивает этого хлипкого наглого мальчика за дверь: и такого, как есть, в трусах и грязной, порванной на плече майке, спускает с лестницы.

— Еще что скажешь?

— Повторяю: оставьте в покое! Оставьте меня! Вы правильные, умные. Оставьте меня!

Николай Егорович уловил один удивительный нюанс. В крике сына звучал совсем не тот смысл, что в словах. Он сказал: «Оставьте в покое!» — а крик умолял: «Не уходи, продолжай, отец!» Или он ошибается? Нет, ту же самую противоречивую мольбу читал он в суженных озверелых глазах Кеши. Открытие засветило в его душе ответную робкую надежду. «Не все потеряно, конечно, нет. Он очень слабый — мой старший сын, и не рожден для суровых потрясений. Но теперь не это важно».

— В покое я тебя не оставлю, не рассчитывай. Покой у тебя наступит в камере-одиночке, сынок. А пока ты еще не там, я рук не опущу. Они у меня сильные, Кеша. У тебя просто не было случая в этом убедиться, а вот он и выпал, случай. Это ничего, что я старый и вроде бы даже пенсионер. У меня в руках силы

достанет, чтобы таких, как ты, десятерых жгутом скрутить.

— Угрожаешь, Николай Егорович? Лежачему угрожаешь... Однако, где же твои принципы?

— Ты не лежачий, Кеша. Когда я в комнату к тебе вошел, ты действительно лежал, изображал умирающего лебедя. А теперь ты сидишь... Угрожаю? Предупреждаю, сынок. Чтобы ты не сомневался насчет моих намерений. А намерен я вернуть тебя обществу полноценным гражданином.

— Меры будешь принимать? Какие? — уже без надрыва, заинтересованно спросил сын.

— Как раз меры мы вместе и обсудим. После. Если нам их прокурор не уточнит.

— И все-таки?..

— Может быть, на другое жительство тебя переведу. Может, женю.

Викентий не выдержал, заулыбался все же, давненько не видел отец его настоящей улыбки. Она оказалась не злой, не ядовитой — сиротливой.

— Я думаю, папа, уснуть бы и проснуться лет десять назад. Когда мы с тобой за грибами с ночевкой махнули. Помнишь? Дождь был, гроза, а утром грибы, как ягоды, торчали гроздьями, как смородина. Помнишь?

— Помню.

— Вдвоем мы были, ты и я. В лесу. Ты в какую-то яму угодил, промок по пояс. Помнишь?

— Помню.

— С тех пор я, кажется, и не жил. Перебирать больше нечего. Почему? Не урод, я, не преступник. Умишко имеется. Почему так пусто годы прошли, лучшие годы, молодые? Никого не встречал. Ни к кому не привязался. Никакого дела не завел. Половину оттопал срока, а оглядываться не на что. Ничего там нет — позади. Кроме леса с грибами. Так этого вроде мало.

— Мало, — подтвердил Николай Егорович, не удержался, съязвил. — Теперь зато будет что вспомнить.

Викентий отшатнулся: «Эх ты, отец... я с тобой... а ты!»

Егор заглянул в комнату.

— Папа, тебя ждать?

— Сиди дома, Кеша, — приказал Карнаухов, — из

дома ни ногой. Мать не тревожь глупостями. Про гри-
бы можешь с ней поделиться, а про остальное — мол-
чок.

Викентий проводил отца затравленным взглядом. Что-то в нем прорастало новое, он это чувствовал, что-то копилось и требовало исхода. Суровый, желчный отец был ему незнаком. Вызывающий, полный яростного презрения голос младшего брата преследовал. Опасность подстерегала из всех углов; пряталась в подъезде, городских сквериках, проникала и сюда, в спальню; сама спальня напоминала ему клетку, куда его посадили и будут держать неизвестно до каких пор. Чтобы преодолеть это муторное состояние, он выбегал на улицу, кружил вокруг домов без всякой цели, зорко озирался, вздрагивал, если из-за поворота неожиданно возникала фигура, панически трепеща встречи с друзьями, объяснения, кровавой расправы, — и быстренько, бегом возвращался домой, прятался в спальне, часами валялся на постели с открытой книгой, не читая, ни о чем не думая, набрякнув страхом и безмерной жалостью к себе. Ему никто не звонил, и это было нехорошим, опасным знаком. Как-то он сам набрал номер Сивы, спекулянта, уломавшего его толкнуть золотишко, услышал в трубке свистящее, хриплое: «Алле!» — нажал на рычаг. Значит, Сива был дома, никто его не арестовал.

Трусливый, жалкий волчонок свернулся в истерзанной душе Викентия. Порой ему чудилось, что жалобный вой волчонка слышит не он один, а и родители, и соседи, и брат; отлично слышат и просто не желают прийти ему на подмогу. Страх, леденящий, перемальвающий все его существо, почти каждую поначалу здравую мысль превращал в истошный вопль. Так неопытный рыбак, попав в шторм, отчаявшись заделать щель в днище лодки, поддается панике и уже не может самостоятельно затянуть на брюхе спасательный пояс.

Бывали редкие минуты, когда Викентий стыдился себя, прозревал и отчетливо, с отвращением обонял вонь из ямы, в которую сверзился. К чести Викентия, когда ему удавалось ощутить всю меру своего падения, он содрогался и начинал прикидывать, не лучше ли кончить все разом с помощью какого-нибудь зелья. Эта мысль не выливалась у него в мало-мальски серьезное намерение и подолгу не задерживалась, но приносила

некоторое облегчение. С восторгом и жалостью опять же к себе представлял он ужас родителей, когда они обнаружат в спальне его труп, улыбающийся им прощальной улыбкой; когда поймут наконец, какими адскими муками сопровождалась его последние дни. Поймет и отец, что слова сына о нереально-праздничной особенной жизни, к какой он якобы стремился, были сказаны сгоряча, в сердцах. Нет, он никогда не собирался играть роль сверхчеловека, она бы ему не удалась, а лишь мечтал как-то выбраться из дурмана повседневности, которая пожирала его молодость.

Карнаухов с сыном, да с ними пес Балкан, чинно шагали по направлению к лесу. Фокстерьер вел себя пристойно: не рвался с поводка, никому не угрожал, изредка поглядывал на хозяина: «Ну, теперь видишь, как ты был несправедлив ко мне, какой я воспитанный и благодущный пес». Была еще в этом гордо-самоуверенном взгляде все-таки горестная безнадежность, — потому что ввести хозяина в заблуждение Балкан, по совести, не надеялся. Карнаухов и не скрывал, что видит насквозь своего четвероногого друга.

— Ишь егозит, — обратился он к сыну, — а спусти с поводка, мигом натворит дел. Оглянуться не успеешь. Хитрюга кровожадный.

Пес после некорректного замечания обожаемого человека низко опустил голову и начал мимоходом лениво обнюхивать давно не вызывающие у него интереса придорожные камушки.

Николай Егорович возвращался мыслями к оставленному дома старшему сыну. За три дня он передумал о нем столько, сколько не уместилось бы в минувшее десятилетие.

— Давно у тебя хочу спросить, Егорка. Никак не решался... Викентий от тебя меньше скрывается, да и ты, наверное, понаблюдательней меня. Вопрос, конечно, щекотливый. Хотя чего же теперь... Бывали у Кеши увлечения? Ну, ты понимаешь? Женщина, я имею в виду. Подруга, если угодно. Вроде бы должна быть, а я не замечал. Женщины разные встречаются. Для мужчины, сынок, дурную женщину полюбить, либо просто к ней привязаться — бывает и без любви сухотка, —

так вот такое дело для мужчины ад, нашествие татар. Одна опытная и коварная женщина может страшное опустошение в душе произвести, прямо покалечить человека.

— Никого он не любит, кроме себя. Да и себя только по выходным.

— Я не про это, ты не понял. Не любовь, а может, так — самолюбие, ревность. Нет? Подарки, может, кому хотел делать, добиваться успеха! Нет?

Егора шокировали вопросы отца, и он глядел с неодобрением. Подумал: «Совсем расклеивается мой старик». И проклял еще разок безумного Викентия, пожелал ему недоброго, чего не всякому врагу желают.

— Встречался он с одной... королевой Шантеклера. Года полтора. Не понимаю — тебе интересно? Из косметического, с Зойкой. Не по себе Кеша сук рубил. У нее таких, как он, половина Федулинска. А наш Кешка ушивался возле нее. На танцы, в ресторан водил. Он уж позору-то и тогда не боялся.

— Не говори о брате с такой неприязнью, Егор.

— Да уж! Про него стихами надо писать. Наш Викеша молодец, и теперь ему конец.

— Егор!.. Ты к Зое вернись, к Зое. Он и до сих пор с ней разве? Надо же. А мать знает?

— Чего там знать, нечего знать. Несерьезно это, папа. Говорю, тебе, девица бойкая, шалава.

— Выбирай выражения.

— Видишь, папа. Тебе важнее всего, чтобы словечки были приличные. Ох уж это...

— Ну? Договаривай.

— Ханжество это, отец. Кругом сплошь ханжество. Поглядишь — смех! Какой-нибудь хлыщ без мата двух слов не свяжет — это в своем кругу. А понадобится — вдруг такой овечкой прикинется, губки надует, чуть не краснеет от резкого выражения.

Николай Егорович смутился.

— Ты знаешь, сынок, я матом не ругаюсь. И не люблю, когда про женщин говорят неуважительно.

— А кто пять минут назад про хищниц объяснял?

— Это вообще, в принципе.

— Какая разница — вообще ли, нет ли. Лжив человек, папа. Почти каждый. Сколько грязи прядется за

приличными словами, улыбками. Ужас ведь. Лучше слепым быть...

Темные, сбивчивые откровения сына расстроили Карнаухова. Да когда же придет этому конец? Несчастья со всех сторон, куда ни кинь, всюду — клин.

— Сынок, сынок, — заторопился он, — не сгущай краски, не сгущай. Люди везде разные, а обман... Чем я тебя обманул? Перед Викентием я виноват, знаю. Но и его никогда не обманывал, отмалчивался — это бывало. У всех бывает. Каждый день на рожон не полезешь. Человеку отдых необходим.

— Не о тебе речь, папа. Таких, как ты, мало. От них и избавляются. И от тебя вот...

— Прослышал?

— Весь институт знает.

Карнаухов сосредоточился на миг. Они миновали знаменитую статую спортсмена, пытавшегося круглой головой боднуть солнце.

— Вон куда ты махнул, Егор Николаевич. Что же, я тебе объясню. Да, фальши в жизни много, и правду не каждый умеет сказать. Тебя это особенно оскорбляет, потому что ты юн и душа твоя остро чувствует несправедливость. Но ведь пойми, Егор, прежде чем иметь смелость говорить правду — ее надо узнать и понять. А она, ох как непроста, правда человеческая, и — вот уж точно — немногим дается. Люди к своей правде через страдания и муки добирались... а ты — нет. Ты ее через маленькую личную обиду увидел. Обида-то как раз и слепа. Что будет, если каждый свою обиду вместо правды объявит. Это будет, милый, не общество разумных, и честных людей, не коллектив, а вопящее, машущее кулаками первобытное стадо. Анархия! Очень я не хотел бы увидеть своего сына в этом стаде... Вог смотри, мне предлагают уйти на пенсию. Это справедливо, я не говорю, что они не правы. Я говорю так: «Мне кажется, товарищи, вы ошибаетесь, и я еще способен приносить пользу». Если же окажется, что я сам ошибаюсь, — уйду и постараюсь подавить свою мелочную личную обиду. Потому что правда и польза будет уже в том, чтобы на мое место явился более молодой, образованный и энергичный человек. Так и не иначе обстоит дело. В этом — суть. Остальное — множество нюансов и привходящих обстоятельств, копать в которых

можно и порой необходимо, но только,—не дай бог!—не путая причины со следствием. Тебя же, сынок, сбивают с толку именно нюансы, они заслонили от тебя целый свет. Это естественно, и так будет, пока ты собственного для себя главного дела не найдешь. Ты сейчас как в тумане, сложное тебе виднее и понятнее, а простое — застится. Плохо, если дашь себя одурачить и поверишь, что туман и есть постоянная атмосфера бытия.

— Выходит, все хорошо? Проснись и пой!

— Не все хорошо, многое отвратительно, но все поправимо. Все поправимо, пока человек не растекся кисельным ручейком по множеству поверхностных ложбинок, пока весь из себя не вытек... Эх, спустить, что ли, зверя?

Они за хорошим разговором незаметно добрались до лесного края, и Балкан с упреком подрагивал всем телом, настойчиво натягивал поводок.

— Людей полно, — засомневался Егор, — вон врач этот с сеттером.

Иван Петрович Горемыкин их заметил и спешил навстречу. Собаки уже обнюхивались: Дан — восторженно повизгивая, Балкан — хладнокровно, насупленно.

Вскоре они вышли на свое излюбленное место: укрытую среди густой поросли орешника полянку. Кто-то не поленился скосил здесь траву. Невысокие копешки были расставлены по полянке, как койки в общежитии. Пахло густо подопревшим сеном, увядающим мхом. Что любопытно — ни одной консервной банки, ни одной пустой бутылки в этом прелестном уголке. Егор сдернул рубашку и со вздохом повалился на одну из копешек. Мужчины не решались последовать его примеру, подались в тень, присели на сухой бугорок под молоденькой березкой.

— Этого в больших городах не сыщешь, — сказал Горемыкин, — два шага от дома — и ты на воле. Чудесно! Воздух какой, а? Земля дышит, парит.

— Я в последний раз что-то неудачно там ляпнул, доктор. Ты уж не держи сердца.

— Доканывают тебя, Николай Егорович, на производстве, теперь вижу, доканывают. Когда пожилой человек начинает всякую чепуху в голове мусолить, травить ею себя — зловещий признак... Да мне знаешь,

сколько больные за день наговорят? К врачам отношение знаешь какое? Если больной поправляется — ты ему вроде брата родного. Ну, а если нет, если болезнь свое берет — ты не растяпа, не плохой специалист — это все само собой, — но бери круче: ты преступник, на которого надо найти управу. Преступник и убийца — масштаб не меньше... Эх, Николай Егорович.

— Не все же так, некоторые, может быть...

— Хватает некоторых. Особенно старички, вроде нас, грешных. Подозрительные, каждый грамотнее самого врача в сто раз — только что скальпель у тебя не вырывает и не начинает сам себя кромсать.

Егор издали прислушивался, скорбно думал: «Одно и то же. Все одно и то же, точно тряпку сосут, выплюнуть не могут. Мой отец — добрее других и добро понимает. А другие — вон и этот врач — зло ищут. Радуются: много зла. Да, может, зла вообще нету, выдумали его сами злые, чтобы свое поведение объяснить. Боли много. И во мне она есть, и в отце, и даже в брате. А какое у Викентия зло? Дурь, а не зло. Отец-то прав. Мелочи опутывают мозг, застыт свет. И то. Один комар разгудится ночью в комнате — десять человек не уснут. Такая мелочь — комар, а не спят люди, с ума сходят от злого писка — как вот подлетит да вопьется. Страх, тоска, мысли нехорошие лезут. И всего причина — один комар».

Он задремал, и казалось ему, что вольные вокруг распелись птахи, что лежит он на траве — сильный и непобедимый, как сказочный богатырь. Грудь потрескиет от этой застывшей в нем силы. Улыбка приоткрыла его губы, воспользовался этим черноголовый муравей, по травинке сиганул ему прямо в зубы, уцепился за кончик языка, подвис циркач оголтелый.

— Тьфу! — крикнул Егор, перепугав Дана. — Тьфу, гадость всякая лезет в рот!

— Выплюнь, — посоветовал Николай Егорович. — Не глотай.

Иван Петрович продолжил рассуждение о несправедливой доле врача. Он не любил обрывать себя на середине фразы и рано или поздно доводил мысль до конца, не принимая в расчет, ждут ли от него этого собеседники.

— Так вот, я говорю, больные часто озлоблены и вымещают свое раздражение на нас, на врачах, что, кстати, неумно. Самый прохиндейский медик из всех сил старается помочь больному. Дело тут не в исключительном благородстве всех нас скопом. Люди врачи разные, и плохие, и хорошие, есть полные ничтожества. Все так. Но и тем, и другим, и третьим выгодно помочь больному, выгодно поставить его на ноги. Вы можете посчитать мои слова пошлостью. Допускаю, что сам термин «выгодно» не очень прикладывается к стократно опозитизированной и романтизированной профессии врача. Однако я лично предпочту, чтобы, когда наступит мой черед, у моей постели оказался человек, коему пусть даже в целях защиты диссертации, и только, но именно выгодно меня вылечить, — а не простак с сострадающим сердцем. В последнем случае мое выздоровление будет зависеть лишь от доброго расположения ко мне врача, а это шаткий гарант. Не согласны? Как угодно. Не надо морщиться, Николай Егорович. Я понимаю — шутки такого рода вас коробят. А вот меня, представьте, больше коробит и даже возмущает, что блестящий хирург, спаситель тысяч человеческих жизней получает одинаковую зарплату с человеком в нашей профессии случайным, приспособленцем и выживой.

В Горемыкине, по всему видать, пропадал оратор и общественный деятель. Он произносил свои круглые фразы задушевно-азартным тоном, умело подчеркивая акценты и выигрышные (по его мнению) места. Его загорело-красный, окаймленный черными полукружьями волос череп от внутреннего напряжения залоснился и на нем проступили неровно шевелящиеся складки-морщины. Все, что он говорил, ему самому нравилось и казалось превосходным, дельным, смелым. К сожалению, ему не хватало уверенности в чуткости и уме собеседника, что проявлялось мелькавшим время от времени в глубине его обиженно-вопросительных глаз странным выражением, будто он высказывался не по своей воле и заранее умоляет его простить за беспокойство. В больнице, особенно в операционной, Иван Петрович становился другим человеком — властным, самоуверенным, не терпящим возражений. Но там он и не рассуждал об отвлеченных материях.

Пауза затянулась, оратор в Горемыкине требовал реплики — гремучего топлива спора, и Николай Егорович, еле слушавший, сказал первое, что взбрело ему в голову, заботясь единственно о том, не слишком ли уклоняется он от темы и не выдаст ли этим доктору своего невнимания.

— Все ты справедливо излагаешь, Иван Петрович. Конечно, в этих вопросах тебе и карты в руки, раз ты на них собаку съел. Но только... Слишком как-то в твоих рассуждениях большие вроде прикладного материала. Какие-то они не особо и нужные. Врач — фигура, а больных, если понадобится, можно и заменить на что-нибудь... там на кроликов, на обезьянок. Либо одного на другого, без особых потерь.

— Не обижаюсь, хорошо знаком с подобной точкой зрения. Пуп земли — больной. О нем все заботы, и если бессовестный врач этот тезис не обслюнявил, значит, он... Вот так люди и талдычат об одном и том же на разных языках, не понимая друг друга. Кстати о больных. Уж битый час тебя хочу спросить, да ты все рот мне затыкаешь. Я оперировал некоего Данилова, — кажется, он из твоего заведения?

— Да, Данилов Гена у нас в отделе работает. Что с ним?

— Ерунда. Хотя мог запросто копыта откинуть. Любопытный субъект, не правда ли?

— Что? Парень как парень — молодой специалист.

— Не псих?

— Хотел бы я знать, кто из нас не псих. Вон, может, мой Егорша... Егорша, ты не псих у меня? Если нет, покличь Балкана! Куда его дьявол унес.

Не хотел Карнаухов разводить тары-бары, не хотел ни о чем думать; теневой лесной ветерок отогнал на миг саднящие мысли, и тут, как назло, доктор выскочил со своим Афиногеном. Ему-то он зачем?

— В порядке информации тебе доложу, Николай Егорович. Без оргвыводов. Чудной случай. В ночь на вторник его оперировал, а в четверг он из палаты удрал. Один, самостоятельно! Вообще из больницы. К девке, похоже, носился.

— Да ну!

— Такого у нас раньше не приключалось, я не помню. Удрал! Брюхо перебинтованное, на ногах не сто-

ит — и нет его. Меня чуть кондрашка не хватил. Как же я, думаю, проморгал. Что с ним? Может, послеоперационный шок — так времени много прошло?.. Все перебрал, хотел уже в милицию заявить. К главному явился с повинной. Чепе!

— Ну?

— А тут он к обеду сам объявился. Лежит на кровати — бледный, как уже умер... и скалится. Сестре объяснил — в туалете сидел все время. Ты говоришь — обычный. Нет, Николай Егорович, лукавишь. Я еще на операции что-то такое почувствовал. Это человек не совсем обычный. Какой — не знаю, хотел у тебя спросить... До сих пор, вспомню — пот прошибает. Обычный? Я его потом перевязываю, интересуюсь: ну, скажите, Данилов, останется между нами, где вы были? Тут уж он совсем околесицу понес. А напоследок поучил меня-таки уму-разуму: «Доктор, — говорит, — скальпелем можно только тело разрезать. В душу с ним не проткнешься». Пустая фраза, подлая. Вот тут я и подумал, не шизофреник ли, не псих ли.

Николай Егорович не скрывал своего пристрастного изумления. И Егор, приподнявшись на локте, вслушивался.

— Нет, он не псих. Я тоже не сумею определить...

— Мальчишка, — горячась чему-то своему, отметил Горемыкин, — все они неблагодарные, равнодушные мальчишки.

— Уж верно, — возразил с обидой Карнаухов, — не совсем мальчишка. Мы с тобой такими не жили, доктор. Проще люди, кажется, были, светлее... За ширмами не таились.

Он поймал себя на том, что высказал вдруг сожаление, которое часто срывалось с уст его сверстников, особенно в каком-нибудь застолье, когда начинались сентиментальные воспоминания, прерываемые сочувственными возгласами, когда каждый торопился поделиться чем-то своим, неповторимым и невосполнимым, что неминуемо оказывалось понятным и очаровательно-сладким для всех. В такие упоительные, подогретые вином взаимопризнания Карнаухов прежде не вступал, сознавая, что ностальгия по утраченной молодости и исчезнувшим за буграми лет призракам замкнута сама на себе, смысла не имеет и, в общем-то, похожа на ди-

намический фонарик-мигалку. Нажимаешь — горит, чем чаще нажимаешь, тем ярче даже горит. Но это не свет, это мигалка. Теперь, неожиданно для себя обернувшись на этот мигающий фонарик, Николай Егорович с невнятной горечью заметил, как и его мучает, манит холодный, неяркий блеск.

В глазах Горемыкина он уловил будто бы печальную тень своих мыслей. Давно помалкивал Иван Петрович, устремив застывший взгляд на верхушки орешника. Что он там высматривал, какое увидел пространство?

И Егорша затих, уткнулся носом в сено. Карнаухов различал его нежную, распаренную щеку и нежную линию шеи. И псы, набегавшись, растянулись рядышком на солнцепеке, выпростав алые стрелки языков. И дальние голоса и звуки умолкли. И листья не колебались. А мгновения неостановимо утекали и с каждым из них его, Карнаухова, мир подступал, приближался к черте, за которой невозможен даже покой. Зачем же сопротивляться? Какая отвратительная инерция влечет ломовую лошадь — человека? К одному и тому же, по одним и тем же колдобинам.

— Пойду, пожалуй, — сказал Горемыкин. — Вы еще погуляете?

— Погуляем, — отозвался Карнаухов. — Еще немного. Пока хозяйка щи сварит.

— Тип, — заметил вдогонку Егор, — философ из операционной. Представляю, как у него мозги набекрень... Папа, ты бы разделся, позагорал. Жарища такая — кожу впору сбросить.

— Неловко как-то..

«Да, — грустно подумал Егор, — стариков не переименуешь. Слишком много предрассудков и условностей на них давит. В стеклянном погребе живут — и темно, и хрупко. А как жить? Без выкрутасов. Без улыбок, когда хочется плюнуть. Без зигзагов, когда ближе по прямой».

Так они и пребывали некоторое время на задремавшей полянке, отец и сын, каждый со своей печалью, разделенные чем-то не подвластным уму. Казалось бы, уж им-то, родным, любящим людям, почему бы не вскрикнуть от сочувствия друг к другу, не излиться облегчающим пламенем откровенности, не утешиться

единым вздохом. Нет, страдали оба, а объясниться не могли, не умели.

— Ну, все, — Николай Егорович бодро пошевелил плечами. — Пока дойдем, пока руки помоем — вот и обед.

Они к дому отправились длинной дорогой, с расчетом выйти к речке, где Балкан в летнюю погоду любил окунуться разок-другой, а то и доходягу бычка вытряхнуть из тины на сушу. Балкан-то рыбаком уродился, у воды характер его менялся в добрую сторону. Пока петляли по лесным тропинкам, натываясь то тут, то там на ранние парочки, притаившиеся в укромных местах, но видные отовсюду, а еще больше попадалось им ребячьих компаний да молодых семейств, прогуливающих детишек в тени деревьев, да безмятежно загоравших на расстеленных на траве одеялах одиноких мужчин и женщин. Одинокие мужчины и женщины располагались в каком-то подозрительно четком шахматном порядке.

Повстречался им Семен Фролкин, который нес ребеночка на правой руке, гукал ему что-то неразборчивое слышимостью двести метров окрест, а рядом, задышливо упираясь, катила через пни коляску его худенькая супруга.

Семен продемонстрировал заведующему отделом своего отпрыска и познакомил с женой. Николай Егорович со своей стороны похвалился взрослым сыном и фокстерьером, а маленькому Фролкину сделал очень забавную «козу рогатую», которая идет за малыми ребятами, после чего маленький Фролкин от удовольствия помочился папе на ручки.

— Да, — сказал Карнаухов, — подрастает поколение, Сема. Скоро дедом будешь... Ты не слышал, как там дела у Данилова? Поправляется?

«Опять хитрит», — с какой-то уже необременительной горечью отметил Егор.

— Поправляется, — встрепенулся Фролкин, — в понедельник на собрание придет собственной персоной.

— Все ему, видно, трын-трава?

— Да уж это точно. Выступить собирается.

У Семена Фролкина в глазах заскакал озорной зайчонок.

— Интересно будет послушать, — обрадовался Карнаухов. — У нас молодежь больше по углам шушукается. Пусть публично Гена выступит, выскажется, поделится соображениями. И тебе советую, Сема. Надо учиться выступать публично. Пригодится. Мало ли. Бывает, умный человек и сказать есть что, не трепач, а выйдет на трибуну и стоит там олух олухом. Мычит чего-то. Говорить публично — это искусство, которое, кроме всего прочего, требует практики.

Семен Фролкин стрельнул взглядом в жену: не приняла ли она «олуха» на его счет, заверил:

— Все выступим, не сомневайтесь, Николай Егорович, — и худое лицо его поскучнело: то ли недоговорил, то ли хватил через край. Ситуация была щекотливая, случайный разговор вяз на зубах кислым яблоком.

Поулыбались все четверо, немного обсудили погоду — без этого нельзя, — причем блеснула остроумием супруга Фролкина, заметив, что «зимой пока и не пахнет», — с тем разошлись.

Выбрались на крутой бережок Верейки, который в самых высоких местах чуть ли не на метр возвышался над бегущей непрозрачной цыплячьей водой, покрытой тиной, лоханками кувшинок и, ближе к чистой полосе, к середине, — колеблющимися со дна зелеными нитями водорослей. Текущая вода, какая бы она ни была: мелкая, погибающая и невзрачная, имеет притягательную силу для человека.

Вот и федулинские жители, гуляя по лесу, обязательно хоть на минуту выходили к реке, и многие предпочитали всяким полянкам открытый песочный речной берег и расстилали здесь свои полотенца, одеяла, расставляли раскладные столики и... упивались природой. Детишки не брезговали и купанием, получая массу недоступных умным и осторожным взрослым радостей, — визжали, ныряли, копошились подобно утятам и выскакивали на берег счастливые, облепленные по макушку илом и обрывками газет.

Балкан, гавкнув, с разбегу прыгнул в реку и рассек ее, как моторная лодка, оставив за собой не сразу растаявший черный след. Дети, которых он в воде никогда не кусал, облепили его со всех сторон.

— Эй! — крикнул Карнаухов, со смущением огля-

нувшись на детских пап и мам. — Балкан! Окунулся и хватит. Вылезай, разбойник!

Егор думал об одном: быстрее смыться отсюда. Он отлично видел краем глаза веселую компанию — двух девчушек и троих парней, один из которых — жгучий брюнет с узкими монгольскими глазами — и руководил всеми темными делишками Викентия. Девочек он тоже знал. Обе нигде не работали, паслись при своих ребятах. Обе были опасны, коварны и злы, как две осы. Так поглядеть — свистушки на курьих ножках, обе тощие, вертлявые, большеглазые, с дуринкой в голосе. Но никто так ловко и беспощадно, как они, не стравливал городских ребят с деревенскими, или какого-нибудь солдатака, случайно заглянувшего на танцульки, с целой кодлой.

Егор с этой бражкой не сталкивался, избегал, конечно: у них — своя компания, у него — своя, но знал: когда-нибудь столкнется, никуда не деться — город мал. Затрещат зубы и кости, и ихние и его. Он не боялся. Там ребята постарше. Ничего. Унижаться он не станет. Заденут — рукавом не утрется.

Как раз Егор замешкался, не утаил косога взгляда, и услышал голос Николая Егоровича:

— Они? — Не спросил — пробуравил вопросом.

— Кто, папа? Чего?

— Не юли. Они это, я спрашиваю?

Егор представил, что может сейчас произойти. Мгновенно он стал тем, кем был на самом деле, — чутким, неуверенным в себе, бредущим на ощупь в густых потемках восемнадцатого лета, растерянным мальчиком.

— Папочка, ты же не знаешь, на что они способны. Вон тот, с узкими глазами, он припадочный, и те двое, и девицы... не надо, папочка, миленький. Мы в другой раз как-то... Мы их с ребятами. Тебе не надо к ним подходить, папочка! Они уже пьяные, вот сколько бутылочек, озверели уже.

Карнаухов его не слышал, широко отмахивал расстояние. Тут и было-то десять метров. Он подошел и встал напротив вожака, за спиной у девиц. Полюбопытствовал:

— Тебя как зовут, парень?

Тот поднял глаза, увидел перед собой пожилого че-

ловека, рассмеялся, рассыпался весь мелкими дребезжащими колечками.

— Папахен! Выпить захотелось? Выпивку надо заслужить. Даром — топай в райсобес.

Говоря, он привычно озирался, холодно прикидывая, сколько вокруг таких папаш. Двое ребят заржали, девицы опрокинулись на спину и одна пощекотала пальчиками ногу Николая Егоровича.

— Садись с нами, старичок. Мы тебя приласкаем, — зыркнула глазами на монгола. — Старенький он, Сива, хочется ему согреться. Отлей глоточек.

— Сива — собачье имя, — сказал Карнаухов. — Как тебя отец с матерью назвали? Ну!

В веселой компании произошло замешательство. Вожак Сива начал закручивать странные телодвижения, корчить гримасы — приводил себя в исступление. Подошедший Егор загородил отца сбоку.

— Приключений ищет старикан, — деревянно, низко затарахтел Сива, слепляя веки совсем в безглазье, — ищет, ребятки? И сосунка за собой водит. Пожалел бы мальчонку, фрайер! Мы же его не пожалеем.

Девочки притихли, время их вмешательства истекло. Подоспел момент зашевелиться парням, и один из них, золотозубый, с неживой ухмылкой, ногой подтащил к себе литровую бутылку из-под вермута.

Жест был недвусмысленный.

— Бутылок много, — сказал вдруг Егор, — подать тебе еще одну для другой руки?

— А тебя мы хорошо знаем, — тепло ответил золотозубый. — Ты Кешки Карнаухова братан.

Сива добавил:

— И папахен. Оттуда. Одна семейка. Сынок у них преступник и вор, а батя на пляже хулиганит, честным пацанам отдыхать не дает. Пожалуй, надо мусора вызывать. Может, они наганями вооружены. Начнут шмолять, не увернешься. Место открытое. Попали мы в переделку, ребята!

Девицы попадали теперь животами на землю, заткнули уши и заблажили — не переносят пальбы.

— Ладно, Сива, — сказал Карнаухов. — Сива так будь Сивой. У меня для тебя совет и предупреждение.

— Может, глотку сначала ополоснешь?

— Совет такой. Отправляйся в милицию и сдай се-

бя в руки правосудия. Хотя не думаю, что ты мой совет примешь. Ума в твоём лице нет, а страха и подлости много... Предупреждение же такое. Если ты, паршивый подонок, хоть на сто шагов когда-нибудь, — Николай Егорович отстреливал слова без осечек, — приблизишься к Викентию, тебе придется вспоминать свое имя уже на больничной койке. Утром приблизишься — вечером больница, вечером приблизишься — утром больница. Это все. Точка. Ты предупрежден.

— Теперь тебе, старик, мой совет, — начал Сива, трясясь и руками и ногами очень сильно и быстро, подобно гуттаперчевой обезьянке, — я могу простить наглость, понимая твою преклонность и старость. Но твоего вонючего сынка...

Не успел досказать Сива про сынка, потому что Карнаухов неуловимым движением с оттяжкой взмахнул поводком. Прекратилась Сивина тряска, один глаз его адски распахнулся и блеснул небесной синевой, а из второго, куда уперся конец багровой черты, засветилась на щеку кровь. Он взвыл и ткнулся лицом в ладони, в траву.

— Это тебе задаток! — сказал Карнаухов. — Небольшой совсем задаток, а поглядите, как его скрючило. Видно, не привык к задаткам.

Девочки на карачках переползли к поверженному кумиру. Вторым секущим ударом поводка Николай Егорович вырвал из рук неловко пытающегося встать золотозубого бутылку, а ногой отправил его самого на прежнее место.

— Пойдем, Егорша, — обернулся к забронзовевшему сыну. — Зови Балкана, пойдем. Им тут посоветоваться надо. Вожачка подлечить.

По дороге Егор оглянулся, нет ли погони. Оглянулся — погони нет. Все четверо склонились над лежащим Сивой, копошились над ним, выясняли: цел ли глаз, цел ли сам подрубленный главарь.

— Папа, а ведь ты самый настоящий гангстер! — сказал Егорша с восхищением. — Что же мы теперь будем делать?

— Придем домой — борща похлебаем. Отдохнем, в шахматы перекинемся. Гляди только — никому... А бояться не надо, сынок. Стыдно. Это Сива нас должен бояться. Он и боится.

— Я не боюсь, — отрезал Егор. — Ты его не знаешь. Бешеная, злопамятная гадина.

— Ай-я-яй! Вот я ему первую прививку и сделал. Те, кому положено, проморгали, пришлось мне потрудиться. В обществе так бывает, подменяют люди друг друга.

— По совместительству?

— Жизнь, сынок, каждый раз борьба. Всякая. Бывает и такая. Уважаешь себя, любишь близких — не отступай, борись. Что поделаешь. Словами ему, видно, объяснить невозможно. Поздновато.

— А если, папа, они тебя поймают одного?

Николай Егорович наклонился, пристегнул поводок Балкану.

— Оставим это, Егорша. Пустое, вздор! Я не заяц, чего меня ловить. Сам навстречу выйду. Запомни, время придет, и такая мразь вымрет. Надо то время приближать по возможности. Ну, хватит! — добавил резко: — Неинтересная тема.

Про себя спокойно додумал, прикинул возможную череду событий: «Я, конечно, теперь шпане этой лакомая кость. Ею они и подавятся. Тем от них Викентия избавлю».

Снова набряк, затолкался потихоньку под ребрами вязкий комок. Пересек дыхание...

4

До обеда Юрий Андреевич Кремнев опрыскивал яблони. Старенький, кашляющий, как от курева, гидропульт, которым он орудовал, требовал особой к себе почтительности. Большею частью Юрий Андреевич опрыскивал свою грудь и плечи, если бы он был фруктовым деревом, то, видимо, мог считать себя в безопасности от жучков лет на сто вперед. Дарья Семеновна стряпала на веранде, где был установлен кухонный столик и две газовые плитки, питавшиеся от переносных балончиков. Отсюда она хорошо слышала ворчанье мужа и, изредка выглядывая, замечала, что он становится все белее, словно работает под невидимо осыпающимся снегом.

— Надень маску, Юра, — крикнула она, — отравишься.

«Отравлюсь, — про себя согласился Юрий Андреевич, — непременно. Надышался этой гадостью».

Но, как всегда, в азарте работы, в стремлении поскорее доделать начатое, он не мог заставить себя остановиться. Дарья Семеновна и не надеялась его образумить. Она знала, что, когда муж занят чем-нибудь, лучше к нему не приставать, иначе нарвешься на грубость.

Она готовила обед в расчете на приезд Мишеньки. Им с мужем хватило бы бульона и салата. Для Мишеньки она тушила в чугушке молоденькую курицу, купленную за пять рублей в соседней деревушке. Она всегда покупала там мясо, кур, свежие яйца, творог, молоко и даже самодельное масло. Вот одно из неопценимых преимуществ дачи: таких прекрасных свежайших продуктов в федулинских магазинах днем с огнем не сыщешь. А на рынке все не в меру дорого. Дарья Семеновна установила прочные торговые отношения с двумя деревенскими дворами, а с одной хозяйкой — Старшиновой Александрой, восьмидесятилетней женщиной, считавшей Федулинск столицей мира, — успела подружиться. К Старшиновой на лето приезжала отдыхать внучка Оленька, ткачиха из Орехово-Зуева, ясноглазая, веселая, работающая девушка с цветом лица, которому позавидовала бы любая столичная краля. Про внучку Александра Старшинова рассуждала так:

— Побегла мужа искать в дальние края. И где же ейный муж? Нету-ка. Угодила девка в такое место, куда одних баб согнали. Теперь и жалкует, да что подедаешь. Там у ей и зарплата большая, и почет. Вот оне какие, нынешние девки. Ищут мужа, а находят зарплату. Повсеместно тако-то. Я уже примечаю. Денег куры не клюют, а мужиков стоящих не видать. Еще бают, за деньги все купишь. Нет, мужа не купишь, и счастья не купишь. Какое без детишек для бабы счастье? Нету-ка его.

Старуха очень переживала за внучку, за ее нескладно сложившуюся мытарную судьбу и собиралась сама в ближайшее время отправиться в Федулинск на разведку. В городе у нее сохранилась дальняя родня.

По совести, лучшей жены, чем Оленька, Дарья Семеновна не пожелала бы для сына. Красивая, неглупая, все умеющая по хозяйству, без норова, — Дарья

Семеновна понимала толк в этих женских качествах, знала, как они редки все сразу в одном человеке. Правда, Оленьке было уже двадцать лет, что с того. Дарья Семеновна несколько раз приглашала девушку в гости, на дачу. Та, смеясь, обещала прийти. Но не приходила. Пришла бы, будь Кремнева понастойчивее, полюбезнее. Наверняка бы явилась. Но Дарья Семеновна как-то без напора приглашала, вроде полустуля. И про сына рассказывала с каким-то против воли преувеличенным восторгом: такой он и умный, и образованный, и независимый, мол, далеко не всякой девушке можно о нем мечтать, но Оленька ни о ком, казалось, и не мечтала. Помогала бабушке варить варенье, солить грибы, летала по избе и дворику белоногим ураганом. Лицо ее, пышущее здоровьем, было приветливо, как летнее утро...

«Нет, — размышляла Дарья Семеновна. — Не понравится она Мише. Слишком незатейлива. Особенно теперь не понравится. Когда он увлечен этой штучкой».

Свету Дорошевич она ни разу и в глаза не видела, но называла про себя не иначе, как «штучкой» и похлеще — «заразой», представляла сыновнюю присуху опытной, разбитной, развратной девицей, обязательно в американских джинсах и пахнущую французскими полсотенными духами. Кем же, как не такой, мог увлечься ее наивный мальчик. И какая другая стала бы мучить и терзать нежного, без памяти влюбленного парня. Ух, эти штучки в брючках, она знала их как облупленных, хотя, если бы ее спросили, откуда она их знает, ей бы нечего было ответить. Но она знала, знала, и точка. Как матери испокон века знают обидчиков своих детей. Знала и ненавидела всей душой. Тем сильнее ненавидела, что сказать об этом не могла. Михаилу — и подумать страшно, мужу — бесполезно. Юрий Андреевич выслушивал ее с интересом, но, когда она начинала от фактов переходить к характеристикам, отключался: «Ну, понесло тебя, мать. Животом заговорила, как чревовещатель». — «А ты равнодушен к сыну!» — «Подумаешь, влюбился ребенок. Перебесится...» Так и носила, лежала в себе Дарья Семеновна свои опасения, страхи, тайные планы. Законсервированные, они приобретали удивительные масштабы. Она подглядела, как Миша набирает цифры на телефонном диске, и запомнила их:

3-4-5-2. Однажды уже сняла трубку, чтобы позвонить «заразе» и объявить ей ультиматум. «Оставьте моего сына в покое, — хотела сказать Дарья Семеновна. — Или я сумею сделать так, что вас выселят из города за разврат. У меня есть связи». Не позвонила, не решилась. В другой раз придумала написать сыну от имени неизвестного доброжелателя подметное письмо и в нем открыть всю правду о «заразе». Лучше, думала она, хирургическое вмешательство, чем медленное гниение раны. Заминка произошла из-за того, что никакой правды она на руках не имела.

С ужасом представляла она, как «зараза» женит Мишу на себе, принеся ему ребенка, причем неизвестно от кого. Так и придется им с дедом нянчить чужого внука и кланяться коварной, вредоносной женщине. Единственно, на что она надеялась, — это на отъезд Миши в Москву. Скоро сентябрь. В Москве с него сойдет любовное наваждение. Он придет в себя, увлечется хорошей девушкой, которая его полюбит. Быстрее, торопила дни Дарья Семеновна, быстрее бы осень.

Утром, покупая курицу, она опять переговорила с Оленькой.

— Почему же ты к нам не заходишь? — погрозила пальчиком игриво. — Миша про тебя спрашивал.

— Так мы же незнакомы, — рассмеялась Оленька и покраснела. — Чего спрашивать?

«Думает, — поняла Дарья Семеновна. — Думает о нем. Еще бы ей не думать. Такая ее семья и такая наша».

Ей стало грустно оттого, что она вынуждена вести нелепую ягру, вынуждена заискивать перед простой девчонкой, она — жена доктора наук, профессора и мать лучшего в мире сына.

— Приходи сегодня, — почти приказала она, — к обеду приходи.

— Куда ей иттить, — вмешалась бабушка. — Некуда ей вовсе иттить. Ежели кто интересуется — пушай к нам пожалует. Овес-то, знамо, к лошади не ходит.

— Что вы, право, тетя Шура, — поморщилась Дарья Семеновна, — не в этом же дело. Какие сразу мысли у вас... занятные.

— Мысли наши правильные.

— Бабушка!

— Ты-то бы уж не тренькала. Матери нету, она б тебя отвадила в чужеземные города шастать.

У Оленьки не только матери не осталось, но и отца. Мама ее померла, отравившись вяленой рыбой, а отец пропал без вести в Москве. При каждом удобном случае бабушка Шура укоряла этим внучку, неизвестно по каким соображениям считая ее виноватой в собственном сиротстве.

— Бабушка, зачем ты?

— Обыкновенное приглашение в гости вы раздуваете в какое-то событие. Нельзя же так.

Дарья Семеновна не сердилась, она понимала старуху.

— Вот приду, — разозлившись, пыхнула Оленька. — Обязательно приду к вам в гости. Только когда... сына вашего не будет. К вам приду, Дарья Семеновна. Я вас научу настойку из смородины делать. Такую уж сладкую.

— А его сегодня и не будет, — легко соврала Дарья Семеновна, в самом деле не уверенная, придет ли Миша. Старуха покачала осуждающе головой:

— Изю всего компот стряпают. Все переиначить норовят. Только не всякий компот в пользу. Ты, Ольга, на меня очьми не пурхай. Я тебе родная. Ты вон чужих слов и приглашений остерегайся. И то не забывай: к хорошей девушке женихи сами тропку торят. А которая, задрав юбку...

— Бабушка!

Оленька отшвырнув тяпку, убежала в избу.

— Мы люди одинокие, — заметила старуха Дарья Семеновна, — безмужчинные. А эту девочку забидеть большой грех. Сироту забидеть — бога забыть.

— Мне кажется, вы, тетя Шура, не совсем искренни. Неужели вы во мне подозреваете какой-то умысел? Неужели человека не видите? Мне Оленька очень нравится. Такая скромная, добрая. Вот я и хочу с ней подружиться. Мало ли какая у нее нужда будет. Да если одна останется...

— Это верно. Помру — не знаю, что и будет. Однако крепкая я еще. Не болею. Поживу, сколь бог велит. Чего ж поперед его загадывать. Может, отец еще возвратится. Он хотя от роду шалый был, но Оленьку

баловал, жалел. Может, не ведает, что мамка-то ее отравилась. С ей они, не буду врать, злобно жили. Без смирения. От ее он и улег. Знал бы, может, давно дома был. Я уж маю, как бы оповестить его, знак подать. Ты не слыхала, есть ли такие конторы, кои людей разыскивают? Наверное, есть. Может, и в Федулинске есть. Должны-ить быть. Город огромный, людей тыщи. Иной потеряется, как его пымаешь. А ежели ребеночек? Должна быть такая контора... У меня фотка его имеется. По ней можно сыскать. По фотке. Правдатель, на ней он сопливый, и пьяный, в свадьбу сымали, но все же угадать обличье можно. Видать, какой человек, с другим не спутаешь. Ты бы не похлопотала, Дарья, за-ради любезности. А я тебе яичек, молочка бесплатно.

— В Москву надо написать, тетя Шура. Пускай Оля ко мне зайдет, я ей объясню, как писать. Ей сколько было, когда отец ушел?

— Да сколько, столько и было. Семь годков. Помню, в школу ее обряжали. Сумку он ей сам купил. Красивую. Аж в Федулинск за ней гонял. Сумку купил... и улег. Писульку, знамо, оставил. В сенях вон ее гвоздем пришил на видном месте. Оленьке в школу иттить утром, а тут от папочки привет! Жить с вами не имею возможности. Если вернусь, то не скоро... Такомо и возвестил нам свою волю, злыдень. Вернусь, но не скоро. Теперь все сроки, почитай, минули. Видно, там, куда улег, совесть и пропил. Он и здесь прикладывался к ей, к окаянной. Сосал ее, змею, и по будням и в праздник. Редкий день мог пропустить. Да и то, ежели день пропустит, отпыхается, так уж начинал сразу в забывчивость впадать. Помню, спрашивает трезвым-от: «А какое это, маманя, нынче число?» Я ему указала численник. Он из окна глянул и дале: «А как, маманя, деревню нашу называют?» Ответила. Тады он совсем с умом собрался и баит: «А скажи, маманя, не грянул ли гром над миром полуденным?» Ей-ей! «Почему, говорю, гром? Откель? Среде ясного неба». — «А оттель, — отвечает. — Что я тут с вами языком махаю, а магазин к закрытию идет». И — как молонья. Завсегда он очень об магазине беспокоился: закроют ай нет. Так-от мужик хороший он, работающий, ласковый. Слова худого не позволит себе. Ежели уж совсем его припрет, в ма-

газине учет или чего еще такое ужасное, шарахнет, бывало, кулаком по стенке: «Эх! — шумнет. — Постылые кругом ваши рожи передо мной». Это наши значит-ся выраженья лиц ему так опостытели, что он их зреть лишний раз не мог. Так и в писульке на прощание указано: «Не имею возможности с вами жить. Простите».

— Как же вы жили, если он все время был пьяный?

— Не был он пьяный, кто тебе это сказал. Выпивши, да. Но завсегда при обязанности. Плотничал он в колхозе. Тады у нас колхоз еще считался... Вон у сарая его верстак, тама он завсегда и копошился. Начальство его уважало. Какой же пьяный, нет. Попивал с утра помаленьку — это как водится. На свои же заливался, на честные, заработанные. И нам денежек оставалось. Ему много платили...

Дарья Семеновна спешно попрощалась, понимая, что разговор с бабушкой Шурой мог тянуться до второго пришествия.

Сейчас, стряпая, нет-нет и поглядывала она на дорожку, зеленеющую между дачными заборами: не появится ли сыночек. Или Оленька. На мужа старалась не смотреть. Он к тому времени стал уж совсем похож на мельника из когда-то виденной Дашей оперы. Все она забыла: и название оперы, и театр, где это было, и музыку, а мельника помнила — он ее больше всех тогда развеселил. Она с нетерпением ожидала выхода усатого, неуклюжего человека в кожаном комбинезоне, с ног до головы обсыпанного мукой. Как только он выкатывался из-за кулис и заунывным баритоном рывкал очередные куплеты, она голову теряла от восторга, так хохотала, что на нее начинали оглядываться шокированные соседи. Сам мельник наконец выделил ее из рядов зрителей и, не избалованный, видно, вниманием, в дальнейшем, ведя роль, поворачивался к ней, а не к партнеру. Было это не совсем прилично, но приятно, и Юра малость поревновал, буркнул себе под нос: «Крепины! Оперу превращают в балаган!»

Тогда у нее была личная жизнь, от нее самой зависящая. Тогда Юра был не мужем, а кавалером. Жалела ли Дарья Семеновна, цветущая еще женщина, о тех невозвратных днях? Нет, не очень. Ее устраивала теперешняя жизнь, с теперешним мужем и сыном. Позади были перемены, недоразумения, ссоры, переез-

ды — ну и хорошо. Теперь — обеспеченность, всеобщее уважение, комфорт, наслаждение простыми ежедневными радостями.

Если кому взбредет в голову искать счастливых людей — ищите их среди пожилых цветущих женщин, свивших прочное семейное гнездо. Больше-то и негде. А там они есть, счастливые, в городских благоустроенных гнездах-квартирах. Женщины-птицы, радующиеся теплу, свету и не пугающиеся зимних холодов. Эти женщины суеверно прячут свое счастье, жалуются в очередях на какие-то несуществующие трудности, с трагическим видом хватаются за голову, слушая по радио сообщения о диктаторских режимах, — не верьте им. Поглядите, как благодушно готовы они тратить часы на пустую болтовню, как вдруг вскидываются с возгласом: «Ой, скоро муж придет!» Они счастливы. Они плавно, по-птичьи, перелетают из кухни в магазин, из города на дачу, из гостей в театр, нигде не задерживаясь подолгу, но и ниоткуда не спеша уйти. Обратите внимание, с каким странным неуверенно-торопливым видом выходит счастливая женщина утром из дверей подъезда с огромной хозяйственной сумкой в руках, как она тут же приостанавливается и ищет взглядом, нет ли поблизости знакомого лица, чтобы не откладывая посмаковать чужие новости и поделиться своими, как она, улыбаясь, медлит под каким-то ей одной известным окном, — и в вашем сердце проснется легкая зависть к этому невообразимо воздушному и так мало кому из нас доступному счастью. Недоступному потому, что оно зависит не от обстоятельств, а от особого внутреннего настроения на повседневность, общую у многих, но которая одним приносит мир и благополучие, а других приводит в бешенство и гонит с места на место, как ветер гоняет по мостовой клочки газет и осенние листья.

В очередной раз моргнув на дорожку, Дарья Семеновна увидела совсем не того, кого ожидала увидеть... и оцепенела. Сшибая прутиком головки крапивы, по тропинке быстро шагал Виктор Афанасьевич Мерзликин, директор НИИ. Его дача находилась далеко отсюда, примерно в километре, и скорее всего надо было случиться чему-то особенному, чтобы директор вот так без предупреждения пожаловал в гости. Дарья Семен-

новна дурным голосом крикнула: «Юра!» — и бросилась в комнату переодеваться. Впопыхах она взялась натягивать платье прямо на халат, ужаснулась, — дурная примета! — сдернула халат, мигом привела в порядок растрепавшуюся прическу, покрыла голову кокетливой соломенной шляпкой, успела мазнуть губы и — стометровки не преодолел Мерзликин — уже спешила к калитке, растекаясь в очаровательной улыбке, разбросив широко руки, словно от полноты чувств готовилась принять директора в объятия. Мерзликин тоже заулыбался в ответ, переломил пруттик. Он был в шортах, которые подходили его мускулистым, кривым, волосатым ногам, действительно, как корове седло.

— Дорогая, Дарья Семеновна. Не выдержал, простите. Дай, думаю, подкрадусь, хоть издали полюбуюсь. Ах, жалко. Вон, я вижу, и муж ваш, Юрий Андреевич, в наличии. Только что-то он какой-то побелевший. Грачей отпугивает?

От дурашливой директорской шутки Дарья Семеновна охотно по-девичьи зарделась. Виктор Афанасьевич — мужчина видный, доброжелательный, высоко поставленный, кого хочешь в краску вгонит. Многие женщины оказывали ему знаки внимания, но грешков за ним не водилось. Он границу помнил и никогда ее не переступал. Поэтому мог себе позволить пошутить в некотором роде фривольно. Но и шутил он далеко не со всеми. И тут соблюдал одному ему понятную субординацию. По его раскладу, с Дарьей Семеновной, женой начальника отделения, он мог полюбезничать не более двух раз подряд. Один раз при встрече, второй — при прощании. Дарья Семеновна кокетничала с директором напропалую, считая, что этим оказывает неоценимую услугу мужу. А как же. Одно дело, если у твоего подчиненного жена интеллигентная, с огоньком, приветливая женщина, готовая и встретить, и угостить; совсем другое, если это синий чулок, домашний администратор в юбке. Дарья Семеновна предполагала и даже была убеждена — серая, затюканная супруга бросает тень на мужа, обнажает его с невыгодной стороны. Можно ведь и так подумать: человек жену не сумел себе выбрать, где же ему руководить большим коллективом. При неблагоприятном стечении событий и такой маленький штрих мог стать решающим. Ради мужа

Дарья Семеновна и теперь улыбулась директору с почти откровенным вызовом. Мерзликин вызов благодушно отклонил, осторожно обогнул Дарью Семеновну и, больше не обращая на нее внимания, направился к Самому.

— Приветствую вас, Юрий Андреевич!

— Здравствуйте, Виктор Афанасьевич! Рад вас видеть.

Если Кремнев и удивился неожиданному приходу директора, то на нем это никак не отразилось.

— Вы позволите, Виктор Афанасьевич? Одно дерево осталось. Пять минуток, и я к вашим услугам.

— Конечно, конечно.

— Так намучился, последний раз этим занимаюсь. Черт с ними, пускай грызут. Все равно буду другие сорта сажать... У вас антоновка хорошо принялась?

— У меня ее нету. У меня райские яблочки. Честно сказать, я свой садик запустил изрядно. Стыдно кого пригласить. Если только в порядке демонстрации закона энтропии. Бурьяном у меня садик порос, Юрий Андреевич. Бурьян и сорняки разные, правда, необыкновенные. Выше смородиновых кустов. И крапива хорошо взялась. А я недавно прочитал — полезнейшая штука крапива. Для гипертоников. Будем из нее зеленые щи варить. Дарья Семеновна, слышите? Щи, говорю, крапивные очень хороши для здоровья. Наука так подсказывает. Знаете ли, мясо вредно, жиры вредны, молоко — тоже под вопросом, а с крапивой все прояснилось. Лучший деликатеснейший продукт. Вроде омаров.

— Мы в войну ели крапиву, — Дарья Семеновна приблизилась, — очень вкусно.

Они стали смотреть, как Юрий Андреевич управляется с гидропультом. Это было зрелище не для слабонервных. Пузырящаяся жидкость булькала и оседала на листьях, на траве, стекала по голым рукам садовода-любителя. Насос качал с потугами, как дышит чахоточный в агонии.

— Да, — отметил задумчиво директор, — столько страданий из-за нескольких килограммов яблочек.

— Вы у нас пообедаете, Виктор Афанасьевич? — полуутвердительно спросила Дарья Семеновна. — У нас курица тушеная. Под соусом собственного изобретения.

— А запить чем найдется?

— Для высокого гостя — обязательно. Лучший армянский коньяк.

— Больше вопросов не имею.

Домучив себя и гидропульт, Юрий Андреевич брякнул его о сырую землю и на него плюнул.

— Научная революция, конец века, — сказал он. — Конец света, а не революция. Не умеем простейший аппарат сделать качественно.

Он отправился умываться. Директор шел за ним по пятам.

Кремнев, оставшись в одних плавках, выливал на себя воду ведро за ведром, урчал, сморкался, с отвращением смахивая, стирая белую слизь.

— Давай полью, Юрий Андреевич.

— Спасибо. Не надо.

Директор любовался своим начальником отделения — резким, упрямым, жилистым. Современным. Очень современным. Таким он знал его на работе, таким увидел и здесь, на даче. Никаких уловок ни перед кем, никаких скидок ни себе, ни людям. Четкое мотивирование поступков и решений. Механизм. Умнейшая голова, настроенная на выполнение производственной задачи. Сейчас по расписанию проводит оздоровление организма, подготавливает его к трудовым будням. Любо-дорого поглядеть. Конечно, эмульсии он зря наглотался, видно, вошел в раж. Не совсем, видно, исправный механизм.

— Я смотрю, жирку вы совсем не накопили. Поделитесь секретом. У меня, каюсь, растет брюшко, растет. Поесть, грешный, люблю. Знаю, что нельзя, вредно, клапана засоряются, а как подставит мне хозяйка тарелку с борщом да потом кусище жареного поросеночка, помидорками и травкой обложенного, — теряюсь я. Рассудок временно теряю. Супруга моя слов этих — диета, лечебное голодание — вовсе не понимает и понимать не желает. Считает, что люди с жиру перебесились. Ешь, пока есть. Вот девиз. Ну я и ем. Впрок. Может, когда пригодится? А? Гены-то наши русские помнят голод, помнят.

— Нет, не пригодится теперь. Вряд ли.

Юрий Андреевич не умел поддерживать полушутливый тон. Особенно с начальством. Пробовал, не полу-

чалось. Он не понимал, почему два солидных, умных человека должны вдруг изображать таких резвящихся на лужайке школьников? Остричь и фамиллярничать друг с другом? Ему это претило. В самой доброжелательной шутке он подчас находил скрытый неприятный второй смысл. Любая шутка обладала свойством легко перевоплощаться в замаскированное оскорбление. К чему это? Его больше устраивал спокойный откровенный тон, когда никаких камней не остается за пазухой. «Острият люди от беспомощности либо от скуки, — думал он. — Когда не могут, не умеют, не хотят или боятся излагать свои мысли нормальным человеческим языком».

Умывшись и приведя себя в порядок, Юрий Андреевич пригласил гостя отдохнуть в уютных креслах-качалках в тени под единственным «бесполезным» деревом на участке — старым кленом. Из-за этого клена у них с женой в течение двух лет шло ожесточенное сражение. Юрий Андреевич искренне не понимал, зачем торчит на участке лесной красавец, а его супруга так же искренне не принимала слепоты мужа к красоте ветвистого дерева. Несколько раз в темную минуту Юрий Андреевич заносил роковой топор над случайным поселенцем сада, и всегда Дарья Семеновна успевала его обезоружить: слезами, уговорами, упреками, просьбами.

— Что же вы, дорогой Юрий Андреевич, не поинтересуетесь, зачем к вам без приглашения пожаловал директор? — поудобнее усаживаясь, в том же шутливо-свойском тоне спросил Мерзликин. — Или не любопытно?

— Полагаю, мимо проходили.

— Не совсем мимо, то есть прямо сюда шел. А зачем, и сам не пойму. Клянусь! — Поклявшись, он поглядел с ухмылкой, приглашающей удивиться дураковатости человека, занимающего столь ответственный пост и шляющегося по садовым участкам без всякой цели. Он сказал правду. Он не знал, зачем пришел. Был один предмет, который, возможно, следовало обсудить, но только «возможно». А возможно, и не следовало. Вопрос об уходе на пенсию Карнаухова. Как-то не все тут было гладко и чисто. Какая-то неуместная горячка в деликатном вопросе. И еще это собрание, которое, ему доложили, было назначено на понедельник. Спешил

Кремнев, слишком спешил убрать неугодного ему человека. Идти на попятную Мерзликин не собирался. Сам давно в душе согласился и вслух поддерживал доводы Юрия Андреевича. Теперь ком покатился с горы, и он не станет под него подставлять ногу. Хотя при желании он мог бы замедлить и даже совсем закрыть дело, не выдавая своего в этом участия. За долгую руководящую жизнь он накопил много способов обходного вмешательства. Но здесь не тот случай. Главное, он был уверен, что все делается на пользу не только предприятию (это как раз туманно и спорно), но и его давнему знакомому, хорошему человеку Николаю Егоровичу Карнаухову. Он это чувствовал. Карнаухов утомился, почти надорвался, пусть сам того не замечает. Отдохнет годик-другой, а потом, может быть, и вернется. Директор допускал и такой вариант.

Зачем же он тогда явился непрошеным гостем к Кремневу, который вежливо помалкивает, но наверняка строит какие-то догадки.

«Элементарная потребность в человеческом общении, — попытался сам с собой объяснить Мерзликин. — Что ж, это модно нынче. О делах говорить не стоит. А так просто посидеть, выпить рюмочку — почему бы и нет. Привыкли мы замыкаться каждый в своей скорлупе, жизнь тем временем проходит. У меня почти в одиночестве. Мне-то, директору, с кем общаться? Со своими замами? Скучно. Скучных людей набрал себе в замы. Зато безопасных и покладистых. Сделай замом вот такого Кремнева, каждый день будешь как на горшке с углями сидеть».

— Загорели вы мало, — прервал паузу Юрий Андреевич. — Напрасно пренебрегаете ультрафиолетовыми лучами.

— Они мной пренебрегают. Сызмальства так. Погляди — здоровый бугай, верно? — директор редко переходил с Кремневым на «ты», так иногда, невзначай. — А солнце не прилипает ко мне. Никак. Обгореть могу до струпьев в два счета, а загореть, как люди, нормальным золотистым загаром — никак. Мучило ведь это когда-то. Сколько пустяков нас в молодости мучает, Юрий Андреевич? Не счесть.

— Много, — согласился Кремнев и крикнул в сторону дома. — Даша, скоро ты там с обедом?

Выглянула озабоченная Дарья Семеновна:

— Скоро, товарищи мужчины. Потерпите капельку.

— Да и какое там солнце с нашими порядками, — продолжал Мерзликин. — В моем кресле, если долго цел человек, то и хорошо, и загорать не надо. Радуйся, не гневи бога! По правде сказать, я же король без королевства и вдобавок вассал нескольких вассалов.

— Каких это?

— Посуди сам. Раньше нами руководило министерство. Все было ясно. Плохо, но ясно. Потом дали нам свободу, создали научно-производственные объединения по отраслям. Министерства, естественно, остались, но вроде нам предоставили право самостоятельно определять тематику исследований. Фикция, конечно, но приятно ласкает самолюбие. Определяйте на здоровье сами свое направление, а мы с вас спросим. Больше доверия, больше спроса. Ладно, ничего. Тем более, открылась перспектива прямого выхода в промышленность. НПО объединило и предприятия и НИИ. Отлично! Только мы разогнались приспособливаться к новым лучезарным условиям, как — стоп, остановка. Оказалось, что руководство объединений видит в нас лишь некий резерв на случай прорывов на действующих или пусковых объектах.

Жаловаться, требовать — куда пойдешь? Не выше же министерства. А там и органа такого не предусмотрено, чтобы в наших «сварах» копать. Нет, есть, конечно, техническое управление. Спаси и помилуй, Юрий Андреевич. Ты видел, кто там сидит? Генералы — вот кто. Вкрадчивые, мягкие генералы... Все, разумеется, достойные люди, образованные, деликатные, но уж очень далеки от науки. Они нами не руководят, а командуют, в какие бы доверительные формы это ни выливалось. Кстати, про деликатность я для объективности ввернул. Люди там сидят не промах, охулки на руку не положат, если уж что и делают нежно — так это держат нас, директоров, за горло. Не ворохнешься лишний раз.

— Беда, — усмехнулся Кремнев страданиям директора, как он понимал, преувеличенным. — Какой же выход?

Мерзликин угадал значение его ухмылки.

— А-а, ты мне не веришь! Да и не поверишь, пока на своей шкуре не испытаеть. Я тебе много крови испортил?.. Ладно, знаю, много. И каждый раз ты, дорогой Юрий Андреевич, думал, что наши недоразумения происходят оттого, что я, директор, не силен в науке. Верно, не так уж и силен. Но я-то с вами, ученой братией, из одного котла щи хлебаю. Что-нибудь это да значит? Значит, я спрашиваю?

— Конечно. Щи хлебать это...

— Теперь представь, в управлении нами руководят аппаратчики, которые настолько же в принципе далеки от науки, как я далек от ученика монтера Петьки. Это какво? Не тут ли корень зла? Утверждаю, наукой имеют право руководить только ученые, на худой конец такие директора, как ваш покорный слуга. Не согласен?

— Почему, идея здравая... Но как там у поэта. Нельзя в одну телегу впрячь коня и лань, кажется. Ученый, занявший пост администратора, вскоре автоматически перестает быть ученым. К сожалению.

— Перестает вести конкретные исследования. Это не совсем одно и то же. Свою душу ученого он сохраняет.

— Да, разумеется. — Юрий Андреевич неохотно поддерживал разговор. «Подумаешь, революционер нашелся, — думал он. — Нарочно ведь излагаешь мне свои «крамольные» мысли, чтобы показать, что не чиновник, «свой в доску». Знаем мы цену этим фокусам. Работать надо, а не говорильней заниматься. А у нас на простое дело — заменить плохого зава — тратится колоссальное количество энергии, перьев, времени. Зато языки почесать все мастера. И ты, Мерзликин, любому дашь фору».

Все-таки он спросил:

— А как, собственно, вы представляете структуру?

— У каждой отрасли свой штаб. Пускай при том же министерстве, но функционирующий достаточно самостоятельно. В этот штаб входят ведущие ученые отрасли, директора, — Мерзликин обнажил отливающие желтоватым серебром зубы в извиняющейся улыбке, — да, директора и институтов, и промышленных предприятий. Собираться штаб должен не от случая к случаю, а сис-

тематически и выходить со своими рекомендациями на какое-то одно лицо в министерстве, на заместителя по вопросам управления наукой. При штабе ученых будут созданы авторитетные комиссии, тоже из самих ученых, специалистов разных профилей. Очень важно доверить такому «штабу по науке» при министерстве как можно более высокие полномочия. Вплоть до финансовых... Мне, директору, легче доказать компетентной комиссии, на что такие-то и такое-то исследование требуется столько-то и столько-то рублей, чем ломиться с этими выкладками в двери министерских кабинетов. Легче и спокойнее, увереннее. Комиссия из таких же, как мы с тобой, спецов не будет подозревать меня каждый раз в корысти и махинациях. Да, да! Это, милый мой, бывает. Еще как! Толкуешь какому-нибудь суровому и занятому лицу о наиважнейшем деле, разжевываешь ему, как кашу младенцу, а он на тебя, знаете ли, глядит с такой министерской хитринкой: «Вижу, дружок, насквозь, из-за чего ты ваньку валяешь». Разумно-то возразить ему компетенция не позволяет, а глазами подозревать и укорять наловчился, стервец. И впрямь, потуркаешься так перед чиновным лицом денек-другой и начнешь чувствовать себя вором, запускающим руку в казенный карман.

— Мужчины! — лукаво окликнула их Дарья Семеновна. — Мойте руки. Вон подкрепление к вам прибыло.

Миша Кремнев — в черной рубашке, с отрешенным лицом — входил в родительский сад. Увидев директора, он попытался изобразить соответствующую моменту радость. Получилось, будто раскусил перечное зернышко и не знает, выплюнуть его или уж глотать.

— Студент! — уважительно поприветствовал его Виктор Афанасьевич. — Надежда государства. Как отметки?

— Хорошие, Виктор Афанасьевич.

— О-о! Уже дядей не называешь. Правильно, вырос из племянников... Мой старший диссертацию защитил в Москве. Филолог. Сказки сочиняет. Презабавные, должен заметить, сказочки.

«А он, видно, до вечера намерен расположиться, — подумал Юрий Андреевич, — какая все же беспардонность. Должность, однако, приучает. Простой че-

ловек вряд ли так придет без приглашения. Может быть, все-таки у него дело ко мне? Непохоже».

Миша, сидя за столом, с удовольствием наблюдал, как ловко мать управляется с кастрюлями, успевая улыбаться гостю, сыну и мужу. Он пытался представлять на ее месте Свету Дорошевич. Как-то не представлялось. «Мы бы вместе обед готовили», — подумал он, воображая, сколько возможностей для ласк и поцелуев предоставляет веселая суэта в тесноте у плиты. Голова закружилась. Утром он позвонил Свете, но ее не оказалось дома. На вопрос ее отца, кто звонит, Миша неожиданно для себя буркнул: «Эрнст Львович», — и повесил трубку.

— Веди себя прилично, — шепнула мать, многозначительно скашивая глаза в сторону директора. — Не сиди с такой постной миной.

Дарья Семеновна под одобрительное мычание директора расставила маленькие хрустальные рюмки и извлекла из холодильника графинчик с коньяком.

«Еще не хватало пить в такую жару, — все более выходя из себя, съежился Кремнев, — а придется. Гостеприимство пещерных времен, пропади оно пропадом».

— Ничего, ничего, — заметил его нерешительность Мерзликин. — Вам просто необходимо запить гашеную известь. — Он взял на себя роль тамады, преобразился, задвигался. — Уважаемой хозяйке один глоток. Вам, Михаил Юрьевич, прикажете налить?

Миша кивнул, не глядя на отца. «Ну, погоди! — психанул тот. — Останемся когда-нибудь и без незваных гостей, по-семейному».

— Хорошо живем, — благодушествовал Виктор Афанасьевич, опытно обегая взглядом подробности стола. — Почти как в Грузии. Благослови во веки веков щедрый город Федулинск... Предлагаю тост за вон ту милую странницу, которая битый час заглядывает к нам через забор и не решается войти.

Оленька там стояла, как Золушка, с корзиночкой в руках. Дарья Семеновна побежала ей навстречу, повторяя про себя: «Как некстати, некстати!» И с каждым «некстати» лицо ее делалось все радушнее.

— Я не пойду, — упиралась Оленька. — Неловко! У вас гости. Я просто вам грибов принесла. Вот — возьмите!

Дарья Семеновна привела ее за руку, чуть ли не силой пихнула за стол.

— Это Оленька, — представила девушку, — местная, из деревни. Предлагаю мужчинам за ней ухаживать, потому что она стесняется.

Виктор Афанасьевич тут же налил в чашку коньяка, а свою рюмку протянул новой гостье, спросил солидно:

— Ольга... простите не знаю вашего отчества?

— Просто Оля.

Смущение ее было наигранным, она с любопытством разглядывала незнакомых людей. По Мише скользнула быстрой улыбкой, кивнула Юрию Андреевичу. С ним в эту секунду случился как бы легкий шок. «Что это? Кто это? — подумал он. — Зачем и откуда тут эта девушка?» Что-то она ему напоминала, какую-то давнюю боль шевельнула. Он не сообразил сразу — что именно. А она напомнила ему сестренку, которая умерла не дожив до шестнадцати годков, сразу после войны. Настеньку! Та тоже смотрела на все вокруг с важным сосредоточенным удовольствием, с готовностью все понять, если ей объяснят по-хорошему. Так точно торчали ее бровки, тоненькие на белом-белом лице, к вискам. Один случай Юрий Андреевич неожиданно восстановил в памяти с предельной отчетливостью. Настенька в начале войны ходила иногда торговать семечками на Павелецком базаре. Семечки в качестве гостинца привез им еще осенью родственник из Молдавии — два мешка. Еды в ту пору было уже не густо, а ртов в семье девятеро, считая и взрослых, и Юру, который околачивал пороги военкоматов, доказывая, что он необходим в действующих частях. За семечки платили хорошо, тогда это была не забава, самая настоящая еда, полезнейшее и питательное подсолнечное масло.

Однажды отец — майор — прислал с оказией домой посылку, и в ней, кроме прочего, оказалось две бутылки водки. Настенька пошла с ними на рынок. Это тоже был ходовой товар, один из самых выгодных. Мать уговаривала Юру проводить сестренку, но он считал ниже своего достоинства появляться на рынке, пусть даже сопровождающим. Какой сволочью он был, представить мерзко! Кичился своим книжным благородством в то время, как его меньший братик, десятилетний Степушка, шнырял по столовым и булочным и выпра-

шивал у военных людей хлебные корочки. Не выпрашивал — заходил в булочную; сиротливо простаивал часы у прилавка. Мужчины без расспросов понимали, зачем стоит тут худенький мальчик. Степушка возвращался домой с полной пазухой хлебных половинок и четвертушек. И он, подлец, жрал этот Степушкин хлеб наравне со всеми, не подавился. Зато проводить сестренку на рынок постеснялся. Готовился совершать подвиги. Настенька одна пошла, что ей. Она любила торговать. Но одно дело — семечки, другое — водка. Покупатель разный... Подошел к девочке дядька в ватнике: «Чего у тебя?» Она показала горлышки. «Салом возьмешь?» — «Возьму». — «Пойдем в подъезд, здесь секут». Она пошла, доверчивая, как одуванчик. Самая доверчивая в семье Кремневых, в семье строгой, неласковой. Пошла. Дядька довел ее до первого пустынного переулка, вырвал бутылки, на всякий случай саданул кулаком по белокурой головке и удрал с легкой добычей. Настенька, очнувшись, спрашивала у наклонившихся к ней женщин: «Вы сало не видели? Тут дяденька сало должен был мне оставить. Не видели?» Она не верила в зло, хотя, конечно, сталкивалась с ним часто. Она верила, что все комсомольцы — это Зои Космодемьянские и Саши Матросовы, но все только дожидались своего подвига. Чуждое дело. Возраст ее пристального знакомства с действительностью выпал на войну, и ее она тоже до конца не осознала. Ее мозг был устроен иначе, не как у большинства. Ей одинаково нравилось торговать семечками и лазить на крышу, сбрасывать зажигательные бомбы. Ее наградили медалью «За оборону Москвы». В сорок шестом году Настенька умерла, сгорела за три месяца от скоротечной чахотки. На руках у мамы и трех стариков. Дед рассказывал, как она до самого легкого прощального вздоха всех утешала и успокаивала. «Мне совсем не больно, мама! Я поправлюсь, что вы! Не смейте думать».

Пришедшая в сад девушка и двигалась точно как Настенька, вскидывая высоко острые коленки, и голову наклоняла вперед таким образом, словно собиралась к чему-то ей одной видимому прикоснуться губами. Поразительно.

Юрий Андреевич впопыхах махнул полную рюмку коньяка и скривился, запыхал открытым ртом. Она, не-

знакомая девушка, мгновенно пришла ему на помощь. Сунула в руку половинку помидора.

— Сок! Пососите сок, — смеялась и не смеялась, сочувствовала и журила. Как равная, близкая, взрослая. «Что со мной? — трезво и зло подумал Кремнев. — Ничего нет. Показалось. Успокойся и не будь смешным хотя бы перед собственным сыном».

В продолжение обеда он все больше начинал ощущать в себе тревожную взволнованность, заполошное беспокойство. Он остался равнодушным к тому, что Миша самостоятельно наливал себе третью рюмку, а Дарья Семеновна глаз не сводила с директора и старалась предупредить каждое его желание: сюсюкающим, самым своим противным голоском приговаривая: «Пожалуйста! Прошу вас!» — подкладывала ему поминутно закуски, чуть ли не клевала вилок из его тарелки. Зато Юрия Андреевича глубоко заинтересовало и умилило, как Оленька прихлебывает бульон, оставляя на верхней губке блески жира и тут же слизывая их острым язычком, алым воробышком, выпархивающим из гнездышка-рта. Но это было уж слишком. Юрий Андреевич образумился, взял себя за шиворот (фигурально).

— Ничего себе курица, — обратился к Мерзликину. — Резиновая... Значит, наша, отечественная. Наших кур из гуманных соображений не убивают до старости. Хм!

Давненько Миша не слышал отцовских шуток. Кроме него, никто не понял, что отец пошутил. Дарья Семеновна всерьез ответила мужу:

— Нет, Юра, импортные куры мягче, потому что им в еду что-то добавляют. Что-то очень вредное, — смотрела она, отвечая мужу, на директора.

— Курица как курица. Обыкновенная.

Виктор Афанасьевич оценку дал наугад, до курицы он пока не добрался, уплетая третью тарелку салата. Юрию Андреевичу, для которого резко переменилась погода, теперь нравилось, что директор так естественно себя держит, не чванится, не соблюдает дурацких церемоний. Захотелось ему прийти и пришел. И обедает, не манерничает. Это по-русски, от души. Он придумывал, что бы такое сказать Мерзликину приятное, но ничего не приходило в голову путного.

— Ты чего такая красная? — услышал он вдруг голос сына, обращенный к Оленьке. — Мама, погляди. Только что она была белая, а теперь как помидор.

— Михаил, — гаркнул Кремнев, — прекрати хамство!

Оленька беспомощно завертела головой, стараясь спрятать глаза, из которых предательски закапали крупные прозрачные звездочки-слезы.

— Оленька, — не обращая внимания на жену, загундосил Юрий Андреевич, — лоботряс мой не хотел вас обидеть. У него манера такая, дремучая. У них теперь модно хамить. Долой стыд — вы же это прокламируете, Михаил? Как гадко. Почему вы плачете, Оля?

— А чего я — ничего, — изумился Миша.

Все наперебой кинулись утешать плачущую девушку, не понимая толком, в чем дело. «Истеричка! — подумала Дарья Семеновна. — Она, оказывается, истеричка! Надо же». Мерзликин обнял соседку за плечи и встряхнул.

— Говори, повесить его, мальчишку? Или голову ему рубануть? Мы это мигом исполним.

Наконец беда прояснилась. Оленька, уже не таясь, всхлипывая и по-детски размазывая слезы кулачком, прохныкала:

— Никакая она не резиновая.

— Кто не резиновая?

— Бабушкина курица. У нее многие покупают, и яички тоже. Все бывают довольны. А эта совсем молоденькая была, я не хотела, чтобы ее убивали. Бабушка сказала: «Для таких людей — не жалко».

Наступил черед Юрия Андреевича закручиниться. Сын глядел на него с торжеством, а Оленька со страхом, как смотрит ребенок на злого человека, мимоходом наступившего на его песочный дворец.

— Да я просто пошутил, — сказал Кремнев. — Таких сладких кур я в жизни не едал. Пошутил для настроения. Куренок-то — пальчики проглотишь.

Виктор Афанасьевич поспешил внести свою лепту в дело умиротворения масс.

— Выпьем за то, чтобы все наши беды и несчастья так же легко было развеять, как это. Выпьем за то, чтобы слезы милой Оленьки струились всегда, — эффектная пауза, — по поводу не более значительному,

чем гибель куренка. Выпьем еще за то, чтобы наши худошавые куры были всегда вкуснее импортных, которых звери — частные предприниматели — подкармливают лекарствами, за которые, в свою очередь, дерут три шкуры с несчастных больных тружеников. Да здравствуют самые упитанные в мире федулинские пехухи и куры. Ура, товарищи!

Пить Мерзликин, однако, не стал, лишь, слизнул из рюмки полглотка. А Миша выпил, и Оленька послушно отхлебнула янтарной влаги. Юрий Андреевич с удивлением поймал себя на том, что каким-то ерническим фарисейским голоском поддерживал директорское «Ура!» и, более того, пытался тянуть его до тех пор, пока Дарья Семеновна под столом пребольно не толкнула его коленом.

— Пойду, — Мерзликин неожиданно встал и начал прощаться. Теперь это снова был директор, тугой, вкрадчивый человек, которого можно было останавливать, но нельзя было остановить. — Спасибо за угощение!.. Ба, времени сколько незаметно пролетело. Утомил я вас!..

Он поцеловал руку Дарье Семеновне, потрепал Мишу по плечу. Оленьке галантно сказал:

— Мадмуазель, надеюсь мы еще увидимся.

— Надеюсь! — ответила Оленька. Нет, не просты нынешние юные ткачихи. Запросто флиртуют с директорами НИИ.

Юрий Андреевич проводил гостя до половины дороги, до бугра, который возвышался примерно между их участками. Они шли, дружески болтая о всякой чепухе. Виктор Афанасьевич сообщил, что в августе собирается в отпуск в Юрмалу со всей семьей. Посудачили о неустойчивости погоды в Прибалтике. Оказывается, у директора в Риге жил родной брат, какой-то исполкомовский деятель. Говорить обоим не хотелось, устали, но и молчать было неловко. Обед их не сблизил и не отдалил. Они остались каждый на своем месте.

Прекрасные вокруг лежали сады, огромные, ароматные, перечерченные заборчиками и утыканые разноцветными домиками. Хорошо тут дышалось, зелени много, лес вдаль, синяя шапка неба, горячее солнце. Бугор, до которого они дошли, нависал над искусственным небольшим прудом. Здесь купались мальчишки, и

фанатики-рыболовы выуживали мальков, используя для этой цели самые современные бамбуковые удища.

Здесь они постояли, полюбовались барахтающимися детьми. Посредине пруда покачивалась пустая, наполовину затонувшая резиновая лодка. В нее ребята швыряли с берега комья земли.

— Инстинкт, — заметил скорбно Юрий Андреевич. — Страшный детский инстинкт — разрушать, топить, делать больно.

— Телячий возраст. Первая проверка сил, только и всего...

Великие цивилизации, как правило, начинались с опустошительных войн. Но я согласен — это печально.

Мерзликин уже раскланивался, уже пожал руку Юрию Андреевичу, и помедлил, и сказал:

— Чудно... Я подумал сейчас. У Карнаухова-то дачи нет. Не завел, не понадобилось. Чудно! У нас вот есть дачи, а у него нет... Ведь он выходец из крестьян. А дачки не завел, не захотел. Я ему предлагал в свое время, отказался. Земля же все-таки. Неужели его к ней не тянет? Потомка землепашцев.

Кремнев целый день ждал чего-нибудь в этом роде, был готов, имел в запасе и возражения и тон, но директор все-таки застал его врасплох. Ударил. Поэтому Юрий Андреевич сорвался, неприлично взвизгнул:

— Ну при чем тут это? При чем? Дачки, тяга к земле. Я понимаю, вам муторно. Вы пришли ко мне по-человечески поговорить. При чем тут Карнаухов? Неужели я вам должен объяснять, что такое интересы производства? Вам, директору! И уж объяснял, пришлось. Ну пожалейте вы меня в конце концов, Виктор Афанасьевич! Не делайте из меня злодея. Совестно мне вам повторять... Он заслуженный, бескорыстный, но отстал. От-стал! Время никого не ждет. Дачу, пожалуйста, я готов ему уступить свою. Пожалуйста... Простите, не сдержался!

Директор смеялся.

— Не знал, что вы такой горячий... Ну-ну, все образуется. Это я так, к слову. Дачи у него нет, я же не обманываю. Старая гвардия, дорогой Юрий Андреевич. Вы поищите у молодых, у пятидесятилетних. У кого нет

дачи или машины? А у него нет и, думаю, не будет... Старую великолепную гвардию провожаем. Вот все, что я хотел сказать... Ступайте, ступайте, вас там заждались.

Юрий Андреевич смотрел ему вслед. Директор нес груз годов бодро, шагал размашисто, как в строю, легко перепрыгивал рытвины разбитой колеи. В нем тлел заряд неизрасходованности. Случайно директорами не становятся. Во всяком случае сила нужна немалая и напор.

«Но всегда ли это сила ума? — думал Кремнев. — Скорее это вообще не сила ума, а какой-то сплав. Я его в себе не имею, я другой. Что это вообще такое — энергия, благодаря которой директор даже в минуту крайней усталости восприимчив, многогранно восприимчив, вертится ужом, скользит и не падает. Той ямы, где я сломаю шею, он может и не заметить. Что это? Виктор Афанасьевич старше Карнаухова, а вот поди ж ты, как идет. Догони попробуй!»

Зависти не было в тревожных мыслях Юрия Андреевича. Он восхищался по-своему, сумрачно и с вызовом.

Вернувшись, застал дачную идиллию. Попыхивал, закипая, чайник. Дарья Семеновна, Миша и Оленька с азартом резались в подкидного дурака. Но уже ничто не шевельнулось в душе Кремнева. Мгновение миновало. Оленька была просто Оленька, милая смешливая девчушка, пытающаяся вести себя с достоинством светской дамы. Миша изучал ее затуманенными коньяком глазами и тоже, кажется, с кем-то путал, судя по тому, что, случайно касаясь ее руки, он вздрагивал и неприлично хихикал. Дарья Семеновна, раскинув над юной парочкой крылья, поощрительно жмурилась. Кремнев подождал, пока она останется в дураках, затем велел Мише следовать за собой. Он отвел его к сарайчику с инструментами.

— Ты что же это делаешь, мерзавец?!

— Что? — Миша побледнел.

— Сколько ты выпил рюмок за обедом?

— Три.

— Сопляк! Погляди на себя в зеркало. Ты же пьян.

— Папа, я...

— Молчи, мерзавец! Сколько раз за последнее вре-

мя от тебя пахло вином? Хочешь превратиться в молодого алкоголика? Отвечай!

— Папа, ты ошибаешься. У меня несчастье, я не могу тебе всего объяснить, но поверь...

— Смазливая девчонка дала тебе от ворот поворот. Правильно сделала. Надо быть окончательной дурой, чтобы связаться с таким... Миша, — Юрий Андреевич смягчил голос, — ты меня пугаешь. В тебе нет ни самолюбия, ни гордости. Женщин, как и все остальное, завоевывают не соплями и жалобами, а упорством. Да и не надо ничего завоевывать. Как только ты станешь сильным интересным человеком, все придет к тебе само собой. И любовь, и женщины, и успех.

— Папа, ты не понимаешь...

— Прекрасно понимаю... Иди умойся. Окатись холодной водой и возвращайся к ним. Будь веселым, сдержанным, внимательным, не хихикай. Пить я тебе запрещаю раз и навсегда. Понял?.. И поостерегись выводить меня из равновесия.

— Хорошо, папа.

Оленька подошла попрощаться.

— До свиданья, Юрий Андреевич... Еще раз извините меня.

— Уже уходите, Оля? Посидели бы. Сейчас Миша вернется! И я бы с вами сыграл разочек. Двое на двое. Молодежь против стариков. Согласны?

— Я бабушку не предупредила. В другой раз.

— Непременно. Мы вас будем теперь ждать каждую субботу и воскресенье.

Он не посмел сказать «я», сказал «мы». Но это была правда. Лично он не собирался ждать ее каждую субботу. Он догадался, зачем Дарья Семеновна пригласила девушку, и в душе ее одобрил. Все-таки посасывало что-то в груди, когда он смотрел на нее. Миша возник рядом, с мокрыми зачесанными набок волосами, тусклый, похожий на выкипевший чайник.

— Уходишь, Оля?

— Да. Бабушка ждет.

Они втроем простояли у сарайчика несколько дольше, чем требовала обыкновенная вежливость. Оленька будто еще ждала каких-то напутственных слов от Юрия Андреевича, не сводя с него откровенно изучающего взгляда.

— Приходите непременно! — повторил Юрий Андреевич.

— Приду. Курицу принесу, — она крунула юбкой и пошла. Миша за ней. «Черт, — сказал себе Кремнев. — Черт, черт, черт! Чур меня!»

Дарья Семеновна гремела тарелками на веранде, мыла посуду.

5

В субботу утром умер Петр Иннокентьевич Верховодов, отмучился старик, отмечтал. Он вернулся навсегда в природу, которую с таким усердием защищал. Последним с ним с живым разговаривал управдом Гекубов Илларион Пименович. В пятницу около семи часов он повстречал возвращающегося из аптеки Верховодова. Тот еле ковылял, и лицо его было серым, осунувшимся. Гекубов спросил, как он себя чувствует, не заболел ли.

— Слабость какая-то, — ответил Верховодов, — ломает всего. Наверное, погода переменится... Сходил вот в аптеку, свеженькой но-шпы себе купил, — показал коробочку с лекарством.

— Вероятно, к погоде, — согласился Илларион Пименович. — У меня тоже в правой руке вроде онемелость прощупывается. Эта рука у меня как барометр. Начинается завсегда с пальцев...

Верховодов неожиданно недослушал, извинился и побрел к подъезду. Такой невероятный поступок всегда предельно выдержанного и любезного ветерана удивил Гекубова, но не сильно и не надолго. Илларион Пименович был человеком самоуглубленным. Давным-давно, неизвестно в какой день и по какой причине его поразила жизнедеятельность собственного организма. Наблюдение над самим собой стало главным и любимейшим занятием Гекубова, приносящим ему много радости и никогда не наскучивающим. Все в себе доставляло ему приятную пищу для анализа, сравнений и выводов. Все умиляло и приводило подчас в философский транс. Допустим: за завтраком он напился чаю, а супруга еще никак не справится с котлетой.

— Гляди, Фрося, — говорит Илларион Пименович. — Ты еще котлету ковыряешь, а я уже позавтракал, Я

всегда быстро ем, быстрее всех. За мной никто не может поспеть, — и долго сидит за столом, погруженный в размышления о необыкновенном свойстве своего организма быстро поглощать пищу. Уже и стол хозяйка протерла тряпкой, и пол на кухне подмела, а он все сидит с ласковой всепрощающей улыбкой на устах — никак не нарадуется, не насладится чудом пищеварения...

Или чихнет ни с того ни с сего Илларион Пименович. Тут уж сам бог велел сосредоточиться на мыслях о величии природы, наградившей его сложным аппаратом, который в состоянии издавать подобные прелестные звуки.

— Чихнул, — объясняет Гекубов тем, кто случайно рядом в этот момент, — я всегда на солнышке чихаю. Стоит мне постоять лицом к солнышку, и видите? — чх, чх! — искренне умиленной улыбкой он приглашает всех подивиться вместе с ним необыкновенному.

Но это, конечно, мелочи по сравнению с тем, что происходит с Гекубовым, когда он заболевает гриппом или еще чем-нибудь мало-мальски серьезным. Надо видеть, с каким самобережением укладывается он в постель, как возмущенно взглядывает на неповоротливую жену и шумных детей.

— Папа болен, папа болен! — нежнейшим дуновением ветерка пролетает из угла в угол их огромной жилплощади. Илларион Пименович часами, не шевелясь, лежит на спине, до подбородка натянув одеяло, и пристально глядит в потолок. Он сосредоточен и вял и похож на статую фараона в учебнике истории. Время от времени в комнату закрадывается супруга: нет ли каких указаний и распоряжений. Иногда, не поворачивая головы, он негромко произносит:

— Жар, Фрося. Как колобок перекатывается. У меня всегда, когда я болею, не все тело горит, а постепенно. Сейчас вот в боку остановилось. Вот, вот, покапало. Ик! Икнул, Фрося! Ты слышала? Я всегда икаю, если температура.

Врача он не отпускает от себя, пока с тем не случается истерика.

Увлечение собой не мешает Иллариону Пименовичу выкраивать время для исполнения служебных обязан-

ностей. В управлении ЖЭКов он на хорошем счету. — Видите, — объясняет он посетителям. — Я написался на вашей жалобе, и вот тут образовалась закорючка. Я всегда, когда нервничаю, ставлю такую закорючку, а обыкновенно ее не бывает. Понимаете!

Ошеломленный посетитель все понимает, ничего больше не требует и мирно удаляется. Однажды в красном уголке ЖЭКа обвалился потолок и осколками поранило двух забредших туда старушек. Для разбора происшествия прибыла исполкомовская комиссия. Сопровождал ее и давал пояснения Илларион Пименович.

— Потолок обвалился от какого-то сотрясения, — мыслил он вслух. — Сам по себе он обвалиться никак не мог. Совсем новый потолок. Вот тут сидели старушки наши, общественницы, а вот здесь я обычно нахожусь.

Объясняя, Гекубов размахивал рукой и любовался, как гибко она у него двигается, вверх, и вниз, и в сторону. Он не решился обратить внимание комиссии на свою руку, но сам незаметно увлекся, и поэтому на следующий вопрос председателя комиссии ответил замечательно. Председатель спросил с коварным подтекстом:

— У вас, Илларион Пименович, везде такой образцовый порядок? — Видимо, он имел в виду поломанные стулья и пианино, опиравшееся одной половиной на стопки старых журналов. Гекубов ответил:

— За весь в целом организм сейчас ответить не могу, а руки и ноги двигаются превосходно. Я всегда, когда просыпаюсь, делаю для них утреннюю зарядку. Раньше на левой ступне у меня было плоскостопие, но теперь оно исчезло.

Гекубов снял ботинок и продемонстрировал комиссии плавный и высокий изгиб нижней части левой ноги.

— Любопытно еще вот что, на левой ноге волосы у меня гуще растут, на икре, чем на правой.

Председатель не стал дожидаться, пока Гекубов задерет штанину, и увел всю комиссию обратно в исполком. В справке он написал, что управдом производит впечатление человека, выбитого несчастным случаем из колеи, и ему требуется, видимо, немедленное санатор-

ное лечение. В общем же, дом нуждается в капитальном ремонте.

Неудивительно, что такой человек не заметил, в каком состоянии возвращался из аптеки Верховодов. Однако по иронии судьбы именно он оказался последним свидетелем, беседовавшим с Петром Иннокентьевичем. И к нему же прибежала соседка Верховодова по лестничной площадке — пенсионерка Акимовна. Она явилась на дом к управдому в субботу около полудня и с испуганным лицом заявила, что по ее мнению, с подполковником что-то «исделалось». Утром он не вышел на свою обычную прогулку за газетами и не отвечает на звонки в дверь. Она звонила ему четыре раза, первый раз около часа назад.

— Ну, спит человек, — предположил Гекубов, которому никак не хотелось прерывать субботний отдых. — Я всегда, когда сплю, ничего не слышу. Хоть из пушек вокруг пали. Вон Фрося может подтвердить.

— При чем тут вы, Илларион Пименович, — старая Акимовна вся дрожала. — Он в шесть утра обычно на ногах, и ходит по комнате, и ходит. Уж я-то знаю. Сколь лет соседствуем.

Гекубов уразумел, что старуху не унять.

— Никакого покою от людей нету, — пожаловался жене. — Мне сверхурочные не платят, между прочим.

Все-таки он пошел с Акимовной, событие его заинтересовало. Во дворе к ним присоединилось еще два-три человека из числа близких уличных приятелей Верховодова. Среди них был и Федор Мечетин, постоянный оппонент Верховодова по вопросам охраны окружающей среды. Мечетин считал, что чем быстрее всю природу сотрут с лица земли, тем больше будет пользы человечеству, потому что тогда оно наконец-то протрет забубенные больные зенки и возьмется за дело.

— На голой планете напляшутся, — злорадно изрекал Федор Мечетин. — Пусть, пусть! Устроят себе вселенскую танцплощадку из бетона.

Мечетин был стихийным врагом научно-технического прогресса и в своем осуждении меры не знал. Он даже отказался установить у себя в квартире телефон, и повлиять на него не сумели ни дети, ни внуки, ни домовая общественность. В пылу разногласий

Петр Иннокентьевич иной раз обвинял Федора в махровом сектантстве, но был неправ. Мечетин в бога не верил.

— То-то и плохо, что бога нет, — сокрушался он. — Нет его, батюшки, и остановить некому обезумевшего человека. Несется он сломя голову к своей гибели. Напридумывали игрушек, какими шар могут в пыль развеять. И развеют, мы еще дождемся с тобой, погоди. Обязательно дождемся. Я нарочно дождусь. Ты, старый чурбан, кусты с палкой охраняешь и мыслишь—герой... Нет, ты не герой, а чурбан, пень на опушке. Люди себя опередили, от сердца своего бегом оторвались. Сердце людское отдельно живет и дышит, и уж теперь не угонится за убегающим человеком. Ум остался, сердца нету. Это страшно представить, что творится. Словно мир весь целиком в горячке бьется. А ты кустики охраняешь. От кого, зачем? Руби все под корень! Может, на голом, обнаженном пространстве люди-то и прозреют, убедятся, как их мало и необходимо всем друг за дружку придерживаться.

— Ты злостный человек, Мечетин Федор. Как же ты всех людей в одну кучу свалил? Где ты прежнюю жизнь прожил? Ничего не понял.

Федор Мечетин — горячий человек, но в спор вступал не со всяким. Верховодова он специально по утрам караулил, чтобы отвести душу. Душа у него болела от усталости и предчувствий. Верховодов ему втолковывал доброжелательно:

— Самые вредные и опасные такие шарашники, как ты. Я всего один пускай куст спасу — это польза, реальная польза. Ты же ни одного деревца от беды не заслонишь, зато с толку сто человек собьешь. Юродивый ты, Федька, какие раньше на площадях слепой народ мутили. Провокатор, если хочешь.

— Докажи!

— Ты сам про себя знаешь. Люди истинной души имеют цель, и сердце они не потеряли. Они мир оздоравливают, которому ты конец предрекаешь. Ты, Федор, паникер, и на фронте тебя бы под трибунал отдали. Я бы сам и отдал.

— Умеете ярлыки вешать, помню.

Верховодов бледнел до синевы, лицо его опускалось, как падающий сумрак. Эти стычки ничем не кончались

и затухали внезапно, когда оба утомлялись от крика. Предмет их перепалки был понятен далеко не всем, но они-то оба хорошо знали, о чем речь. С незапамятной поры начали они этот затянувшийся диспут. Для посторонних их слова могли показаться попросту бессмысленным стариковским бредом. Но только не для них. Они разговаривали друг с другом так, словно по очереди на сходке читали прокламации. И там, в этих никем не написанных прокламациях каждое лыко было в строку. Они разговаривали о таком давнем, но по-прежнему таком важном, что заставляло вздрагивать их подсушенные временем сердца.

Нынешним субботним утром Федор Мечетин, как всегда, стерег Верховодова на углу дома, да так и не дождался. Это его не насторожило, мало ли что могло быть: уехал куда-нибудь или заболел. Но когда мимо просеменила утиным галопом Акимовна и на ходу сообщила, что Верховодов дома и не отпирает на звонок, Мечетин обеспокоился. Конечно, он представил первое, что можно представить, услышав про семидесятилетнего не слишком здорового старика, что тот не откликается на вызов. «Загнулся, что ли?» — подумал Мечетин и испытал сначала нечто вроде облегчения. Как же, свидетель многих его крамольных, в пылу полемики высказанных суждений благополучно покинул земную обитель. «Помер», — повторил про себя Мечетин и с недоумением оглянулся по сторонам. Ничего не изменилось. Дома стояли на обычных местах, прогуливались по зеленым дворовым скверикам мамыши с детишками, мужчины забивали в козла за одноногим столом. Но ему, Мечетину, не было теперь надобности здесь находиться. Некого ему было ждать, если с Верховодовым случилось это. Куда же пойти? А пойти-то было и некуда. Во всем Федулинске у Мечетина был только один собеседник, и если его не будет, то что же... Федор Мечетин почувствовал ознобную пустоту. «Почему же обязательно помер? — подумал Мечетин, выкарабкиваясь из пустоты. — Надо сперва проверить. Вчера я видел Верховодова утром, он был в полном здравии, хотя и мерклый. Что он мне сказал? Ах, да. Он меня спросил: «Все злобствуешь, Федор?» А чего я ему ответил? Вроде ничего. Ну да. Я сегодня собирался ему ответить, да вон как оно поворачивается».

Мечетин не мог зайти к Верховодову самостоятельно, не те у них были отношения: в случае, если Петр Иннокентьевич живой и произошла ошибка, он бы подумал, что Мечетину позарез необходимо с ним повидаться. Федор Мечетин был горд и не искал ничего расположения. Он терпеливо ждал. К нему присоединились двое безымянных доминошников, нюхом учуявшие, что происходит необыденное. Такой компанией во главе с управдомом Гекубовым они и поднялись к квартире Верховодова.

— Звони! — велел Гекубов старухе. И тут же сам нажал кнопку. Звонок у Верховодова был оглушительный, старинный. На лестничной клетке он отдался звонким эхом, возносясь, возможно, под самую крышу. Гекубов позвонил несколько раз, остальные прислушивались, затаив дыхание. Изнутри никакого движения, шороха — тишина.

— Нету дома, — умно определил Илларион Пименович.

— Дома он, дома, — запричитала Акимовна, — я знаю, что дома. Никуда не выходил.

— Как ты можешь это знать, если он тихонько вышел? Что ты, старая, чушь мелешь?

Акимовна упрямо уверяла, Верховодов там, в квартире. Она тыкала пальцем в дверь и беспомощно повторяла:

— Там, Петя, там. Нигде больше. Померший он.

Федор Мечетин отстранил управдома и забарабанил в дверь кулаком с такой силой, что с косяка сыпнула белая пыль.

— погоди, — остановил его Гекубов. — Надо тогда слесаря искать...

Акимовна вызвала из своей квартиры племянника, двенадцатилетнего пионера Вадика. Отправили его за слесарем, который проживал в соседнем подъезде на шестом этаже. В ожидании слесаря мужчины закурили. Дым синим облаком скопился под потолком.

— Вчера-то ты его видела? — спросил управдом у Акимовны.

— Как же не видеть. Днем мы с ним разговаривали. Он на обед печенку себе готовил, обратился ко мне за подмогой. «Скажи, Акимовна, чем заправляют печень-то?» Я ему все обсказала, к нему заглядала, — старуха

стрельнула глазами, — посуду ему помыла, подмела. Сердце у него еще днем покалывало. Он думал, погода переменится.

— Да, — вспомнил Илларион Пименович, — он и мне про погоду говорил. Я сам всегда, когда погода меняется, чувствую. Рука левая у меня онемевает и торкает. Жилка в ней, в кисти, играет перед переменной погоды. У меня левая рука лучше барометра. Только вот не указывает, какая именно перемена: жара либо холод.

Слесарь явился быстро — интеллигентный парень в дымчатых очках, со спортивной сумкой через плечо, студент-заочник технического вуза Юрий Печенкин. Управдом гордился своими кадрами и подбирал их со вкусом.

— Что случилось, Илларион Пименович? — По голосу Юры Печенкина было понятно, если что и случилось, то с одним его приходом всякие трудности снимаются и теперь все могут быть спокойны. — Эту дверь открыть? Минутку терпения.

Он распахнул свою сумку и стал доставать инструменты, каждый внимательно разглядывая: плоскогубцы, отвертки, электродрель, всевозможные щипчики, ножницы, мотки проволоки, молоток и так далее. В мгновение ока коврик перед дверью превратился в выставочный инструментальный стенд. Все инструменты были новенькие, прямым со склада, некоторые отливали желтым смазочным маслом. Дело в том, что слесарем Юру Печенкина назначили всего месяц назад по рекомендации-просьбе одного влиятельного знакомого Гекубова, и он еще не успел толком ознакомиться с новой профессией. До этого Печенкин подвизался ночным сторожем на складах вторсырья, работал через двое суток на третьи, и это его вполне устраивало. Весной при переходе с третьего курса на четвертый в институте с него неожиданно потребовали справку, что он работает по смежной специальности. Ночной сторож им не годился, а слесарь устраивал вполне. Слесарь должен уметь разбираться в чертежах и вообще близок к индустрии. Юре Печенкину пришлось обратиться за протекцией к своему дядюшке, и тот устроил его в ЖЭК. Такая обычная житейская история. Оказалось, что на новом месте у Юры остается еще больше времени для занятий. В

уютной конторке он сумел оборудовать маленькую научную библиотеку, куда перетекло много учебников из городской. Телефон Юра обычно днем отключал и спокойно занимался. Иной раз за ним прибегали с просьбой починить кран или заткнуть протекающий унитаз. С грехом пополам, опираясь единственно на природную смекалку, Юра чинил и затыкал. Если же поломка оказывалась серьезной, он объяснял, что дело пахнет керосином и требуется вызывать специалистов из Горремонттреста. И оставлял тамошний телефон. Из Гортреста приходили безотказно. У них имелись и новые краны, и унитазы, и стойкое желание помочь за определенную мзду. Юра легко вошел в контакт с тамошними деловыми людьми и действовал так ловко, так умело подготавливал жильцов к необходимости вскоре раскошелиться, что однажды ребята из Гортреста пригласили его в ресторан. Он наотрез отказался, считая это безнравственным.

Перед запертой дверью Печенкин оказался в крайне затруднительном положении и уповал единственно на поговорку: смелость города берет.

— Свету мало, — сказал он солидно, ни к кому не обращаясь в отдельности. — Но ничего, справимся...

Затем посовал в замочную скважину отверткой и медной проволокой. Проволока согнулась, и он со скрежетом вырвал ее из двери.

— Трудный замок. Наверное, с секретом... — Юра оглянулся, — и розетки нет для дрели. Можно бы его выпилить.

Ему никто не ответил, и он почувствовал себя неуверенно и одиноко, как на экзамене.

— Ее выбить легко, — авторитетно подсказал пионер Вадик, — одним ударом.

— Ты откудова знаешь? — накинулась на него Акимовна. — Тебе об этих делах и думать нечего. Ступай домой!

— Правильно, — поддержал мальчика Федор Мечетин, — двери на соплях навешивают.

Управдом с укоризной смотрел на слесаря Юрия Печенкина, вернее, на его согнутую спину, потому что тот, загородив собой дверь, чем-то ковырялся в скважине. Оказывается, он загнал в дырку собственный ключ от квартиры, там его провернул и теперь тщетно

пытался извлечь. Наконец, всунув в отверстие ключа конец отвертки, он резко нажал и с хрустом отломил половину ключа. Теперь из скважины торчал острый металлический обломок.

— Как же я к себе домой попаду? — спросил слесарь у Гекубова. — Родители в отпуске, а сестра с мужем на даче.

— Живи здесь, — мрачно пошутил Гекубов. — Сколько времени зря потеряли. Мне обедать пора. У меня всегда, когда я обед пропускаю, сильно в животе бурчит! Слышите?

Действительно из недр управдома раздался характерный звук, словно кто-то дернул ручку унитаза. Федор Мечетин решился. Отстранив слесаря, он с короткого разбега врубился плечом в дверь. Мощный был мужик, с первого раза сбил замок. Потом аккуратно снял дверь с петель и прислонил ее к стене. Жутковато и безобразно зиял вход без двери в обжитую квартиру. Люди теснились, подталкивали вперед управдома.

— Если хозяин в отлучке, придется отвечать за взлом, — рассудил один из доминошников, видимо, подписчик журнала «Человек и закон».

— Дома он, — шепотом, с придыханием сказала Акимовна, — там он, в комнате.

Она вошла первая, за ней пионер Вадик, потом остальные. Верховодов разметался на кровати, согнувшись, подтянув колени к животу. Одна рука его свесилась к полу, где валялись осколки хрустальной рюмки. Лицо глядело на вошедших. Голова не на подушке, а на краю панцирной сетки, с которой почему-то задралась матрас и одеяло. Наверное, Петр Иннокентьевич хотел или поставить рюмку с водой или нес ее ко рту, потянулся к тумбочке. Казалось, перед смертью Верховодов плакал, потому что лицо его по щекам перечерчивали две тоненьких полоски. Шевелились листы бумаги на столе, тикали настенные ходики. Федор Мечетин подошел и остановил часы. Акимовна заголосила.

— Надо ему глаза закрыть, — вспомнил Юра Печенкин. — Такой обычай.

Федор Мечетин приблизился, поднял Верховодова за плечи и устроил его поудобнее. Провел пальцами по затвердевшим векам, придержал. Отпустил, и веки с жестяным шорохом вернулись на место. Пионер Вадик не

выдержал, выскочил из комнаты. Слесарь Печенкин лихорадочно крутил диск телефонного автомата.

— Живет человек, — проскрипел Илларион Пименович. — А потом умирает.

Акимовна, начав с низких нот, постепенно перешла на верхний регистр. Она выла как собака, у которой умер хозяин. Кто он ей был, Верховодов?

— Тебе кто он был? — грубо спросил у нее Федор Мечетин. — Чего ты душу-то из себя вынаешь. Мне он другом был, лучшим. А тебе кто? Сосед, и все.

Юра дозвонился до «скорой помощи», но никак не мог назвать адрес. Он у всех спрашивал: «Адрес, какой адрес?» И в трубку: «Минутку, пожалуйста». Мечетин отнял у него телефон и четко продиктовал улицу, номер дома и квартиру. С той стороны что-то спросили, и он буркнул:

— Не мое дело. От старости, от чего еще.

Верховодов Петр Иннокентьевич наблюдал всю эту суету и неразбериху стеклянными мутными глазами. Он не жалел о том, что умер, потому что очень устал в последнее время. Там, в тишайшем мраке давно дожидаясь его солдатик Прутков и еще многие, с которыми ему хотелось бы повидаться. Родные люди, оставившие его одного. Он честно, до конца выполнил свою земную задачу, никого не подвел, и виду не подавал, как ему опостылело быть одному. Осиротели в этот день федулинские парки, речка Верейка, лесные опушки. Что ж, придет скоро другой на его место, старый или молодой, неважно, придет защитник. А Верховодов покинул город и землю.

— Побудь до врачей, Акимовна, — сказал Гекубов, — поплачь, это ничего. Я, пожалуй, пойду. Мочи нет оставаться. У меня всегда, когда я покойников встречаю, в груди жмет.

На улице Гекубова окружили любопытные соседи. Слух о смерти Верховодова быстро распространился. Управдома затормошили, задержали.

— Умер точно, — зычно объявлял он всем. — Живет сначала человек, потом умирает.

Ему хотелось, но никак не удавалось до конца додумать одну неприятную заполошную мысль, которая не первый раз приходила ему в голову. Злодейская эта мысль имела свойство нагряться в самую неподходя-

шую минуту и чаще всего разгоралась, когда он прихварывал. «Значит, что же, — ворошилась мысль, — все, значит, так просто и обыкновенно. Не только для меня лично это пустое, а вот для этого изумительно сконструированного организма, который спит, икает, распрямляется. Как это несправедливо».

Сложность мысли для полного додумывания была в том, что начало у нее имелось самое простое — необходимость для каждого человека умереть; середина, перечисление всевозможных утрат, которые принесет смерть, затягивалась до бесконечности, распирала мысль словно резиновую — поэтому конец ее, логическое завершение и оправдание мысли никак Гекубову не давались. Илларион Пименович и в общих чертах не мог предположить, какой конец он хотел найти для тягостной мысли о бренности бытия, но не сомневался, что обязательно есть нечто утешительное, предназначенное только ему и никому другому.

В комнате Верховодова под вой старухи Акимовны он почти ухватил что-то, почти обрадовался проклюнувшейся, дернувшей его за нос догадке, но опять в последний момент прозрения отвлекся и упустил удачу. Когда же сосредоточился, было поздно, в голове мельтешила одна только прозаическая не мысль даже, а мыслишка: «Ну вот, товарищ освободил отдельную квартиру». И тут же он стал прикидывать, кто из его знакомых может претендовать на жилплощадь Верховодова. Грешным делом вспомнил своего двоюродного племянника, недавно приходившего к нему со слезной мольбой и грозившего в случае отказа наложить на себя руки прямо в домоуправлении...

Пионер Вадик сидел на диване и листал свежий номер «Крокодила».

— Мама, — сказал он, — знаешь, дядька ему веки опустил, а они как щелкнут. Страшно!

— Нечего тебе было туда соваться. Сейчас пойду бабушку приведу. С ее ли сердцем там высидивать.

— Мама, неужели люди всегда будут умирать?

— Не говори глупостей, сынок. Не маленький.

Слесарь Юрий Печенкин помогал санитарам. Верховодова завернули в простыни и понесли втроем. Печенкин поддерживал ноги. Они были мягкие и продавливались ему на руки.

«Ах ты хлюпик, — ругал себя студент-заочник, — сколько же в тебе слизи. Не годишься ты, брат, на крупные дела. Одинокий старик умер, а тебе противно его нести. Тебе, гаду, тошно. Порядочная ты, оказывается, мразь, Юрий. Недаром тебя красивые девушки старательно избегают. Слесарь-недотепа, дверь не сумел отпереть».

Они загрузили Верховодова в санитарную машину, никто не сказал Печенкину «спасибо», никто не кивнул на прощание.

«Газик» зафыркал и укатил.

«Больше старик домой не вернется, — подумал студент. — Окончен бал. Прощай, человек».

В квартире Верховодова остались Федор Мечетин и старуха Акимовна. Они перешли на кухню. Акимовна утирала уже не текущие слезы, а Мечетин пил из кружки настойку, обнаруженную им на кухонной полке.

— Выпей, Акимовна, за упокой, — предложил Мечетин. — С глотка плохо тебе не станет.

— Господь с тобой! Я этого зелья на дух не выношу.

— Что так?

— Пили вокруг меня много, всю мою жизнь вино коверкало. Муж пил, братья пили — себя и здоровье пропивали. Я бы ее всю в океан вылила, разом всю, сколь ее ни есть на свете.

— Да, женщины много обид на вино держат.

— Он, Петр Иннокентьевич, не пил и человеком прожил.

— Хорошего человека, Акимовна, вино не ломает, крепче на ноги ставит.

— Неправда ваша. Никому она не на пользу. Только деньги на нее зря переводят. Я все гадаю, старая дура, почему бы ее враз не отменить, не продавать ее и не делать. На бумаге борются с ней, а в любом магазине — хошь залейся. Невыгодно, наверное, кому-то ее совсем изгнать.

— То-то что невыгодно. Да и пробовали уже запрещать. В Америке. Привыкли людишки пить. Без вина уже не могут. Отмени водку государство — будут самогон жрать.

— Чего ж в ней хорошего-то есть, в проклятой?

— Вино приносит забвение, Акимовна. Этого женщины не разумеют.

— От чего забвение-то? От какой холеры, что ли? Бог дал жисть, чтобы ею радоваться, а не забывать ее. Вон, смерть пришла к Петру Иннокентьевичу, он и забыл все, и солнышко для него померкло, и ночной покой ему недоступен. Пьяницы-то каждый божий день умирают. Зачем это надо? Нальют бельмы и ходят, озираются, всех задевают.

— Я и говорю, что женщины не разумеют. От слабости, конечно, пьет человек, от горькой слабости. Разум его вверх манит, к золотой мечте, а слабость к земле гнет, давит. Противоречие!

— Женщины, видно, обижали тебя?

— Кто только меня не обижал, Акимовна. — Мечетин вздохнул, долил в кружку. — Да я и сам многих обидел. Жена моя — хорошая, добрая женщина, какое ей счастье всю-то жизнь со мной маяться. И ее я обижал крепче других. Под рукой была. Молодой ревновал — поколачивал. Один раз вечером где-то она задержалась. Может, у подруги. Я ее встретил у дома и, ни слова не молвя, — раз в ухо. Она пала на тротуар, лежит. Меня бесы дерут, жду, когда встанет, чтобы влругорядь ей приварить. Я ведь уверен — от любовника она спешит. Встала, лицо в крови, но не плачет, просит: «Феденька, прости, не виновата!» — «Не виновата, за что прощать?» — «Не знаю, прости, за что бьешь». Было, было! Буянил, дрался, переворачивался вверх дном. Теперь самому впору прощенья просить. А у кого? Кто меня теперь поддержит.

— У бога проси, он помилует.

— Так нету его, Акимовна. Раньше был, а нынче его как раз и отменили. Водку оставили, бога отменили. Забавно.

— Бога нельзя отменить... Я по глазам твоим вижу, тяжко тебе, а бог и у тебя есть. Не отрицай его понапрасну.

— С покойником мы часто об этом толковали. До конца жаль не договорили, не успели. Что ж, Акимовна, плачешь ты о нем, а ведь он бога не признавал. Его бог — револьвер да трибунное слово. Чего ж так жалеешь об нем?

— Хороший человек Петр Иннокентьевич, вечная ему память. Он бога не признавал, а бог сам его нашел и в нем пребывал. Это умом не осилить. Кто с душой

живет, тот и с богом. Мы, старушки, в церкву ходим, так и то не все с богом в ладу. Некоторые уж злые какие ведьмы. Они бога обмишуливают и надеются, что обман ихний ему неведом. Хитростью, тайной злобой живут, хуже пьяниц. Я их боюсь. Петра Иннокентьевича никто не боялся, ни дети, ни женщины. Хоть он, пушай, как ты скажешь, с револьвером. Все одно, не страшный. Вот тут тебе и есть бог, ежели возле человека страха нет, лишь покой и приветливость.

— И во мне ты бога видишь?

— Вижу, да.

— Ну спасибо, старая, утешила. Было я уж забеспокоился.

П. И. Верховодов — прощай, прощай, прощай!

6

Годы быстро проходят, они не меняют нас. Я и теперь, когда мне далеко за тридцать, такой же, как и прежде, как в десять лет, как в двадцать, как в двадцать пять. Только иногда мне чудится, что я зажился на свете и многое стало скучно, и — нелепое свойство ума — то, что скучно, жалко до слез терять.

В двадцать лет я был гением, великие перспективы ожидали меня. Кто я теперь? Пролетарий умственного труда, один из многих, а имя нам — легион.

Переходить из гениев в рядовые работники — то же самое, что переселиться из светлого дворца в подвальное помещение без туалета.

Мое поколение, во всяком случае большинство из тех, кого я хорошо знал, в том числе и Афиноген Данилов, привыкли обо всем рассуждать с солидной долей иронии и некоторого скепсиса. Мы часто норовим поиздеваться над тем, что боготворим, и над теми, кого любим. Издевательства потом всегда обращаются против нас. Расплата за все дурное, что мы делаем и говорим, неизбежна, это закон, которому мы все болезненно подчиняемся, хотя трудно сразу поверить в существование такого неписаного закона.

За издевательства, за измену, себе ради красного словца, за низкие поступки должна быть расплата, и она наступает рано или поздно. Простой пример. Од-

нажды я замахнулся, походя, на дворовую собаку, чего-то там такое был не в настроении. Замахнулся и... забыл. В другой раз хотел ее наоборот в приливе общительности потрепать по спине, а она меня тяпнула за руку. Мало того, пока я тащил ее на ветеринарный пункт, дабы освидетельствовать на предмет бешенства, она, лохматая шавка, еще раз укусила меня за ногу. Врач-ветеринар сказал — абсолютно здоровая и уравновешенная псина. Тогда уж я вывел ее на улицу и в свою очередь с ней расплатился — дал ей такого сокрушительного пинка, что скорее всего опять оказался у нее в долгу.

Это случай житейской незамысловатой расплаты. Чтобы оплатить более тонкие и сложные счета, надо иметь чувствительное сердце и добрый ум. Человек, который расплачивается, — это благородный человек, он ведет запись своих долгов.

Часто нам приходится расплачиваться за близких, даже за тех, которых уже нет в живых. Дети наши будут отвечать за чужие ошибки тоже. И к этому следует относиться серьезно, без ужимок и иронии. Расплата одинаково настигает и гениев и недоучек. Кому из них легче — неизвестно. Избегнуть угрызений совести, невыносимых мук стыда удастся немногим, тем, кого, может быть, и не стоит называть людьми...

7

Афиногена преследовал счастливый сон, расплывчатый, поскребывающий каждую клеточку его тела. Сон — состояние. Чье-то милое лицо приближалось к его лицу, чье — непонятно, но бесконечно дорогое. Он никак не мог освободиться от мучительно-нежных бесплотных объятий. То ли он плыл, то ли парил где-то невысоко. Постепенно сон переместился в правую руку, докатился до ладони и в ней, в правой онемевшей ладони сосредоточился целый мир. Правая рука и ладонь теперь были Афиногеном Даниловым, а все остальное в нем служило придатком к руке. Он попытался пошевелиться, спасти свою руку, но тщетно. И мозг его переместился туда же, в ладонь, и оттуда слепо выглядывал наружу, пытаясь разобраться, что с ним происходит. Он видел все: свою голову, грудь, ноги, левую

руку, но не правую ладонь, потому что и глаза его уже были там, между пальцев и не могли развернуться сами на себя. И все-таки состояние его было хотя и чудовищно нереальным, но не жутким. Тем более что чуть спустя все переместилось на свои места, только глаза застряли где-то под ребрами, там, где солнечное сплетение, теперь правая рука, пожалуйста, видна со всеми бугорками и прожилочками, зато часть живота исчезла из поля зрения. «Пора, пора проснуться», — подумал Афиноген во сне и проснулся. Рядом сидела Наташа и ему улыбалась. Кисунов читал газету. Воскобойник спал.

— Невеста! — сказал Афиноген. — Ты уже здесь? Сколько же сейчас времени?

— Пять часов. Без трех минут.

— Наталка, мне стали сниться физиологические сны. Посмотри, глаза на месте?

— У тебя что-нибудь болит?

— Нет. Но я только что расчленился во времени или в пространстве. Никак не разберу. Проклятая больница. Нечего тут делать нормальному здоровому человеку...

Афиноген поправил сползшую с плеча рубашку. Пошевелил под одеялом ногами, подвигался. Кисунов сказал:

— Спите вы, Гена, как сурок. Девушка битый час около вас дежурит.

— Ты, значит, давно здесь?

Наташа молча налила в стакан какого-то соку и протянула ему. Он выпил залпом. Хмурая, будто тоже со сна, вошла с градусником медсестра Люда.

— Все время я из-за вас, Данилов, порядок нарушаю. Пустила вон к вам...

В присутствии Наташи она конспиративно перешла на «вы».

— А кто к тебе ходит, Гена?

— К нему многие прибегают, — обрадовалась случаю сказать двусмысленность Люда. — Все такие настырные. Как будто тут не больница, а театр.

— Люда, — сказал Афиноген, — позови ко мне товарища Горемыкина, хирурга.

— Товарищ Горемыкин придет к вам в понедельник.

— Я хочу домой.

— Все хотят домой.

— Кисунов не хочет. Вы ведь не хотите, Вагран Осипович?

Проснулся Гриша Воскобойник, но не по собственной воле. Люда сунула ему градусник под мышку и, видно, не удержалась, поозоровала, потому что, проснувшись, Гриша начал корчиться и хохотать. Люда давно отошла к дверям, а он все не утихал, наслаждался, не открывая глаз.

— Проснись! — сказал ему Афиноген, боясь, что в очумелом состоянии Воскобойник что-нибудь отмочит неприличное. — У нас гости в палате.

Воскобойник увидел Наташу и прервал пляску. Только спустя несколько минут он сказал официально:

— Простите, девушка, мой вполне неуместный гогот. Я думал, тут одни мужики. Кстати, как ваше имя?

— Ее зовут Наташа. Это моя жена.

— Знаете, Наташа, вот эта сестренка, Людмила, она чеконутая. Которая градусники приносила. Она вообще-то за Генкой ударяет, но тут в вашем обществе решила на меня перекинуться. Кисунов! Ведь она у меня три волоса выдрала из подмышки. Это как стерпеть? У сонного.

— Гриша, воздержись, — попросил Афиноген, — от подробностей. — Он и обрадовался, что Наташа не смутилась, и огорчился от того, как она безмятежно улыбается; приглядывался к ней с особым вниманием. Эта девушка будет его женой, а что, собственно, он о ней знает: какая она, какой у нее характер, чем она озабочена. То, что она позволяла ему обнаружить в себе, — несерьезно, мало. Она показывала ему товар лицом или считала, что показывает себя с наивыгоднейшей стороны. Или никак не показывала — что самое редкое. «Я подумал про Наташу словом «товар», — вдруг спохватился Афиноген, — но раз я так смог про нее подумать, люблю ли я ее? В самом ли деле люблю?»

Наташа перешучивалась с Воскобойником, угощала персиками Кисунова, бросая быстрые, счастливые взгляды на Афиногена. «Так ли я себя веду? — спрашивал ее взгляд. — Тебе нравится?»

«Нравится, — уныло взглядом отвечал Афиноген, — как же не нравится. Любому понравятся твои сияю-

щие очи, твое божественное чистое тело, твой ласковый смешок. Надолго ли хватит?»

— Наташа, — сказал он, — ты выйди на минутку. Ребятам одеться нужно.

Наташа вспыхнула, жалобно, остро взглянула на Воскобойника, который ей в ответ пошевелил ушами.

— Да, да... вы извините. Я заболталась, — и шмыгнула за дверь.

— Девка — во! — одобрил Гриша Воскобойник. — Куда там, а, Кисунов? Ты какую даешь сам оценку?

— Мне ее очень жалко.

— Чего?

— Трудно ей придется с Геной. Он грубый, кроме себя никого не замечает... Как это можно так девушку прогнать, как он сейчас, — все равно что пощечина.

— Вы правы, Вагран Осипович, — сказал Афиноген.

— Этой чудесной девушке от твоей правды светлее не будет.

— Опять вы правы, Вагран Осипович.

— Скажите, Гена, только без обиды. Почему от любых ваших высказываний пахнет цинизмом?

— Ладно вам, — вступился Воскобойник. — Давай, Ваграныч, кидай на себя халатик пошустрее, запахивайся. Чего ей там маячить в коридоре.

— Я не знаю, как вам ответить, — миролюбиво заметил Афиноген, — лишений мы мало испытали. Благополучие портит человека, он делается самоуверенным. Вот и я такой. Все мне легко давалось, всегда сыт, одет. Выработался комплекс полноценности. Благополучные поколения всегда эгоистичны. За это, как правило, расплачиваются следующие поколения.

— Опять цинизм.

— Я правду говорю, какой там цинизм. Выть хочется. Мне эту девушку больше вас жалко. Какой из меня, правда, муж. Как кисель из одеколona.

— Не понял.

— Пойдем, Ваграныч, пойдем, — позвал Воскобойник, — не задерживай движение.

Афиноген слез с постели, натянул брюки, которые ему удалось-таки отстоять.

— Чему вы улыбаетесь? Чему вы все время улыбаетесь? Ну, чему?

Кисунов разошелся не на шутку. Афиноген ему не ответил, вышел в коридор. В приемные часы здесь было многолюдно. Пахло домашними пирогами, фруктами, цветами. Некоторые больные мужчины хитро озирались. Этим понятно, что принесли. Стульев не хватало. Хворые сидели, а родственники и друзья большей частью наклонялись над ними, нашептывали какие-то важные известия сверху вниз. Наташа притулилась у подоконника. На нее оглядывались. Увидев Афиногена, рванулась навстречу — благослови всевышний стремительность юных сердец.

— Зачем ты встал, Гена. — В голосе сострадание, укор. Он повел ее на лестницу между этажами. Но и тут все было занято, в основном курильщиками, к которым никто не пришел. Они стояли молчаливые, с замкнутыми лицами, как гладиаторы перед выпуском на арену.

Спустились на первый этаж, минуя входные двери, очутились в приемном отделении. Здесь было пустынно и пахивало карболкой. Афиноген достал сигареты, закурил.

— Садись, Наталка. Докурю сигарету, и примемся целоваться.

— Гена, скоро папа с мамой придут.

— Не придут. Они на Урале.

— Мои папа с мамой.

— Заболели, что ли?

Наташа помрачнела, насупилась.

— Я думала, теперь у нас все пойдет по-другому, по-хорошему... Ты не бережешь меня, Геночка, совсем не бережешь. Лупишь и лупишь.

Афиноген усовестился.

— Пойми, Натали, в таком виде предстать перед родителями... Не стоит. Да и к чему спешка? В понедельник выпишусь, сам к вам приду... Ты все им доложила?

— Да.

Он молчал.

— Прости, Гена. Я не могла. Не сумела... Но я сказала, что это не окончательно, что просто так...

— Временно?

Наташа тоскливо изучала стенку перед собой. Все эти дни она была сама не своя. Варила, стирала, бега-

ла по магазинам. Сегодня притащила еды в двух сумках при экономном раскладе на всю больницу. В тумбочку не влезло, и она расставила баночки с вареньем, бутылки с соками на подоконнике, задернула занавеской, чтобы сестра или врач не сразу заметили. Она еще собиралась попросить у Афиногена ключи и прибраться у него в квартире. И вот он разговаривает с ней как с преступницей: холоден, равнодушен, зловеще острит. Она поделилась с матерью, да, а мама сообщила отцу. Ничего особенного. Или он хотел оставить их помолвку (так она называла про себя случившееся) в секрете? Почему? Неужто он способен так пошутить над ней? Конечно, способен. На что он интересно не способен?

Она страдала несказанно. Одно соображение утешало ее. Не мог же Афиноген прийти к ней еле живой после операции единственно ради злой шутки. Нет, не мог. Человек на такое не решится. Или мог?

— Гена, ты передумал? Скажи, не бойся. Я не умру от этого. Скажи мне сам, сейчас. Ты передумал?

— Глупости, Талка! Как же я передумал? А зачем тогда мы женимся?

— Геночка, миленький... Ты говоришь со мной, словно мы сто лет вместе, и я тебе давно наскучила. А я ведь еще не твоя жена, и никто...

— Ух ты!

— Да, никто. Мы ничем не связаны. Ты свободен, Геночка. На тебе нет никаких обязательств. Подумаешь, чирканул бумажку. Это ничего не значит. Вообще, никакая бумажка ничего не значит. Ты это понимаешь не хуже меня.

— Зря ты умствуешь, Натали. Тебе это не идет.

— Это я много раз слышала. Придумай что-нибудь новенькое.

Они сидели боком друг к другу. «Глупо все, пошло, скучно», — думал Афиноген. «Сейчас может случиться непоправимое! — думала Наташа. — Если бы он меня обнял и поцеловал. Тогда бы была надежда». Афиноген вытянул ноги и будто задремал.

— Тебе плохо, Гена?

— Нет, маленькая, мне хорошо с тобой. Ты такая умная, деликатная. Так бы и остался здесь на всю ночь. Останемся здесь ночевать?

— Как хочешь.

— Когда родители придут?

— Они, наверное, уже пришли. Но я могу одна к ним выйти и сказать, что ты спишь. Хочешь?

— Вместе выйдем и скажем, — он не шевельнулся и не изменил позы, сидел, далеко вытянув ноги, с закрытыми глазами.

Наташа подняла его неподвижную, вялую руку, сжала, стала поглаживать пальцы, несмело, медленно. Придвинулась ближе, затаив дыхание, прикоснулась губами к его жаркой влажной щеке.

— Геночка, родненький!

Он резко повернул голову, и губы их сомкнулись наконец. Наташа целовалась исступленно, точно что-то доказывала. Он стиснул одной рукой ее плечи, прижал к себе с такой силой, что косточки хрустнули. Наташа не вскрикнула, не попыталась вырваться, сама подалась к нему, задышала прерывисто, часто, впиалась ногтями в его ладонь. Поплыл вокруг колокольный звон. Афиноген застонал и выпустил ее из рук.

— Больно тебе, миленький, больно, хороший мой... — бормотала Наташа в первом женском забытьи. Тянулась губами, целовала его щеку, волосы, ухо.

— Ната, будем жить у меня, ладно?

— Хоть в лесу.

— Я люблю тебя!

— Повтори еще.

— Люблю маленькую девочку Наташу. Люблю ее сердечко, ручки, ножки, ее смех, ее ум, ее походку. Всю люблю до последнего волосика. Жить без нее не могу, не умею, не хочу... Пропади все пропадом, женюсь... Наташа, можно я выкурю еще одну сигарету?

— Зачем ты спрашиваешь?

— Горя бояться — счастья не видать. Правда, Наташка? Я хочу, чтобы ты была счастлива со мной. Мне ничего не надо — ни славы, ни денег. Я хочу быть твоим мужем... Ночью, Наташа, после операции няня мне рассказала историю своей любви. Я ей позавидовал — это так прекрасно. Ничего нет лучше любви. Только ради нее стоит жить. Правда, Наташа? Ты тоже так считаешь?

— Генка!

— Чего?

— Ты самый лучший человек на свете, но пока это поймешь — рехнуться можно.

— Я не знаю, в чем смысл жизни, — сказал Афиноген. — Я инфантильный. Понимаешь?.. Инфантильный — я тебе объясню, как критики в журналах объясняют, — это человек, который ищет ответы на простые вопросы. Вроде у него замедленное развитие. Считается, самое необходимое мальчикам и девочкам объяснили еще в детском саду. В том числе и про смысл жизни. А кто не понял, это и есть инфантильный. Самое бранное слово, да. Мечутся, мол, поднимают бурю в стакане воды, а чего метаться, когда все ясно. По секрету тебе говорю, я инфантильный и люблю других инфантильных. Которым многое неясно. Ты вон, наверное, знаешь, в чем смысл жизни?

— Знаю.

— Поделись, пожалуйста.

— Я хочу родить тебе сына и дочку, — сказала Наташа и не поморщилась.

— Значит, ты не инфантильная, как я. Это хорошо, будешь мне давать советы время от времени. Вот скажи, например, ты хочешь, чтобы я был молодым и радушным заведующим отделом?

— Конечно, хочу.

— Почему?

— Денег будешь получать много, почет, уважение. Ты сам себя заважаешь и перестанешь искать смысл жизни.

— Какая ты умная, Наташка. Не всякий сразу так сообразит. Действительно, мы о смысле часто задумываемся, потому что нам чего-то не хватает. Денег или славы, неважно. Не хватает чего-то, мало, хочется побольше — и возникает вопрос. Чем больше не хватает, тем больше вопросов... И все-таки я, наверное, не буду заведовать отделом. Хотя мне очень хочется.

— Не будешь и не надо. Другой найдется.

— Черт в тебе сидит, Натали. Зачем другой? Другого не надо.

— Тогда как же?

— Пусть этот.

— Кто?

— Карнаухов — человек простой и целеустремленный.

Наташа вспомнила:

— Мы с его сыном, с Егоркой, вместе учились в одном классе. Так это тебе, Гена, предлагают вместо него быть?

— Не вместо Егора, а вместо отца.

Наташа опечалилась, пальчиком потолкала в бок жениха.

— Геночка, ты не соглашайся... правда. Там какое-то недоразумение. Егор очень переживает. И тоже о смысле жизни задумывается.

— Пошли, — сказал Афиноген. — Не женского это ума дело. Пошли родителей твоих развлекать. Недоразумение... — передразнил. — В таком случае вся наша работа — недоразумение... Только что говорила — денежки, почет, уважение, и вдруг — нехорошо... С сыном она его училась... А если бы не училась — значит, хорошо было бы? Вот женская логика. Еще я тебя ошибочно принял за умную. По-твоему если рассуждать, то выходит — надо погодить, пока человек естественным путем освободит занимаемую должность. Пока он дуба даст. Это, по-твоему, пристойнее? — Они уже шли по коридору, произнося некоторые фразы, Афиноген останавливался и дергал Наташу за руку. — Может, и Карнаухов так считает. Подождали бы, думает, пока сгину. Тогда бы уж место делили, стервятники.

— Если все в порядке, чего ты кипятишься.

Знакомый сторож, который выпускал Афиногена на волю в четверг, возвышался на своем обычном месте у входной двери. Когда они первый раз проходили, его не было, а теперь он был и успел уснуть. Но и спящий он заметил Афиногена, сгорбился еще круче и сделал вид, что потерял сознание.

— Хватит маскироваться, дедушка! — сказал Афиноген. — Нехорошо у больного товар зажимать.

— Я приносил, — сквозь сон пробурчал сторож. — Три пачки «Беломора» приносил. В палате никого не было, я испугался — сопрут.

— И где же они теперь?

— Теперь, конечно, скурил...

— Нехорошо получается.

— Как хошь понимай, но нету, скурил.

Сторож на мгновение приоткрыл зеницы, и оттуда из мрака сверкнула хитрость, непомерная даже для че-

ловека, просидевшего треть жизни у входа в обитель страданий.

— А если я жалобу подам?

— Свидетелей нету. Без свидетелей — пустое занятие... Смеешься ты, парень, над стариком. Сам не станешь из-за рубля шум поднимать. Я же не слепой, людей разбираю.

— Курить-то охота мне.

— На, курни, моих.

Он извлек из недр халата деревянный портсигар и открыл его перед Афиногеном. Там было полно добротных бычков, преимущественно от «Примы» и «Памира».

— Бери, не бойсь. Я незаразный. Нас тут каждый месяц проверяют по анализам.

— Генка, пойдем, — потянула Наташа.

Афиноген выбрал из бычков какой подлиннее, зажег спичку, с аппетитом затянулся.

— Ну, девка. Держись за этого парня. С этим не промахнешься.

— Скажи, отец, ты во время войны где был?

— Чего?

— Где, говорю, во время войны обретался?

— А чего?

— Ничего. Интересно.

Сторож перестал спать, взглянул на Афиногена впришур, с недобрый огоньком.

— Толчи, парень, толчи. Мне на посту не положено тары-бары разводить. Запрещается. Да и делов тебе нету, где я когда обретался. Еще ты сопливый, чтобы этакие вопросы задавать... Про войну-то, небось, у мамки в пузе услышал.

— Зачем ты, Гена, право, пристал к человеку, — сказала Наташа. — Я тебе десять пачек купила «Столичных».

— Купи ему, купи. Не будет на людей кидаться. Ишь, войну помянул, нашелся обозреватель.

Афиноген Данилов улыбался самой своей добродушной улыбкой, той улыбкой которая особенно раздражала пьяных парней на танцплощадке и делала их придиричливыми. Из-за этой доброй, задушевной улыбки частенько попадал он в переплеты. Наташа любила, когда он так улыбался. Она знала, что он о чем-то попросту за-

думался и не может сосредоточиться и скоро выпалит что-нибудь бестолковое..

— Глядите, гражданин, — сказал Афиноген. — Такой простой вопрос вызвал у вас столько эмоций. Надо же.

— Топчи, парень, топчи. Не замай!

Сторож успокоился и снова впал в спячку. На лестнице Наташа спросила:

— Откуда у тебя эта скверная привычка цепляться к разным людям? Геночка, ведь мало найдется людей, к которым ты бы не прицепился. Это же никому не нравится, пойми.

— Ты жила в Москве?

— Нет.

— Там очень одиноко на улице, в метро. Мне всегда было одиноко. Тысячи людей вертятся на пяточке, и все друг другу чужие. А если ты живешь в маленьком городке — у тебя намного больше знакомых, и знаешь ты их лучше. В Москве миллионы, а знакомых у тебя несколько человек. И то случайных, не очень тебе необходимых и далеко живущих.

Они не успели обсудить новую тему, потому что Наташа увидела загрустивших у окошка в коридоре родителей.

— Гена, — скользнул ее голосок. — Вот они. Пожалуйста, будь...

— Будем знакомы! Будем знакомы! — Олег Павлович Гаров радушно протягивал обе руки, как будто не он пришел в больницу, а дорогой человек нанес ему самому неожиданный визит. — Столько слышал про вас, Гена. А виделись мы, кажется, вскользь. Что ж, наступило время познакомиться поближе, как нам намекнула Талочка. Рад, искренне рад! Вы решили, мы с матерью рады. Правильно! Современно!» Без всяких проволочек и нудных советов со старшими.

Взгляд Гарова пронзал Афиногена с настойчивостью бормашины. Он чуть не перескочил к рассказу о днях своей молодости и все-таки не решился почему-то назвать вещи своими именами, с несвойственной ему застенчивостью ходил вокруг да около. Ему пособила Анна Петровна, знавшая Афиногена получше.

— Вы извините, Гена, что мы так сразу... перешли к вопросу... не осведомились о здоровье. Мы в курсе.

Талка ведь теперь только о вас и говорит... Раньше скрытная была, а теперь девочку будто подменили. Мы с мужем поняли, между вами произошло решительное объяснение.

— Мы заявление подали, — сказал Афиноген, — извините, пожалуйста, великодушно, что так вышло.

Супруги Гаровы с такой энергией враз заколотили воздух руками, что стало понятно — никакого нарушения этикета не произошло. Наоборот, если бы дети с ними посоветовались, они бы этого им не простили.

— Прошу вас, — сказал мягко Афиноген, — не волнуйтесь так. Я люблю вашу дочь, с уважением отношусь к вам. А главное, я нормальный человек, со мной можно говорить без опаски, напрямую.

— Вот, — буркнул Олег Павлович, — что я тебе говорил, Аня.

— А что я тебе говорила?

— Гена, не считаете ли вы в таком случае, что нам стоит обсудить некоторые детали прямо сейчас? Не откладывая.

— Я готов.

— Папа, — попросила Наташа, — у Геночки еще температура держится.

— Нет у меня температуры, — возразил Афиноген, — и не было никогда.

— Вопрос, видите ли, для нас слишком важный. Мы хорошо сознаем ваше состояние... Но... Нет, нет, мы не хотим ничего менять, да и не в наших это силах. Любите друг друга, женитесь, устраивайте свою семью. Все правильно. Мы готовы помогать, если... Но... Понимаете, Гена, некоторые линии жизни идут параллельно. Счастье в тереме за закрытыми ставнями приятно, но быстро может набить оскомину.

— Мы в кино будем ходить, — сказал Афиноген. — Мало ли.

— Не шутите, Гена, это очень серьезно. В прошлом году Талочка не поступила в институт, что-то там случилось непонятное... Скоро опять экзамены, она совсем перестала готовиться. Неужели потеряет еще один год? Мы не можем быть пассивными в этом вопросе.

— Так это не ко мне вопрос, к ней. Я свое отучился.

— Талочка полностью под вашим влиянием, видите ли. Вы невольно некоторым образом снизили наш

авторитет — прости, Тала, что я это при тебе говорю, — значит, вы должны взять на себя и ответственность за нее, разделить ее с нами.

— Папочка, все устроится отлично, не волнуйся. Не поступлю в этом году, поступлю в следующем.

— Я все понял, — сказал Афиноген, и Гарову показалось, что он напялил себе на нос невидимые очки. — Я все понял и со всем согласен. Высказываю собственное мнение. Если Ната поступает в институт, я на ней женюсь. Не поступает — пускай ищет другого дурака. Мне дремучая жена не нужна. С ней и поговорить не о чем будет.

Гаров несколько опешил не от смысла сказанного, а от серьезности тона. Зато Анна Петровна не опешила.

— Ну, что я тебе говорила? — Это к мужу.

— А я что тебе говорил? — неуверенным эхом откликнулся муж. Мимо уже несколько раз прошествовал Гриша Воскобойник. Его никто не навестил, и он скучал в ожидании ужина. На сей раз он, деликатно извинившись, отозвал Афиногена в сторону.

— Кисунов опять йогами увлекся, — давясь смехом, сообщил он. — Зайди глянь.

— Скоро зайду!

И вернулся к Гаровым, которые покорно глядели на его приближающийся больничный халат. Родители покорно, а Наташа умоляюще.

— Если она будет учиться в Москве, какая же это семья? — спросил Афиноген у Олега Павловича. У того ответ был заготовлен заранее.

— Это проверка чувств, их нравственной основы.

— А в заочный нельзя?

— Разве вы не понимаете? Заочное образование — так, фикция. Ей ведь не бумажка нужна с гербовой печатью — знания.

— Право, я растерян. Надо подумать. Мешать ей, конечно, не собираюсь. Мне и самому лестно — жена, и вдруг врач. Старики мои обрадуются... Но, может, лучше все-таки в таком случае не спешить, не жениться пока лет пяток?..

Тут Олег Павлович и ухнул, приоткрыл истинные свои планы:

— Кстати, в этом ничего страшного тоже нету. Спешка именно непонятна. У нас вон в том выпуске

десятиклассники двое поженились. Ребенка родили. По совести, смешно и обидно мне на них глядеть. Сами дети, катают в коляске третьего дитя, игрушку. Он устроился на завод, она, естественно, нигде не работает. Как-то это бескрыло, узко. Впрочем, любовь все скрашивает. Но надолго ли... А кончится любовь, с чем они останутся? Особенно она, девушка? Мне жалко ее родителей, искренне жалко.

— И мне жалко, — вступила Анна Петровна, — и ее жалко, и Наташу, и вас, Гена.

Наташа сдерживала подступающие слезы каким-то чудом. Вот во что вылилась встреча Генки с ее родителями. Она ожидала праздника, всеобщего чарующего умиления и себя готовила к роли скромной триумфаторши, виновницы торжества, благодаря которой встретились такие чудесные люди, — взамен этого трезвый расчет, эгоистичные напыщенные рассуждения отца. Он разве не понимает, как солнечен ее мир, в котором неожиданно не осталось места для мышиных звуков житейской мудрости. Светка Дорошевич, милая подруга, плакала, обнимала ее, они обе плакали и обнимались, а родители, самые близкие и родные существа, пытаются перегородить ее путь колючей проволокой, подкладывают под ее легкие беззащитные ножки рога-тую мину, шнур от которой с удовольствием торопится подпалить ненаглядный суженый... Да кто же она им всем такая? Что же это они переталкивают ее с рук на руки, швыряют, как волейбольный мячик, при ней говорят оскорбительные вещи, не стесняясь, будто у нее и ума не останется их понять. Что же, кажется, она их раскусила: бездушные, нетактичные, черствые люди — вся троица. Действительно, им нашлось о чем посудачить между собой. Теперь до Судного дня станут толковать и перетолковывать, куда ее половчее, понадежнее пристроить, чтобы не оказалось с ней, горемычной, лишних хлопот, не стала бы она кому-то обузой, не повисла у кого-то из них на шее. Ах, бедная она, несчастная пленница, угодившая в лапы к людоедам.

— Мамочка! — дрожащим хрустальным голосом взмолилась она. — А если уж так случится, что не будет у меня образования, не мила я вам стану? Не нужна? Что ж вы гоните меня от себя? Не хочу я! Не хочу, мамочка! Пусть я убогая, ограниченная — только вот

ему так мечтала ребеночка родить. Да, да, папочка, зачем ты дергаешь щекой. Такая я! Хочу катать в колясочке сопливого мальчика, хочу кормить его с ложечки и воспитывать добрым человеком. Пока я Гену не встретила, я просто не понимала, чего хочу. А теперь знаю...

— Да-а, — только и смог выговорить отец. — Да-а, порадовала и обнадежила, доченька!

Пока Олег Павлович улыбался заостенело, точно проглотив невзначай кусок гипса, педагог Анна Петровна кинулась дочку утешать и гладить по голове.

— Что? — спохватился Афиноген. — Мне такая жена подходит. Рассуждает здраво, имеет благие намерения. Свободна от предрассудков... Спасибо тебе, Натали. Рожай, не сомневайся.

Коридор опустел, время приблизилось к ужину. Те больные, которых не навестили, уже толпились у входа в столовую. Они чувствовали облегчение, потому что больничная обстановка нормализовалась: коридор перестал напоминать прогулочную аллею и опять можно было спокойно подойти к медсестре и попросить поставить на ночь клизму.

— Товарищи навещающие, — крикнула Люда ни к кому конкретно не обращаясь, — больным пора отдыхать. Какие все несознательные!

Чета Гаровых напоминала недавно заблудившихся в лесу путников, которые с деланным любопытством еще озираются по сторонам и бросают друг на друга подбадривающие взгляды. Дипломатичный Олег Павлович попытался разрядить тягостный финал сцены.

— Недурно тут у вас, — заметил он. — Просторно, свежо... — не удержался и начал новый виток. — Собственно, и тут работают разные люди — врачи, нянечки, сестры. А в нянечках, как известно, бóльшая нужда, чем во врачах. Почему бы Наташе...

— Хорошо, — Афиноген утомился стоянием у окна, своим бестолковым положением среди трех родных людей. — Хорошо, Олег Павлович, вы правы. Все обмозгуем, как положено, посоветуемся еще не раз. Хотя... вы сказали — нянечки требуются, в них нужда. Это плохо. Нужда в нянечках, в станочниках, в людях низкой квалификации. Беда.

— Да, да, все хотят, представьте, учиться, хотят заниматься умственной работой.

— В газетах призывы: ступайте на завод, на стройку. На лавочках судачат — молодежь боится руки запачкать, — Афиноген начинал испытывать привычное полемическое возбуждение. — Какое непонятное противоречие: с одной стороны — учење свет, а с другой — не хватает рабочих низших квалификаций. Ужасно! Верно?.. А вот мне... Когда я слышу слова: идите сначала поработайте, а потом учитесь, мне чудится — их приносит враг. Нянечек не хватает? Прекрасно. Значит, надо создать технику, которая заменит нянечку. Надо объяснять школьникам: видите, ребятки, нянечек не хватает, — придумайте что-нибудь, напрягите серое вещество. А вы, Олег Павлович, советуете им по-другому: детки, забудьте про то, что у вас есть голова на плечах и ступайте всем кагалом в нянечки. Это необходимо. Ложь, чепуха, инерция мышления. Идите все учиться, дети. Все поголовно: учиться работать, учиться жить, учиться любить и созидать. Затыкать прорехи экономики и производства живыми людьми — преступление долгосрочное, преступление против нравственности, против всего святого...

— Эх, куда хватил, — вставил Олег Павлович. — Но я, поверьте, Гена, не настраиваю своих детей идти в нянечки. Я учу их математике.

— Зачем же вы упомянули про нянечек?

Олег Павлович, ища поддержки, оглянулся на жену, которая от неожиданного выпада Афиногена, фигурально говоря, стояла с открытым ртом. Зато Наташа с обожанием следила, как красиво шевелятся губы любимого человека — вот сейчас он сказал им все, что надо, и во всем их убедил. Наташа никак, разумеется, не прикладывала слова Афиногена к себе: при чем тут она, ее дело решенное — родить ему сына, и поскорее. Олегу Павловичу померещилось, что его новый родственник малость того, как говаривали в старину, без царя в голове, но это его не расстроило, наоборот, утешило. С таким он сумеет поладить. Гаров не переносил в людях расчетливого криводушия, лицемерия, злобы, — этот же парень не такой. Отнюдь. Сейчас он его раскусил. Остряк, самоуверенный пижон, вдруг затоковал как глухарь и открылся в полной незащитности. Что там

говорить, сам-то он разве не такой, когда дело касается любимого предмета? С Афиногеном они поладят, скоро поладят. Гаров успокоился, и глядел теперь на Афиногена Данилова с искренним сочувствием и несколько свысока. Он еще успел подумать о том, как же умеют ошибаться самые умные женщины, оценивая ихнего брата, мужчин.

— Бог с ними, с нянечками, — заметил он. — Давайте предоставим больному отдых. Замучили мы его. Талочка, может, и ты с нами?

Анна Петровна добавила:

— Гена, вы поймите нас правильно, не обижайтесь. Мы считаем — Ната должна учиться. Мы в этом убеждены и сразу вам сообщили. Хуже было молчать и таиться. Я и дочку воспитывала искренней, старалась. Мы с мужем еще вас навестим, можно?

— Говорите мне «ты», Анна Петровна. Я прошу вас, говорите мне «ты».

— Гена, — умилилась мать, — ты любишь нашу доченьку, значит, ты нам дорогой человек, вот ведь как. Правильно, Олег?

Они ушли умиротворенные, почти уверенные в благополучном исходе. Разглагольствования Наташи всерьез не приняли оба. Устала она, изнервничалась — только и всего. Педагоги Гаровы желали дочери счастья, какого пожелали бы для себя, и в этом были похожи на всех родителей, определяющих судьбу детей по собственной мерке и не признающих иных. Колоссальные бывают бури в семьях на этой почве. Войны бывают, в которых противники, нанося друг другу сокрушительные удары, буквально сживая друг друга со свету, уверены, что пекутся единственно о благе своих близких. Годы проходят, прежде чем наладятся в семье нормальные отношения, и кто-то, прозрев, догадывается, что нервы, энергия, сама жизнь потрачены и замутнены такими пустяками, на которые лишние полчаса потратить стыдно. Кое-кто из особо ожесточенных так и помирает с пеной борьбы у рта, изрыгая бесовские проклятия, не изведав тишины просветления. Сколько гордых надежд растоптано, сколько чистых родников высушено с самого начала ради идеи будущего процветания — представить больно.

Гаровы перед приходом в больницу всю-то ноченьку

не спали, прикидывали варианты, разрабатывали тактику. Беспомощная дочерняя любовь извивалась в руках двух прекрасных образованных интеллигентных людей как пойманный голавль, коего свежуют перед отправкой на сковородку.

Бедная сестричка-любовь! Сколько сказок про нее писано, сколько стихов сложено, сколько книг ей посвящено. А вот явится она в семью — и ровно незваная гостья. Хорошо еще, если ловят ее прозрачные крылышки в западню вариантов, если благородные родители выгадывают ей все же какой-нибудь уголок, ищут, куда ее приткнуть, хуже, когда попросту норовят трахнуть с налету колуном по кудрявой головке. Это двум любящим уже некуда от нее деться, а со стороны-то ее нехитро шибануть в самое темечко, на корню ухайдакать.

Понять можно. Всегда-то она некстати к нам слезает, всегда тащит за собой сумятицу и перемены, всегда качает права. Не проще ли, право, чтобы совсем без нее обойтись?

Бесценная сестричка-любовь! Что бы мы, люди, делали без тебя? Какой вонючей, зеленой тиной поросли?

Афиноген проводил невесту до конца коридора, заметил вскользь:

— Умные у тебя чересчур родители, Ташка. Учиться тебе велят. А если у тебя в голове пусто, чем тебе, золотая ты моя, ученье превзойти? Нет уж, ты правильно решила. Рожай, и никаких гвоздей.

Тяжелый выдался у Наташи счастливый вечер.

— Обидеть меня хочешь, Гена? Не смей!

— Что они в самом-то деле. Учиться! Пускай другие учатся, которые рожать не умеют.

Наташа попыталась заглянуть в его глаза, но ничего там не было, кроме обычного смеха, а смех этот обдал и толкнул ее синей твердой волной. Она ушла.

Она спешила без цели по улице Федулинска, и колеблющийся воздух раскачивал ее, ставшую легче воздуха. Над газонами роилось великое множество белых бабочек. «И я как эти бабочки, — подумала Наташа, — только не знаю, куда лететь. Но жизнь моя кончится скоро и плохо. Никто меня не понимает, даже ОН. Я хотела, чтобы он понял, как я люблю его, но нет...

Он злой и веселый, ему меня не очень надо. Пусть. Я уеду в Москву. Дождусь, пока он выздоровеет, и уеду учиться. Пусть будет так».

У палаты Афиногена перехватил Гриша Воскобойник.

— Наконец-то. Я туда робею один входить. Кисунов в йога превратился...

Афиноген смело шагнул. Вагран Осипович лежал на полу плашмя, задрал ноги кверху, и пытался оторвать голову от пола. На вошедших он не обратил внимания, возможно находился в стадии погружения в нирвану. Понаблюдав за его потугами, Афиноген сказал Грише Воскобойнику:

— Этот человек своей смертью не помрет.

— Уж понятное дело.

Кисунов сел, бросил на них презрительный взгляд, отпыхтелся. Потом достал из-под подушки маленькое зеркальце и поднес его к лицу. Grimаса, которую он сам себе скорчил, Гришу Воскобойника глубоко потрясла.

— Генка, чего он так?

— Упражнение для мышц лица. Не пугайся.

Журнал с упражнениями валялся сбоку. Кисунов наклонился к нему, чтобы удостовериться в правильности и чистоте позы. Видимо, он обнаружил какую-то неточность, потому что еще шире разинул рот и рукой подергал себя за подбородок. Тут в его лице что-то слабо скрипнуло, и он обратил к товарищам по палате мгновенно ставший бессмысленным взор.

— Эй! — окликнул его Афиноген.

— Закрой рот-то, — попросил Воскобойник. — Глядеть ведь срамно.

Но Кисунов рот не закрыл, да и не мог его закрыть. Он себе вывихнул скулу. Несколько мгновений в палате царило скорбное молчание. Лицо Вагран Осиповича с открытым ртом и вывалившимся из него сероватым языком приобрело выражение самосозерцания и высокомерного торжества.

— Что ж ты, гад, — не стерпел Воскобойник, — так и будешь мне больные нервы разматывать?

— Он не виноват, — заметил Афиноген, — у него

челюсть хрустнула. Пора, Гриша, вызывать медицинскую помощь.

До Воскобойника постепенно дошло.

— Гена, — уркнул он, плача крупными слезами, — спаси меня, кореш... беги за Людкой! Доконал меня все-таки Ваграныч, до смерти укокошил.

Вагран Осипович Кисунов с пола не подымался и вообще не шевелился. Отрешенный от суеты, о чем думал он в эту печальную торжественную минуту? К нему подлетела шалунья муха и пожужжала около рта. Он с обидой скосил на нее глаза. Но муха не влетела в готовую ловушку.

Афиноген привел дежурную хохотушку Люду, предупредив ее по дороге, что Кисунов снова хулиганит, как давеча при Капитолине.

— Закройте, пожалуйста, ваш рот, Вагран Осипович, — потребовала Люда официально, — некрасиво в таком виде сидеть на полу.

— Пусть на кровать пересядет, — поддакнул Афиноген.

Бедный йог на Люду поглядел с тем же выражением, что и на недавнюю муху. Наверное, там, куда он поднялся, не было места для мелких обид и огорчений.

— Беги за доктором, Люда, — приказал Афиноген, — дело, может быть, нешуточное.

Вскоре явился дежурный врач, по счастью, хирург. Долго не раздумывая, он ощупал лицо Кисунова стремительными короткими пальцами, сказал: «Сейчас!» — и нанес больному лихую пощечину. Рот Кисунова цокнул, как мышеловка.

— Прошу вас быть свидетелями, — обратился он к врачу. — Ваша медсестра пыталась оскорбить меня, когда я был в беспомощном состоянии по поводу травмы.

— Хорошо. Пошевелите зубами, пощелкайте.

— Не буду.

— Почему?

Кисунов опасался вторичного вывиха. Все-таки, поразмыслив, он, не размыкая губ, маленько подробил зубами несуществующие орешки.

— Все, — сказал врач, — порядок. На ночь снотворное, а сейчас — валерьянку. До свиданья.

Молодой, шустрый, он удалился, не оглянувшись, только Люде незаметно подмигнул.

— Торопится! — не преминул вдогонку уколоть своего спасителя воскресший Кисунов. — Кто мы им, разве люди? Даже не поинтересовался, как я себя чувствую. Узнать бы интересно его фамилию, голубчика. Только не любят они фамилию называть.

— Стыдно, Вагран Осипович, — укорил Афиноген. — Он вам жизнь сейчас спас, а вы — фамилию. Даже как-то неинтеллигентно с вашей стороны.

Григорий Воскобойник сказал веско, ответственно:

— Ну, Ваграныч, учти. Последний раз я тебе прощаю. Ты меня ухойдакать, значит, вздумал? Слушай сюда. Никаких йогов, никаких гимнастик! Лежи, соли в две дырки, сочиняй свои жалобы, и баста. Я жить хочу, попить еще собираюсь винца с хлебцем. Отныне я тебе запрещаю над собой изгаляться, доводить меня до беды. Баста!

Кисунов по какому-то таинственному впечатлению ума почти никогда не возражал Воскобойнику, но тут, доведенный до крайности неумолимой судьбой, окрысился:

— Вы мне никто, гражданин Воскобойник, чтобы запрещать что-либо. Понятно? Никто! По возрасту я вам в отцы гожусь. Не смейте мне запрещать! Не смейте! Слышите!

Гриша молчал. Он не был злым человеком и почувствовал в голосе Кисунова рыдания. Отступил. Почувствовал их и Афиноген.

— Не расстраивайтесь, Вагран Осипович, с кем не бывает. У нас в институте тренер показывал студентам упражнения на турнике, сорвался, сломал себе руку. Полгода преподавал филологам историю литературы, пока не вернулся в строй. Потом, правда, и близко к снарядам не подходил, издали показывал, как и что делать. А ведь у него разряд по гимнастике был...

— Ваших прибауток я вообще не желаю слышать. Избавьте меня от них!

Он забрался под одеяло, скрючился, отвернулся к любимой стене. Ему был отвратителен мир, в котором тем не менее он так страстно хотел продержаться подольше с помощью йоговских поз...

В воскресенье не случилось ничего, заслуживающего подробного описания. День выдался прохладнее обыкновенного, и федулинцы воспользовались этим, чтобы передохнуть от зноя. Небо покрывали сплошь светлые облака, кое-где сгушавшиеся до темной плотности, солнце просвечивало сквозь пелену редкими лучами и не напекало.

В воздухе не переставая чирикали и посвистывали возбужденные птицы.

Афиноген и Наташа целый день проблаженствовали в узеньком и грязном прибольничном садике. Успели много раз поссориться, и помириться, и обсудить общие дальнейшие планы. Решили пока не рожать, хотя Афиноген и утверждал, что беременным женщинам легче сдавать сессию...

Супруги Кремневы провели воскресенье на своей даче, где Юрий Андреевич продолжал бороться с вредителями, перенеся основной удар на кусты черной смородины.

Судя по беспощадности, с которой он их обрабатывал, можно было предсказать: скоро участок будет стерилен, как стол, подготовленный к операции. Иногда к мужу приближалась Дарья Семеновна, чтобы поделиться очередным соображением по поводу визита к ним директора Мерззликина. Кремнев не понимал, почему это ее так занимает. Впрочем, она и сама не понимала почему.

Директор тем часом лежал у себя на даче и маялся животом. Боли в кишечнике наводили его на грустные размышления о предстоящей поездке в министерство для получения нахлобучки.

Миша Кремнев сумел подстеречь около булочной Свету Дорошевич и спросил у нее, почему в их квартире не отвечает телефон.

Свободолюбивая Дорошевич ответила в том смысле, что телефон не работает и не будет работать, пока некоторые с размягченными мозгами студенты не перестанут по нему названивать.

Эрнст Львович с полудня наливался водкой в окружении детей и нелюбимой жены. К вечеру он выдул ее столько, что уснул на ящике с картошкой в кладовке, куда отправился на поиски значенной еще весной бутылки жигулевского пива.

Хирург Горемыкин в компании с сеттером Даном сходил в парикмахерскую и привел в порядок прическу. В этот раз он намекнул бывшей жене, что живется ему одиноко и он собирается переменить некоторые обстоятельства самым решительным образом.

Стукалина Клавдия Серафимовна готовила завтрашнее выступление, по телефону советовалась с Сухомятым по отдельным формулировкам. Георгий Данилович отвечал уклончиво, опасаясь, что его аппарат прослушивается. В общем, его рекомендации сводились к тому, чтобы ничего не бояться и говорить правду, как на исповеди. Клавдия Серафимовна заверила, что готова на все, лишь бы быть полезной людям и ему лично, товарищу Сухомятину.

Марк Волобдецкий, трясясь в поезде дальнего следования, испытывал радость творческого подъема. По указанию редактора газеты он сочинял стихотворный текст на тему месячника безопасности уличного движения. Взлохмаченный, с пылающим взором, он наконец записал следующие строки: «Если хочешь быть здоров и жив, через дорогу быстро не бежи. Знай, в твоих руках твоя свобода и судьба любого пешехода». В порыве вдохновения он заодно закончил давно обещанный лозунг для городской столовой: «По четвергам — приходит рыба в гости к нам!»

Виктор Давидюк и Иоганн Сабанеев, сослуживцы Афиногена, сговорились на зорьке отправиться по грибы, но оба проспали и долго выясняли отношения, не выяснили и разошлись. Дома Виктор Давидюк задал профилактическую трепку взрослой дочери Марине и пригрозил выселить ее из квартиры вместе с матерью и зятем.

Наталья Иосифовна Горелик солила огурцы и насолила их так много, как будто ожидала на зимний покой роту солдат. Банки с огурцами заняли всю кухню, кладовую, и часть их она разместила в комнатах под кроватями детей.

Медицинская сестра Ксана Анатольевна Морозова училась у приемной дочери шить мужские брюки. Потом они вдвоем примеряли новые штаны на мужа, который в конце концов деликатно заявил, что не желает быть посмешищем для всего города.

Гришу Воскобойника навестила жена и принесла

ему гостинцы: полкило медовых пряников и бутылку виноградного сока. Вагран Осипович целый день изучал комплекс здоровья академика Микулина, советовавшего на ночь заземляться проволокой к батарее парового отопления.

Супруги Гаровы проверяли школьные тетрадки, а вечером пили чай и смотрели по телевизору программу «Артлото».

Кирилл Евсеевич Мефодьев, добрый приятель Карнаухова, с утра отправился рыбачить на лесные пруды и пробыл там до вечерней зорьки. Примерно около двух часов пополудни у него случилась поклевка, но кто клевал — неизвестно: добыча соскользнула с крючка в момент подсечки. После этого Мефодьев, огорченный, прилег на травке в березнячке. Любопытно, что и во сне он продолжал удить рыбу и отпугивать вынырывающих около поплавок купающихся. В отличие от яви во сне Кирилл Евсеевич вытягивал рыбу за рыбой и проснулся от того, что крупный щуренок с мордой Жорки Сухомятина повлек его с берега на дно.

Перспективный следователь лейтенант Петраков с утра засел за пособие по криминалистике, выпущенное лондонским издательством по материалам Скотленд-Ярда. Пособие не было переведено на русский язык, а английским Петраков не владел, поэтому каждое слово он искал в словаре и продвигался вперед черепашьими шагами. В процессе чтения он столкнулся с поразительным феноменом — переведенный им текст, если его читать подряд, не имел никакого смысла. Денис Петраков объяснил себе этот казус известной всему миру неразберихой, царящей в прославленном следственном заведении Лондона.

Богатырь Гаврик Дормидонтов в праздничном костюме и при галстукe прогуливался по центральной улице Федулинска. На многочисленные приглашения знакомых парней пойти подышать лесным воздухом и освежиться он отрицательно мотал головой и показывал фигу, большой палец которой был размером с огурец.

В квартире управдома Гекубова не раздавалось ни звука. После вчерашнего потрясения Илларион Пименович обнаружил у себя в печени подозрительные побулькивания и теперь в лабораторных условиях искусственной тишины проводил наблюдения над своим орга-

низмом. Он лежал под теплым ватным одеялом, выпростав наружу руки и ноги, и был похож на космонавта, отдыхающего после удачной стыковки.

Начальник милиции капитан Голобородько сам сварил украинский борщ и съел за обедом три тарелки. Для борща он использовал двойной бульон, утиный и говяжий, заправил его свиным салом, ветчиной и яйцами, растертыми и взбитыми с грецкими орехами. Перед борщом выпил две рюмки анисовой водки, закусив баночной селедкой «иваси». После сытного обеда он прохрапел до вечера на диване, поднявшись, поужинал запеченной в фольге молоденькой курочкой и салатом из свежих овощей. Потом смотрел программу «Время» и трогательный спектакль из жизни мелкопоместных дворян, выпив попутно полтора чайника чаю с крыжовниковым и малиновым вареньем. Он распластывал пополам свежую булку, намазывал обе стороны густо маслом, которое жена покупала не в магазине, а на рынке, наслаивал на одну половинку малиновое, а на другую крыжовниковое варенье и припечатывал ломти плотно друг к другу. Таких булок капитан сжевал за вечер четыре штуки. Жене он сказал: «Хотели мы с тобой, душечка, прогуляться по воздуху, да, уж видно, надо баиньки ложиться».

Карнаухов с младшим сыном Егором мастерили книжные полки в коридоре, узкие, в один ряд. Этими полками они занимались третье воскресенье, а до победы еще было далеко. Полки они делали по чертежам из рижского журнала. На картинке полки выглядели изящными, летящими над полом, а у них они получались чересчур массивными и, главное, перекашивались. Днем зазвонил телефон, снявшему трубку Николаю Егоровичу никто не ответил.

Город Федулинск накапливал силы перед грядущим рабочим днем.

8

По распоряжению Кремнева общее профсоюзное собрание отдела было назначено на шестнадцать часов, что, в общем-то, являлось нарушением трудовой дисциплины. Подобные собрания полагалось проводить после работы или в обеденный перерыв. Кремнев, ни с кем не согласовывая время, по селектору объявил Карнаухову

коротко: «Один черт, у вас сегодня никто не работает!».

Взбодренный таким образом Николай Егорович занялся обычными понедельничными делами. Еще до пятиминутной планерки, которая вечно затягивалась часа на три, он успел поинтересоваться у Инны Борисовны, как продвигается ее сводка. Застигнутая опять врасплох, Инна Борисовна разревелась и долго промокала платочком глаза.

— Ритуал у вас, что ли, такой? — спросил Николай Егорович. — Как с вами о работе заговоришь, вы в слезы. Может, больны?

— Не больна я! — Инна Борисовна высверкнула темным взором из-под ажурного платочка. — Но думала... собрание, готовилась к нему.

— На собрании разве стоит ваш вопрос?

— Николай Егорович, — она напрягла все свое позднее зрелое женское обаяние, отчего голос ее уподобился пастушьему рожку. — Зачем вы так? Я же все отлично понимаю. Но откуда у вас это желание навредить напоследок?.. Не лучше ли оставить в моем сердце добрую память.

— Лучше вы мне оставьте на столе грамотный документ, — благодушно откликнулся Карнаухов. — Иначе я вам оставлю на память выговор с занесением.

— В таком случае у меня еще есть время, — рыдания опять неудержимо прорывались, — не задерживайте меня.

— Ступайте, Инна Борисовна, и постарайтесь не отвлекаться посторонними вещами.

Явившиеся на планерку руководители группы застали шефа свежим, подтянутым и радостно улыбающимся.

— Товарищи дорогие, — сказал он, не дожидаясь по обыкновению, пока все рассядутся, а курящие «контрабандно» задымят сигаретами. — С сегодняшнего дня я отменяю еженедельные планерки. Они нерезультативны. Достаточно собираться раз в месяц: каждый последний понедельник. В остальные понедельники я буду встречаться только с теми из вас, у кого действительно неотложные и серьезные вопросы лично ко мне.

Десять начальников групп, люди в основном пожилые, работающие в отделе не один год, переглянулись и

стали подниматься один за другим, выравнивая стулья, на которых было расположились для привычно-затяжного обмена шпильками. Только Мефодьев не удержался:

— Может, раз в год собираться еще лучше? Перед праздником Первого мая, — съязвил он.

— Я рад, что в отделе появился новый повод для остроумия, — ответил Карнаухов. — С шуткой и работа спорится. Кстати, именно к вам, Кирилл Евсеевич, у меня серьезное дело. Задержитесь, пожалуйста.

Мефодьев стариковским взглядом не сумел проникнуть, приоткрыть завесы, опущенные Карнауховым, наткнулся на свежесбрившееся, собранное в веселую маску лицо.

— Коля, что там у тебя с сыном? Не таись, давай обсудим, — сказал он, когда они остались вдвоем.

— С сыном порядок. Правда. Ошибка вышла. Я у тебя хочу спросить, почему ты в отпуск не идешь? Лето на исходе. Или зимой собрался?

Мефодьев посчитал, что старый его друг совсем расквасился.

— Я вчера на рыбалку ходил, Коля. Хорошо. На воде кувшинки покачиваются. Эти самые, с длинными ногами, шныряют.

— Сороконожки?

— Жуки-плавунцы. Сидишь, Коля, в воду упустишься — ничего не надо. Поплавок колышется, ветерок в кустах шебуршит. Мысли в голове от воды легкие, замечательные. Век бы так просидеть. Пойдем в выходной вместе?

— Обязательно пойдем. А с отпуском-то что у тебя? Почему не отвечаешь?

— Так вроде неохота пока. Не решил еще.

— Ну ступай тогда, прости за беспокойство.

Мефодьев помедлил, потрогал худую свою шею движением, каким женщины тайком проверяют, не слишком ли открыта у них грудь.

— Мы с тобой общую линию не выработали, начальник. Для собрания.

— Неужели? — Карнаухов улыбнулся с внезапной белой сумасшедшинкой, отстранил от себя взглядом Мефодьева далеко к стене. — Неужели у тебя хватило совести мне это сказать?

— Чего ты, Коля? Чего?

— Мы с тобой для того прошагали рядом сто лет, чтобы у первой остановки линию выработать? Ты, коммунист, не помнишь, какая у нас общая линия?!

— Остынь, Николай Егорович!

— Линия у нас — я тебе напомним — строительство коммунистического общества со всеми вытекающими последствиями. Затем и жили, с тем и в землю ляжем.

Лицо Мефодьева побагровело.

— День сегодня такой.. неподходящий. А то бы ты услышал, Николай Карнаухов, какая у нас общая линия. А то бы я, может, за язык-то тебя и дернул, чтобы он у тебя не болтался, как у твоего бешеного пса Балкана.

— Дерни, чего.. Самый тот день.

Мефодьев забарахтался, вытянул себя со стула.

— Не идет тебе, Коля, играть в детские игры.

— Ну, ну.

— Надумаешь, позови.

— Кирилл Евсеевич! — Карнаухов обогнул свой стол и приблизился к другу, сильно сдавил его плечи. — Не понимаешь?.. Ну, ну.. — будто жалея, слегка оттолкнул. — Детские игры? А ты думаешь, дети глупее нас? Возможно. Они чище зато.

— То дети, Коля. Чистенькие взрослые частенько подставляли под пули себя и друзей. Чистоплюйные.

— Иди, Кирилл. Работай.

— погоди уж. Я тебе договорю..

— Не надо, я понял. Иди.

— Давай обсудим, прошу тебя, не чуди!

Карнаухов вернулся, сел на стул, возвысился над телефоном.

— Ты, Мефодьев, всю сознательную жизнь в рядовых сотрудниках протопал, а мне десять лет назад предлагали институт возглавить. Знаешь почему?

— Почему?

— Потому что я никогда не ловил рыбу там, где ее не может быть.

Мефодьев вышел и сумел так хлопнуть дверью, что ручка с внутренней стороны отскочила и повисла на одной петле. Ловко хлопнул, не очень сильно, но с прихлестом.

Карнаухов позвонил в милицию.

Капитану он коротко доложил о своей встрече на пляже и о безымянном звонке по телефону.

— Не подумайте, товарищ главный начальник милиции, что я их боюсь. Некогда мне со шпаной возиться. Чего они у вас без надзора на воле гуляют. Это непорядок.

Голобородько ответил не вдруг, покашлял.

— Мы их скоро заарестуем, Николай Егорович, всю бражку. Потерпи немного.. Сам ты, кстати, можешь пройти по мелкому хулиганству. Но я тебя привлекать не буду, потому что расцениваю твой поступок как факт содействия нашим органам.

«Так, — подумал Карнаухов, повесив трубку, — хотя бы это дело быстрее спихнуть. Викентия можно привести в порядок. Можно и необходимо».

Взглянул на часы — одиннадцать. Самое время повидать своего заместителя Сухомятина, подпортить ему слегка аппетит перед обедом. На планерке Георгий Данилович присутствовал и произвел впечатление человека невыспавшегося и что-то дожевывающего на ходу. Да и сейчас еще он окончательно не проснулся и не дожевал.

— Хотел с вами потолковать, Георгий Данилович.. собственно, давно надо было.

— Слушаю, Николай Егорович. — Сухомятин сама любезность и внимание, но без подхалимажа, без «чего изволите?» Он догадывался, о чем его хотел спросить Карнаухов, и приготовил уклончивый ответ — комар носа не подточит. Карнаухов попросит показать ему тезисы выступления на собрании, имеет на это право, а у Сухомятина их нет. Нету! Не успел, к сожалению, набросать. Вот только теперь собирается запереться в библиотеке и взяться. Готов выслушать пожелания.. Сухомятин ошибся.

— Хочу выяснить, каков ваш статус в отделе, — сказал Карнаухов. — То есть, какие функции вы выполняете?

Сухомятин дернулся.

— Я — ваш заместитель. По положению..

— Не по положению, а фактически — чем вы занимаетесь?

— Я..

— Подождите, — Николай Егорович повелительно поднял руку, — чтобы не тратить зря ваше время, я сам

ответу. Вы у нас толкач, Георгий Данилович. Да, да, Георгий Данилович, не смотрите так, будто вы увидели голую женщину. Вы форменный толкач!

— Объясните! — Изумление подавило все остальные чувства Сухомятина. — Вы шутите?

— За последние два года вы самостоятельно не довели до конца ни одной работы, не закрыли ни одной темы. Я могу это доказать, но зачем? Вы сами прекрасно все знаете. Однако я не утверждаю, что вы человек для отдела бесполезный. Отнюдь.. Благодаря исключительно вашему умению и своеобразным способностям мы почти никогда не оставались без премий. Я помню, как обстояли дела до вас. Иной раз и работа стоящая, и люди потрудились на славу, но ведь надо оформить столько бумажек, получить столько виз — кондрашка хватит. Потом чуть ли не каждый квартал новые положения, новые условия — поди угонись. А вы все это, голубчик, преодолеваете, шутя и играя. Для вас ведь не существует в этой области тайн, как не существует и закрытых дверей с табличкой «посторонним входить воспрещается». Верно?.. Ну, ну, тут есть чем гордиться, это особый талант. Для вас пробить премию, все равно что кроссвордик расщелкать. Цифры за вас свидетельствуют. Я тут проверил — в среднем после вашего появления в отделе мы все стали получать в полтора раза больше. Да вам надо поставить памятник у входа в отдел: «Благодетелю от премированных почитателей».

— Позвольте..

— Свежий пример. Группа Мефодьева только начинает разработку, а уж она проведена по всем важнейшим планам. Хоть авансом деньги выписывай. Кстати, почему бы нам не предложить метод предварительного денежного поощрения имени товарища Сухомятина? Звучит?

Изумление, помешавшее Сухомятину сразу найти достойный тон, сменилось яростным, но придушенным негодованием: что-то похожее он испытывал лишь в студенческую пору, когда его однажды застукали на краже книги из читального зала и устроили публичный разбор инцидента на комсомольском собрании. Сколько жестких и справедливых слов мог бы он бросить обвинявшим его, какой грязью мог их взаимно облить. О, он-то знал за многими грешки похуже, чем кража книж-

ки, необходимой ему позарез на экзамене.: Мог он тогда ответить, мог, — но молчал, потому что прекрасно усвоил правила игры. Попался — отвечай, твой черед. Затаись и жди случая отплатить той же монетой. Попался — не обвиняй, а проси прощения, иначе будет хуже. Кайся — тебе отпустят грех. Нападешь — сомнут. Нельзя одному нападать на всех, даже если прав. Бессмысленно, не одолеешь. Самый слабый коллектив сильнее самого сильного своего члена.

Сегодня расклад был иным, противоположным, но чувство он почему-то испытывал то же самое — негодование, желание ответно ужалить, смешанное с кошачьим осторожным страхом? Почему? Оправдываться сегодня очередь Карнаухова, никак не его, Сухомятина. Сегодня, возможно, день его триумфа, а не падения.

«Немного осталось терпеть, погоди! — совсем уж оскаленно подумал Сухомятин, и эта мысль дала ему силы возразить с достоинством и без вызова, как положено умному, хорошо воспитанному человеку. И эта же мысль лишней раз убедила в справедливости того, что он предпринял в последние дни. Если старик обезумел, потерял всякую ориентацию в происходящем, в понятных младенцу вещах, значит, ему действительно пора убираться отсюда — на покой, на пенсию, к этакой бабушке.

— Вы несправедливы ко мне, Николай Егорович, — сказал он простудным голосом. — Я не могу понять, чем вызваны ваши нападки.

— У нас в отделе мало специалистов, равным вам по образованию, организаторским способностям, по культуре отношения к науке. Мне горько наблюдать, как вы тратите свои способности на пустяки, на — простите меня! — кроссвордики и мелкие интрижки. И горько говорить вам это — уже немолодому человеку.: Почему бы вам не заняться прикладными проблемами?.. Нерасчитывайте, Георгий Данилович, что вам сносу не будет. Срок очерчен не нами, и он короток. Сегодня вы планируете занять мое место, а завтра придут за вами. Что вы тогда предъявите, кроме решенных кроссвордов?.. Вы, конечно, спросите, что я сам могу предъявить. К сожалению, мало, очень мало. Поэтому и хочу вас предостеречь на своем печальном примере. Впрочем, не

стоит повторяться. Тем более, похожий разговор у нас уж был недавно.

«Недолго, недолго тебе осталось фарисействовать!» — опять позлорадствовал Сухомятин, сказал:

— Далась вам эти кроссворды, Николай Егорович. В свободное время... — невольно он оправдывался как мальчишка. — А премии... что ж. Да, я стараюсь, чтобы наши сотрудники получали по заслугам, вижу в этом одну из своих обязанностей. Считал, что и вы меня поддерживаете. Принцип материального поощрения, когда люди видят, откуда он идет, от кого, то есть... я не могу, например, требовать с работника, если знаю, что его труд останется без вознаграждения. Пресловутый комсомольский энтузиазм давно у всех в зубах навяз. Вслух, может быть, этого не скажут, но большинство стоящих специалистов, подчеркиваю, стоящих, твердо до копейки высчитывают стоимость своих усилий и за спасибо надрываться не станут.

— Надрываться и не надо. Вот где вы могли бы приложить свой талант. Чтобы люди у нас не надрывались, а работали ритмично и полнокровно. Кстати, где это вы у нас засекли хоть одного надорвавшегося?

— Вы цепляетесь к словам, Николай Егорович.

— Принцип материального поощрения — сложный принцип. Он и в основе сформулирован так, что допускает множество толкований: «Каждому по способностям...» Кто сможет определить эти самые способности? Вы, я, врач-психиатр? Каждый может заявить, что его способности недооценены. Самый отпетый бездельник может так заявить про себя, даже ваша любимая сотрудница Стукалина, которая у нас в отделе успела навязать свитеров на весь институт. Она что, торгует ими? Или дарит?

— Она не моя любимая! — Сухомятин взял на заметку, как неуважительно отозвался шеф об основном принципе социализма. Крепко на всякий случай запомнил. «Хотя, — пожалел он, — разговор тет-а-тет. Не так прост заведующий, как многим представляется».

— В общем, — подбил бабки Карнаухов, — все, что я хотел вам сказать, я сказал.

«Ну да, — не поверил Георгий Данилович, — так уж и все?» Он вставать не собирался, выжидал.

— Вы что-то хотите спросить? — удивился Николай Егорович. — Спрашивайте.

Сухомятин покидал кабинет в твердом убеждении, что никогда он не простит шефу нынешнего плевка, как бы дело ни повернулось — не забудет. Да и как оно могло повернуться? Он уходил вполне спокойный. За Карнауховым никого нет, он один. Один в поле не воин. Хочет напоследок наделать гадостей, кому не успел. По-человечески это было Сухомятину понятно. За его собственной спиной стояли Кремнев Юрий Андреевич и сам директор. В такой компании нечего опасаться за тылы.

Карнаухов опустил голову на руки, задумался. Вспомнилось что-то неуловимое. Муха билась в стекло. В комнате стало душно. «Сейчас войдут, — подумал Николай Егорович. — А я так набряк. Нельзя, неловко». Поднять голову не было силы. В кружевном мареве заскользили видения. Как ее звали? Ту? Да, да, так и звали... Он сидел в библиотеке, а она опустилась напротив. Давно. Вернуться бы к ней, утешить, успокоить. Может быть ее жизнь сложилась неудачно, может быть к ней не были добры, ее мучили, терзали, заставляли быть не такой, какой она была... Музыка тогда играла, которая теперь забыта. Той музыки больше нет, она умолкла. Она и в нем не зазвучит никогда... Хоть бы разок напоследок услышать, провести пальцами по светлomu лицу. Утешить, успокоить. Он мудр и опытен, ему не страшны чудища, выглядывающие из темных углов. Как она, где теперь? Не одинока ли, жива ли?

Потянула Карнаухова бешеная власть молодых дней, вздернула на дыбы, и закачался он под потолком, немой, ослепший, глухой, почти убитый. Лбом вдавился в кисть руки, мозжил дряблую кожу, продавил ее до кости. Хватит, это вздор. Сегодня — лучше не надо.

В дверь постучали, как в квартиру.

— Да, — сказал Карнаухов, — входите!

Пришли Сергей Никоненко и Иоганн Сабанеев, руководитель группы, самой нелепой и жалкой группы, которая была на подхвате в отделе, так же как отдел был на подхвате в отделении. Однако сам руководитель группы Сабанеев производил впечатление человека, который вряд ли может оказаться где-то на подхвате. Этаким угловатоплечий крепыш, облицием

напоминающий Кирка Дугласа в роли Спартака: точно такая независимая струнка во взгляде и даже ямочка на подбородке, не оставляющая сомнений в силе воли этого человека.

Иоганн Сабанеев прибыл в Федулинск по личному приглашению директора, с которым он случайно познакомился в Москве на какой-то технической выставке, прибыл, полный надежд и далеко идущих планов. До этого он прозябал на безымянном предприятии и не видел никакой для себя перспективы. Правда, он сам толком не знал, чего хочет. Директор, проникшийся к нему внезапной симпатией и привыкший вербовать дельных людей, где только их не встречал, насулил Сабанееву золотые горы за совместным обедом в ресторане (приглашение Мерзликина). Чем щедрее сдобривали они обед армянским коньяком, тем стремительнее и выше росли эти горы. К концу обеда их вершины легко пробуравили крышу гостиницы и скрылись за облаками. Все тут было: диссертация, собственная лаборатория, перспективнейшие разработки, государственная премия и слава, слава, слава. Но это все потом. Пока же директор, несмотря на алкогольное головокружение, предлагал комнату в общежитии и звание младшего научного сотрудника. Из горяче-степенного рассказа директора Сабанеев уяснил: его приглашают на работу в чудесный уголок, созданный по принципу института физических проблем под руководством П. Л. Капицы, и если он откажется, то всю оставшуюся жизнь будет с досадой чесать свой дурацкий затылок. Терять ему было почти нечего. Московскую прописку да гордую девушку, которая третий год водила его за нос. Сабанеев согласился и через месяц сходил с электрички в Федулинске, сияя, как только что отчеканенный на монетном дворе юбилейный рубль. В одной руке он держал фирменный чемоданчик из синтетической кожи, в другой — французскую балалайку. Сомнений он не испытывал и напоминал тех молодых специалистов, которые в старое время следовали практически тексту замечательной песенки «А я еду, а я еду за туманом...». От тех, которые ехали за туманом и за запахом тайги, Сабанеев отличался в лучшую сторону, потому что за миражами не гонялся, но и столкнувшись с ними не сворачивал. Единственный раз, улещенный поднаторев-

шим в вербовке Мерзликиным, он потянулся суетной рукой за журавлем в небе и вскоре воочию убедился, какой промах допустил. Промах был не в том, что он потерял московскую прописку, а в том, что легко согласился на мизерные условия директора. Институт был обычный, каких в известное время выросло на периферии, словно грибов после дождя. Специалисты тут и впрямь требовались, и момент ставить собственные условия был самый подходящий. А он не поставил, пошел на поводу у директора, — так кот безрассудно спешит за человеком, угостившим его валерьянкой. В кадрах с ним разговаривали уже совсем не так доверительно, как за столиком ресторана. Мерзликин знал, кого ставил главным по набору. Опытный, начинавший службу еще в Комсомольске, кадровик мигом сообразил, что цветущий птенчик с дипломом уже в силках. Поэтому он предложил ему, причем без всяких уловок, место на самом забубенном участке. Мелькнула в голове Сабанеева мыслишка: пойти сказать пару ласковых директору и махнуть обратно в столицу — самолюбие его удержало. В короткий срок благодаря своим действительным способностям и сметке, прошел блистательный путь от рядового сотрудника до начальника этого самого забубенного участка. И здесь уперся лбом в забор. Дальше ходу не было, можно сбрасывать пар. Теперь он вместо ста сорока получал сто девяносто плюс премиальные, имел маленькую клетушку-кабинет с табличкой, где крупными буквами тушью была написана его фамилия, имел также однокомнатную квартиру в центре, — ха-ха! — и это все. Проработай он теперь, как долгожитель, до ста лет — забор не исчезнет. Другой на месте Сабанеева вряд ли оценил бы ситуацию так ясно, тем более что молодости свойственно тешить себя неопределенными надеждами; юноша, засыпая на голом полу, всегда ожидает проснуться на краю бассейна с плавающими в нем русалками. Сабанеев был умен и не строил замки на песке. То, чего он достиг, было на этом участке пределом, тем более унижительным, что рядом в институте существовало много таких мест, которые были для него заманчивее даже при сторублевой зарплате.

Сабанеев не собирался поднимать лапки кверху и петь самому себе аллилуйю. Он дошел по инстанции

вплоть до своего приятеля Мерзликина. Ему он сказал прямо: «Диссертации нет, темы нет, есть энергичная деятельность по вылавливанию блох из институтской кормушки. Я больше не могу! Вы обещали, выручайте!»

Мерзликин тоже не кривил душой: «Выручай ты нас, браток. Тебе замены нет, ты незаменимый. Ну, давай так. Подыщем замену, приглядимся. Через годик-два вернемся к разговору».

— Вернемся раньше! — пообещал незлопамятный Сабанеев.

Он круто переменил образ жизни. Проще говоря, загулял, насколько позволяли условия маленького городка. Вечера проводил в ресторане, сколотив себе для разгула странную компашку, в которой выделялась цыганского происхождения девица Эльвира; на работу являлся с хроническими опозданиями, а то и вообще манкировал. Следить за своей внешностью перестал и балалайку разбил вдребезги. Выпивал и на работе, что долго сходило ему с рук, может быть потому, что он не таился, не делал из своего падения тайны. Его участок стал приятно напоминать филиал ресторана. Желаящий выпить всегда был тут дорогим гостем, находил уют и мензурку спирта. Следующая встреча в кабинете директора носила сугубо официальный характер.

— Ты это назло мне? — спросил возмущенный директор у Сабанеева, стоявшего руки по швам. — Институту гадишь?

— Какое там назло! — безвольно отмахнулся пропащий Сабанеев. — Засосала меня трясина, Виктор Афанасьевич, закрутило дьявольское кольцо.

— А вот мы тебя раскрутим, — директор шипел индюком, вытягивая шею. Он всяко умел разговаривать с людьми, — мы тебе в трудовую вклеим статью и... привет. Побегашь со статьей-то.

— На стакан белоголовой всегда заработаю, — оптимистически возразил Иоганн Сабанеев, — я еще молодой, сила есть.

Директор его выгнал из кабинета. Вскоре на институт пришла депеша из милиции, где сообщалось, что непростительно пьяный Сабанеев вкупе с беспаспортной девицей Эльвирой ночью разожгли на центральной

площади большой костер и вступили в диспут с пытавшимся прекратить бесчинство сержантом. Гуляки ему объяснили, что раскинули цыганский табор и имеют на это полное право, потому что нигде не записано, что кочевые цыгане вне закона. Сабанеев грозил милиционеру подать на него в суд за самоуправство, а девица Эльвира пела песни непристойного смысла. Дело принимало худой оборот.

Третий раз повстречались Сабанеев с директором (а если считать свидание в Москве, то четвертый). Оба были теперь спокойны и внимательны друг к другу.

— Много времени потеряно, — сказал Сабанеев, — но я наверстаю.

— Пить не будешь?

— Язва у меня, товарищ директор.

— Пойдешь в отдел координации?

— К Карнаухову? Пойду.

— Но, извини, опять сначала — младшим. Ничего не могу поделать. Не стоило костры жечь. Это ведь прямая уголовщина.

— Хорошо.

Через год по просьбе Николая Егоровича он возглавил нелепую провальную группу, абсолютно несамостоятельную. Вроде бы опять ему не повезло. Но не совсем так. Недавно Иоганн Сабанеев защитился по смежной теме, даже не по теме отдела. Защитился прекрасно.

На защиту приезжали двое с портфелями откуда-то из Сибири. Оказывается, Сабанеев успел наладить оживленную переписку со многими институтами и заводами.

Эти двое приходили к Карнаухову и просили отпустить Сабанеева к ним, повлиять на него. «У него своя голова на плечах, — отвечал им Карнаухов, — про которую мне, к сожалению, известно мало. Знаю только, что она у него крепкая». Сабанеев не уехал, остался.

И в другие отделы на повышение не стремился. И о том, чтобы заменить Карнаухова, с ним заводили разговор давным-давно. Он и слушать не хотел.

Темной был лошадкой, что и говорить. До конца никем не понятый.

С девицей Эльвирой, с которой вместе разбивали табор, Сабанеев сочетался законным браком, и она родила ему двух детей, мальчика и девочку.

Мальчик был черный, похожий на галчонка, с остреньким носиком и агатовыми немигающими глазами, а девочка — рыжеволосая блондинка, забавное, обвожительное существо, научившаяся говорить, когда ей и года не исполнилось.

Таковы некоторые сведения о человеке, вошедшем вместе с Сергеем Никоненко в кабинет Карнаухова, человеку странном, но доброжелательном.

— Ну, верю — рак на горе свистнул, — встретил их Карнаухов. — Раз вы стали вместе ко мне приходить. Помнится, вы друг друга не очень жаловали?

— Помнится, — ответил Сабанеев, — и собраний таких в старину не бывало.

— Ах, вот что!.. — Карнаухов не нахмурился, не улыбнулся, лицо его скривила гримаса брезгливости. — Перед вами не хочу лукавить. Собрание препротивное, оно мне самому не нравится... А вы что-то хотите сказать по этому поводу?

Сказал Сабанеев:

— Готовится не собрание — промывка мозгов. Я лично — против. Может, я бы к вам не пришел, но уж очень корячится ваш милый заместитель. Поглядеть — ему сегодня орден вручают. Хочу в связи с этим поделиться с вами некоторыми соображениями. Если вам угодно их выслушать.

— Не надо. Поделитесь ими с коллективом.

— Так я и предполагал.

— А тебя что не устраивает, Сергей? Ты же, кажется, всегда был мной недоволен? Я гордился, что в отделе у меня такая сильная темпераментная оппозиция, возглавляемая Геной Даниловым.

Никоненко был мрачен, казалось, он не по доброй воле пришел в этот кабинет, а выполнял чье-то неприятное ему поручение.

— При чем тут Данилов-то? Генка сам за себя отвечает, я — сам за себя. Как у нас поставлена работа,

да, мне не нравится. Я и не скрывал никогда. Бояться мне нечего. Отсюда выгонят — таких богаделен везде груд пруди. Только я не думаю, что во всем виноваты именно вы. Общая, так сказать, атмосфера диктует. Где повар вор, то и поварята там не ангелы. Вы постарайтесь понять, если я вам говорю. Мне, как и Сабанееву, отвратительна закулисная возня, когда скопом собираются снимать стружку с одного человека.

— И что же вы посоветуете?

— Отменить собрание. Взять и отменить своей властью. Слишком они шустро разогнались. Невтерпеж видно.

— Да кто — они-то?

— А-а! — Сергей Никоненко издал звук и сопроводил его жестом, долженствующим объяснить, что он не заблуждался, идя сюда, и не ожидал, что его здесь поймут или хотя бы будут с ним искренни. Это — во-первых. А во-вторых, он умывает руки.

— Нет, — сказал Николай Егорович, — собрание мы отменять не будем, да и не имеем права. Могу вас лишь успокоить насчет головомойки и прочего, если это вас действительно занимает.

Собрание ничего не решит. Так разве постреляют кое в кого из духового ружья холостыми патронами. Попугают, пошумят, почешут языки. Это, кстати, совсем не вредно в порядке снятия стрессов. Не в том суть. Что-то ведь будет сказано и по существу. — Карнаухов говорил дружелюбно, размеренно, тихо, но в голосе его прогромыхивала дальняя гроза. — К сожалению, ко многому я привык такому, к чему нельзя было привыкать.

— Тогда вам нужно подать заявление! — посоветовал Сергей Никоненко и отвернулся к окну. Иоганн Сабанеев побледнел до синевы.

— Мальчишка. — Сабанеев выдал это из себя как лютую брань. — Что ты слособен понять?

— Мыслей, изложенных таким образом, я и правда не пойму. Я варварский язык не понимаю, — надменно вскинул подбородок Никоненко и не то, чтобы отвернулся к окну, а как бы уже и вылез из него наполовину, до того ему было неприятно находиться в обществе Сабанеева.

Зазвонил телефон, Карнаухов отвечал односложно: «да», «нет», «скорее всего», успокаивающе улыбался Сабанееву и Никоненко, один раз резко возразил: «Не стоит делать клоунов из нормальных людей», — повесил трубку.

— Директор звонил, — заметил равнодушно, — как и вы — интересуется, не перенести ли собрание на недельку...

— Что бы ни случилось, — Сабанеев напрягся. — Я хочу поблагодарить вас, Николай Егорович. Хочу, чтобы вы знали, я вам благодарен.

— Эва штука... Если уж... Скажите мне, Сабанеев, откуда у вас такое имя — Иоганн? Вы из немцев, что ли? Иоганн Зосимович... Нет, не похоже. И лицо у вас русское — широкое, круглое, скуластое.

— Я и есть русский. Правда, по деду — татарин. Но не немец.

— А Иоганн почему?

— У нас в роду Иоганны тянутся очень давно. Дед, который татарин, был Иоганн, и его какой-то прадед — тоже был Иоганн...

— В честь композитора Штрауса, — пошутил Никоненко. Сабанеев укоротил его несмеющимся взглядом.

— Зыркает, — ответил на взгляд Сергей, — действительно, татарин. Они русских не любят. Ордой на нас ходили и города жгли. — Он нарочно дразнил Сабанеева, потому что между ними давно пробежала черная кошка. Никто не знал, по какой причине, но недолюбливали они друг друга. Можно предположить, что Никоненко раздражала независимость Сабанеева и его упорное недоверие к лженауке телепатии. Скорее всего это Сабанеев говорил, что наука отличается от лженауки, точно так же, как ученый от лжеученого. Первому важна истина, второму — реклама. Естественно, Сергей Никоненко относил его к клану «душителеев», а с ними он разговаривал круто. Он их сам готов был всех передуть.

— Мало мы любопытны к своим предкам, — сказал Николай Егорович. — Это плохо, очень плохо... Моя вот родословная на прадеде обрывается, на крестьянине Вятской губернии. Да и то лоскуты какие-то. Бабушка-покойница успела мне в детстве кое-что расска-

зять. Дед на две семьи жил, хотя и был христианин. Одна семья у него в Москве была, плотницкая, туда на заработки он ходил, другая — деревенская, главная, наша. В Москве у него и комната была с условием, что самый большой перерыв в проживании он может сделать три месяца. Просрочит — комнату отбирают и паспорт тоже. Но он аккуратно ходил, в его комнате потом и отец мой долго жил, на Даниловке. Бабушка так деда описывала: «Боковитый, страшный был мужик, а девки его жалели, так и льнули к нему. Уж помаялась я с ним, с идолом, царствие ему небесное, прости господь». Вот и все мои сведения... А ты, Сережа, знаешь ли, каких ты кровей?

Никоненко давно истерзался своим затянувшимся присутствием у начальства, а тут уж дошел до точки:

— Нет, это поразительно. Двадцатый век, современное научное предприятие. О чем говорим? Какие-то деды боковитые, татарские родичи — это тема, да? Сегодня судьба всех нас, можно сказать, определяется, а мы благодушествуем. Вы постарайтесь понять, когда я вам говорю.

Карнаухов засмеялся.

— А все же не знаешь ты, Сережа, своей родословной, каковая есть наша общая история. Тогда скажи, может ли истинно культурный человек относиться с пренебрежением к своей истории?

Никоненко запыхал, ляпнул:

— Если угодно, мой дед известный петербургский профессор, кафедрой в университете заведовал до революции.

— Понятно, — протянул Сабанеев. — Профессорский сынок.

— Ух ты, — Сергей сощурился. — Открылся ты наконец, Сабанеев, до конца. Не выносишь, значит, профессоров. Нет?

Всклощенные, подавшись вперед, они забыли на минуту о том, где находятся, буравили глазами друг друга, так что пар шел от обоих.

— Товарищи, товарищи! — поспешил вмешаться Карнаухов. — Вы почему обедать-то не идете? Аппетит, я вижу, у вас уже разгулялся.

— Извините! — сказал Сабанеев. Сергей тоже что-

то мыкнул невразумительное, из одних согласных. Уходили они напряженные, стараясь не касаться друг друга локтями. «Ну вот, — думал Карнаухов, — благородные люди, воспитанные, образованные, независимо мыслящие, сильные... и что? Ничего ведь важного между ними не может быть, какая-нибудь глупость, пустяк, недоразумение, резкое неосторожное слово, — и вот стоят рядом уже чуть ли не два врага. Слаб человек, слаб!..»

Карнаухова отвлек от нового поворота мыслей телефонный звонок.

— Папа, ты обедал? — Голос Егора.

— Нет еще, а что?

— Хочешь, вместе пообедаем.

Карнаухов усмехнулся, в затылке кольнула ледяная точка.

— Переживаешь, сынок? Не стоит, у меня полный порядок. Сходи домой, пообедай с матерью. Да... — он секунду подумал. — Передай Викеше, чтобы из дома никуда не совался. Пускай еще на неделю за свой счет договорится.

— Хорошо, папа. Может, в кино вечером ходим?

— Почему бы и нет.

Положив трубку, Николай Егорович встал, походил по кабинету. Из угла в угол, вокруг стола — десять шагов. Он не захватил из дома бутербродов, не догадался, и сейчас, после разговора с сыном, почувствовал, что по-настоящему голоден. Это его встряхнуло. Выходить из кабинета он не хотел, как будто там, в коридоре, его могла поджидать новая неприятность. «Не приходят, — подумал он. — Тихо!» Обычно в понедельник дверь в его десятишаговый кабинет не успевала захлопываться. Обычно он не замечал течения времени, а сегодня каждая минута отзванивала ему мелодичным постукиванием в сердце. «Ждать и догонять — хуже нету», — вспомнил он давно забытое. солдатское...

Ровно в шестнадцать часов вместительный конференц-зал на первом этаже заполнился людьми. Первые по привычке захватывали стулья у распахнутых окон и

занимали задние ряды, а тем, кто опаздывал, приходилось садиться все ближе и ближе к сцене, на которой стоял стол президиума. Одним из последних в зал степенно вошел Юрий Андреевич Кремнев. Ни на кого не глядя, он прошагал к сцене и сел в первом ряду, закинув ногу на ногу. От остальных собравшихся его отделяли два ряда пустых стульев. Несколько мгновений он изучал сцену, затем повернулся лицом к залу, безошибочно отыскал глазами профорга Николая Николаевича Нефедова и недовольно махнул ему рукой. Нефедов под негромкие напутствия и смех выскочил на сцену, держа в руках стул. Это был толстенький человек неопределенного возраста, как, впрочем, и должности. Профоргом его выбрали на прошлом собрании совершенно случайно. Прежний профорг — деятельный и агрессивный руководитель группы Мелехин — уволился, оставив в своем хозяйстве полную неразбериху. На минувшем собрании Николай Николаевич стал кричать с места, что вот, поскольку выбрали человека несерьезно, абы выбрать, то и профсоюзная организация отдела переживает черные дни, другие отделы выезжают на экскурсии, достают билеты в Большой театр, имеют черную кассу, а у них, сирот, ничего этого и в помине нет. Товарищи одобрили запальчивые реплики Нефедова и тут же баллотировали его на пост профорга, голосование было единогласным. Нефедова знали как человека, хотя и любящего иной раз повалять дурака, но, в общем, расторопного и исполнительного. Конечно, никто не предполагал, что он с таким чудовищным рвением возьмется за дело. Не проходило и дня, чтобы измученное профбюро не оставалось после работы, не запиралось в кабинете Карнаухова и не просиживало там до прихода уборщицы. Та выгоняла их со скандалом, грозя непокорному Нефедову поломать лично об него свою любимую швабру. Уборщица была несознательная и не умела понять, что просиживают они штаны после работы не ради баловства, а для всеобщего благоденствия.

Какие планы вынашивал новый профорг, что готовился обрушить на головы сотрудников, — мало кто догадывался. Николай Николаевич и члены бюро сохраняли это в глубокой тайне. Известно только, что свою основную работу Нефедов окончательно забросил

и на попрёки своего непосредственного начальника Мефодьева отвечал недоуменным взглядом и загадочной фразой: «Вы действительно, Кирилл Евсеевич, не понимаете или не хотите понять?» От него и прежде было мало проку, а теперь, когда он заступил на новый пост, не на что стало и надеяться. «Человек в раж вошел, — решил Мефодьев, — пусть его потешится. Может, первый раз в жизни ему в руки власть попала».

Реально новый род деятельности, которым увлекся Нефедов, выразился пока лишь в том, что он водрузил на свой рабочий стол табличку с надписью «Секретарь п/о тов. Нефедов Н. Н.» и выпустил газету-молнию с фамилиями злостных неплательщиков взносов и с гневными тирадами в их адрес. Молния провисела всего-навсего полтора часа. Вышедший в коридор Карнаухов случайно ее прочитал и собственноручно сорвал со стены, хотя она была приклеена канцелярским клеем и для верности прибита кнопками. На истерическое «прошу объяснить!» подскочившего Нефедова Николай Егорович сразу не ответил, а некоторое время с любопытством в упор разглядывал новую власть. Наконец объяснил, что никто не позволит Нефедову обзывать хороших работников такими словами как «скупердяй от науки», «ретивые Плюшкины» и даже «вредные элементы», на что пылающий от официального накала Нефедов обратил к нему свой сакраментальный вопрос: «Вы действительно не понимаете или не хотите понять?» В отличие от Мефодьева, заведующий отделом ответил на этот вопрос исчерпывающе. «Не понимаю и не хочу понимать!» — ответил он, с приветливой улыбкой заглядывая в прозрачные глаза Нефедова. Тот стушевался и развел руками: подчиняюсь воле руководства, но время покажет, кто из нас прав.

Оказавшись со стулом на сцене, Николай Николаевич растерялся. Это было первое собрание, которое ему предстояло вести, и оно оказалось, мягко выражаясь, нетипичным. С утра он прохаживался у кабинета Карнаухова, решая, стоит ли зайти посоветоваться, но так и не зашел. Они столкнулись с Николаем Егоровичем, когда тот выходил из комнаты. «Вы не ко мне? — любезно спросил Карнаухов. — А то я обедать ухажу». — «Что вы, что вы, — пробормотал Нефедов, — я по другому делу. Не беспокойтесь!» — «Небось, неплательщи-

ков подстерегаете?» — пошутил на ходу заведующий, непонятно чем довольный, ухмыляющийся. «Погоди уж!» — подумал ему вслед Нефедов.

Теперь он стоял на сцене, ловил с нетерпением хоть какой-нибудь знак от Кремнева, но тщетно. Юрий Андреевич с искренним интересом изучал ногти у себя на левой руке.

— Надо избрать президиум, — предложил Нефедов, все еще держа в руках стул и не находя места, куда его поставить. — Счетную комиссию так же...

Кремнев крикнул, резко вскочил на ноги, обернулся лицом к залу.

— Товарищи, думаю, не стоит тратить время на процедурные деликатесы. Собрание у нас необычное, деловое, предлагаю избрать двух человек. Одного — для ведения протокола и председателя... Кто за?

Быстро выбрали протоколистом Инну Борисовну и председателем Виктора Давидюка, который уж было собрался вздремнуть. Давидюк степенно выбрался на сцену, отобрал стул у онемевшего Нефедова, придвинул его к столу и сел, разложив перед собой листы бумаги. Движения его были уверены, неторопливы — такое было впечатление, что он всю жизнь председательствовал.

— А вы побудьте в президиуме, товарищ Нефедов! — распорядился с места Кремнев, похожий на дирижера, который поудобнее для себя рассаживает оркестр. Это была уловка. Нефедов смешон, и, выставляя его напоказ, Кремнев заранее заигрывал с настроением аудитории. Сегодняшнее дело не представлялось ему ни сложным, ни безнравственным. Он отвел на него (про себя) два часа и собирался в них уложиться. Выбор председателя Давидюка был тоже им продуман и организован, хотя об этом знали только посвященные. Давидюк принял свое временное начальствование за чистую монету и теперь не спеша прикидывал, как половчее провести собрание так, чтобы закруглить его к шести часам, не позже, к началу футбольного матча.

— Что же, — сказал он вроде себе под нос, но бас его гулко разнесся по залу, — тут у меня списочек, куда записались желающие выступить. Первым хочет высказаться товарищ Сухомятин Георгий Данилович. Прошу!

Сухомятин выскочил к микрофону из-за портьеры, пощелкал по нему пальцами — микрофон молчал.

— Техника на грани фантастики. — Этими словами он начал выступление. Но не успел хорошенько разогнаться, как Виктор Давидюк его придержал стуком карандаша по крышке стола.

— Регламент! — объяснил он. — Мы забыли договориться о регламенте!

Зал был пока настроен шутливо.

— Три минуты! — крикнул какой-то остряк.

— Поступило предложение, — прокомментировал Давидюк. — Основному докладчику — двадцать минут, остальным по пять. Хватит вам, Георгий Данилович?

Больше Сухомятина не перебивали. Он сделал краткий обзор деятельности отдела за минувшие полтора года, выходило, что поработали они на славу, но могли гораздо лучше. Далее он перешел к недостаткам. Каждое его слово било точно в цель. Отсутствие общей идеи, неразбериха внутри отдела, плохая дисциплина, слабая координация в общепрофессиональном масштабе — все это бледный Сухомятин укладывал одно за другим, будто выстилал камнями тяжелый подъем в гору, на вершине которой кто-то сидел и ждал, пока он до него доберется. Фамилию Карнаухова он упомянул один раз в самом конце, после многозначительной паузы. Он сказал так:

— Я сознательно не называю имени нашего заведующего уважаемого Николая Егоровича Карнаухова. Мы все знаем, сколько энергии и душевного тепла отдал он отделу, особенно на стадии его становления. Теперь, когда Николай Егорович в силу своего возраста и, видимо, не слишком хорошего здоровья не всегда успевает проконтролировать функции разветвившегося живого организма, каковым я образно называю наш отдел, думаю сваливать вину на него одного было бы нечестно. Я как его заместитель полностью готов ответить за срывы, ошибки, неритмичность и прочее... И, как говорится, дорогу осилит идущий.

— Вы разве путешественник? — вынесся из зала бойкий голос. Георгий Данилович устало улыбнулся на реплику и элегантно движением смахнул пот со лба. Как Цезарь, он перешел свой Рубикон и обратного хода не имел. Мельком, стараясь, чтобы никто не заме-

тил, он все-таки покосился на близко сидящего Кремнева: доволен ли его зачином дирижер? Понять не смог. Кремнев опустил голову на ладони, задумался. «Не может он быть недоволен, — мелькнуло в голове Сухомятина. — Лучше, чем я, не скажешь. Тонко, не в лоб и... наповал».

— Вопросы к докладчику! — объявил председатель Давидюк. Своего отношения к выступлению он тоже ничем не выразил, может, только слегка поскучнел.

Тишина воцарилась мертвая. Легко председательствовать в такой обстановке.

— Нет вопросов? — удивился Давидюк. — А доклад, по-моему, был содержательный.

В задних рядах произошло движение, с грохотом упал стул. Это рванулась в бой Клавдия Серафимовна Стукалина, внося тем самым первую поправку в сценарий Кремнева. Через Сухомятина он предупредил ее: она должна выступить последней, поставить точку, выразить под завязку глас народа. Не сдержалась воинственная поборница всеобщей справедливости, не сумела себя укротить, лезла по ногам, по головам, огрызалась. Когда она наконец вылетела на сцену, волосы ее были растрепаны, платье перекосилось. Попробовал ее урезонить Виктор Давидюк, сказав, что по списку следующий Мефодьев — куда там. Теперь только землетрясение могло ее остановить. Столкнувшись на ступеньках со спускающимся Сухомятиным, она и его обожгла ненавидящим жестким взглядом. Говорила Стукалина без бумажки:

— Тут предыдущий оратор интеллигентничал, манерничал, цирлихи-мирлихи разводил, — а я женщина простая, трудовая, манерами не обученная. Сколь я вытерпела — все знают, — широкий жест в зал. — И я натерпелась, и другие люди из-за одного-единственного человека, дорогого нашего заведующего Карнаухова. Кто он такой, товарищи, заведующий наш Николай Егорович? Начальник? Помощник в трудовой работе? Нет и нет. Он царек, работодатель и самодур! — По собранию потек встречный шум. Давидюк постучал карандашом: «Выбирайте выражения, Клавдия Серафимовна, вы не на...» — не договорил. — Выбирать выражения? А пусть их те выбирают, которые у него в рабстве, которые ему продались телом и душой из-за

сытного куска и теплого местечка... Пусть выражения подбирает Иоганн Сабанеев, он под крылышком Карнаухова диссертацию отщелкал, не отходя от кассы! Пусть Генка Данилов выражения ищет, ему все дозволяется, неизвестно за какие заслуги. Жаль, он нынче в больнице либо симулирует и меня не слышит.

— Я слышу, — отозвался из прохода Афиноген. Он только что вошел и выискивал себе место. — Я здесь, Клавдия Серафимовна.

Стукалина сбилась на мгновение, но тут же взяла себя в руки.

— Вот, а говорили — операцию ему сделали. Нет, он себе операцию не станет делать, ему незачем. Это над нами здесь давно проделывают операцию... Я говорю сейчас от имени всех угнетенных и униженных тружеников отдела и поэтому не буду подбирать выражения... Вон сидит передо мной вечно заплаканная Инна Борисовна Самойлова. Не ее ли, чем-то ему неугодившую, каждый день топчет ногами и обзывает нецензурной бранью Карнаухов? Вон сгорбился выступавший передо мной Сухомятин Георгий Данилович. Кто не знает его талантов и научного размаха? А может он рот открыть, даже будучи заместителем? Нет, не может, потому что сейчас же рот ему заткнет грубая тираническая ладонь Карнаухова.

«Она, оказывается, глупее, чем я предполагал, — с брезгливостью огметил Кремнев. — Все может испортить, сумасшедшая баба». Сухомятин настойчиво подавал ему какие-то сигналы, но он не обращал внимания. В душу его вдруг впервые закралось сомнение... Стукалина продолжала вопить еще некоторое время, перечисляя множество придуманных и додуманных обид, а потом перескочила к никотиновой истории, обвинила Карнаухова в сознательном выведении из строя лучших работников отдела с помощью подсовывания им сигарет... на этом Давидюк лишил ее слова. Заканчивала свое выступление Стукалина в гвалте и шуме: сотрудники хохотали, хлопали, кто-то даже залихватски свистнул.

Не зря предложил Кремнев объявить председателем Давидюка. Возмущенный, терпеливо дождавшись, пока уберется со сцены Стукалина и утихнет шум, он поднялся и сказал, округляя каждое слово:

— У нас собрание, а не бой гладиаторов, товарищи! Тот, кто позволил себе свист, не имеет права здесь далее находиться. Пусть он встанет и покинет зал, — подождал, но никто не отозвался. — Стыдно, товарищи! Женщина, конечно, увлеклась, запуталась. Она не оратор, говорила, как умеет. И что-то, возможно, хотела сказать дельное. Почему же нам не попытаться понять — что? Откуда этот мальчишеский настрой? Мы здесь решаем вопрос наиважнейший, неужели позволим себе опуститься до уровня склоки? Может быть, товарищ свистом хотел помочь Карнаухову, думаю — он ему повредил... Кто следующий? Мефодьев Кирилл Евсеевич!

«Молодец!» — одобрил Кремнев, но тут же ясно увидел: затеянное собрание не имеет никакого смысла, и стиснул зубы от злой мысли, что совершил ошибку, достойную первоклассника, подумал: «Как же мне теперь выступать? Что им сказать? Как объяснить этот балаган? Никто не захочет понять».

— Что же вы, Кирилл Евсеевич? — поторопил председатель. Мефодьев ответил с места:

— Я отказываюсь от выступления.

— Почему?

— То, что здесь происходит, несерьезно и недостойно. Не считаю возможным принимать участие.

Давидюк растерялся.

— Я хочу принять участие, — крикнул звонко Афиноген, уже карабкаясь на ступеньки, со смехом оборачиваясь к собранию. Он узнавал многих и всем улыбался. Он радовался, что хочет принять участие, и всех призывал порадоваться вместе с ним.

— Тебя в списках нет, — попытался урезонить его Давидюк.

— Меня Стукалина делегировала от имени обездоленных и страдающих.

Афиноген задержался возле стола, все еще улыбаясь. Он больше не прислушивался ни к кому и не торопился. Он видел одного Карнаухова, багряной тучей нависшего над четвертым рядом, Карнаухова, который смотрел в стену и, кажется, был болен. Во всяком случае, правую руку он сунул под рубашку, массажировал сердце. Рядом с ним — Иоганн Сабанеев, талантливый человек, без натяжек, но себе на уме. А кто, интерес-

но, не себе на уме? Потемки, потемки чужая-то душа, если не считать Наташиной.

Собрание присмирело, отхлопало, отсмеялось, утомилось — ожидало новой пищи для эмоций и размышлений. От Афиногена Данилова.

— Здесь сейчас проворачивается довольно мерзкое дельце, — заговорил он негромко, но внятно. — На наших глазах чернят человека, о котором говорить бы нужно только с восклицательными знаками. Но пожалуйста — науськанная кем-то женщина выливает на Карнаухова ушаты помоев, а мы посмеиваемся. Это и впрямь забавное зрелище. Особенно, если учесть сколько перепахал за свою жизнь Карнаухов и чем прославилась милейшая рукодельница Клавдия Серафимовна.

Давидюк постучал карандашом. «Безобразие!» — вынырнул издали придуренный голос Стукалиной.

— Хорошо, хорошо, — поклонился Афиноген, державший себя на сцене почти как в бильярдной, — поговорим по повестке собрания. Отчет нашего отдела — так, кажется? Давайте, поговорим без личностей... Кто вообще толком понимает, что такое и чем занимается рассматриваемый отдел? Да у него и названия четкого нет. Вроде бы — отдел координации. Что и для кого он координирует? Неизвестно. Многие из нас имеют экономическое образование. Верно? Однако основная часть работы, которую мы выполняем, — все эти бесконечные справки, отчеты, сводки, — связана с экономикой постольку, поскольку, к примеру, любая цифра сама по себе связана с высшей математикой. Основная нагрузка отдела — бухгалтерия в чистом виде. В каком-то смысле нас, конечно, можно назвать координаторами, так же как и бухгалтера, который подводит баланс в фонде заработной платы... Известно, что мы также отвечаем за техническую рекламу предприятия. Но кто же конкретно этим занят? А никто. То товарищ Сухомятин — жаль, я его выступления не слышал, уж он, наверное, поколотил себя в грудь, покаялся, понимает ведь, что отвечать все равно Карнаухову. То Мефодьев, глубоко уважаемый мной человек, встречавшийся с самим Держинским, то сама Клавдия Серафимовна Стукалина, которую из-за всякой ерунды норовят оторвать от любимого занятия — вязания свитеров и изящных махеровых слюнявчиков. Отсюда и получается, что ре-

шаем мы вопросы рекламы не на уровне социальной психологии, как должно, а на уровне знаменитой борьбы с курением. Кстати, Клавдия Серафимовна, вам будет приятно узнать: у крыс, которым впрыскивали никотин, обнаружены склеротические бляшки в мозгу. Скоро, скоро поредеют ряды ваших недоброжелателей, настанет светлый денек....

Громкий председательский стук карандашом, смешки в зале, нечленораздельный вопль Стукалиной.

— Я тут, страдая на больничной койке, сделал некоторые выкладки. Вот, пожалуйста! В прошлом году семьдесят процентов наших предложений и заявок, подкрепленных «научными» расчетами, не были реализованы. Кто-нибудь обратил на это внимание? Может быть, это встревожило самого директора, и он забил в набат? У меня есть и еще некоторые цифры, отражающие картину наших мощных холостых усилий, я их передам для протокола.

Так мы жили не год, не два — постоянно. Наравнивали скорости и получали премии. Почему же именно сегодня встал вопрос о том, что отдел «лихорадит»?

Наше состояние плачевно. Мы не чувствуем ни масштаба, ни пользы своей работы. Не понимаем даже ее смысла. Как будто мы все студенты и проходим практику на чужом предприятии. Хотя трудно принять за студентов наших многочисленных зрелых менеэсов. Отдел, занимаясь самообманом, обманывает и других, государство в том числе... Я предлагаю решить вопрос одним махом, не мудрствуя. Не проводить надо Карнаухова на пенсию, а целиком ликвидировать отдел со всеми его причиндалами. На первый взгляд предложение звучит экстравагантно, но, поверьте, это единственное правильное и экономически выгодное решение.

Голос с места:

— У нас нет безработицы, Гена!

— Нету и не надо. Рассуем бездельников по другим участкам, рассредоточим. А то как-то так получилось, что мы все сбились в кучу. Кстати уж, есть отделы, как, впрочем, и целые институты, которым, конечно, лучше не работать, это выгоднее для всей отрасли. С ужасом думаю, что получится если наш отдел действительно раздует пары и потребует к себе внимания и уважения, — сколько занятых людей будут ото-

рваны от дела в других местах. Уж лучше не надо, товарищ Кремнев. Я вижу только два выхода из положения. Первый, и лучший — распустить отдел, как распускают полностью деморализованный полк. Второй — оставить все, как было.

Собрание не шумело, не ерепенилось, в зал вернулось изначальное умиротворение. Виктор Давидюк встал, открыл рот... но слов нужных не нашел. Постоял и сел.

«Данилову больше здесь не работать, — с огорчением подумал Кремнев. — Нельзя оставаться там, где ты плюнул в лицо коллективу. Невозможно!»

— И последнее, — сказал Афиноген Данилов, — почему мне не напоминают про регламент?

— Регламент истек! — отозвался эхом председатель.

— Последнее. Про Карнаухова Николая Егоровича. Я считаю за честь с ним работать, если он не против. Раньше не считал, а обдумал все и теперь считаю. Он не должен уходить никуда, пока чувствует в себе силы. В нем есть то, чего не хватает, может быть, мне и моим молодым товарищам. В нем живет вера в неизбежность лучших времен. Вера должна остаться. Что бы мы ни делали, как бы языком ни трепали — сначала мы люди, а потом уже младшие и старшие научные сотрудники. Если уйдет Карнаухов, всем нам будет очень стыдно. Думаю, что и вам тоже, Юрий Андреевич. Я кончил. Благодарю за внимание.

К концу выступления у него свело бок и, спускаясь со сцены, Афиноген сделал усилие, чтобы не схватиться руками за повязку. Добрая улыбка не покидала его лицо.

— Так, — сказал Давидюк. — Однако. Прошу, пожалуйста, кто следующий?

Кремнев заговорил с места, не вставая даже, полуобернувшись, проникновенно:

— Много развлекательных слов мы сегодня услышали, товарищи. Я внимал им и радовался — есть у нас юмор, темперамент... Еще бы немного смысла. Вы же не в пьесе роль играете, Гена, вы на производстве. Тут шумовые эффекты не проходят, они тут неуместны.

— Иногда уместны, — ответил Афиноген. Он присел неподалеку, в третьем ряду, и вдруг оказалось, что

они с Кремневым вроде бы вдвоем беседуют, а все остальные — зрители. И Давидюк на сцене — зритель, и Карнаухов в зале — зритель. Так удачно расположились. Кремнев говорил с теплой дружеской интонацией, как бы за чашкой чая. Афиноген отвечал с еще более дружеской и задушевной хрипотой, как бы за стаканом вина.

— Если и уместны, то ненадолго. Вы же знаете — имеют значение только факты. А они против отдела. Мне прискорбно это утверждать. Я ведь не посторонний... Хотелось бы в фактах и разобраться, а нас всех явно понесло не в ту степь.

— В фактах разбираются с фактами в руках. В компетентном сведущем кругу. Данные готовит комиссия... Не думаю, что ее должна возглавлять Стукалина, да и никто из отдела. Она должна состоять из привлеченных, незаинтересованных лиц.

— Хотите, чтобы о нас весь институт судачил?

— Лично я хочу поскорее выздороветь. Но сор из избы выносить не боюсь.

— Гена, вы еще очень молоды. Вы не знаете, что репутацию можно испортить один раз на всю жизнь.

— Или факты или репутация. Репутация — это тоже область эмоций, Юрий Андреевич. Не факт.

— Вы считаете — отдел справляется со своей задачей?

— Я считаю неприличной любого свойства подтасовку. Даже факты нельзя превращать в дубинку и колотить ею по голове.

— Хорошо, я освежу в памяти некоторые моменты нашей с вами недавней беседы. Я интересовался вашим мнением о Карнаукове. Что вы мне ответили, помните? Вы сказали — это несовременный руководитель, отставший от НТР. Так?

— Жалею об этом. Глупо как-то сорвалось.

— Не кажется ли вам, что у вас слишком часто «срывается». Может, вы завтра о сегодняшнем выступлении в иной аудитории скажете, что оно «сорвалось» и вы о нем сожалеете?

Далекий вопль Стукалиной: «Двуличные они, двуличные!»

— Понимаю, — сказал мягко Афиноген. — Вы привыкли доводить дело до конца и, уж видно, ничем не

погнушаетесь. Признаюсь, мне нечем возразить вам на уровне «кто, что, где, когда говорил». Этим оружием отлично владеют ваши единомышленники, Юрий Андреевич. Куда мне до них. Я — сдаюсь!

— Вы просто нахал, Данилов, — не сдержался Юрий Андреевич, — беспардонный нахал.

— И на этом уровне спорить не берусь, не обучен.

Интересную беседу прервал Карнаухов. Осторожно ступая, словно обходя раскиданное по полу стекло, он поднялся на сцену.

— Да, Карнаухов в списке значится, — спохватился председатель. — Он четвертым записан.

— Поломали тебе список, Витя. — Николай Егорович повернул к залу строгие припухшие глаза. Стоял у микрофона, переминался с ноги на ногу, никак не мог начать.

Крик Стукалиной: «Вот он, вот он!» — прервался на коротком не то вздохе, не то стоне.

— Не думал, что так выйдет, — заговорил Карнаухов. — Простой случай, уход на пенсию — а вон как обернулось... Я коротко. Готовился я, конечно, осветить состояние дел в отделе, да вижу — это не требуется. Нет, не требуется, Юрий Андреевич, прав Гена-то. Не за тем, видно, мы собрались. А зачем?.. Худо, ребятки! Если появилось желание собраться, чтобы попереживать косточки и свести мизерные счета, — худо! Тут уж не до фактов будет. Про себя скажу — да, виноват, проглядел. Не заметил, как от полного безделья ожесточилась Клава Стукалина, не почувал, что Афиноген Данилов превращается из способного работника в ожесточенного говоруна. Занягия ему не нашел, не использовал, как надо, не зажег... Не заметил, как годы мои подоспели, Юрий Андреевич. Подошли мои годы, а так это обидно. Ох, обидно! Не хочется уходить, ребята, а пора. Думал, бороться буду, доказывать. Нечего доказывать, устал. Не Сухомягин меня одолел, не Кремнев. Годы износили и вымотали, долгие годы нашей жизни. Пора, пожалуй, восвояси. Ну, об этом в другой раз, когда вы на прощанье мне часы подарите либо гармонь. Тогда, конечно, и хорошие добрые слова услышу я в свой адрес. Может, Стукалина меня помилует... А, Клава? Ты где там притихла, мой жестокий обвинитель? Ты-то меня помилуешь, а я тебя нет... Со-

вступю от души, кто бы ни пришел следом — ты ли, Афиноген, ты ли, Сабанеев, гоните в три шеи Стукалину и ей подобных. Не работают они сами и воздух здорово портят. А я это допускал и потому виноват. Добрым хотел быть напоследок, стал людей к старости жалеть. Чутье потерял. Значит, действительно пора уходить на покой. Пора! Думал я... эх! — съежился Карнаухов, отгородился ото всех ладонью, понес по ступенькам свое массивное тело. Ни на кого не глянул, добрался до прежнего места, сел, склонил голову. Опять рукой под рубашку — потер, очень там сигналлило, давило. Пора!

Звуки, издаваемые множеством людей, имели и множество оттенков, но сейчас, после отречения Карнаухова, по собранию прокатился гул, обозначающий только сочувствие и растерянность. «Э-э!» — выдохнули несколько десятков ртов. «Наконец-то!» — подумал Кремнев и с облегчением присоединил к общему вздоху и свое маленькое: «Э-э!» Он даже чуть было не вскочил и не пошел к Карнаухову, но, оглянувшись, заметил на себе взгляд Николая Егоровича, полный насмешливого сожаления, и удержал сентиментальный порыв. «Нет, пожалуй, еще не конец-то, — насторожился он. — Пожалуй, Карнаухов всех перехитрил. И меня в том числе».

От истины он был недалеко, ошибался в одном, каждое слово Карнаухов произнес от сердца, особенно и не задумываясь над тем, что говорил. Он как раз не хитрил, но результатом будет вскоре докладная записка директору, подписанная двумя третями сотрудников отдела с просьбой (имеющей оттенок угрозы) оставить Карнаухова Николая Егоровича в покое.

Выступить больше никто не захотел, и через пять минут Виктор Давидюк объявил собрание закрытым. Оно продолжалось ровно полтора часа.

Кремнев сразу направился к директору доложить о новостях. Вскоре прибежала взмыленная секретарша, разыскала Афиногена Данилова, смолящего с друзьями на лестнице, и велела срочно идти к Мерзликину. Смотрела она при этом на Афиногена, как на конченного человека.

— Не дрейфь, — напутствовал Данилова Сергей Никоненко, — тебя, разумеется, с работы турнут, но

при твоих данных ты легко устроишься грузчиком на молокозавод.

Мерзликин принял Афиногена вежливо и с пониманием. Сосредоточенный Кремнев листал журнал за маленьким столиком в углу.

— Уже не болеете, Данилов? — осведомился директор.

— Немного еще болею.

— Приятно познакомиться. — Мерзликин сам не садился и его не приглашал. Стоял неподвижно посреди кабинета, но было такое впечатление, что он ходит вокруг Афиногена, разглядывает его со всех сторон и даже ощупывает.

— Значит, считаете — отдел следует аннулировать? А Карнаухова оставить?

— Всех пора на смену! — авторитетно подтвердил Афиноген.

— Карнаухова-то куда?

— Его в другое место.

— Заведующим?

— Конечно. Или замом к себе возьмите. Хороший будет зам. Не лизоблюд.

— Так, так, Данилов. Что ж, надеюсь, вы юноша последовательный и от своего мнения не отступитесь. Значит, выйдете из больницы и сразу заявление? Или месячишко поработаете еще?

— Я долго буду работать, Виктор Афанасьевич. В порядке реализации права на труд.

— У нас будете реализовывать?

— Где же еще? — Афиноген удивился. — Если я начну скакать с места на место, то буду «летуном».

Директор продолжал его разглядывать, любовался синеглазой улыбкой и вообще его бравым видом. Даром, что после операции человек. Спросил:

— А может быть, ты просто сутяга, Данилов?

— Может быть.

Щека Мерзликина нервно дернулась, и он погладил ее пальцами. Пошел сел за свой стол.

— Юрий Андреевич, — сказал оттуда, — а он мне нравится, твой протезе.

— Мне тоже нравится, — отозвался Кремнев. — Приятный молодой человек. Остроумный и покладистый.

Афиноген опустил в кресло и достал сигареты.

— Курите? — обратился к директору.

— Наглец! — Мерзликин уже веселился, он и раньше не особенно-то негодовал. А чего ему негодовать, раз все по его вышло. — Юрий Андреевич, ты говоришь — толковый специалист?

— Говорят. В его возрасте рано судить. За душой-то одна амбиция пока.

— Почему же он такой наглый? Вон закурил без разрешения. Не битый, что ли?

— Да уж...

— Я, мой милый мальчик, на фронте, было раз, штрафной ротой командовал... Ты у себя в отделе можешь гоголем выступать, а у меня веди себя пристойно. Вдобавок, как ты ни выпендривайся — образованность тебя подводит, держит в рамках. Ты ответь мне на два вопроса. Почему ты хамишь? Раз. И чего ты добиваешься? Два. Понятны вопросы?

— Хамлю я, когда меня стараются унижить. Достоинство блюду. Раз. Добиваюсь я нормальных условий для работы. Два.

— Тебе заведующего пост предлагали. Ты понимаешь, что это такое в твои годы?

— В мои годы армиями командовали.

— Легенды, вздор. Армиями, мой дорогой, командовали убеленные сединами опытнейшие военачальники.

— По-разному случалось.

— Вот что, Афиноген Данилов. Ты каждое мое слово под сомнение не ставь. Ты у директора в кабинете, не у Пронькиных на именинах. Так у нас разговор не получится.

— Я могу быть свободен?

Директор был в достаточно благодушном настроении и опять себя пересилил:

— Не знаю, как с ним разговаривать, Юрий Андреевич? — не зло, скорее шутливо.

— Можно я вам объясню? — Афиноген пускал дым вокруг себя затейливыми фигурами. Давненько не дымили с таким шиком директору в нос. — А вы постарайтесь меня понять, как всегда добавляет мой друг Никоненко. Вы слишком долго руководили людьми, и вы, и Юрий Андреевич, и вам подобные. Но для того, чтобы руководить, нужна особая, очень высокая куль-

тура, специальные психологические навыки. У нас этому не учат, да у вас и времени не было учиться... Власть, постоянное невольное ощущение превосходства незаметно сместили шкалу, по которой вы оцениваете человека. Вы позволяете по отношению к другим такой топ и такое обращение, какое по отношению к себе ни в коем случае не допускаете, считаете вызывающим... Возраст тут ни при чем. Вы, к примеру, мне лично не сват, не брат, не отец. Но я не могу сказать, допустим, при вас: «Юрий Андреевич, я не знаю, как мне разговаривать с этим директором», — а вы при мне про меня вполне можете. И искренне не находите в этом ничего предосудительного. Вы оцениваете меня вслух, как скотину, — попробуй я!.. Это сложно, вряд ли вы даже поймете, о чем я говорю, наверное, поздно вам понять... Ну вот, я закурил. Тем самым чудовищно вас оскорбил. А приди вы ко мне на рабочее место — разве вы стали бы спрашивать разрешения. Да если бы и спросили, то для проформы. Или, представьте, спросили бы, а я ответил: «Нет, товарищ директор, извините, здесь курить нельзя, здесь люди работают». Что бы вы про меня решили? Сумасшедший? Отпетый хам?.. Никто не узаконивал одну манеру поведения для начальника, а другую для подчиненного. Вы сами ее установили, пользуясь служебным положением. С какой стати вы обращаетесь ко мне на «ты», когда я вас величаю по имени-отчеству? Не ко мне, ладно я, допустим, молод. Но вы так обратитесь и к человеку старше себя, а он вынужден будет отвечать «вы». Объясните хотя бы этот маленький нюанс. Почему?

На щеках Афиногена проступил румянец, у него поднималась температура.

— Нескучные у вас работают ребята, Юрий Андреевич. Завидую. Я сижу бирюком, иной раз и поучиться уму-разуму не у кого бывает. Теперь в случае чего сразу Данилову буду звонить... А вот вы сегодня Карнаухова «спасали», но ведь он тоже лет тридцать как разные кресла просиживает. Он что же, не зарвался, разбирается в этике взаимоотношений?

— Удивительно, но разбирается. Чутьем, что ли.

— И не тыкает вам?

— Когда он тыкает, не обидно.

— А когда вот Юрий Андреевич,

— Юрий Андреевич фамильярности не допускает, у него иной стиль... Я пойду, пожалуй. Врачи заждались...

— Конечно, ступайте, выздоравливайте, — Мерзликин не скрывал, что испытывает отчего-то удовлетворение. А щека его по-прежнему подергивалась. — Почему же все-таки не обидно, когда Карнаухов тыкает?

— Врет он все, — Кремнев отшвырнул газету, с жаром подначил, — выламывается. Я к нему теперь пригляделся, раскусил этот орешек. Ничего ему необходимо и несовестно. Главное, свое слово сказать, себя осветить поярче. Любуйтесь, мол, мной, люди добрые. Вот весь и секрет.

— Правильно, — согласился Афиноген, обрадовался. — Наконец-то раскусили! Все уж было растерялись, а тут выщелк! — и готово. Правильно! Я себя уважаю. Да и с вами разговариваю, потому что вы тоже себя уважаете. С теми, кто себя не уважает, скучно разговаривать, не о чем. На ваш вопрос, Виктор Афанасьевич, я ответить не сумею. Карнаухов хороший человек, нравственный человек. Раз вы с ним за столом сидели — должны сами знать. Хороший человек — это впопыхах не объяснишь. Знаете, красивая женщина — попробуйте ее описать. Красивая... и точка. Торжествуй и будь счастлив, что увидел. Уродство, монстра какого-нибудь описать легко, красоту трудно. Это — дар божий. Карнаухов красивый человек, зря вы так за него взяли крепко. Да еще скопом.

Афиноген отдалялся к двери, а Мерзликин — по шагжку, по маленькому — его преследовал. У двери не утерпел, опять спросил:

— Карнаухов хороший, а я нет? И Кремнев, вон тоже нехороший? Так выходит?

— Все хорошие. И вы и Юрий Андреевич. Каждый по-своему. У нас такое общество — самое лучшее в мире. Плохих людей почти не осталось.

Мерзликин еще не прочь был поговорить, поспрашивать, но Афиноген пятился, пятился, достиг двери, покивал, поулыбался на прощанье и скрылся.

Директор потирал руки.

— А-а? Юрий Андреевич! Любопытный парень-то. Ох, любопытный. А я люблю, мне нравится. Наплевать, что языком мелет. Молод еще, необъезжен, го-

ряч. Но глаза, ты заметил? Я ведь в его глаза, Юрий Андреевич, как в молодость свою заглянул.

Ликовал директор или горевал, Кремнев так и не уяснил. Мыслями он был уже не здесь, а дома, с Мишенькой, который тоже рос строптивым ослом...

Верховодова схоронили в понедельник днем, а известие о его смерти распространилось лишь во вторник, поэтому на кладбище его провожали только двое-трое соседей. Сухонькую, скисшую Акимовну, обряженную в черное, поддерживал под локоть страдающий Федор Мечетин. Им не удалось заглянуть последний разочек в лицо покойного Верховодова. Двое служителей морга вынесли его в заколоченном гробу и у ворот засунули в крытый грузовичок. Как раз мимо проходил спешивший на собрание Афиноген Данилов.

— Кого понесли? — обратился он к санитарам.

— Верховодова какого-то, — пробасил опухший дядька с подвязанной марлей щекой, но Афиноген никак не связал сказанное с именем своего знакомца Петра Иннокентьевича. Над свежей могилкой всплакнула, опустошаясь до дна, старуха Акимовна, и рыдания ее вспугнули кладбищенских сорок, в общем-то привыкших к подобным звукам.

В среду в газете появился небольшой некролог. В нем, по обыкновению, перечислялись звания и места службы покойного. Потом года два еще в исполкоме время от времени возникал вопрос о том, что надо бы водрузить заслуженному старику надгробие, но так и не решился, потому что непонятно было, по какой статье расходов проводить деньги, да и кому лично этим заниматься. Впоследствии редкий оратор, критикуя на собраниях деятельность исполкомовских комиссий, не упускал возможность упомянуть этот эпизод. Упоминали даже те, кто и в глаза Верховодова никогда не видел, и фамилию его знал понаслышке. «Что там спрашивать с такого-то и такого-то отдела то-то и то-то, — вещал критикующий товарищ, — когда у всех на памяти история со смертью — хм! — Верховодова. Заслуженный человек, все силы отдавал служению городу, а мы не сумели его даже толком похоронить. Позор, товарищи! И больше ничего».

Над могилой Верховодова неизвестные сердобольные руки приколотили деревянную дощечку, на которой детским нетвердым почерком было выведено:

ВЕРХОВОДОВ П. И.

(1900 — 1977 гг.)

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПРОВЕДЕЛ ТРИ ВОЙНЫ
И ОСТАЛСЯ ЖИВОЙ.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

10

Однажды мне очень захотелось поговорить с Афиногеном, услышать его веселый голос, узнать федулинские новости, и я дозвонился ему из Москвы. Трубку сняла Наташа, и мы поболтали с ней немного о погоде. В Москве свирепствовала мокрая, слякотная, с утренними выюгами отвратительная зима, то самое время, когда у больных старых людей случаются сердечные приступы и они почти оставляют надежду дожить до весны. Меня в ту зиму разлюбила женщина, ради нее я много сумасбродствовал и пил вино, не считаясь с надрывающей печенью. Может быть, она не любила меня — эта женщина, теперь уж точно не могу сказать. Но я верил в ее обещания и мольбы, которые она подтверждала не меньшими сумасбродствами, чем мои. Мы оба провели в страшном, сумасшедшем опьянении чудесный год, и когда она наконец решила со мной расстаться, это оказалось не так-то просто.

Нас накрепко скрутили бесконечные телефонные разговоры и редкие торопливые встречи, насыщенные еще более торопливым желанием выговориться, наобещать, насочинять с три короба утешительных небылиц. Заблудившиеся дети — вот кем мы были в огромной, суматошной, застывающей в стремительном движении Москве, и в тех чужих городах, куда мы вырывались вдвоем из столицы, мучимые угрызениями совести, черным раскаянием, переполненные восторгом и надежной на невозможные перемены. Мы строили планы, начинавшие обязательно с середины, с того места, когда мы оказывались каким-то чудом вдвоем.

Когда она решила со мной расстаться, то образовалась пустота, которую нельзя было заполнить ни работой, ни командировками. Не знаю, как она, а я с избытком за-

черпнул из чаши одиночества, погрузился в нее с головой и чуть было не утонул.

Зима со своей промозглой слякотью и одуряющими ветрами вывела меня из рокового погружения. Очнувшись, я увидел, что люди продолжают жить и повсеместно заняты устройством своего счастья. С огромным облегчением я вернулся к тем, кого предал, с жадностью вглядывался в родные, доверчивые лица — они совсем не изменились, хотя промелькнула целая вечность.

Женщину, чью любовь я не сумел удержать, я встретил случайно на переходе станции «Площадь Ногина» прямо над табличкой «Вход с правой стороны». Она была грустна, и лицо ее выцвело, подурнело. Обменялись обычными любезностями, вопросами: «Как ты?», «Что у тебя?», «Не болеешь ли?» С содроганием я подумал, что с этой невзрачной, скучной мне женщиной, почти незнакомой, собирался остаться навсегда. На прощание мы условились встретиться при первой возможности (из деликатности никто не добавил «при желании»). После этого тоска моя и ощущение бессмысленности уходящих дней вернулись, но не надолго. Я воскрес и начал работать, собираясь состряпать киносценарий и загрести кучу денег. Мысль когда-нибудь загрести кучу денег, кажется, вместе со мной родилась, но пока осталась неосуществленной..

Наташа, как и обещала, родила Афиногену сына, которого назвала Дмитрием. Родители Данилова на свадьбу не приезжали, а повидать внука выбрали время, прилетели. Матери Афиногена невестка понравилась с первого взгляда, зато отец его, Иван Харитонович, Наташу напугал и ошеломил. Людей такой железной суровости она раньше не встречала. За всю неделю, что они гостили, Иван Харитонович сказал ей (не считая «здравствуй», «прощай») всего три фразы. 1. Полы-то, девонька, надобно с песком оттирать. 2. Плесни-ка мне, милая, вон из той бутылки с горлышком (про молдавский коньяк). 3. С дитем, Наташа, говори завсегда без обману, не пугай его лжой.

Мы уже долго болтали с Наташей, а супруг все не выходил из ванной. Я спросил, как поживает ее лучшая подруга Света Дорошевич. Оказалось, что та влюбилась в приезжавшего на побывку офицера-погранич-

ника, выскочила за него замуж и укатила в Тмутаракань. Тривиальный конец, и Мишу Кремнева жалко. Но жалеть Мишу мне особенно не пришлось. Страдалец прошлым летом, перейдя на третий курс, заявился к родителям сам-друг с молодой златокудрой подружкой, дочкой известного онколога из Москвы. Тоже конец не новый. Хотя, кто знает, что до сих пор творится и плещет в его душе.

Наконец трубку отобрал у жены Афиноген Данилов.

— Новости? Какие у нас тут новости. Заедает быт. Хочу уехать в Африку поохотиться на крокодилов, но местком зажимает путевку... Скажи, лучше, как в Москве?

— Нормально... Гена, в институте-то чего? Карнаухов работает?

— Трудится старик, не сдается. Отдел реорганизовали. Создали экспериментальную группу, мы ее с Сабаньевым возглавляем на паях. Долго рассказывать... Приезжай, сам все увидишь!

— А Сухомятин как?

— Лучше всех. Научился одновременно разгадывать два кроссворда. Неутомимый ученый.

— А Стукалина?

— Вяжет свитера.

Афиноген не сердился, чувствовалось, что он в хорошем настроении.

— Гена, значит, ничего не произошло. Ничего не случилось?

Он хмыкнул в трубку.

— Что может произойти? Происходит в Африке. Я тут Наткины книжки стал читать. Про дальние страны. Изумительно! Крокодилов ловят сетью даже малые дети. Поучиться бы... Слушай, у тебя голос измученный. Пушай их, с крокодилами. Приезжай к нам в Федулинск. На лыжах походим, поговорим. Я тебя с нашими собственными крокодилами сведу. Тебе будет интересно. Их не то чтобы сетью, гарпуном не напугаешь. Приезжай...

— Спасибо, Гена!

Вряд ли вернусь я в Федулинск. Эти два-три часа на электричке мне не преодолеть. Да и не стоит. Никогда не стоит возвращаться в тот мир, где однажды тебе было хорошо и тревожно.

Разве можно быть уверенным в своих воспоминаниях? Разве не разумнее сохранить их такими, какими они выдумались?

Жизнь всегда не права. Она приветливо заманивает мнимой беспредельностью и вдруг ставит точку в самом неожиданном месте.

Давай и мы попросимся вовремя, Афиноген!

Разве не прекрасно сохранить воспоминания такими, какими они выдумались?..

Содержание

| | |
|----------------------------------|-----|
| ЧАСТЬ I | |
| Заманчивое предложение | 5 |
| ЧАСТЬ II | |
| Афиноген в больнице | 95 |
| ЧАСТЬ III | |
| Карьера | 296 |

Анатолий Владимирович Афанасьев

ПРИВЕТ, АФИНОГЕН
Роман

Редактор Л. Кулешова
Художник Б. Агеев

Художественный редактор Н. Егоров
Технические редакторы Е. Румянцева, Л. Анашкина
Корректор Н. Попикова

ИБ № 1478. Сдано в набор 11.10.78. Подписано к печати 20.03.79.
А08967. Формат 84x108/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура литерат.
Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 25,35. Тираж
75 000 экз. Заказ № 4718. Цена 1 р. 90 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной тор-
говли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Рязанский областная типография.
390012, Рязань, Новая, 69/12